

Н О В Ы Й
М И Р

9



1974

1974 Тенгизков Н О В Ы Й М И Р

9

НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания L

№ 9

Сентябрь, 1974 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО — Минские тополя, стихотворение | 3 |
| ГАРИЙ НЕМЧЕНКО — Считанные дни, роман | 5 |
| РОМАН СОЛНЦЕВ — Не сразу деревья мои пробудились..., стихи | 79 |
| ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Имя, стихи | 81 |
| ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ — Ночь после выпуска, повесть | 82 |
| ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ: Елисавета Багряна — Познание. Иван Давидков — Каменоломня. Слав Хр. Караславов — История, Тишина, Друзья. Георгий Константинов — Чувство, Геолог. Любомир Левчев — Диалектика природы, Голос в защиту Луиса Корвалана, Рана. Павел Матев — Нависшие молчанья. Георгий Джагаров — После допроса. Иван Николов — Воспоминание о Пискаревском кладбище, Снимки, Золотистая пшеница... Александр Геров — Сила, День. Андрей Германов — В белейшую из всех земных ночей... Найден Вылчев — Женщина. Дамян П. Дамянов — Я медленно старею, незаметно... Красия Химирски — Луну и звезды нарисовали дети..., Когда спят мальчики. Христо Радевский — Поединок. Вытьо Раковский — Я остаюсь. Николай Антонов — К морю, Буревестник, Истинный цвет океана. Николай Христов — Творчество. Перевел Лорина Дымова, Геннадий Серебряков, М. Павлова, В. Сикорский, Валерий Краснополюский, В. Смирнова, Б. Брайнина, Д. Благой | 131 |
| УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР — Свет в августе, роман. Окончание. Перевел с английского В. Голышев | 148 |
| НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ | |
| ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ — Ветка сакуры | 202 |
| ОТЛИКИ И КОММЕНТАРИИ | |
| ВЛАДИМИР БОЛЬШАКОВ — Кривая предательства | 235 |
| ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ | |
| И. БРАЙНИН — Бестужевка | 241 |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

| | Стр. | |
|--|------|-----|
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | | |
| <i>К 70-летию со дня рождения Николая Островского</i> | | |
| ПОДВИГ ПИСАТЕЛЯ. Вадим Кожевников — Открытие. Дмитро Павлычко — По праву учителя. Перевел с украинского Г. Григорьев . В. Юсова — Школа ответственности. Мира Алечкович — Вместе с нами боролся Корчагин. Перевел с сербскохорватского И. Харитонов | 249 | |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | | |
| <i>Литература и искусство</i> | | 259 |
| Александр Крон . Испытание штормами. — Л. Воронин . «Малый эпос» Николая Ушакова. — В. Фролов . Образный мир классической пьесы. | | |
| <i>Политика и наука</i> | | 263 |
| П. Жилин . Первые дни войны. — Клара Брюханова . Выдающийся революционер-ленинец. — А. Пархоменко . Наука управления наукой. — А. Формозов . Древнейшее прошлое Европы. | | |
| КОРОТКО О КНИГАХ — И. Подольская . — Ольга Форш в воспоминаниях современников. ♦ Г. Петрова . — Владимир Козин . Привязанный к седлу. ♦ Дм. Еремин . — Валентина Карпова . Анатолий Калинин . Очерк творчества. ♦ Г. Товстоногов . — К. Щербаков . Обретение мужества. Критика и публицистика. ♦ Н. Молева . — Е. И. Полякова . Николай Рерих . Серия «Жизнь в искусстве». ♦ М. Тугушева . — Основные тенденции развития современной литературы США | 282 | |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 287 | |

ВЛАДИМИР ТРОФИМЕНКО



МИНСКИЕ ТОПОЛЯ

Лунное пламя вокруг
вершин тополиных струится.
Текут сквозняки, и дымится
нависший охапками пух.
Сквозь теплую эту метель,
бледнея, гляжу я с проспекта,
еще погруженного в тень,
на город, возникший из пепла...

Чирк! Спичка летит из окна
в скопившийся пух у обочины.
Наш дворик в июньские ночи
украшен ручьями огня.
Однако же в этом сейчас
мучительное есть что-то,
как будто струя огнемета
за чьей-то душой погналась...

Сегодня в своей мастерской
художник справляет поминки.
Кружились весь день под рукой
и в краску мешались пушинки.

Сугробы дымят в подворотнях.
А пух, что на площадь влетел,
сплотившись в воздушных воронках,
обрел очертания тел.

Ах, что же с художником, если
за кругом он делает круг,
удерживая равновесье
неловкими взмахами рук.
Споткнулся. Упал. И опять
кружит, раскрывая объятия,
пытаясь за краешек платья
жену в хороводе поймать...

Рассыпавшийся хоровод
умчался сквозь город просторный
к кургану, который
горстями насыпал народ...

Я был на кургане, когда,
пургой заметая надгробья,
вкруг вечного вились огня
его голубые подобья.

О эта представшая мне,
луной освещенная в поле
гора человеческой боли
на белорусской земле!
О город, восставший из смерти,
где душами наделены
тополиные смерчи,
живущие в свете луны..



ГАРИЙ НЕМЧЕНКО

★

СЧИТАННЫЕ ДНИ

Роман

НЕСТЕРОВ. Когда-то я наметил себе: на стройке — до первого металла. Все мы были убеждены, что завод на Авдеевской площадке создадим в кратчайшие сроки. Когда полетел Гагарин, каменщицы да малярши так и говорили на митинге: пройдет два года — и крылатые корабли станут делать из нашего металла...

Смешно вспоминать: на белом коне и с брусом еще теплого чугуна под мышкой я думал возвратиться в Москву почти тут же. А потом сроки строительства перенесли, я погоревал-погоревал и решил: подожду еще год. А потом еще. И еще. Так вот по воле Госплана и стал тут «стариком». И белый мой конь, хоть я временами и пытался скрести его и расчесывать гриву, давно потерял свой парадный вид. И от пыли да газа сменил масть...

Заберешься, бывало, на сопку, сидишь, пока не стемнеет... И тогда слева, где далеко за рекою — Сталегорск, начнут играть неслышные сполохи, там плавки идут на старом комбинате одна за одной. А тут, под горою, на Авдеевской площадке, только и того, что в нашем палаточном городке едва заметно окошки светятся... И подумаешь: а будет ли у нас? а дождемся?

А сейчас вот я могу встать из-за стола, подойти к раскрытому окну и далеко за поселком и за промбазой увидеть голубое сиянье, которое попыхивает уже над нашей домной. Правда, это пока в третью смену работают сварщики, но все равно — до пуска считанные дни. Как уверяет наша родная многотиражка: страна уже смотрит на часы — страна ждет!

И до меня вдруг доходит: считанные дни остались и до того, как закончится и уйдет в прошлое то многое, чем тут жил до сих пор... Уйдет ли? Или останется навсегда? Или сам ты уже поселился тут навек, что ж из того, если даже уедешь куда-то?..

Ничего-ничего. Скреби коня, Нестеров!

Представляю, картина: стою около дороги на шлаковый, а рядом со мною действительно мой белый конь, тянется мордой к земле, фыркает, сдувает пыль, щиплет травку. Тот же Ваня Братков притормозит, высунется из кабинки, как из скворечника: «Ты чего тут делаешь, Вальк?» — «Как что? Коня пасу». — «А где ты его взял?» — «Всегда у меня жил... Это шесть лет назад на выпускной вечер нам пригнали целый табун, один к одному были скакуны, и мы сели на них и поехали кто куда, целый курс...»

Пойду-ка лучше погляжу на эти голубые зарнички над домной, я теперь всегда смотрю на них перед сном, и все — как рукой...

Тревоги Ивана Браткова

Перед сменой Ваня Братков забежал к Маришке запаять трубку рессивера.

В медницкой было сумрачно и тихо, над бетонным полом еще держался ночной холодок, но от горна уже тянуло прогорклым запахом горевшего угля, несло теплым духом гретого железа. Там, зажав одной рукой длинные клещи, другой покачивая мехи, стоял с папиросой в зубах Ковзин Витуха, морщился от дымка, перемаргивал, а рядом с ним тянулся на цыпочках, заглядывал в горн маленький Валерка, Маришкин сын.

Сама она, выпрямившись, сидела на сварном стульчике, и одна рука лежала на колене, а вторая — в кармане черного халата, оттягивала карман, и один край широкого воротника слегка съехал набок, видна была белая ложбинка на шее около ключицы, и от этого казались беззащитно открытыми не только шея, но и мягкий подбородок и как будто все лицо — чуть смугловатое, с большими темно-кариими глазами, которые смотрели сейчас с какой-то грустной виной, словно Маришка готова была заплакать. Иван почувствовал это, и сердце его толкнулось от жалости.

— Я паяльник возьму, Маришк, — негромко сказал он, проходя.

Он уже нагрел паяльник, а Витуха все покачивал мехи, и Валерка ее все так же тянулся на цыпочках, когда Маришка поднялась стремительно, железный ее стульчик чиркнул ножками по бетонному полу, а она метнулась туда-сюда, держа кулачки у подбородка, и почти черные глаза ее горели теперь и отчаянной решимостью и будто бы озорством.

— Ой, мальчики, родненькие! — Она всплеснула руками. — Может, нам с ним судьба? А я, дура, не поеду!

Иван снова взглянул на Маришку, а она бросилась, положила руки ему на грудь, подсунула ладошки под борта старой его кожаной куртки.

— Пусть Валерка с тобой поедит, а, Ванечка?.. Мне одного человека с московского поезда надо встретить. Я сначала не собиралась, не договаривалась ни с кем...

Он дернул плечом.

— Да мне-то!.. Пускай ездит.

— Я тебе руп дам, в обед покормишь, если я не успею... Кефирчику ему возьмешь, ну, пряничков там — все равно он ничего не ест, прямо беда! Валерка, будешь слушаться дядю Ваню?

Витуха перестал мехи качать, вынул изо рта папиросу:

— А ты нового хахала небось встречать?

Маришка не обиделась:

— Да не нового — старого! — И обернулась к Ивану. — Помнишь, он к нам заправиться все приезжал, на такой машине, с приборами? Из Фундаментпроекта, из Москвы, такой черненький...

Он снова дернул плечом.

— А ты, Витуха, не помнишь? Ты его еще в бригаду к вам звал... Со мной увидел — переходи, говоришь.

Она торопилась, а Витуха все качал головой, снова помаргивая от дымка, потом сказал, почему-то обозлясь:

— Я ей помнить должен — рази тут всех, к черту, запомнишь!.. Ты б хоть, Маруська, книгу какую-никакую на них завела, на фраеров своих. Еще один суразенок родится, где потом будешь отца искать? А то сразу: раз — и в поминальник!

— Ты хоть бы мальчишку постеснялся, — тихонько сказала Ма-

ришка, разом сникнув.— Разве для баловства я?.. Он вот пишет в телеграмме... сначала начнем.

— Ладно,— сказал Иван,— поезжай.

Маришка взяла у Ивана паяльник и склонилась над металлическим своим столом, потом переложила паяльник в левую, а мизинец правой поднесла коготком к краешку глаза, осторожно сняла слезу.

Витуха вытащил из горна длинный штырь, на конце тускло светивший малиновым, повертел в клещах, посмотрел-посмотрел, шваркнул его в углу о бетонный пол, кинул на край стола клещи, потом Валерку взял за руку и потащил к выходу.

Валерка сначала засеменил, затоптал вслед, потом, приседая, повисая на руке, крикнул:

— Не хочу, ты ругаешься!

— О! — как будто удивился Витуха, приседая перед ним.— О-о!.. Вот делов, если ругаюсь!.. А думаешь, дядька Ванька тебе свистулю сделает? Да ни в жисть! Ему такие свистули и не снились, как я делаю! Помнишь, я тебе сделал?

Валерка кивнул.

— Айда скорей!

Маришка бросилась к сумочке.

— Возьми руп, Витуха!

Уже стоя в дверях, Витуха, злой еще, сказал, словно гордясь:

— Да небось не меньше тебя зарабатываем!

Иван уже зачищал трубку наждаком, а Маришка поглядывала на него сбоку, и он подумал — попросит о чем-нибудь еще или что-нибудь скажет, о себе, может, посоветоваться захочет, и потому улыбнулся, как бы подбадривая, подмигнул, на секунду отрываясь от работы, спрашивая — мол, чего? — а она вдруг очень мягко, участливо так спросила:

— Грустный ты последнее время, а, Вань?

У него сердце опять странно перебило, толкнулось сильнее — от благодарности к Маришке, от жалости к самому себе.

Он удивился вроде бы:

— Да ну!

— Показалось?

— Наверно! — И заторопился.— Счастливо тебе... встретить, все такое.

Хлопнул дверью, мимо стоящих на козлах, державшихся на таях моторов пошел быстро, почувствовал, как дернулась щека; ускоряя шаг, отвернулся — вроде бы трубку в руке рассматривал,— чтобы не здороваться с дружками из слесарей, сказал себе, несколько раз повторяя одно и то же: «Ну-ну, не раскисай... Не раскисай... Ладно! Не раскисай».

Ребята все уже выехали, Витуха проскочил перед ним — предпоследний. Иван увидал белый, расплющенный о стекло носик Валерки, подумал, хорошо, что мальчишку все-таки взял сегодня Витуха, с ним разговаривать надо, он вопросами замучит, а ему не до разговоров, Ивану, потому хорошо, что с Витухой...

Выйдя на кольцевую, он погнал было, машину затрясло, холодный ветер ворвался в окно, ударили в лицо две-три капли, колючие, он поежился за баранкой, а мимо понеслась низкая темно-серая — после дождя — насыпь, за которой, медленно кружась, начали разворачиваться тальниковые кусты, жидкий березнячок, смазанные скоростью белые пятна черемухи, а дальше синь, низкие свинцовые облака, придавившие собой крутой противоположный берег реки. Впереди из-за котельной на мокрую бетонку выкатилась с промбазы целая колонна,

а он сбросил газ, пристраиваясь последним, закрыл окно и расслабился, привалившись плечом к дверце...

Здесь примерно всегда Иван и закуривал, тут зажигал первую свою папиросу за баранкой, это всегда было как бы знаком, что он включился на целый день в суетную, наполненную грохотом и движением жизнь стройки...

И сегодня привычной затыжки не хватало ему как никогда. Без нее, казалось, был особенно беззащитен. В который уже раз подумал, что от какого-то случая зависит порою твоя жизнь...

Ведь если бы тогда не встретились они с Пакиным у буфетной стойки, разминулись по дороге — и весь этот сыр-бор, глядишь, и не загорелся... Или в тот вечер вместе со всеми поехала бы в городское кафе и его, Пакина, жена, и тогда тот, конечно, не бегал бы добавить, а весь вечер просидел бы рядом с нею как миленький и, может, не перебрал бы, ничего такого Ивану не сказал бы.

Опять возвращался он к тому часу, когда все еще было так хорошо.

...Вот они около бара пока втроем: повернулся к нему на этом высоком, с круглым сиденьем стуле капитан милиции Береснев, а из-за спины у него выглянул Валя Нестеров, ткнул дружку своему подбородком в плечо. Смотрит чуть исподлобья, и глаза у него смеются:

— Обратите внимание, капитан, — вылитый наш Ваня Братков!

Лицо у Павлика Береснева осталось нарочно строгое, только губы еле заметно дрогнули.

— Увидел бы в кожаной тужурке, подумал бы — он и есть.

Иван слегка повел головой, и с невысокой полоски зеркала, которая тянулась над первой полкой бара, глянул на него чернявый парень в темно-сером костюме, с галстуком, чубатый и с бровями вразлет.

— Вы, товарищ, со стройки или тут, в городе, живете? — все щурился Нестеров.

А до Ивана только дошло:

— Так что, Павлик, можно тебя поздравить с повышением?

Валя приподнял острый подбородок над плечом у Береснева:

— Думаешь, иначе я затащил бы его сюда?

— Так надо было в форме!

— Форма у него мятая, — вздохнул Нестеров. — Он же теперь в ней и спит. С новенькими-то погонами. — И опять налег Бересневу на плечо, наклонился к уху: — Признайся, Паша, тут все свои.

Береснев и раз и другой провел пальцами по шраму, который косо тянулся над краем лба и исчезал под русыми волосами. Улыбнулся, и лицо у него посветлело, но усмешка сделалась грустной:

— Мечтал, как понимаешь, с детства.

Это теперь Павлик Береснев на стройке помощник начальника милиции. А Иван помнил его еще сержантом, когда у того и формы-то не было, так и ходил в солдатском хэбэ да в полушубке, а рядом собака, которую он привез с границы. Это теперь Нестеров — редактор многотиражки, а тогда он был уезжавший с практики зеленый студент, Иван отвозил его в город на станцию, и тот все говорил, как ему на стройке понравилось, грозился вернуться, и оказалось — правда. И оттого, что все трое начинали тут с палаток и видели всякое, была между ними какая-то особая связь, которой обычно вроде бы и не чувствуешь, но которая нег-нет да и напомнит о себе внезапным теплом в душе.

И Иван не торопился, только поглядывал на тот край стойки, где пышная, в накрахмаленном кокошнике буфетчица не спеша откупоривала бутылку водки, а потом отмеряла в широкой мензурке и переливала в стакан. Буфетчица отчего-то морщилась, а напротив нее стоял Пакин, ждал, вид у него был виноватый, но когда он уже выпил

и пятернею отер мокрые губы, посмотрел вокруг независимо и будто бы даже с вызовом.

Размял папиросу, дунул в мундштук, скользнул вдоль стойки взглядом и пошел было, слегка сторбившись и нашаривая в кармане спички, но вдруг остановился, глянул сперва через плечо и медленно повернул к ним троим... А если бы так и не обернулся?

И снова приподнимается узкое лицо Пакина, жиденький его чуб сбился набок, и глаза смотрят и жалко и бессмысленно...

Иван поводит плечами, спину выпрямляет, худыми лопатками придавливая свой кожан к спинке сиденья, — нет, нет, хватит... Лучше вон... травка уже как выросла... сочно зеленеет вдали от дороги, а там снова белая пена черемухи, кустарник, а над ним врезанные в холодную синеву очертания заводских цехов, и белый-белый, как черемуховый цвет, распускается пар над сушильной башней у коксовой.

Вон как чисто, словно все кругом кто помыл, да весна и помыла, самое хорошее сейчас время: тяжелая пыль еще не успела осесть на зелень, еще не ожгло ее жарким маревом полдней, не приморило бензиновым духом — оттого и стоит пока такая яркая...

В черемуховый цвет самый икробой... Лодку сейчас спустить бы да сетешки, таймень ходит под берегом, трется, чтобы икру пустить, — тут его прихватить ой сколько можно! А то и — ладно его, тайменя, — мотор бы выключить на середине реки, чтоб только вода тихонько о борт — и никого... Вешний разлив сколько глаз видит блестит среди помолодевших осокорин да разбухшего от соков краснотала да ивняка, утиная стая чиркает над тобой весеннее небо, а ты сидишь, при- тихший...

Одно другим перебилось — рокот мотора, густой ветер в ушах, чуб набок, рубаха пузырем за плечами — летит, несется на своей лодке счастливый Иван Братков, а перед ним его Настя, глаза смеются, руки на коленях замочком, а у нее на шее замочком Гошкины кулачки, и довольная мордаха — из-за одного плеча... из-за другого.

— А вот как брошу, что мне!.. Уйду куда глаза глядят, вот уйду!

И разом гаснет Настина улыбка, горе вытягивает лицо, и замирает маленький Гошка, будто бы и он все понял.

Снова начинает Иван травить себя, снова начинает подходить издалека — каждый раз к одному и тому же.

Вот бригадир Юрка Кругляков раздает им пригласительные билеты, говорит, что еле достал, из-за них, мол, и пришлось торчать на каком-то заседании, иначе могли бы и не дать. Крепко пожимает теперь каждому руку, долго трясет, но дурачится, конечно, не без умысла: хочет показать, что измазаться он не боится, хотя который уже день за баранкой не сидит, а с утра появляется при галстукке.

Вот они садятся в поселке в новенький «ЛАЗ», едут, и жена Круглякова, такая же, как и он, сухопарая, с такими же, как у Юрки, хряцеватыми ушами торчком, все пытается завести песню, но откликается, добрая душа, одна Настя, а остальные жены все двадцать километров до города или дружно помалкивают, или разом начинают говорить, что некоторые, может, рассчитывают: если автобус привезет и отвезет, значит, пей хоть залейся, — так ошибаются, ничего подобного: выпить надо, никто не против, да только в меру, как все порядочные.

Вот они в новом кафе — по торцам две бетонные стены с верхним косым углом, а остальное стекло.

Для них сдвинули столы в дальнем углу, и Настя сначала села рядом с Иваном, спиной к залу, а потом ей уступил место Федя Обрядин, и она устроилась напротив, около Мити Чобану.

Еще в те времена, когда они с Настей дружили, была у них такая привычка: в гостях или на каком празднике нет-нет да и коснуться

друг дружки ногой — а мне, мол, о нас с тобою сейчас подумалось. И теперь Настя тут же нашла его ногу и легонько придавила носком. И он улыбнулся ей.

Бывает у вечеринок такая минута, когда и стол почти не нарушен, не потерял вида, и на самих приятно смотреть — никто еще не успел раскиснуть да раскраснеться, все пока чинно да торжественно, только чуть громче сделались, повеселели голоса. Оркестр уже играл, стало шумно, но танцевать никто из них пока не шел, все присматривались, и тут Настя снова нащупала кончик ботинка и, когда он посмотрел, сделала мечтательное лицо и виновато вздохнула. Он протянул было руку, словно приподнимая Настю со стула, но она покачала головой и глазами показала на соседний стол. Иван посмотрел туда и все понял: там ели пирожное.

Он только чуть шевельнул губами: сколько? И она обвела взглядом всю их компанию: на всех, конечно...

— Девять пирожных, — сказал он, когда буфетчица, отпустив Пакина, подошла наконец к нему. — Пять вон тех, с кремом...

А Пакин уже стоял рядом, нехорошо кривился:

— Пирожное, ты понял? Следы за бабой считает... А на ней, может, пробы негде...

Иван убрал руку со стойки.

— Интересно. Ты договаривай.

— Вы что, братцы? — вскинулся Нестеров. — Как уверяет наша любимая многотиражка, транспорт — он что? Нервы стройки. У стройки должны быть...

А Пакин достал наконец руку из кармана, выложил на стойку все, что было в горсти, потом взял коробку и открыл ее, просыпав на пол горелые спички.

— Ну давай, покупай ей! — И опять поморщился. — Покупа-ай!.. — Сгорбился опять, пошел к выходу.

Им всем было неловко.

Павлик кивнул на стойку, где среди табачных крошек остались лежать небольшой ключ да помятый трешник:

— Сразу видно, что на шлаковых парень, а? У них, видишь, куры не клюют.

Иван взял и ключи и деньги. Нестеров окликнул:

— Ва-ань?

Он повернулся и еще рукою повел: да что ты, мол.

Догнал он Пакина уже перед гардеробом, ни слова не говоря, сунул в карман пиджака и ключ и деньги, но тот обернулся так торопливо, будто ждал Ивана.

— Думаешь, забудешь, что я сказал? — спросил, качнувшись и протягивая худую ладонь с прокуренными пальцами. — Забудешь? — Морщинистое, синеватого цвета лицо его с рассыпанными по выпуклому лбу жидкими волосами придвинулось близко, он все кривился, и мокрая нижняя губа с прилипшей табачной крошкой отвисла, белесые глаза смотрели на Ивана с холодной злобой. — Не-ет, понял? Не забудешь, тут и поймал я тебя. А то, что она курва...

Иван хватанул его пятерней за борта:

— Э, ты!

— Сам видал, понял? — горячо заговорил Пакин, заторопился, глотая ртом воздух, как будто боялся, что не успеет сказать. — Захожу, вот — что хочешь!.. Захожу, свет включил, а они...

Иван, легонько отталкивая Пакина, стукнул правой, но Леха то ли покачнулся, то ли отклониться успел, кулак пошел скользом, и это было как будто обидней всего. Иван ударил еще, и голова у Пакина глухо щмякнула о стену, он начал сползать по ней спиной и сел было,

разваливая колени, но тут же странно как-то покачнулся и мягко повалился на бок...

Завод уже остался позади справа, и мимо потянулись, понеслись рядом, отставая, торфяники Костина болота — выгрызенные ковшами экскаваторов коричневые провалы, и плешки уложенного сюда, утрамбованного недавно чернозема, и островки свежей и сочной, от последних дождей ударившей в рост зелени.

Он повернул к переезду, и «зиллок» его дважды тряхнуло на рельсах.

Теперь насыпь под шлаковозные пути горбилась сбоку, была она сейчас темно-серой, а над нею низко висело сумрачное небо, между ним и полотном виднелся только узкий просвет, и в просвете этом медленно ползли крошечные отсюда самосвалы...

Он все еще чувствовал неловкость в набрякших руках, и боль в пояснице, и тяжесть в ногах, не успевшую уйти за ночь. Это потом он разойдется и каждый мускул снова на целый день послушно включится в эту однообразную до зеленой тоски работу, а пока все в тебе словно сопротивляется: на дороге впереди теперь никого, а Иван пилит себе на третьей... А может, не в том причина? Баранка — дело одинокое, что там ни говори, и потому, пожалуй, чтобы это одиночество скрасить, придумано шоферской братвой столько дружеских знаков, которыми почти все что хочешь можно выразить мимолетом.

Он, Иван, всегда пользовался ими охотнее других, к этому давно все привыкли. То и дело ему теперь сигналили встречные, и один, проносясь, кивал на грозовую тучку — вроде поговорил о погоде, — а другой, не сбавляя скорости, успевал показать, что можно бы сбегать на домну, туда опять привезли квасок, такой холодный, что ломит зубы. А он теперь или не успевал отвечать, или вовсе отмалчивался, и впервые в жизни раздражать его стало участие, особенно когда проявляли его из своей бригады — видеть эти морды... «Ну, брось, это ты брось», — твердо приказал он себе: при чем тут, всегда мировые были ребята, просто такая пошла у них сейчас полоса, когда почти все в бригаде перематерились, перессорились, просто такая пошла полоса.

Озлобленность он тоже стал замечать в себе впервые, и клял ее, не давал ей воли, и пробовал расставить все по местам: разве плохие они были хлопцы еще два года назад, хотя бы тогда, в ту ночь, когда на доменной закончили бетонировать пень?..

Тогда им уже хорошо знали цену и сняли с земли, и они крутили в три смены, бетон шел и шел. Перед маем, тридцатого, они вообще из-за баранки не вылезали и к ночи наконец вбухали в опалубку последний ящик, но все остались у тепляка на случай другой какой срочной работы, начальник управления на эти дни правило завел: без его приказа с домны никуда...

А они намаялись и позасыпали в кабинках, и, пока спали, бетонщики уже все закончили, а на полы в недостроенных бытовках кинули брезент, и снабженец их уже выставил на нем большим полукругом пару ящиков водки и перочинным ножиком кромсал толстую, как пожарный шланг, колбасу — Иван сам все это увидал, когда, проснувшись, решил заглянуть в бытовки...

Он только затылок почесал, уходя, чтобы ребят предупредить, а там от одной машины к другой уже перебежал начальник, тормозил всех.

— Ну и нюх у вас, ребята! — кричал. — Эх молодцы-то, что остались! А я хотел еще предупредить, да забегался!

И получалось так, будто они ждали выпивки, которую тот своим ребятам обещал: конечно, ждали, чего там, шоферня, им бы где ни выпить, ясное дело... и тогда они не сговариваясь стали захлопывать

дверцы, трогать и медленно разъезжаться, а начальник бегал между «зилками», вытягивая руки и что-то крича, а потом, осерчав, ударил шапкой оземь и стал руки в боки — сам он, видно, уже успел...

Несмотря на полуночный час, в гараж они ехали не торопясь, как будто с достоинством, и Иван улыбался и покачивал головой, а потом начинал потихоньку смеяться, идя вслед за Кругляком, а там, когда поставили машины, собрались в кружок, и тот же Леха Пакин сказал весело и как будто сам себе удивляясь:

— Ребя, да а ведь нам не псверят, а? Чтобы шофер да от этого дела отказался?

И они радостно заржали, двадцать здоровых глоток, и смех понесся, грохоча и рассыпаясь над притихшей стройкой, и из «капе» выскочил как всегда спавший там дежурный и издали закричал:

— Вы чего там, дурные черти?..

Автобуса не было, они не стали его ждать, пошли пешком.

Морозец набирал силу, ярко синели звезды, и под ногами разъезжалась стылая апрельская слякоть, а они неторопливо шагали в один ряд, как раз всю бетонку заняли, и шли, засунув руки в карманы и локтями касаясь друг друга, и смех то здесь возникал, то там, они на ходу перебегали один к другому...

— Слышь, Юртай говорит, завтра повесят «молнию»: «Привет славным водителям из бригады Круглякова, которые вчера — ни-ни»... Понял? Хоть можно было набратсья.

— Да нам наоборот — скрывать надо, узнают, дак засмеют!

— А вот бы справку взять, чтоб завтра — жинке!

— Чего завтра — сегодня уже!

— С печатью!

— Да твоей хоть какую печать — все равно не поверит!

— Га-га! То-то и обидно, а?! Эт ты!

Смех носился над бетонкой, и они шли, как счастливые пацаны, ей-богу, и столько в душе у каждого было и добра, и справедливости, и уважения и к себе и друг к другу...

А теперь вспоминаешь — и не верится, что так оно и было и правда... Наверное, каждый из них в чем-то виноват, э-э, да что теперь разбираться, ему бы, Ивану, со своими делами распутаться...

После того случая в кафе он еще долго чувствовал себя победителем и стыдился только того, что вся эта история произошла, считай, на глазах у Береснева да у Вали Нестерова, обидно, что услышали они про Настю плохое. Правда, они же Ивана и выручили. Милиция отвезла Пакина домой, а утром жена его передала в автобазу, что заболел. И потом, когда через неделю появился он в гараже и, увидев Ивана, быстренько завернул в мастерские, Иван не почувствовал к нему ничего, кроме брезгливости: не был дерьмом — не схлопотал бы.

Дома Иван был веселый, и когда, придя с работы, брился, то взглядывал на себя в зеркало, словно чем-то гордясь, и делал что-то вроде боксерской стойки, за жестким своим кулаком спрятав намыленный подбородок, и плечами поигрывал — ничего еще парнишка, крепенький.

Глядя потом на свою Настю, он начинал тихонько посмеиваться, покачивал головой, собираясь так вот запросто ей сказать: «А ты знаешь, Насть... Тут один дуралей слово мне про тебя плохое сказал». «Ну и что?» Настя тряхнет недлинными, с золотистым отливом волосами, и прическа у нее станет другая. «А ничего,— Иван скажет, посмеиваясь.— Теперь об этом жалеет». «Подрался, что ли?» «Да ну! — удивится Иван.— Так... разок». И Настя посмотрит на него долгим своим взглядом и скажет, пристыжая его: «Ва-а-аня!..»

И опять тряхнет головой, и снова в ее облике что-то неуловимо изменится. Удивительная у Насти прическа: стоит ей только слегка вскинуть голову — и мягкие ее кудри ложатся уже по-другому, и от этого Настя каждый раз выглядит чуточку иначе, каждый раз лучше, чем до сих пор, и сама об этом знает, оттого так радостно и улыбается.

И он не успевал ничего этого сказать, он только обнимал Настю, а она нарочно вздыхала и уже покорно шла за ним в другую комнату и, отклонившись от него на секунду, но не отнимая руки, по дороге включала для Гошки телевизор и говорила ласково:

— Ты посиди тут спокойненько, посмотри...

Она еще прикрывала дверь, а Иван уже держал ее на руках...

А может быть, зря он не собрался рассказать ей обо всем так вот запросто?.. Потому что, если он скажет это теперь, не будет для них обоих добра!

Все переменялось в одну минуту. В тот вечер Иван читал своему Гошке «Доктора Айболита». Когда позвонили, он так и пошел открывать с «Айболитом» в руках.

Открыл, а там стоит Митька Чобану — причесанный, при галстуке, и воротник плаща, как у молодого, поднят... Цыганские глаза у него и так навывкате, а тут — больше и больше. Уставился на Ивана и рот раскрыл:

— Да к ты дома?

— Ну, если скажу, что нет, ты ж не поверишь?

— А я думал, нету, — сказал Митька, виновато как-то ухмыляясь. — Ты ж к своим собирался?

— Мало ли куда, — проговорил Иван, чувствуя неожиданно в tone своем холодок, сознавая, что он почему-то не предлагает Митьке войти.

— Может, пивка пойдем? — спросил Митька. — Сейчас Юртая видал, говорит, привезли.

Иван уже сквозь зубы цедил:

— Д-да нет, сам давай...

— Пошел! — как будто обрадовался Митька. И посмотрел на Ивана. — А ты чего... какой-то?..

— Какой? — спросил Иван тяжело.

Митька неловко потоптался у порога, махнул рукой и застучал вниз каблуками новеньких туфель — когда повернулся на площадке, носы лаком сверкнули под тусклым светом в подъезде.

А Иван вернулся, сел на диван и «Айболита» в сторону отложил. Гошка тербил его — он не слышал. Потом увидел — тот напротив стоит и губами шевелит, кривится, а в глазах слезы. Наверное, говорит что-то обиженно.

А он смотрел на него спокойно и будто бы очень издалека.

«Да он же не к тебе приходил! — сказал Иван себе очень твердо. — Он же к ней приходил как пить дать!»

Настя из магазина вернулась, подошла к нему, поцеловала, спрашивая, почему это он ее не встречает, наклонялась к нему, заглядывала в глаза, а Иван все сидел молча, как будто закаменел.

Настя на диван рядышком села, положила ему на руку холодные ладони.

— Да что с тобой, Вань?

— Да так, — сказал он наконец, усмехаясь недобро. — Понял наконец кое-что... так, мелочи.

Руки ее сбросил, шагнул в коридор. Туфли кое-как надел, куртку свою кожаную схватил и хлопнул дверью.

Он по улице пошел было, да только разве дадут тебе здесь пройтись одному да подумать. Поднял воротник, кепку надвинул пониже,

по непросохшей еще грязи бросился мимо домов, стоящих «елочкой», потом подался через пустырь к дробфабрике, пролез, ломясь, через молодой, уже набухший соком ивняк, запрыгал по кочкам, оступаясь, набрал в туфель и побрел потом не разбирая дороги.

...За ивняком на другой стороне болота поднимался пологий взгорок, темнела на нем не до конца раздерганная копешка, и он отправился к ней, обеими руками стащил вниз охапку побольше и сел на нее с размаху, спиной и затылком приваляясь к мягкому, с холодным запахом прели сену...

Удивительно, сколько всяких мелких подробностей бережно хранила его память, чтобы теперь услужливо высыпать перед ним — все сразу!..

Первым делом он вспомнил, как несколько лет назад, когда Настя еще работала мастером, она не пришла домой ночевать после второй смены.

Сам он в тот день здорово устал, прилег на диван почитать, да и проснулся уже утром — с газетой на лице... Выскочил из дома, а тут как раз у подъезда притормозила «коробочка», и он увидел, как вылез из кабины какой-то парень, руку Насте подал, и она спрыгнула, а парень влез обратно в машину, и она помахала ему рукой, крича:

— Ладно, мы вас тоже как-нибудь выручим!

Тогда Настя сказала ему, что за каменщиками не прислали машину и двум бригадам пришлось заночевать на бытовках доменного, только уже утром кто-то из ребят поймал эту «коробочку» из соседнего треста.

— Представляешь, так и гнулись всю ночь: девчата — в одном углу, парни — в другом! — возмущалась Настя. — Слов не хватает — такое безобразие!

Тогда он и не подумал проверить, все за чистую монету принял, лопух!.. А как знать, кто там где гнулся, да и вообще — не с тем ли парнем, что высаживал ее из «коробочки»...

А то, что только он, на день, на два отлучась, приезжает, а у нее на стуле около кровати платье — самое лучшее?

В том, что Леха Пакин сказал тогда правду, он был теперь яростно убежден. Не знал он только одного: как ему поступить? Подождать еще... а чего ждать? Или в общежитие сразу уйти? Или вообще со стройки куда глаза глядят податься?

Ночь, когда оба долго лежали без сна, она повернулась, приподнялась над ним, ткнула губами в лицо, уронив ему на лоб да на шею мягкие свои волосы, зашептала горячо:

— Ну что с тобой, Ваня, миленький, ну скажи!

А он, ни слова не говоря, медленно повернулся к стене.

...Иван проскочил под мостом, по которому тянулись шлаковозные пути, повернул влево и поехал вдоль этой громадной насыпи. Здесь, у моста, она уже была готова, круто падали вниз длинные откосы, на путях стояла платформа с черными шпалами, а подалее за нею виднелся путеукладчик и цепочка девчат около него, они одинаково изгибались, видно, подвигали ломами рельс. За ними далеко тянулась пустая площадка, фронт, который дала «мостопоезду» оторвавшаяся наконец от него, здорово поднажавшая за последние дни шоферня, а там, где пахала она сейчас, была узкая полоса, на которой вокруг экскаватора осторожно разворачивались три или четыре самосвала, потом еле заметный спад и площадка пошире, и плотнее здесь стадо машин, которые двигались вперед и назад, задирали кузова, разъезжались, и несколько бульдозеров, которые расталкивали по бокам кучки гравия, расчищали путь для машин. Отсюда вниз тянулась заискосок крутая колея, по которой один за другим медленно сполза-

ли уже пустые «зилки» да «МАЗы»... Здесь, внизу, ребята переставали притормаживать, и самосвалы, подпрыгивая, бросались на дорогу и уходили один за другим в карьер на берегу, но там, вдалеке, непрерывно взбиралась на горб насыпи другая цепочка машин, уже груженых, и это был один и тот же изо дня в день гигантский круг, по которому сутки напролет моталось около девяти сотен самосвалов.

Не доезжая до того места, откуда с насыпи почти сплошным потоком уже съезжали на дорогу в карьер машины, он зачем-то притормозил.

Сунул руки в карманы куртки, грудью навалился на край баранки, опустил голову.

Ему захотелось тут же развернуться и поехать обратно. Бросить в гараже «зилку», накорябать в диспетчерской заявление, дунуть на бумагу, пойти, помахивая ею, на третий этаж... А потом взять дома чемодан — и айда... Куда? Да куда-нибудь поезд привезет. Будет Иван сидеть среди не знающих ни тоски, ни печали вечных бродяг, и бутылку распечатывать, и последними словами ругать стройку, и нестись дальше и дальше от нее, и от дружков своих, и от Насти, а за окном будет тайга стоять, где хочешь — там и сойди... Можно в промысловики податься, чтобы в избушке всю зиму один, никому на глаза, только собака рядом. Или на Север завербоваться, на Колыму. Да тут куда ни кинь — ребята вон говорят, бывший начальник стройки Платохин на днях письмо прислал, где-то в горах сейчас, недалеко, и таймень тебе и медведи, все тридцать три удовольствия, и коэффициент, пишет, в Москве приличный пробил — только приезжай...

Двадцать пять процентов каждый месяц — и никаких тебе больше забот, хошь сам живи, холостякуй, хошь к бабе какой под пухлый бочок, дур много!.. Что это — он сам на себя теперь не похож, сам себе уже опротивел, жизнь у него не жизнь, а повес головы...

Мимо на полном ходу «МАЗ» пронесся, коротко посигналил рядом, как будто рывкнул, и он посмотрел ему вслед и увидел на заднем борту цифры, но каждая из них словно была чем-то отделена от другой, в номер они не складывались...

Провел по лицу ладонью, снова сильно придавливая пальцами глаза и потом будто разглаживая небритые щеки... Нажал на сцепление и, бросив тяжелую ладонь вниз, привычно поймал шарик рычага скоростей. «Ну, сегодня,— сказал себе,— еще ладно... Посмотрим. А завтра, если что...» И тронул потихоньку, занимая свое место в этой карусели ревуших, подпрыгивающих на ксладобинах, с грохотом летящих друг дружке навстречу машин...

Заставляя себя встряхнуться, и раз и другой выпрямился за баранкой, повел одним, потом другим плечом, расслабился снова — смотреть вперед старался особенно внимательно, словно ехать по этой дороге было ему впервой и впервой было пробираться среди ревущего скопища машин в карьере и становиться под ковш. По дороге обратно он сам старался сигналить первым, потом, глянув направо, увидел, как над болотом за дорогой низко потянули три шилохвостики, стали подниматься вверх, одновременно поворачивая, и упали резко одна за другой — из-за пышного куста, стоявшего посреди болота, пошли тугие круги... Вздохнул и почувствовал, что ему стало легче — будто приоткрылся на миг краешек того мира, который всегда остается для тебя какой-то надеждой на тишину, и спокойствие, и добро в душе...

Когда начался подъем на отвал, он уже совсем собрался с мыслями, здесь надо было ухо держать остро, и он пошел, упорно догоняя «ЗИЛ» впереди. Тот пер, как танк, Ивану видны были то полупустой кузов и сверкавшая за ним свежей краской кабина, а то задний мост, забитый пылью так густо, что сразу было понятно — села она на

добрую, еще заводскую смазку. Захотелось глянуть, кто за баранкой, прибавил газку еще и, прежде чем тот отвалил вправо, успел и вмятину на крыле увидеть, и поймать на себе мельком кинутый из-под челочки нагло-беззаботный взгляд — не шофер, а оторви ухо с глазом, у этого работяги после шлаковых машину можно будет сразу в железный ряд, тут и к бабке не ходи, так ясно. Невольно вспомнил, как у Дедова переезда провожал глазами длинный состав с платформами, на которых парами стояли новенькие самосвалы. Думал тогда, что где-то среди них стоит и будущий его «захарок»... Может, с этого в бригаде у них все и пошло? Или это только масла в огонь добавило? Ну да что теперь, подумал. и так об этом говорено уже было, переговорено, и тут начальству, конечно, видней — надо за два месяца расхлестать три сотни новых самосвалов, значит, расхлещут, задачка, если постараться, не очень сложная, а может, у них и в самом деле не было выхода?

Он успел еще раз глянуть туда, где насыпали основание отвала и где работала теперь эта вчера еще гонявшая за водкой для инструкторов салажня, а потом отвернул в другую сторону, снова пошел на подъем. Тут насыпь становилась заметно уже, тут более тонкая была работа, вертеться надо с умом, и сюда посылали народ с опытом, и все-таки это была всего лишь вторая ступень, а третья начиналась на самом верху, где выкладывала «цветок» прошедшая Крым и Рим братва, мастера, асы.

Громадная, выше десятиэтажного дома насыпь сужалась тут до семи с половиной метров, и, чтобы развернуться и намертво остановиться у самого края, нужна была твердая рука, и только их бригада работала в полном составе, из остальных пускали наверх самых опытных «старичков» да иногда прорывались друг с другом поспорившие салаги.

Он всегда чувствовал себя здесь как-то по-особому, и не только потому, что это была опасная работа. Из-за крутизны откосов тут хорошо ощущалась высота, и с нее открывался отличный вид. Слева как на ладони были и вереницей идущие по дороге машины, и кусты за дорогой, среди которых стояли теперь вагончики, да деревянные тепляки, да несколько брезентовых палаток, где временно работали ремонтники... За кустами далеко шли поросшие камышом болота, ютились на кочках березовые колки, а за ними поднимались скрытые сейчас непогодой горы с гребешками леса на пологих вершинах...

Справа тоже сначала тянулись болота да перелески из хлипкого березняка, там и здесь бугрился зеленый кочкарник, а за ним вставал завод, между крошечными отсюда баками тянулось переплетение труб, виднелись коробки коксохимического цеха, а дальше — узкие и высокие башни угольных складов; подернутые желтым дымком, лежали громадные туши двух батарей, над которыми в тяжелом свинцовом воздухе поднимались сейчас очень легкие облака белого, как молоко, пара, там тушили кокс, а сбоку от батарей виднелись очень четкие даже в непогодь контуры домы с четырьмя черными кауперами, похожими издали на тяжелые авиабомбы, с двумя ажурными башенными кранами по бокам, длинными и потому особенно тонкими, с маленьким, словно аист, краном-укосиной на самом верху.

Кому эта картина не скажет ничего, а другому увидится за нею ой сколько! Особенно тому, у кого в паспорте повыше теперешней прописки до сих пор стоит старый штамп: «Палаточный городок. Палатка номер...»

От первого колышка, вбитого под сопками среди таежного разнотравья, пошел расти этот городок — свет от движка, вода в пузатых бочках из-под кваса. В брезентовую столовую хлеб зимой привозили

из города уже порезанным на куски, потому что целая буханка по дороге замерзнет — ничем ее не возьмешь, а маленькую краюшку и под ватником можно отогреть, и так грели.

Переходили потом в первые выросшие рядом с палатками двухэтажные дома, и перед ними до неба пылал костер, в который вытряхивали солому из старых матрацев — прощались с надоевшей палаточной жизнью... А колышек вбили теперь на другом пустыре, за несколько километров от поселка, где стала расти промбаза — тыл, который нужен был большой стройке. Не год прошел и не два, пока один за другим поднялись тут бетонный да железобетонный заводы, пока окутались паром, наполнились живым гулом вспомогательные цехи да мастерские. А новый колышек дожидался своего часа уже на промышленной площадке будущего завода, где посреди чиста поля стояли пока только крохотные фанерные щитки с корявыми буквами: «Кокс. цех», «Домна». Авдеевские охотники ездили сюда гонять лис да зайцев, весною и осенью на зорьке стерегли около болот северного гуся да перелетную утку, и казалось — вон как это от поселка далеко!

А потом пришла на площадку техника, и долго вгрызались в землю стальные челюсти экскаваторов, доставали на божий свет века пролежавший на двадцатиметровой глубине голубоватый аллювий, а в громадных котлованах вырастали из свежей опалубки целые деревянные города, там и здесь щетинились головками свай просторные прямоугольники фундаментов, далеко друг от друга засквозили на ветру стальные каркасы, и десятки километров траншей вдоль и поперек густо изрезали обширную стройку. Секли ее затяжные дожди, засыпал снег, и темнела от непогоды опалубка, заливало котлованы, тек обратно аллювий, оплывали траншеи, и временами казалось невозможным доделать эту бескрайнюю, словно какими гигантами начатую работу. Оттого на первый задрожавший над заводом дымок будешь ты смотреть почти не дыша: где-нибудь в другом месте не знают, куда от него деваться, а тут пока — валил бы погуще!

Сколько лет шли и шли на стройку тяжело груженные поезда и только теперь не уходят обратно порожняком — везут кокс. Рядом с коксовым цехом выросла наконец первая на Авдеевке домна, замерла, как ракета на старте, и это была как бы привилегия: каждый день с высоты, с самого верха насыпи видеть то, что до этого года создавалось тобой на земле, что поднималось у тебя на глазах почти незаметно — от нуля, от пустыря, от голого поля...

Раньше Ивану весело здесь работалось и лихо. А сегодня, как и все эти дни, в душе у него появилась непонятная злость, с которой он сначала очень четко повернул вправо и тормознул, передними колесами сыпанув гравий с края насыпи, а потом, прибавляя газу, кинул машину назад, тоже притормаживая на самом пределе...

А работа уже втягивала его, уже горячила, гнала по кругу, и она же его успокаивала: о себе он думал теперь только урывками, очень быстро, и это как бы не очень занимало его, словно не о себе рассуждал — о ком-то другом.

Заметил, как понесся ему навстречу Витухин «зилок», увидел за стеклом Валеркину мордашку и только спросил себя: «А ты что ж, хочешь, чтоб и Гошка твой — как эта безотцовщина?» Митьку Чобану потом увидал, тот просигналил ему, и он живо откликнулся и улыбнуться успел, как раньше, опять думая про себя очень быстро: «Он же за друга тебя считает, за лучшего, а что ты о нем — знал бы он... эх ты!» И все думал потом, словно уговаривал себя: а в самом деле, да разве так не бывает? Вот идешь ты к кому-то, а сам здорово сомневаешься — дома тот или нету? Решаешь, что, пожалуй, и нет, да забе-

жишь-ка на всякий случай. И видишь его потом в дверях, и в самом деле удивляешься, и говоришь: а я-то думал — нету тебя!..

И выходило уже так, что друг его Митька ни при чем. И уже не такими тяжелыми были мысли о Насте... может быть, все это придумал Иван себе да ей на бессонные ночи?

К обеду он и совсем было повеселел. То несколько дней ездил обедать на доменную, и не потому, что там строителей да монтажников как на убой сейчас кормят, все свеженькое тебе да горячее,— ездил из-за того, чтобы с ребятами не сидеть вместе. А сегодня вслед за своими к буфету подался, ладно...

Около автолавки, где сутилась Маша, буфетчица из гаража, почти никого не было. Тут, на шлаковых, ввели теперь строгий график, и диспетчер из автотреста специально следил, чтобы его придерживались, да дело, в общем, не в этом, народу потому не было, что у Маши, как всегда, килька в томате, кефир да пряники.

Витуху с Валеркой поставили первыми, пошучивая насчет матери с ребенком, и он взял пару бутылок кефира да пряников кулек и отошел к себе на подножку, а Валерке нашел разбитый ящик, и тот сел напротив... Все остальные потом к ним потянулись. Кто боком улегся на выбитой, бензином залитой траве, кто к баллону спиной привалился. Иван тоже сюда подошел, куртку бросил на землю, сел. Егор Юртаев уже включил свой приемник, передавали последние известия по «Маяку», и бригадир поднял руку, предупреждая Юртая, чтобы тот не вертел дальше. Молча ломали зубами пряники — хоть об дорогу бей,— жевали, запрокидывали бутылки с резким, запузырившимся кефиром. Щедрухин Гриша открывал ножом консервную банку, говоря: «Как я ее исть буду с пряниками?» — Сережка Листопадов тянул к нему руку, ожидая, когда ножик освободится, и все было хорошо, все было тихо-мирно, как бывало когда-то раньше, и солнышко вдруг проглянуло сквозь посветлевшие тучки, враз припекло, и Митька Чобану уже отставил пустую бутылку, голову свалил на плечо, подремывая,— только что в очереди говорил, дочка его, Думитрица, всю ночь сегодня температурила, капризничала, он ни капельки не уснул...

В приемнике диктора-мужчину сменил женский голос, словно большой радостью делясь, произнес: «Строители Ленинграда уже сдали в этом году сорок две тысячи квадратных метров жилья. А всего за семилетку...»

— Ага,— сказал Пакин Леха,— сорок тысяч сдали, а Гриша наш как сидел без квартиры, так и сидит...

— Да то в Ленинграде! — откликнулся Гриша, останавливая у рта ножик свой с горкой размятой кильки.— А я тут, за пять тыщ километров...

— А не один хрен,— равнодушно сказал Пакин, разбалтывая остаток кефира.— У нас сдадут сорок тысяч, дак там кто-нибудь так и будет жить под забором.

Листопад руками развел:

— Л-логика потрясающая!

— А чего мне логика? — Пакин вскинулся.— Мне правда нужна, а логика пусть тем, кто грамотный...

«Ну что, не видишь, что он последнее трепло? — сказал себе Иван, не глядя на Пакина, но все равно как бы видя и жидкие его волосы, прилипшие к странно выпуклому лбу, и белесые глаза, и синеватые губы, в уголках испачканные кефиром.— Знаешь ведь, что трепло, чего ж тебе еще надо?.. А ты на Митьку...»

А Митькина голова лежала на плече, чуть запрокинувшись, и рот у него был приоткрыт — уже спал...

— А не слышали еще, что вчера у мазистов было? — спросил Гри-

ша, вытирая нож о штаны на коленке.— От бывает жа — и не придумаешь!

— Опять на работе скинулись?

— Да не-е! — Гриша махнул рукой.— Тут хлеще... Так, значит: два друга. Водой не разольешь. Тут же, на шлаковозном, работают. От уже под вечерок один за другим газует и вдруг видит, что тот в кусты поворачивает... ну, мало ль что. Этот думает: куда-то он? И за ним. А там болотинка такая, первый проскочил на газах, а второй стал. Дергался, дергался, а потом видит — тот тоже на тормоза. Тогда этот дверью хлоп да и пошел к тому... Ну, подходит, понял... кабинка приоткрытая, а из ее ноги торчат... Этот, второй друг, и думает: ну и ходок! Тихонько отошел да в свою машину садится. Вдруг видит, тот вылезает из кабинки, а за им баба.

Гриша начал прикуривать, спичкой чиркнул в тишине раз и другой, потом громко затянулся.

— Ну, ты, давай,— сказал Кругляк.— Что дальше?

— Да что дальше? — усмехнулся Гриша.— Смотрит этот, второй, что за ними ехал, а это жинка собственная его, понял?

Витуха глядел с раскрытым ртом, потом вздохнул глубоко и огрызок пряника швырнул под ноги:

— От суки!..

А Иван сидел, опустив голову, и сердце у него бухало так, что рубаха подрагивала на груди...

Все правильно, нет, никуда он не денется, изменяет ему Настя, чего там! А Митька, ишь, у Думитрицы температура — лавочка! Оттого и не высыпается Митька, что опять небось взялся за свое, в самом начале стройки с кем он тут только не путался, это потом, когда с Любкой это случилось, потом только и затих и шагнул никуда, только и разговору — Думитрица, да, видно, опять он за свое!

Кругом все рассуждали об этих двоих, у которых такая история вышла, Митька себе похрапывал, а Иван сидел со спокойным лицом — словно тоже подремывал,— прикрывал глаза, чтобы ни на кого не смотреть... А разговор он слышал как будто очень издали.

— Вон Юртай наш, когда на новый объект переезжаем, чего он, на фронт смотрит? Не, он глядит первым делом, какая у отметчицы задница.

Голос Сережки Листопада неуверенно донесся:

— Не надо п-при пацаненке, ребята.

— Он там тебе понимает...

— Валерка? Не понимает? Да он больше нас с тобой — с такой матерью, как у него!

Снова Сережка:

— Ребята, к-клянусь вам, нехорошо.

Иван приоткрыл глаза: Сережка сидел, исподлобья глядя растерянными большими глазами, а светлые, только самую малость тронутые чернотой борода и усы вокруг совсем еще детского рта казались сейчас особенно жалкими...

— Да при чем тут мать, что у него, отцов не было, правда, Валерка?

А Валерка охотно кивнул, продолжая плямкать, высунул язык, чтобы кефир слизать с верхней губы, да не слизал, а только размазал.

— Пускай рубает, — негромко сказал Витуха.

Но к Валерке уже прицепились.

— Дак у тебя сейчас папки нету, Валерк?

Он мотнул головой:

— Ы-ы...

— А плохо без папки?

Мальчишка плечами пожал.

— Ничего, скоро будет, не горюй, мамка найдет.

— Валерк, а папка Игорь у тебя хороший был?

Валерка решительно кивнул.

— А папка Борька?

— Ы-ы, он мамку бил.

— А папка Сашка?

Валерка перестал жевать:

— Какой папка Саска?

— Не помнишь?

— Ы-ы...

— Да рази пацан всех ее хахалей упомнит — тут память, понял, как у академика... га-га!..

— Цыцте! — сказал Витуха, осуждая. — Хватит!

А Иван слегка обернулся и увидел Маришку.

Она стояла за спинами у ребят, странно как-то держа пальцы около губ, и глаза у нее были закрыты, но по щекам текли слезы.

Он хотел крикнуть на парней, но во рту у него пересохло, он только шевельнул тяжелым языком и так сидел, глядя на Маришку тоже как будто очень и з д а л е к а, а рядом продолжали говорить, и голоса у парней были деланно ласковые, а глаза поблескивали и одинаково расплывались губы...

— А щас к мамке ходит кто-нибудь, а, Валерк?

— Вот с этих дядек, что тут сидят, никто?

Валерка стал послушно вглядываться в лица.

И вдруг за спинами в голос зарыдала Маришка, заплакала горько, и все разом обернулись, а она, не закрывая лица, шла к Валерке, протягивала руку.

— Не слушай их, сыночка!.. Иди сюда, милый.

Взяла его за ладошку, стояла посреди них, кусая губы, и голос ее прерывался от плача:

— Мужики!.. Да разве вы — мужики?..

Пошла от них, держа Валерку за руку, а он все не отрывал от них глаз, словно все еще продолжал всматриваться в лица.

Из кармана у Валерки выпал берет, но его не заметили ни он, ни Маришка. Листопад подобрал его, бросился было вслед за ними, потом остановился, и губы его дрогнули, странно дернулась светлая борода.

— З-знать я в-вас больше не хочу! Б-больше не знаю, яс-сно?!

Все еще сидели, а он стоял среди них, почему-то сторбившись, держа в руке бежевый Валеркин берет.

Кругляков, который сидел, слегка откинувшись, опершись о землю обеими руками, коротко двинул ногою вбок, ткнул Листопада повыше щиколотки:

— Кончай выступать!

У Листопада, казалось, брызнули слезы:

— А ну-ка встань, за ч-что ты?! Встань, я говорю...

Кругляков поморщился:

— Не блажи.

— А встать?

— А я с сопляками...

Листопад рванулся к нему, пытаясь приподнять с земли, рубаха у Кругляка затрещала, и тогда он оттолкнул Сережку, ловко приподнимаясь и уже замахиываясь, но Иван, который встал еще раньше, бросился к нему, ткнул раскрытой ладонью куда-то в шею, и Кругляк снова сел, точно так же опираясь руками чуть-чуть позади себя.

— Ладно, Вань, запиши за мной,— как будто попросил очень тихо.

Иван увидал вдруг, как Леха Пакин смотрит на него жадными,

ждущими чего-то глазами... Когда взглядом встретился, Леха улыбнулся жалко и, отворачиваясь, закричал нарочно дурашливым голосом:

— Седни еду — толпа! Че, спрашиваю? Шофера задавили! А я, говорю, думал — человека!

Иван повернулся и пошел к машине.

Остаток смены он жал на газ, пугая встречных то ли скоростью, то ли видом черного своего, заострившегося лица. На насыпи разворачивался так стремительно, как будто испытывал тормоза.

Ко всему другому вспоминал он теперь еще и колючие глаза Кругляка, думал с беззаботным отчаянием: «А мне теперь все до кучи».

С Федей, напарником, они работали в эти дни по полторы смены, но сегодня он еле выдержал и одну...

Около гаража было пустынно, но перед «капе» он все равно сбавил скорость, потом увидел, что в воротах поперек дороги лежит какая-то длинная штука — то ли доска, то ли еще что, — и притормозил перед ней...

Лежала обтянутая снизу красной материей длинная деревянная рамка, и он вдруг понял, что это; наклонился к лобовому стеклу и поднял глаза на металлическую арку над воротами. Лозунга на ней не было. «Ага, — сказал он себе, — работайте и живите, как водители комбригады Круглякова».

Выходить ему не хотелось. Он постоял еще, снова припоминая ту весеннюю ночь, когда они закончили бетонировать пенек на доменной печи.

...Поселок спал, только светились тускло высокие окна подъездов, а по обе стороны бетонки уже были натянуты новенькие бечевки, ограждение, за которым будет толпа стоять, когда здесь, по центральной улице, одна за другой пойдут сегодня майские колонны...

И они, до этого громко хохотавшие, почему-то притихли, как будто почувствовав общую тайну, только кирзачи да тяжелые ботинки глухо бухали в бетонку, а каждый из них и кепку поправил и как будто расправил плечи, а перед пустынной трибуной, за которой сырой ветер трепал флаги, Юртай выкрикнул шутовлю:

— Да здравствуют водители... Западной автобазы... ветераны стройки!

И они заорали «ура» на весь поселок, давай, братцы, уже праздник, а вперед выскочил теперь Митька, останавливая каждого рукою, как будто расставляя их полукругом, и вдруг ударил себя ладонью в грудь — нет, он грудью, рванувшись вперед, ударил о ладонь — и тяжелыми ботинками застучал медленно и четко, все быстрее и быстрее, руки замелькали, захлопали, заходили плечи, и над ними гордо покачивалась на кадыкастой шее черная Митькина голова...

А они стояли вокруг Митьки, положив руки друг другу на плечи, словно обнявшись...

Было — не было?

В коробке скоростей заскребло, «ЗИЛ» тронулся...

Поставил машину, заглушил и остался сидеть, держа руки на бананке и думая о том, что сегодня снова будет он лежать без сна рядом с Настей, говоря ей про себя: «Ну что — жили мы с тобой, Насть, хорошо, помнить я тебя всегда буду, а теперь — пора и честь знать...»

НЕСТЕРОВ. Увидел сегодня на шлаковых Афанасия Старкова и опять вспомнил историю с его новосельем...

Об Афанасии я написал тут первую свою зарисовку. Дядька он действительно отличный, а в зарисовке, разумеется, и вообще был по всем статьям герой.

С тех пор прошло, может быть, всего дней десять, и вот бегу я к

себе домой и вдруг вижу: навстречу мне идет Афанасий, и в одной руке у него большой чемодан, а другою он прижимает к боку гармошку. За ним шагает жена с огромным узлом на плече, потом трое детишек, все мальчишки, и передние несут какие-то сумки и корзины, а последний, самый маленький, прижимает к груди зеленый ночной горшок с крышкой.

Лицо у Афанасия хмурое, дальше некуда, и у всех остальных тоже, даже у малыша с горшком взгляд вроде бы до крайности озабоченный. Но сперва-то я этого не заметил. Встретились мы как раз около моего подъезда, и я радостным таким тоном спрашиваю:

— Куда это?.. Квартиру, наверно, получили? Поздравить можно?

Афанасий поставил чемодан на землю, на него гармошку определил, полез за папиросами.

— «Знатный экскаваторщик!.. Герой пятилетки! Труженик передовых рубежей!.. На него, понимаешь, равняется коллектив...»

Все больше распаяясь, долго еще цитировал мой очерк, а потом на самой высокой ноте закончил:

— А как квартиру — так вот!

И сам себе показал большой кукиш.

Мне было так неловко, словно это по моей вине Афанасию не дали квартиру. Стал расспрашивать и тут понял, что он должен был поселиться в том доме, который решили целиком отдать под общежитие для демобилизованных солдат. Объясняю ему, а он за свое:

— Сколько ждал и еще потерпел бы — только чтобы без брешей. Дашь — дашь. Нет — нет. А то председатель постройкома божился: сегодня. А я хозяйке говорю: до такого-то у тебя живем. Она уже и новых квартирантов нашла. И ребятам своим сказал. Должны сегодня на новоселье прийти, а куда?

А я стоял и мучился: у меня была квартира, в которой я жил пока один, и получил я ее сразу, чуть ли не в первый день, мне даже позволили этаж выбрать — по молодости я выбрал тогда пятый.

— Афанасий Иванович! — говорю ему. — А давайте пока ко мне... Сколько надо поживете, а там видно...

Он задумался:

— А ты?

— Что ж, у меня друзей нету?

— Да, понимаешь, если бы не детишки...

— В том-то и дело.

Он обернулся, глядя на жену:

— Как ты, Галь?

В общем, привел я их домой, забрал свой блокнот, за которым шел, и с легким сердцем побежал обратно в редакцию.

Вечером пошел к Женьке Миронову, но он где-то задержался, а дверь почему-то была закрыта, и я остался на площадке около дома — поиграть в волейбол. Потом похолодало — был уже конец сентября, — и я решил, что надо, пожалуй, сходить домой за курткой.

Издали еще услышал гармошку, песни с присвистом. Гляжу — окна в моей квартире настезь и там дым коромыслом. Человек слова, Афанасий Старков новоселье справляет.

Поднимаюсь вверх. Дверь открыта, в коридоре теснятся уже подвыпившие ребята, курят, анекдоты травят. Меня не замечают. Может, мне надо было спокойно себе пройти, да и все? А я остановился на пороге и стучу в раскрытую настезь дверь.

Кто-то обернулся:

— Чего, парень, гремишь?

— Забыл, — говорю, — тут куртку, хочу взять.

— Куртку? Какую куртку?

- Вельветовую.
- Тут началось:
- Чего он, Петък?
- Куртку забыл...
- А он был тут?
- А я откуда...
- Ты его видал. Саня?
- Не-а! Таких не было.
- И я не видал.
- Не, ты понял — куртку!..

Один пробрался сквозь толпу и спокойно так и рассудительно говорит:

— Слышь-ка, парень. Мы тут с улицы гулять зазывали. Потому стройка — все свои. Если ты хочешь выпить — пожалуйста, заходи. Гостем будешь. Но это... понял — химичить!..

И поднял вверх палец.

А стоявший ближе всех ко мне, с осоловелыми глазами, икнул и мрачно спросил:

— Че мы с ним, Ленък?

И захлопнул перед моим носом дверь. И потопал я вниз.

Почему-то мне не захотелось снова искать Женьку, и я повернул за дом, перешел через дорогу и потащился в сопки. Забрался наверх, сел на траву, обхватил руками колени.

Солнце уже село, догорал закат, сгущались сумерки. Из березовой рощи на поселок напознал синеватый туман. Зажигались в окнах огни — больше, больше...

У меня тут как раз все последние дни настроение было грустное. Писем от друзей не было... А тут появился повод почувствовать себя совсем одиноким и вконец обиженным — не пустили, видишь, в собственную квартиру...

И я попытался было пожалеть себя, но потом вдруг рассмеялся и так и сидел, глядя на поселок и на свой дом, и, как дурак, ржал и был почему-то счастлив.

Фонарь «летучая мышь»

1

На зорьке Нестеров услышал, как далеко и близко на разные голоса кричат петухи, и улыбался тихо и чуть насмешливо, зная, что крики ему только чудятся, что они отголосок тех ласковых и мирных снов, которые зачастили к нему в последнее время. Все ему снилось то совсем раннее утро дома, в станице, когда он встал еще затемно, чтобы идти на рыбалку, и вот идет по своей улице мимо сонных домов и хат, а впереди едва светится размытый легкой синью зыбкий рассвет. То снилась ему вечерняя тишина, и далекие зарницы, и сверчки... ничего не происходило в таком сне — сам он будто бы сидел на теплых от дневного жара каменных ступеньках, а кругом было очень тихо, сгущались сумерки, безмолвно полыхали синие зарницы, и в грядах мерно позванивали сверчки.

Так же и теперь — ничего не происходило, просто было благостное раннее утро и на разные голоса кричали по дверам петухи.

Он проснулся, сунул руку под подушку, где лежали часы, и тут же зазвонил телефон.

— Спасибо, Поленька, — сказал, пристраивая трубку около уха. — Вот видите, а то бы я и точно проспал.

И в это время снова закричали за раскрытым окном петухи, один, потом другой, кукарекали хрипловато и тоненько, и у него брови поползли вверх.

— Слушайте, Поля, а что это кругом петухи кричат, а? Вам не слышно?

Поля тихонько рассмеялась у себя на коммутаторе, потом он снова услышал певучий ее голосок:

— А вы разве не видели вчера, петушков давали? Эти, из Байдаевки, привозили. Вся стройка за ними стояла.

— А, да, верно,— сказал он, и в самом деле припоминая, что шел вчера мимо большого автофургона, около которого толпилась очередь. За прилавком поворачивался толстяк в застиранном халате, кричал веселым баском, подавая вниз белых птиц: «А ну-ка, бабоньки, а ну-ка, труженицы авдеевские, налетай на витамины, на молодую курятину, а то, понимаешь, одних рахитов тут и рождает!»

Нестеров положил трубку, нащупал ногами тапочки и пошел к балкону.

Над поселком еще висел сизый туман, было зябко, но березняк на горе уже просвечивал розовым.

А на балконах и в его доме и напротив, хлопая крыльями, прочищали горло коротко привязанные к решеткам белые петушки, бились и покрикивали в картонных или фанерных ящиках.

Он улыбнулся, жалея, что это ненадолго, самое большее небось до ближайшей субботы. «Надо было и мне купить, и я бы его прикармливал,— подумал,— а он бы мне кричал... А что, может, попросить, у кого два или три?»

Пошел на кухню и включил плитку, чтобы она пока грелась, а сам снова сел на тахту и, натягивая на грудь еще теплое одеяло, взял трубку.

Он только сказал: «Поленька...» — и она откликнулась:

— Травму? Соединяю.

В отделении трубку взяли не сразу, санитарочка, видно, спешила издали, сказала, запыхавшись:

— Это вы, Валя? Утро доброе! Можете не волноваться — сегодня все в порядке.

— Сознание не терял... не забывался?

— Нет-нет, сегодня он молодцом. Тут Глеб Васильевич около него.

— А, да, сегодня Глеб Васильевич.

— Анекдот ему, говорит, рассказал, и он, Женя, даже улыбнулся.

— Проснется — привет передавайте. Пару добрых слов, ладно? Скажите, вечером забегу. Вы уж извините, что я так рано — потом к вам и не прорвешься.

— Да что вы, что вы! Очень хорошо.

«Оч-чень хорошо!» — повторил Нестеров, идя на кухню, чтобы поставить на плитку чайник.

Беда случилась три недели назад, и он так и не мог понять до сих пор, кто же в ней виноват, тут только одно было сразу видно: все произошло из-за этой всеобщей спешки.

...В тот день была оперативка, проводил ее начальник главка Крестов, а этот когда глотку раскроет, то крик его можно услышать и в редакции, на другом конце коридора, и они так и говорили между собой: кто сегодня ведет — Крестов? Ну, отлично, тогда можно не ходить, можно и здесь, в редакции, посидеть на диване.

А у Женьки Миронова с Крестовым отношения сложились особые. Несмотря на то, что среди сидящих на этих «горлодраловках» начальников участков был он, пожалуй, самый молодой, кричать он на себя не позволял, и, когда Крестов тяжелым своим кулаком начинал доламывать трестовскую мебель, разнося Стальконструкцию, Женька мог спокойно сложить в папку графики, подняться и уйти. Удивитель-

но — Крестов почему-то с этим мирился. Или просто никто другой не пробовал поступить точно так же?

В тот день бригада Любастина с Женькиного участка закончила врезку труб к водонапорной башне, а сделать обратную засыпку гидростроевцы не успели. Когда Крестов перед оперативкой обходил объекты, они отговорились тем, что до сих пор не получили фронта, и начальник главка навалился на Женьку: почему? Женька спокойно сказал, что монтаж закончен. Тот грохнул по столу кулаком:

— Очковтиратель!.. Лгун!

Нестерова не было на той оперативке.

Рассказывали, Женька встал и сказал как можно спокойнее:

— Сейчас я пойду и проверю: может быть, врезку почему-то размонтировали?.. А если нет, тогда мы с вами поточней выясним, кто из нас очковтиратель и кто лгун.

И Крестов, хорошо уже знавший Женьку, кинулся на начальника Гидростроя. Приказал начать засыпку немедленно.

Тот выскочил позвонить, отmaterил своих по телефону. И засыпку начали, когда Женька не успел еще вылезти из котлована, и вся беда в том, что первым делом бульдозерист столкнул вниз бухту стального троса...

Теперь дела у Женьки Миронова хоть медленно, да поправлялись. Самое главное, выжил и наконец в сознание пришел и потихоньку стал разговаривать, и память у него пропадать стала вроде бы все реже и реже.

Когда Миронов жил на камфоре да кислороде, Нестеров всегда начинал свой день со звонка в больницу. Теперь Женьке получше, но звонить утром Валька не перестал — сестры уже привыкли, если у Миронова порядок, они всегда передают ему, что Нестеров звонил, может быть, это хоть чуть-чуть, да поддерживает его, как знать. «Ну, а что ты все-таки решил со своими дамами? — спросил теперь себя Валька, складывая пополам резиновый гимнастический бинт и наступая обеими ногами на середину.— Что ты решил?»

Вчера, засыпая, он думал об этом: хорошо бы утром проснуться с твердым решением. Ты проснулся, а тебе все ясно! Но сегодня, проснувшись, он об этом, в общем-то, вспомнил, да тут же постарался забыть, будто время, когда решение должно окончательно созреть, еще не подошло. «Нет-нет, просто ты ничего так и не придумал. Что же мне делать, Дашенька?»

И он снова стал издеваться над собой — а ты хорош, ты не стесняйся, парень, чего там, ты подойди к ней и так вот, без всяких спроси: «Дашенька, понимаешь, ты уж прости, пожалуйста,— Катя из Москвы приезжает, старая моя любовь, так не могла бы ты, Дашенька, посоветовать: как тут быть?» «Ха-арош,— сказал он себе,— оч-чень хорош. Крепко же тебя, парень, взяла она, Дашенька, в руки, да это бы еще ничего, но в том-то и вся штука, что она тебе очень сейчас нужна, это так, а вот нужен ли ей, братец мой, ты?»

Не могла Катя, в самом деле, приехать на пару месяцев раньше! Да вот приехала бы она в апреле, сделала бы ему такой подарок на день рождения. И все пошло бы иначе.

Он представил себе Катю среди тридцати парней, которые собрались у него в тот вечер.

Какой бы улыбкой изредка она одаривала то одного, то другого, как расхаживала бы, а впрочем, где там расхаживать, это ведь не у нее дома, это здесь, а здесь тогда народу набилось, как селедок в бочке, он взял стулья у соседей, и снова пригодились эти доски с балкона, а потом отличился корреспондент «Известий» Рукавишников, как его все зовут — Тихоныч. Этот трудяга, ясно, сам принес снизу от

магазина пару пустых ящиков, вынул из своей «Волги» сиденье, и получил диван, на него потом и посадили девчат, которых притащил из общежития Зубанов, начальник комсомольского штаба.

А началось-то с Вальки, это он опытным глазом окинул тогда застолье — и великое множество бутылок разного цвета и разного калибра, и столовскую тощую закуску, и снимающих галстуки и засучивающих рукава, ладонью о ладонь потирающих своих друзей, у которых все было написано на лицах, — оглядел и с тоской в голосе сказал:

— Ну, представляю, что тут будет... без женщин!

И тут Зубанов крикнул:

— А хочешь, один момент — и три молодые феи... Очень милые девчата, на днях одну работу хотел с ними провести...

И Валька, загребая к себе рукой, показал: тащи!

«Феи» и в самом деле появились очень быстро, они уже на танцы собрались, а тут и захватил их Зубанов.

Хотели рассадить среди ребят, да где там, они в прямом смысле держались друг за дружку, и тогда Тихоныч стал очень вежливо усаживать их всех вместе на этот «диван», который только что устроил из автомобильного сиденья да ящиков...

А потом все пошло своим чередом, только покашливали за столом или друг друга поталкивали чаще обычного, потому что девчата были и в самом деле совсем молоденькие, очень милые и одна красивей другой.

Народ уже стал рассасываться по углам, ребята, собравшиеся на кухне, то и дело захлопывали дверь, но она все отходила, и из-за нее каждый раз вырывался гогот.

Иногда поглядывая на девчат, Валька видел, как то и дело наклонялся к ним Тихоныч, и они, ясное дело, давно уже почувствовали всю его рабоче-крестьянскую положительность и прониклись к нему доверием и перестали стесняться; а с другого бока за ними ухаживал Зубанов, то пробовал подлить вина, откуда оно только тут и взялось, то о чем-то горячо говорил, по привычке выбрасывая руку вверх, словно и сейчас он стоял на трибуне; и девчата уже раскраснелись, и Тихоныч постучал ножом по тарелке и громко заговорил:

— Должен вам сказать, что в своем строительном техникуме в Новочеркаске... девчата пели в хоре, и сейчас они уступили нашей просьбе — мы со Славой Зубановым попросили их спеть...

Девчата засмутились, наклоняясь одна к другой, запереговаривались, потом наконец запели, и тут как-то получилось, что Валька с Тихонычем поменялись местами, и тот уже сидел рядом с начальником Стальконструкции Сергеем Дранишниковым, уже расспрашивал, будет ли в срок оборотный цикл, справятся ли монтажники, — настоящее интервью для «Известий», он такой, этот Рукавишников. А Нестеров, наклонившись над столом, во все глаза глядел на среднюю гостью, и когда они замолкли и опять засмутились, поймав взгляд этой, средней, радостно сказал:

— Послушайте, да у вас ведь великолепный кубанский голос — все интонации!

— А почему же он не должен быть кубанский, если я с Кубани? Валька еще ближе подался:

— Из какой же это станицы?

— Есть такой город — Белореченск.

— Я знал станицу Белореченку, — сказал Валька, ехидничая.

— Это было давно, а теперь город!

— А зовут вас, кажется, Дашенька?

— Пусть поют, что ты к ним пристал! — закричал Мелька Гешко,

собкор из областной.— Девочки, спойте ему «Скакал казак», а то он другой раз пытается нам изобразить, да выходит у него совсем слабо!

И они и в самом деле запели про казака, и Дашенька все поглядывала на Вальку, широко и открыто ему улыбаясь даже тогда, когда слова у песни пошли грустные,— вот, мол, специально для вас.

В конце и Валька им подтянул, потом они спели еще одну кубанскую, и он все радостно удивлялся мягкому голосу Дашеньки, который так знакомо начинал звенеть на верхних нотах — тут тебе и спевки у бабушки, и станица лунными ночами, и осенняя, с первой изморозью степь, и тихие печальные журавли.

В промежутках он сразу же наклонялся к Дашеньке, они начинали говорить, и почти каждому слову в такт она покачивала аккуратной головкой с толстой косой, поглядывала на него, смеясь, и от скуластенького лица ее с чуть вздернутым носом, тонкие крылья которого, когда она смеялась, вздрагивали, веяло такой свежестью и добротой, что Валька, поддаваясь им, сам начал и так же покачивать головой и словно бы похуже улыбаться.

А потом его, конечно, на подвиги потянуло.

В комнате уже давно дым стоял коромыслом, шумели, ничего не разобрать, и он, стараясь всех перекричать, предложил:

— Есть идея прогуляться! Ночь какая, а мы тут, а?

Зубанов первый его поддержал, всех сагитировал, мобилизовал, это он умеет, но, проходя мимо Нестерова, тихонько сказал:

— Провокатор! А она ничего.

Вниз по лестнице, увлекая за собой Дашеньку, Валька бросился первым, и она удивленно спросила:

— А дверь?

— А я никогда не закрываю.

— Это почему же?

— А может, кто придет, мало ли,— громко говорил он, прыгая со ступеньки на ступеньку.— Пусть сидит, ждет, чай кипятит.

Они торопились, а за ними (бедные Валькины соседи!), разговаривая, напевая, споря, крича и топая, скатывалась компания, и лестница гудела, перила вздрагивали.

А внизу Валька увлек Дашеньку под лестницу, где был спуск в подвал.

— Куда мы? — спросила она, удивившись.

Но Валька только палец к губам приложил:

— Тс-тс!

Дашенька спросила:

— А мы их потом найдем?

— А куда они денутся? — успокоил ее Валька, но тут же, будто задумываясь, проговорил: — Я только вот что: пожалуй, вы правы... Надо бы дверь замкнуть, а?

Дашенькина ладошка дрогнула у него в руке.

— А мне... можно вас не бояться?

— Это земляка-то? — укорил Нестеров.

Теперь он первым поднимался вверх, и сердце у него билось.

Потом надо было, конечно, поискать в комнате ключи, потом посмотреть, какой из окошка великолепный вид на гору, где в синей апрельской ночи кто-то жег маленький, но очень яркий костер, потом...

Потом Дашенька сказала:

— Нет-нет, убери руку... так нельзя!

Валька удивился хриловато:

— Такую малость... и нельзя?

— Да, нельзя!

— Не могли бы вы... э-э... сказать, почему?

— Да хотя бы постеснялся постороннего человека.— Дашенька кивнула на тахту.— Который там спит.

Нестеров быстро обернулся. На тахте вниз лицом лежал Костя Аристов.

— Какой же он человек, Дашенька? — Он попытался придать своему голосу побольше равнодушия.— Он алкоголик. Не пошел домой, потому что жена ему все равно уже не откроет... его теперь пушкой...

А Дашенька дрогнувшим голосом спросила:

— Опять?

И все-таки, пожалуй, она немножко пообнималась с ним, сидя на подоконнике и вроде бы безразлично болтая ногами, так, самую малость, потом начала вырываться, но он держал ее крепко, неловко поцеловал раз и другой, и тут она, как будто перестав сопротивляться, мгновенно поднесла ладони к его лицу, коротко царапнула и сама жалобно всхлипнула, а он отпустил ее, этого еще не хватало!

Пошел в ванную, где у него висело зеркало, и включил свет.

По щекам шли багровые, с капельками крови около глаз полосы...

Он все смотрел на себя обиженно, когда в зеркале увидел виноватое лицо Дашеньки; она сказала тихонько:

— Ой, как это у меня получилось, ну надо же!.. Правда, я и сама не знаю, испугалась, наверно, это тебя бог наказал, вот что!

Вальке вдруг стало очень весело — давненько он не ходил с поцарапанной физиономией,— и он подмигнул Даше в зеркале, и она сказала:

— Я бы пошла, да мне просто неудобно такую грязь тебе в квартире оставлять... Если не обижаешься, давай приберем?

Валька нашел ей не очень, надо сказать, чистый фартук, и они ходили друг за другом, собирали со стола посуду, носили на кухню, и как раз, на удивление, вода пошла, и Дашенька мыла тарелки, а он рядом стоял с краем полотенца на плече, вытирал, и она похваливала его, говоря, что вот как хорошо, когда в доме порядок, а то завтра ведь воскресенье, гости наверняка придут снова — что бы они увидели?

Когда они все убрали, она быстренько подмела и даже пол вытерла мокрой тряпкой, заставив Вальку покурить в это время на кухне, а когда все в квартире наконец блестело, сказала виновато:

— Я теперь не пойду — что обо мне комендантша подумает? Давай тут тихонечко вздремнем, ты здесь, а я там.

Они сели за длинный пустой стол, который Даша застелила сверху газетами так, что не стало видно пятен, она на одном конце, он на другом, оба положили головы на руки, иногда поглядывая друг на друга, Валька — насмешливо, а Дашенька делала строгие глаза.

Потом он незаметно уснул, а когда проснулся, Дашеньки уже не было, в окно светило яркое солнце, а по комнате расхаживал Костя — теперь почему-то в одних трусах,— поглаживал себя по большому животу, говорил так, словно мурлыкал:

— А я уже пр-пропустил одну — по-купечески!

Стали вдвоем накрывать на стол, начали потихоньку собираться ребята, и каждый, увидев на Валькином лице царапины, первым делом отпускал какую-нибудь шуточку позаковыристей, каждый интересовался, не напрасно хоть пострадал, а Валька, посмеиваясь, отмалчивался, а потом, когда все уселись, Костя Аристов постучал ладонью по столу:

— А теперь я скажу. Конечно, он меня алкоголиком обозвал... Сказал, что из пушки не разбудишь. Еще кое-что...

И Костя почти слово в слово стал повторять не очень, конечно, разумные Валькины речи: да как же, Дашенька, да мы ведь оба ку-

банцы, земляки, ну зачем же бить по рукам?.. Парни хватались за животы.

— А как они трогательно мыли потом посуду!

И комната снова дрожала от смеха, не было ему конца, славный у них тогда получился мальчишник...

Наутро, в понедельник, Валька долго стоял у зеркала, медленно соображая, как бы поправить дело, да что ты тут придумаешь, совсем свежие царапины...

Несколько дней он пытался не попадаться на глаза начальству, то есть какое у него начальство, он сам себе тогда был шеф, просто он не хотел, чтобы его увидал секретарь парткома Банников, но тот как-то вечером заехал в редакцию, сказал, как всегда немного с ехидцей:

— Если Нестеров не идет в партком... значит, партком идет к Нестерову... Домой поедешь? Давай в машину, пока я добрый.

— Да-да нет, посижу еще,— гнул над столом Валька.

Но тот все равно увидал.

— Женить бы тебя, что ли? — спросил, как будто и в самом деле серьезно раздумывая.

— Комсомольскую свадьбу сыграли бы,— в тон ему сказал Валька.

И Банников прищурил хитроватый свой глаз:

— А что? — Засмеялся мелко, повел головой и слезу вытер в уголке глаза.— Нет, комсомольскую — ну ее к шутам. Слушай, почему они у нас потом расходятся?..

С Дашей они встретились как старые знакомые. Валька в кино ее пригласил, потом к Миронову пошли они вместе на день рождения Андрюхи, Женькиного сына, и Дашенька очень понравилась бабе Доре, Женькиной матери, та отозвала Вальку на кухню, а там зацокала языком, зашептала:

— Цы-цы, ха-рошая девка... Видать, хозяйственная, не ветер?

— У-у! — сказал Валька.— Хозяйка мировая — и точно!

— Да-к чего ж ты теряесси?..

А у Вальки еще не было никаких планов.

Единственно чего он тогда хотел, и сам себе, пожалуй, в этом не признаваясь,— добиться все-таки Дашенькиной благосклонности, взять реванш за эти царапины, которые он полторы недели демонстрировал всему поселку. И добиться ее даже не в том смысле, в каком понимают благосклонность записные сердцееды, нет, он просто хотел заставить девчонку хоть немного поволноваться из-за него, помучиться — что ж, он совсем этого и не стоит? Нет-нет, что же это вы думаете, расцарапали Нестерову морду — и все дела?

В общем, как бы там ни было, а ухаживать за Дашенькой взялся он не без задней мысли.

А Дашеньке с ним, видно, было интересно, но в отношениях между ними она наметила грань, которую так и не удавалось ему перейти, и его это подзадорило, и про себя он посмеивался — дайте срок! — и мстил Дашеньке тем, что начинал ее потихоньку поддразнивать.

— Слушай,— говорил он голосом, чрезвычайно заинтересованным.— А ты, наверно, и вышивать умеешь?

— Умею,— простодушно подтверждала Дашенька.

— Да-а,— вздыхал Валька,— моя мама плакала бы от счастья, если бы у нее была такая невестка.

Но Дашенька не оставалась в долгу:

— А моя?

— Что твоя?

— Тоже плакала бы от счастья?

— Нет, — соглашался Валька, посмеиваясь, — конечно, в роли зятя я не был бы для нее особенно ценным приобретением.

Однажды она спросила его:

— А правда, что о н а... отдала тебе сына?

— Правда...

Выходит, на стройке уже все знают, что у Вальки растет сын.

— И он живет у твоей мамы?

— Да, в станице...

Дашенька хотела еще что-то спросить, но только вздохнула.

А потом этот нелепый случай на бытовках доменного цеха.

После обеда они всей редакцией сидели у него в кабинете, листали газеты, покуривали, когда услышали за окном нарастающий стремительно вой сирены, и Нестеров приподнялся и выглянул.

Мимо треста одна за другой бешено неслись машины «скорой», сигналили непрерывно, а из-за поворота вдалеке выкатилась еще одна белая «Волга» с синей полосой на боку, тоже тревожно вскрикнула и пошла, стелясь, вслед за первыми.

Нестеров снял трубку, ему ответила десятая, и он спросил:

— Марь Иванна, что там у нас стряслось — несколько «скорых»...

— Я толком не поняла: у отделочников, что ли, отравилась бригада.

— В столовой?

• — Нет, на работе, красками.

— А чья бригада?

— Они торопились, я не расслышала. Хотите, я вам медпункт?

И он закричал:

— Медпункт? Редактор вас, Нестеров... Чья бригада отравилась? Гомонова? А кто? Вся бригада?

У треста, как назло, не было ни одной легковой, и он побежал на противоположную сторону бетонки, тянул руку, другой проводя по горлу — мол, позарез! — но все с обеда ехали, в кабинах было битком, хоть цепляйся, и он уже начал отходить к выбоине, перед которой машины пригормаживали, чтобы и в самом деле прицепиться, но тут, спасибо, затормозил Ваня Братков.

Гнал он так, как только Иван гонять и умеет, но сзади их начала поджимать еще одна «скорая», Валька тоже, подавшись к баранке, увидел ее в зеркало, ему стало еще тревожней, а Иван слегка притормаживать начал, давая ей обогнать себя прежде, чем помешает встречная, и, словно оправдываясь, сказал:

— Кто его знает — может, они там нужней?

Валька знал, что Дашеньке надо еще три месяца отработать у Гомонова, это была у девчат какая-то обязательная после диплома стажировка в бригаде, на рабочем месте, и только после нее должны их назначить мастерами в том же СУ-1, у отделочников.

Ваня Братков сказал:

— Смотри!

А он уже и сам вытянулся на сиденье — машины «скорой» полукругом стояли около подъезда бытовок, а вокруг толпился народ.

Валька заработал локтями, его, узнавая, пропускали, он пробрался вперед и хотел было броситься в открытую дверь, у которой стоял знакомый милиционер, но там в глубине показались еще двое сотрудников, они вели под руки девчонку в рабочем, и та, поджимая ноги, повисала у них на руках, смеялась громко, но как будто не очень охотно, а на улице остановилась, пытаясь оттолкнуть своих провожатых, подняла вверх подбородок и вдруг, фальшивя, громко запела:

— Ех-халцыг-ган пэ с-силу верь-хом!

В толпе сдержанно засмеялись, послышались мужские голоса:

— Они в респираторах должны, а попробуй заставь...

— Законно, до конца смены хватит, а там протрезвятся — и хорош!

— А в городе случай был — дак двое померли.

И жалостливый женский голос:

— Ни стыда, ни совести — тише ты!

А мимо Вальки быстрым шагом уже шли санитары, на носилках у них, выгибаясь и мотая головой в клетчатом платочке, лежала молоденькая девчонка, ее рвало, и в толпе разом стихли, только головами покачивали, а из дверей снова то санитары выходили, а то свои, из соседней бригады, — вели, обнимая, девчат-маляров, и те кто смеялся, хохотал во все горло, а кто, сгибаясь, постанывал, кто пытался приплясывать, и Валька жадно всматривался в лица, от одного бросаясь взглядом к другому, и вдруг увидел Дашеньку: закинув ее руку себе на плечо, а другой придерживая за талию, Дашеньку вела пожилая санитарка, а та плакала навзрыд, все лицо в слезах, и растрепанные волосы падали на глаза.

Валька стоял, замерев, а они шли мимо, и санитарка успокаивала ласково:

— Н-ну-ну, деточка, все у тебя обойдется, все будет хорошо.

А Дашенька приостановилась почти напротив, вскинула голову и уронила ее, тут же снова зарыдала очень горько, и голова ее вздрагивала теперь на груди, Дашенька захлебывалась, и у Вальки мурашки поползли по спине.

Весь вечер он просидел потом в приемном покое больницы с бригадиром Гомоновым, и тот все бил себя ладонью по колену и говорил одно и то же:

— Ах, бляха-муха! Предупреждал же, что без маски нельзя — им все шутки! Надо ж мне было отлучиться!.. А вдруг теперь кто померет, а? — И в который уже раз принимался рассказывать: — Ты знаешь, какая она зараза, эта краска? Вот день поработаешь, потом с ребятами стакан водки врежешь, приходишь домой и так, для смеха, на жинку: х-хы! Чем пахнет? А она: отойди — краской! А раз в санаторию я приехал. Ну, вечером нас всех как раз поселили, а утром просыпаемся, сосед по койке и говорит: вот невезуха! Приехал в санаторию, а тут ремонт затевают — слышь, как краской! А я говорю: успокойся, краской, друг, от меня — маляр я!

Вместе они дождались, пока санитарная машина развезла по домам первых трех девчонок. Остальных в больнице оставили.

И Валька ночью телефон разбил, все насчет здоровья Свешниковой справлялся и чуть свет снова был в приемном покое — теперь девчата пошли одна за другой, но Даши все не было, и он бросился к подружке ее, к Алле, и та увидела его и заплакала:

— Ой, а ей и до сих пор тошно! Мы ж то перекур, то га-га-га, а она, трудяжечка, как пчелка, не разогнется — вот больше всех и наглоталась...

Он налил в стакан чаю и на серой оберточной бумаге стал было резать колбасу. В дверь постучали. Подняв бровь, он пошел открывать... Телеграмма?

На пороге стоял Сережка Листопадов.

— К-к вам можно?

— К нам можно, — улыбнулся Валька. — Чего это вдруг стал меня величать? Чай будешь?

— Спасибо, я уже.

— Раненько ты — уже.

— Извините, В-валя, я вчера к вам несколько раз приходил. Б-боаясь, и сегодня не застану... а для меня это очень важно.

Мальчишка, видно, волновался, он странно как-то спотыкался на слове, и светлая его бороденка дрогнула, и дернулся под нею кадык, как будто Сережка что проглотил.

— Тем не менее я буду чай пить,— предупредил Валька.— Позволишь? А ты закуривай и...

— Я издалека начну. Видите, я очень много д-думал последнее время, привел все, если м-можно выразиться, в систему.

— Чарльз Дарвин,— сказал Валька, жуя колбасу.

— Тогда уж К-карл Линней! — охотно поддержал Сережка и немножко расслабился, перестала вздрагивать светлая его борода, лицо стало мягче.— Вы, конечно, не помните, у вас была такая статья — «Четвертое правило бригадира К-круглякова».

— Предположим, помню.

— Вы тогда еще п-приходили к нам в класс, когда наша бригада... то есть... тогда бригада Круглякова была у нас в шефах.

— Да как же, мама твоя еще просила у меня фото.

— И вы отдали ей такую металлическую пластинку.

— Клише.

— ...А там за баранкой я и К-кругляков.— Сережка несколько раз жадно затянулся, и кадык его снова стал дергаться.— Вы знаете, к-кем были тогда для меня эти ребята? Они придут в класс, а я раскрою рот и сажу. А они... п-понимаете, мне казалось, что они такие честные, н-не то что... Г-гордые, ну, с-свободные, что ли, ребята. В общем, однажды я сказал дома... что у меня есть такие д-друзья. Это в девятом... А отчим говорит: вот-вот, двойки будешь хватать — к ним в бригаду и пойдешь работать, больше к-куда? Тогда я г-говорю: а я это и сегодня могу сделать... и сделал.

— Вот ты почему — в общежитие?

— Да, в общем, не только... Тут к-как-то все сразу навалилось. Он маму оскорбил, а она простила ему — из-за меня. Она ему слишком м-многое...— Глаза у Сережки погрузтели, но снова оживились.— А знаете, несмотря ни на что, я и теперь об этом не жалею! По крайней мере, я м-многое понял. А сначала — что вы! Да я был на седьмом небе! Хоть «зилек» битый, да разве ребята не помогут? Они мне его втроем почти и отремонтировали — Ваня Братков с напарником да К-кругляков. А я несколько раз даже ночевал в кабине, так было... интереснее, что ли, да и не в этом дело — работа! Ох, мы т-тогда и работали! И вранья этого не было, к-какое сейчас. Разве это обязательства — сплошная туфта! И разве к-комбригада — сплошной мат? Я не чистюля, правда, ладно бы — грубости, но д-доброты нет, ничего...— Потянулся к Вальке за сигаретой, прикурил у него, потом по-шоферски быстро затянулся.— Я не знаю, как это вам... Н-ну, Марина Ефимцева, вы знаете ее.

— Ч-черт,— сказал Валька, тоже невольно заикнувшись, и отставил стакан с чаем.— Я ей пацаненка обещал в садик устроить. Глупое положение: у нас в редакции уже свой список — кому, понимаешь, помочь в первую очередь.

— Вот с этим как раз ее сыном... Куда его? Отдаст ребятам — они его и катают.

Сергей рассказывал, снова заволновавшись, а Валька глядел на него, как будто заново узнавая и как бы оценивая все то, что знал о нем раньше да что услышал сегодня, и выходило, что мальчишка — молодец, правда, как же он, Валька, раньше-то этого не понял? Сколько они в одном доме жили, сколько потом встречались на стройке —

казалось, он всех кругляковских ребят, как самого себя, знал, а вот поди...

— У меня друг есть, учились вместе,— продолжал Сережка.— В институт одного балла не хватило, в Новосибирске, пока устроился там на обувную фабрику. И вот, пишет, собрание у них, начальник цеха стыдил всех за воровство, а потом шли они вечером с одним другом — видят, человек валяется, пьяный. Стали подбирать, а это их начальник. Пальто у него расстегнулось, а под ним он весь хромом обмотан. Вот друг этот мой и пишет: как мне теперь у него работать? Я, пишет, добрый сейчас, я сам это знаю, и честный я человек. И я вижу, как этим пользуются,— вы понимаете? А это обидно, и временами я... Временами, говорит, я думаю: а какой же я, должно быть, стану сволочью, когда мне надоест, чтобы моей д-добротой кто-то... пользовался.

— Задаешь ты мне задачки,— сказал Валька, вздыхая.

— А я не хочу в сволочи, не х-хочу... выходит, зря я... в бригаду пошел. Отчим прав: вырастешь — все поймешь. Выходит, так? А я не хочу. И я взял вчера, и... наш этот плакат, всю эту п-показуху...

Он поднял руки и опустил их рывком — как будто что бросил, но Валька не понял, переспросил:

— Что-что?

— Ну, этот плакат на воротах автобазы: живите и работайте, как бригада Круглякова! — Бородка у Сережки снова затряслась.— Стал на к-кабину, отвязал — он проволокой б-был такой прикручен...

Нестеров смотрел на Сережку и не знал, что сказать. Ясно одно: парень за справедливость борется. Другой вопрос: как?

— Лихо ты...

— Т-теперь начнется! А я иначе не мог.— Сережка виновато улыбнулся.— П-понимаете, Валя, у меня отпуск со вчерашнего дня. Выпускные экзамены. За десятый.

— Ты хоть тут поднажми.

— П-позади Москва! — повеселел Сережка.

— А с этим плакатом... ты человек рабочий. Не мне тебе объяснять, сам знаешь, что показухи пока хватает.— Валька раздавил в пепельнице окурочек.— Вообще-то я давно собирался заняться вашей бригадой. Только начать, признаться, хотел не с этого...

— Мне надо было сказать вам. Чтобы не подумали, будто я тайком это... исподтишка...

Из дома они вышли вместе, и у подъезда Валька хлопнул его по плечу и еще подтолкнул слегка, будто одновременно и напутствуя и отправляя в другую сторону, а сам заспешил к общежитию, где жила Даша, потом вспомнил: Сережкина мать, да отчим, да меньший брат живут в его доме. Что, может быть, Сережка завернет к ним?

Он обернулся, глядя Листопадову вслед.

Подняв воротник куртки и сунув руки в карманы, тот медленно шел мимо дома, вот и свой подъезд уже миновал и даже не взглянул вверх...

Около дома, в котором жила Дашенька, стоял самосвал, пофыркивая на малых оборотах, и Валька улыбнулся, ишь ты, наверное, какой-нибудь ухажер из демобилизованных... Это у них привычка пораньше встать, быстренько дотопать до автобазы пешочком или на первом служебном доехать, чтобы потом к половине седьмого — к семи с шиком подкатить к общежитию и успеть зазнобу свою отвезти на работу, галантные, черти!

Он стал, привалившись плечом к холодному углу дома, и только одним глазом из-за него посматривал: а то начнут сейчас с ним здоро-

ваться да невольно улыбаться и знакомые и незнакомые каменщицы да малярши.

Когда вышла наконец Дашенька, он уже готов был шагнуть из-за своего укрытия, как вдруг увидал, что дверца в кабине самосвала открылась будто бы Дашеньке навстречу, а та и в самом деле шагнула к машине, легко вскочила на подножку.

Как это вам нравится, Валентин Степанович?

Он медленно пошел от общежития, не маскируясь, деловой походкой, и на лице его, он ощущал, плавала тихая и глупая улыбка.

Говорили тебе ребята, давай машину пробьем для редакции, так нет же!

Хорошо, что Банников еще не уехал — голубая «Волга» стояла у его дома, — и Нестеров прибавил шагу, увидев, что Банников уже идет к машине.

«Волга» попетляла между домами, пробираясь к бетонке, потом пошла параллельно ей по асфальтовой дороге, отделенной нешироким газоном с протоптанными вкривь и вкось черными тропинками, и Банников, сидя к Нестерову вполоборота, поглядывал вбок, словно ожидая, не поднимет ли руку, не побежит ли кто от длинной и почти непрерывной толпы, которая тянулась вдоль бетонки, а когда они миновали наконец последний квартал, то и совсем повернулся к Вальке.

— Министр, слушай, приезжает.

— Только его нам и не хватало, — сказал Валька. — Начальства всех рангов помельче у нас уже хоть пруд пруди.

— Так оно всегда перед пуском и бывает, — рассудил Банников, пытаясь и Нестерова тоже примирить с этой особенностью.

Но тот не сдался, нарочно грубо сказал:

— П-пенкосниматели!

— Это не критика, — укорил Банников.

И Валька в тон ему продолжил:

— Это приклеивание ярлыков.

Валька и сам знал, что все эти замы, помы и начальники главков не только под ногами болтаются, но и дело здесь делают большое, попробуй сейчас кто-нибудь сорви поставки, если тут чуть ли не весь Совмин... Он все это знал прекрасно, но так уж у них с Банниковым сложились отношения, что в разговорах Валька всегда вроде спорил, но происходило это вовсе не оттого, что он отстаивал перед ним свободу мнений, нет, Банников как раз на нее и не посягал никогда, и как бы в благодарность за это Валька чувствовал себя обязанным говорить с ним только открыто и только искренне, и иногда, пожалуй, немножечко перехлестывал, и Банников это понимал, и брал, наверное, на это поправку — потому в такие минуты поглядывал на Нестерова, как и сейчас, с хитровой усмешкой.

Но нынче Валька решил не сдаваться:

— Хорошо, если бы министр приехал в дождливый день.

Банников поймался:

— Это почему?

— Да чтобы поливалки не забрали со шлакового.

Саня, шофер Банникова, сказал, слегка поведя глазом на Вальку:

— Знаете, как ребята шлаковый называют? Курская дуга!

Банников, видно, еще не слышал, покачал головой:

— Ишь ты, ни больше ни меньше!

— Да там ведь на самом деле, — подтвердил Валька. — Земля дрожит... рев! Пылища — ничего не видать! А поливалки все мотаются по бетонке от города до поселка, все перед начальством дорогу моят.

- А там ничего так-таки не остается?
- Убей меня бог, Георг Миронович, — ни одной!
- Ох, доберусь я до них, — помрачнел Банников.

А Нестеров подумал: «Вконец старика задергали, а тут ты к нему со своим шлаковым отвалом, в самом деле, пристал, будто с ножом к горлу, от тебя девчонка укатила, а ты хорошему человеку настроение портишь — разве не так?»

Саня притормозил около бытовок доменного, и Банников, не обращившись, сказал:

- Станция Березай.

В третью смену теперь вокруг домны прибирали мусор и подметали, было чисто и пустынно в этот час — и как будто одиноко. Нестеров прошел под черными, еще не взятыми в изоляцию толстыми трубами, которые тянулись сюда с паровоздуходувки, и, как всегда почему-то пригибаясь, пересек огороженную веревками площадку под гигантскими банками пылеуловителя, по форме похожими на те штуки, из которых в магазине наливают яблочный сок или вино, выбрался на бетонную дорогу и остановился перед рельсами, сильно задрав голову и глядя вверх.

Здесь, на земле, было безветренно и тихо, и в глубине конструкций и за черными боками металлических кожухов еще прятались синеватые утренние тени, а там, на верхушке домны, крошечный снизу флаг упруго трепетал в напряженном безмолвии, и полотнище его уже было подсвечено солнцем. Окруженная металлическими лесенками и легкими площадками и как будто поддерживаемая с двух сторон замершими около нее кранами, домна была похожа сейчас на ракету, которую готовили к старту, и Валька в который уже раз подумал, что домна в каком-то смысле — родительница ракеты, некое ее первоначало, давшее человеку чугун — основу прочности, но вот поди ты, ракету любой пацан нарисует тебе на асфальте, а многие ли взрослые хотя бы в общих чертах изобразят домну?

«Ах ты, — подумал он, — странное, неуклюжее чудо, железная великанша, вот я теперь у твоих ног словно муравей, да только я ведь не раз и не два стоял тут, когда тебя еще не было, — представь себе, кругом ничего, кустарники, да болотца, да рыжая глина, у меня хрупкий человечек из этой глины стоит на письменном столе, я слепил его пять лет назад, насколько он тебя старше! Я шел тут весной и совсем измучился, никак не мог стряхнуть с сапога тяжелый ошметок глины, а потом остановился, отодрал его и не стал выбрасывать, а слепил человечка, вот как было дело, ты правильно пойми, просто я хочу сказать, это мы с ребятами тебя здесь вырастили потихоньку, понимаешь, день, два, а потом год, и два, и пять лет, сначала — ничего, а потом из сердца тебя не вырвешь, странно, что в сердце может поселиться такая вот железная, неуклюжая, такая красивая, как ты, великанша!»

И, все это сказав про себя, пока глядел вверх, Валька теперь наклонил голову — как будто, окончив речь, слегка поклонился, и тут же украдкой оглянулся, но вокруг еще никого не было, пересмена не началась, и он улыбнулся, переходя через рельсы, и затопал по крутой лестнице, ведущей на литейный двор.

Здесь тоже было прибрано и было тихо, и под высокой крышей еще таился полумрак, кое-где косо прорезанный неяркими полосами света.

На самой домне никого не было видно, но около пушки внизу сидели монтажники, курили.

Высокий и худощавый Толя Долженкин привстал с деревянной плащки, вытащил из ящика, на котором сидел его сосед, связку брезентовых рукавиц и молча бросил на бетонный пол перед Валькой.

Валька, приминая их, присел.

— Вижу, разбогатели. Еще старых не сносили, а уже эти...

— Да вот, елкин дед, — усмехнулся Долженкин, — в том и дело. Руками нам сейчас делать вроде и нечего, тут головой надо!

Сосед его швырнул окурки в доменную пушку, которая стояла напротив.

— Ага, совсем нечего! По пять раз одно и то же собираем да разбираем!

— А что ты, елкин дед, предлагаешь? Бугру на поклон?

И Валька наклонил голову и тоже задумался. С бригадиром своим, с Громаковым, ребята не ладили. Тот — опытный монтажник, волк старый, бригада у него раньше была хоть маленькая, да зато один к одному хлопцы; когда демобилизованных солдат в управление подвалили, сами все пошли бригадирами. И Громаков тоже взял себе новую бригаду, этих вот ребят и взял, бывших солдат, а они — ты им только на первых порах подсказывай. Вот он, Громаков, и подсказывал, а они черголыми, и ему это так понравилось, что последнее время, когда начальства никакого поблизости не было, он где-нибудь в уголке лежал себе на ватнике выпивший да только «цэу» раздавал. И так и месяц, и два, а потом ребята однажды сказали: хватит — кончай пить, бригадир! А у Громакова характер, не знаете — так вам повезло; ах так-разэтак, молокососы, меня учить, в рот сто конфет, это вместо благодарности, ну, подожди, без заработка посидите, зубы на полку, на коленях еще к Петру Громакову приползете: выручай, Петя!

И наутро в бригаду не вышел, забюллетенил — что ты сделаешь, у него жинка в поликлинике в регистратуре работает.

А они как раз пушку эту начали собирать. Сооружение хитрое. Ребята около нее по две смены вертелись без передыху и так и сяк, оставались нарочно в третью, чтоб любопытных поменьше, пробовали испытать, но глина не выстреливала как надо, только выпадал иногда ошметок-другой, и его тут же выносили, чтобы и следов никаких, и — начинай сначала!

Нестеров был одним из немногих, кто знал эту историю, ребята как-то рассказали ему, попросив никому не передавать и самому не вмешиваться: им просто хотелось тогда, видно, перед кем-нибудь выговориться, и он с тех пор все приходил к ним и, не зная, чем помочь, как мог все-таки подбадривал...

Достал теперь пачку, протянул одному, другому — даже те, кто еще не успел о рант ботинка окурки додывать, и те потянулись тоже: такая жизнь, в самом деле!

Когда он ушел от ребят и снова спустился на площадку около домны, тут уже былолюдно, бубнило, иногда вдруг похрипывая, радио, передавали какой-то приказ комсомольского штаба, потом заиграла музыка, а народ торопился туда и сюда — брезентовки, ковбойки, синие куртки, шаровары да блузки, — и уже останавливались около лоточниц в белых фартуках, покупали пирожки, на ходу жевали, разворачивался рядом с бытовками «газик» с бочкою кваса на прицепе, и там, где он только должен был остановиться, уже выстраивалась очередь, девочки и парни, нарочно торопясь, громко считались, и видно было, что им отчего-то весело толкаться тут и друг друга окликать, и пересмеиваться... А Нестерову ни с того ни с сего припомнился приподнятый воротник куртки у Сережки Листопадава и то, как он уходил, как шел мимо бывшего своего дома.

На дороге простоял недолго, около него почти тут же, выпустив из рессивера воздух, ткнулся в обочину «зилок», и он поднял руку еще раз, теперь в приветствии — шофер попался знакомый.

— До шлаксового добросишь?

— А тебя бы не стоило,—сказал тот, подмигивая, и в зеленых его глазах зажегся веселый огонек.—Колька на тебя сейчас обижался.

И Валька насторожился:

— Чего он?

Парень, потянувшись к зеркальцу, поправил кургузую кепку, из-под которой выбивался огненно-рыжий чуб.

— Да ты, грит, сейчас с Банниковым проехал, кивнуть кивнул, а остановить нет — было дело?

— А чего ж он — руку?

— Да неудобно, грит, если бы сами. А он опаздывал как раз.

Валька лихорадочно старался припомнить, кому это он кивал, когда ехали с Банниковым, а ведь кивал, было дело. Кто же, в конце концов, этот Колька, который — вот уже второй год пошел — все остается для Вальки загадкой, и правда, миф, да и все тут, знать бы заранее, что будет стоять, — нарочно бы присматривался: может, припомнил или угадал бы?

Больше года назад он так же стоял на обочине, тянул руку, и остановился этот рыжий, с которым он сейчас ехал, только тогда они совсем не были знакомы — по крайней мере, так считал Нестеров.

Он захлопнул дверцу и поздоровался, он всегда здоровается, знакомый шофер или незнакомый, какая разница, и папиросой угощает всегда, он и тут предложил и двумя руками придержал, чтобы не подрагивала спичка с огоньком, пока тот прикурил, а потом задумался, глядя на дорогу, и сидел так, дымил потихоньку, а этот, слегка наклоняясь из-за баранки, как старому знакомому, сказал громко — словно бог весть какую новость сообщил:

— Колька-то женился!

И таким это задушевым тоном, что Валька просто не посмел спросить, какой Колька женился,— он только улыбнулся, невольно изображая удивление:

— Да ты что?!

— Ну! Только отгуляли. Народищу было! Все свои. Он тебя, грит, позвать хотел, два раза забегал, а тебя как раз дома...

И опять это говорилось так дружески, что Вальке ну ничего другого не оставалось, как пожалеть, что его — ну надо же! — не было дома, и ничего другого не оставалось, как проявить интерес: и на ком же это Колька женился?

— Ну что ты — не знаешь? — И тот фамилию назвал и назвал имя.— Из теплоизоляции, беленькая.

Валька делал вид, что старается припомнить. А этот вдруг обрадовался:

— Да вот! На ноябрьскую мы стояли после демонстрации, а ты шел... Вот и она тогда с нами, ну!

И он смотрел на Нестерова с таким простодушным удивлением, что тот опять взял грех на душу:

— А-а-а... беленькая такая?

Валька хотел об этом написать маленький рассказ, да все откладывал почему-то, а снова встречаясь с этим рыжим, с которым у них общий друг — Колька, он каждый раз невольно начинал тому подыгрывать, и обстоятельно расспрашивал, как Колька поживает, и приветы передавал, и приглашал заходить — в самом деле, хоть бы раз увидеть их вместе, рыженького да Кольку!

Теперь он тоже передал Кольке привет, попросил сказать, пусть не обижается, и рыжий поднес два пальца к виску — мол, будет сделано!

Развернулись, не доезжая до ревущего круговорота машин, который начинался на шлаковом, и шофер поехал обратно, а Нестеров прошел еще вперед и остановился на обочине чуть дальше от того места, где выскакивали на шоссе съезжавшие с насыпи самосвалы.

На этом участке отвала работали «старики», и один за другим покати мимо него все знакомые ребята, и почти каждый около Вальки притормаживал, но он ожидал кого-нибудь из кругляковских, а этим все показывал левой, будто провожал — проезжай, проезжай! — и одному, и пятому, и восьмому — как регулировщик какой.

Потом он увидел значок на лобовом стекле, кажется, машина Вани Брагкова съезжала с насыпи, его самосвал, и он пошел по дороге навстречу, не то чтобы поднимая руку — просто он шел с приподнятой рукой, чтобы открыть дверцу.

Самосвал остановился, как будто подчиняясь этому его жесту, и он вскочил на подножку. За баранкой сидел Федя Обрядин, напарник Ивана. Он был малость глуховат, и Валька закричал:

— Ваня отдыхает?

Федя покачал головой.

— А где?

Тот махнул рукой, показывая как будто бы далеко по реке, и Валька понял:

— К деду поехал? — И бровь поднял. — Неужели рыбачить?

Федя молча приподнял над полом кабины ладонь, и Валька догадался:

— Гошку повез?

Тот одобрительно кивнул. Поговорили.

«Это мне здорово повезло, — подумал Валька, — тут мы с ним на год наговоримся, с ним, с Федей, много наговоримся».

Из Федей, в самом деле, всякое слово — хоть клещами тащи, ребята божились, будто он иногда по неделе — ни звука. В гараже о нем анекдоты рассказывали, а если на собрании никто не хотел выступить и председатель приставать начинал — ну, кто, товарищи, скажет? — какой-нибудь записной остряк обязательно кричал: «Да вот Обрядин хочет сказать!» И все лежали.

Федя прижал два пальца к губам и руку потом к Вальке потянул, и Нестеров понял, но тот еще и сказал:

— Дал бы?

— Чего эт ты, Федь, разговорился? — серьезным тоном и как будто бы даже обеспокоенно спросил Валька. — Ты гляди — прямо не остановишь!

Он достал Феде папиросу, и тот определил ее в уголок рта, к щитку светофильтра потянулся за спичками, но Валька уже зажег ему огонек. Знает он, как Федя иначе будет прикуривать. Парень-то еле в кабину влезает, лапа что сковородка, и пальцы два вместе в коробок не входят. Федя, как все, спичку достать не может — он ее одним потихоньку начинает выкатывать, а нет — послунит подушечку на указательном, ткнет в коробок — глядишь, какую приподнимет.

Прикурили оба и стали теперь молчать, и Валька, чувствующий себя вначале не очень ловко, ощутил спокойствие, ему стало здесь, рядом с Федей, хорошо, решил, поговорит потом с другими, и с Ваней, и с Гришей Щедрухиным — тот за словом в карман не полезет, и с Юртаем, который едва ли Грише уступит, и с самим Кругляковым, но прежде ему надо посидеть тут, в кабине, да самому обо всем подумать, и он опять начал с прихода Сережки и вернулся к тому време-

ни, когда написал о кругляковцах свой очерк, — прекрасные они тогда были хлопцы. Как не понять Сережку, когда Нестеров сам тогда думал не раз и не два — может быть, стоит на время бросить редакцию да поработать с ними? Он и машину научился тогда водить не без тайной мысли...

В плотном потоке задыхающихся от выхлопов горячих машин, в густой пелене тяжелой пыли самосвал их несли сперва по сухой половине дороги — в карьер; выстаивал очередь у экскаватора, который словно колодезный ворот поскрипывал на берегу, и по мокрой половине, на которую до самого отвала текла из кузовов и текла вода, мчался обратно, настырно полз на самый верх насыпи и там начинал выдвигать такие кренделя, от которых в другое бы время у него захватило дух, но сейчас Валька сидел, низко опустившись на сиденье, и покурил, и думал теперь о Дашеньке — не вторым планом, как было все время до этого, а так вот — только о ней, о том, как лихо укатил ее сегодня у него из-под носа незнакомый парень в солдатском и как отнестись к этому — снова идти завтра к общежитию или не идти? — и думал о Кате: верно ли он поступил, попросив директрису гостиницы придержать отдельную комнатку, или все-таки он должен оставить Катю у себя, она-то, пожалуй, на это рассчитывает...

Случись это два месяца назад, так оно и было бы, и точно — она бы приехала к нему так вот запросто, как будто не в первый раз, и они пожили бы у Вальки, привыкая друг к другу, ведь по-настоящему вместе они и не были, и может быть, все сладилось бы, все у них пошло хорошо... И уехать с ней в Москву, чего там, все-таки шестой год Валька на стройке, и первого металла, считай, дождался, вот он, первый металл, на днях капнет, и уехать в Москву, и забрать бы наконец сына, надо же мальчишке к отцу привыкать, и они и в самом деле жили бы потихоньку вчетвером, Катя права — так она говорит: «Ты сам посмотри, сколько добрых дел мы можем сделать очень просто: у твоего Мишки будет мама, у Эльки у моей — папа, она все спрашивает — скоро наконец ты приедешь?»

А потом опять мимо пронеслись сквозь тяжелую пыль кто-либо из кругляковских ребят, мимолетом улыбался Нестерову чумазым лицом, что-то кричал — и Валька опять начинал слышать уже другие голоса, видеть иные лица, и так и ездил, и курил, и думал вперемежку — обо всем сразу...

Пересаживаясь из одного самосвала в другой, он проторчал на шлаковом до позднего вечера, потом поехал, прочитал номер, который почти весь был из восклицаний, набранных жирным сорок восьмым, и со служебным автобусом, который увозил задержавшихся еще надолго после работы итээровцев, отправился домой.

2

На площадке он остановился, отыскивая ключи, услышал, как топорливо открылась дверь в квартире напротив, и он стал медленно оборачиваться, и еще ничего не успел увидеть — наверное, он прикрыл глаза, когда стукнула эта соседская дверь, — как она уже обнимала его, повторяя горячо:

— Валька!.. Валька!

Потом он увидел очень светлые ее волосы, и щеку, и глаза, они целовались, а потом, все еще придерживая ее, он вдруг приподнял голову и посмотрел туда, откуда она вышла, там, раскрыв рты, стояли и двое соседских ребяташек, и за ними — мать, и потом — бабка, и позади всех с газетой в руке клонился из-за двери, выглядывая из-

под очков, глава, так сказать, семьи — бухгалтер Иваков... как только они все поместились в крошечном таком коридорчике!

Катя поняла, куда он смотрит, сказала громко:

— У тебя очень хорошие соседи! Не знаю, что бы я без них делала...

И первым скрылся бухгалтер Иваков, потом старушка испарилась, и мать уже подталкивала в комнату ребятишек.

— Заходите, посидите чуток — хоть чай-то допейте!

— Нет-нет, спасибо, — весело говорила Катя, ведя Вальку за руку. — Вещи возьмем, если позволите, и... теперь ваша очередь! Немножечко устроимся, заходите к нам на коньяк — Владислав Иванович, вы слышите?

И Валька чуть не застонал в голос.

Потом через неширокую свою, давно уже щербатую лестничную площадку с вечным отпечатком большого сапога на бетонной плите он потащил большой чемодан из желтой кожи, а позади, все еще оборачиваясь и благодаря соседей, шла Катя с такого же цвета сумкой, с зонтом под мышкой и плащом на руке, и он быстро поставил чемодан посреди комнаты и вернулся за ней, отбирая сумку и за руку втаскивая Катю в квартиру, пропустил ее вперед и захлопнул наконец дверь, придавил спиной, невольно откинулся, а она это по-своему поняла, она бросилась к нему, снова обнимая, прижимаясь, как будто безжалостно раздавливая о него груди, животом приникла, коленями, она поцеловала его теперь совсем по-иному, мягкие и горячие ее губы обожгли, руки его невольно напряглись и от плеч ее заскользили вниз, а она все приникала к нему, как будто можно было приникнуть еще плотнее, вот, подумал он, вот что это значит, так обнимать, и ничего не надо будет решать, все само собой потом станет на свои места, все как-то уладится, утрясется, может быть, так оно и лучше, ну и уезжай со своим солдатом!..

— Боже мой, боже мой, — шептала она, и голова ее лежала теперь у него под подбородком, и она жарко дышала ему в шею, все потихоньку покачивая головой, — неужели это ты и теперь мы здесь будем совсем-совсем одни!

— Стоп! — сказал он, трудно передохнув и как будто отталкивая ее от себя. — Дай я на тебя хоть взгляну.

И он за плечи ввел ее в комнату и подтолкнул вперед, на середину, а сам бросился на диван, забираясь повыше, снова откидываясь к стене, а она, улыбаясь и наклонив голову — длинные волосы покачивались около плеча, — медленно пошла по кругу, тоже не отрывая от него взгляда, а только поворачиваясь так, что волосы все еще рассыпались и рассыпались, и она смотрела то из-за одного локона, то из-за другого и шла великолепной своей походкой... ну, почему ты не приехала всего на два месяца раньше!

Он полез в карман ковбойки на груди, достал измятую пачку «Шахтерских», вытряхнул папиросу.

Теперь она посмотрела, откинувшись:

— Что это ты куришь?

Ну вот и все, сказал себе Валька, почувствовав и какое-то облегчение и словно какую-то обиду, прихода которой он ждал, вот и становится все на свои места.

— В основном курю что придется.

— А помнится мне, что, когда один мой хороший знакомый только начинал курить, он курил исключительно «Дукат» и очень этим гордился.

— Твой знакомый, — усмехнулся он, — был тогда мальчишка и сопляк. И гордился вовсе не тем, чем надо... А сейчас он курит под-

ряд все то, что завозит в магазин этот проклятый ОРС... знаешь, что такое ОРС?

Катя небрежно пожала плечом:

— Что-то такое...

— Наши снабженцы, — сказал он, затыгиваясь. — А расшифровывают это так: обеспечить раньше себя. Остальное раздай сотрудникам. С этим они справляются великолепно, а на остальное им наплевать — вот и везут сюда гвоздики.

— Зачем вам... гвоздики?

— Это папиросы «Байкал».

— Бедненький, — сказала она, поглаживая по плечу. — А в Москве у него никого нет... некому прислать.

Катя это умеет — она вырвала у него из губ папиросу и не глядя ткнула ею о пепельницу, и теперь ему ничего не оставалось делать — только наблюдать, как она идет к своей рыжей сумке, и молния взвизгивает, развезжаясь, и она достает блок сигарет, и, покачивая бедрами, идет обратно.

— А я перед отъездом как раз забежала в один большой дом, взяла в буфете — как знала.

Она распечатала блок и пачку протянула ему, а остальное бросила на кушетку.

— «Честерфилд».

А он подумал жестко: а все-таки ты пошла не с того, Катя, вот как!

Он затынулся, сигареты были и в самом деле отличные, но сейчас это показалось ему обидным, только и всего, а Катя, ткнув ладони в тугие бедра, снова стояла посреди комнаты, только вид у нее был теперь совершенно иной — хозяйский.

— Так, — сказала она, — карточки моей нет, это уже наводит на размышления. — И тут же переменила тон: — Боже, а это что?

Она приподняла с его самодельной этажерки большой голубой фонарь, его «летучую мышь».

— Неужели здесь пропадает свет?..

А это было вот что такое.

Кто его знает почему, но в детстве Валька мечтал о таком фонаре. Не об электрическом, с тремя батарейками, нет, а именно об этом, с таким таинственным названием... с ним можно выйти в непроглядную ночь, когда воеет ветер или сечет ливень, выйти и приподнять его на крыльце — наверное, это была одна из картинок в тех растрепанных книжках, которые он читал под одеялом. Но в детстве у Вальки не было такого фонаря.

А тут — пожалуй, года два, если не больше, назад — он шел по улице и увидел парня, который за дужку нес совершенно новенький фонарь с пузатым стеклом, и Валька бросился к нему: где достал? А тот посмотрел на него, удивившись, и только показал рукой на хозяйственный магазин, и Валька заснешил туда почти бегом, и купил себе фонарь, и поставил на этажерке, и ему почему-то очень нравилось, что он там стоит, а потом Женька Миронов первый его спросил: а зачем?

— А вот представь, — размечтался Валька, — станем мы, если удастся дожить, стариками... И тогда, где бы я ни был, обязательно вернусь на Кубань, и поселюсь в каком-нибудь тихоньком месте, и разведу виноградник, и буду вино давить: галан... лидия... ркацители. И буду выдерживать его во-от в таких бочках в холодном глухом подвале. А потом вдруг ты приедешь ко мне в гости... или кто-нибудь из наших ребят. Вы постучите в калитку, и залает моя собака, у меня будет собака, я сибирскую лайку отсюда привезу, она залает, а я с

этим фонарем выйду вас встречать. А потом мы будем сидеть в заросшей такой и виноградом и хмелем беседке в глубине сада, будем сидеть там глубокой и совсем черной ночью, и будем пить вино, и вот эта моя «летучая мышь» будет освещать стол и наши лица.

Женьке это тоже понравилось, и он сказал:

— Мужественные лица.

— Да, наши мужественные лица... со шрамами... со следами дальних странствий... а вокруг этой лампы будут виться мошки, и ночные бабочки будут прилетать из глубины сада, а мы будем пить вино и вспоминать, какими мы были лет тридцать назад!

И Женьке это, видно, очень понравилось, и он сказал:

— Клянусь, Валя, я все брошу и приеду, и мы посидим!

И эта лампа стояла на этажерке, и когда холодной зимой Нестеров возвращался со стройки домой поздней ночью после какой-нибудь аварии, на которой он двое суток проторчал вместе со всеми, и за окнами билась глухая вьюга, а батареи были холодными, и кран опять сипел без воды, а на столе лежали только сохшиеся шкурки от колбасы да кусок сахара, тогда Валька смотрел, посмеиваясь, на свой волшебный фонарь, который должен был согреть его одинокую старость, и ему и правда становилось теплей вроде бы уже и сегодня...

Но ни о чем об этом Валька не стал рассказывать Кате.

Он только подтвердил:

— Бывает, что пропадает, да.

— Ничего, — решила Катя, — переживем. Мне нравится уже то, что у тебя в квартире нет этого ужасного запаха, которым пропитан весь твой Сталегорск... весь твой горячо любимый поселок. Как она называется, которую тут едят, мне говорили? Черемша...

— Черемша? Колба.

— Это что-то ужасное...

Как весело и лихо можно было бы объяснить Кате, что черемша — это не так плохо!

Первые два-три года он тоже задыхался ранним летом, когда и в городе и на стройке и в самом деле чуть ли не на каждом углу появлялись продавцы с мешками черемши, и каждый, кто шел мимо, обязательно покупал пучок или два, и все вокруг и правда пронизывал резкий запах, до которого чесночному — ой-ей!

А потом в нем, выросшем на всяких травах, на щедрой зелени да на фруктах, истоцились, видно, кубанские его, еще мальчишкой сделанные в чужих садах запасы витаминов, и однажды он, морщась, взял тугой стебелек черемши, ткнул его в соль... А потом пошло и пошло, а что прикажете делать, и дома вечером, и на охоте, и как закуска, надо сказать, — первое дело, а что, и теперь ему нравилось на это смотреть, как после долгой сибирской зимы, после весны слякотной и бесплодной, когда не только в магазине — даже у всемогущих торговков — ты уже ничего солененького не достанешь: все съедено этой оравой первопроходцев, этой комсомольской братвой, — тогда как спасение появляются на разложенных на только просохшей земле тряпицах совсем коротенькие и тонкие, почти как спичка, росточки черемши, добытой на первых таежных проталинах, и на нее как саранча наваливается изголодавшаяся по зелени стройка...

Но об этом Валька теперь тоже не стал рассказывать.

— Видишь ли, — заговорил он, усмехаясь, — если бы ты предупредила, что приедешь, хотя бы за неделю, можно было бы успеть расклеить на улицах возвания... Сибиряк! Воздержись... есть черемшу! На пуск доменной печи номер один на нашу стройку прибывает...

— Ты думаешь, остроумно?

— Не очень, но... Представь себе такое воззвание, и около него толпится народ, все спрашивают: а кто такая эта Екатерина Ковалева?.. Как, ты не знаешь?

Она приподняла с его письменного стола крошечного глиняного человечка и повертела в руках, не очень мягко поставила его на место, и у него рука отвалилась — ведь для простого, вылепленного из ошметка отодранной от кабулка глины человечка он был уже очень стар и немощен.

— Осторожней с ним! — попросил Валька.

А Катя стояла, задумавшись.

— Понимаешь, в твоих словах... нет доброты.

Он сидел неподвижно, скрестив руки на груди и задумавшись, и эта великолепная сигарета, уже догоревшая до фильтра, жгла кожу, пусть, а он смотрел исподлобья то на Катин чемодан, такой чужой в этой холостяцкой, по-спартански обставленной его комнате — рядом с самодельным письменным столом, сколоченным из нескольких ящиков разного размера и потому громоздким и неуклюжим, рядом с двумя полукреслами из алюминия да брезента, то он смотрел на Катю — только словно бы не видя ее...

Ну вот, думал Валька, Екатерина Васильевна соизволили осчастливить нас своим посещением на этой богом забытой стройке, соизволили пожалеть, соизволили привезти импортных сигарет, которых и в Москве — днем с огнем... А он вот сидит тут, пропахший сладковатым духом отработанного бензина, да резиной, да прогорклой пылью со шлакового. И штаны у него на коленке протерлись, и тяжелый ботинок на тракторной подошве уже слегка просит каши. Он оттрубил тут уже шесть лет, забытый многими из друзей, он тут кое-что понял, это вам, может быть, весело в белокаменной: никакого запаха черемши ранним летом, и с матюками — не так, да, а вы тут попробуйте, вы поработайте тут, повкалывайте, понимаешь, поупирайтесь, а она подошла и вырвала нашу простую советскую папиросу — конечно, думает, стоило ей приехать, и он уже упал. А он мощно рукою персиянки обнял стан. Он тоже казак по матери. Вольница.

Постой, сказал он себе, ты, казак, вольница, ты, поедатель черемши, первопроходец, постой, да вот ведь чего ты хочешь — почувствовать себя обиженным, чтобы иметь основание с ней поссориться, вот чего ты хочешь — отсюда и твои комплексы, потому и начал прибедняться, а все чтобы правды не надо было говорить так вот, в глаза, — ты понимаешь, Кать, какое дело, я тут влип. Она летела за четыре тыщи километров, а ты хочешь отделаться от нее — так, исподтишка.

— Послушай, — начал он и тут же замолчал, стал нарочно долго прикуривать. — Тут вот что. Ты права.

И Катя почти вскрикнула:

— Боже, ну конечно же! И как я сразу не догадалась. Да мне ведь и соседи, кажется, намекали, а я — дура! — Она вскинула голову, и знакомая Вальке высокомерная улыбка вспыхнула у нее на лице. — Кто она?.. Бетонщица... какая-нибудь? Трактористка?

— Не надо, Кать, — сказал он, подходя к ней и трогая за плечо. — Ты же умная баба. Ну пусть — бетонщица. Не в этом дело. Просто мне не хотелось неискренним быть. С тобой.

— И с ней?

— Если хочешь, и с ней.

И Катя снова сказала небрежно:

— Хорошенькое дело!

— Я попробовал тебе кричать по телефону... ты ничего не слышала.

— Плохая связь,— сказала она другим тоном, естественным и очень печальным. Но это ей как будто не понравилось, и она снова сменила его на тот, небрежный.— Гостиница, извини, далеко?

— Ты можешь оставаться здесь.

— А в гостиницу пойдешь ты?

— У меня много друзей.

— И, вероятно, не только друзей...

— Н-не думаешь же ты, что я тут все шесть лет ждал, пока ты...

— Пока я с мужем разойдусь — ты это?..

Она пошла к телефону, села на краешек тахты — уже совсем чужая в этой квартире, случайная гостья. Сняла трубку.

— Простите, как можно вызвать такси?

Валька нехотя улыбнулся:

— Не задавай нелепых вопросов. Тут легче вызвать бульдозер или экскаватор... Хочешь, я тебе вызову бульдозер?

Но Кате, видно, уже сказали то же самое другими словами — она положила трубку.

Он подошел к телефону:

— Марь Иванна, мне Пашу бы...

И почти тут же он услышал глуховатый голос Пашки:

— Слушаю вас.

— Мне бы машину, Павлик, ты уж не ворчи. Желательно легкову, минут на пятнадцать — двадцать.

Она вытаскивала из сумки еще и один и другой блок сигарет, говорила, усмехаясь:

— Это уже не от меня — можешь не угрызаться. Это Олег тебе передал. И Юрка.

— А вот и неправда,— сказал он, положив трубку.

— А это коньяк,— продолжала она говорить, будто не слыша.

Он стукнул ладонью по столу.

— Хватит!

В глазах у нее блестели слезы.

— Что ж, ты мне прикажешь самой это выпить?

Под окном просигналила машина.

— Когда ты отойдешь, мы обо всем поговорим и во всем разберемся,— попытался он сказать как можно мягче.

— Предоставляю это тебе! — сказала она, снова вскидывая голову.— Мне все ясно.

И она зонт кинула на руку и бросила поверх руки плащ, подхватила почти пустую теперь сумку.

...Устроив Катю в новой гостинице, он потом медленно брел по улице, заложив руки за спину и по привычке горбясь.

Идти домой ему не хотелось.

И тут он вспомнил: Женька!.. Он еще не был сегодня у Мирнова.

Женька все еще был в отдельной палате, лежал на спине, неловко ткнув в белую больничную рубашу досиня выбритый подбородок, смотрел искоса...

Валька слегка притронулся к его руке, лежавшей на краю постели, присаживаясь на табурет, сказал нарочно ворчливо:

— Ладно, ладно, можешь не вставать...

Женька ответил еле слышно:

— Все шутишь?

Валька постучал костяшками пальцев по высокому кислородному баллону, который стоял рядом с кроватью у изголовья:

— По-моему, надо попросить, чтобы его чем-нибудь прикрыли.

А то он напоминает тебе небось о производстве — ты еще станешь тут на вахту... попытаешься выздороветь досрочно!

— Мой, — негромко сказал Женька. — С участка.

— В смысле?

— Ребята несколько штук подкинули... больница новая... не хватает.

— Вот видишь — родная обстановка.

Женька тихонько повел головой — как будто пробовал, удастся это ему или нет. Красные складки на шее у него были влажными, грудь около горла мокро блестела.

Валька взял кусок марли, лежавший около подушки, вытер пот. Женька попробовал улыбнуться:

— Спасибо, Валуш...

Снова положил голову набок, закрыл глаза, тихонько спросил так, с закрытыми глазами:

— Как дела?

Валька сказал намеренно грустным голосом:

— Понимаешь, Женьк, — плохо! Катька приехала. Вроде бы по делам, а на самом деле — по мою душу. Прихожу, а она сидит у соседей, ждет.

Женька засмеялся, снова прикрывая глаза, засмеялся тихо и беспомощно, и было не разобрать, смех это или жалобный всхлип.

— Это... хорошо! — сказал, тяжело дыша. — Две бабы... обе любят... Жизнь! Хоть понимаешь?

Вальке стало неловко.

Миронов снова тяжело повел головой по подушке. Шея у него была мокрая. Прерывающимся хрипом спросил:

— Позови сестру... у меня вечером другой раз...

Валька, привстав с табурета, надавил маленькую кнопку на стене у изголовья...

Осокорь

Сколько прожил Иван на Томи, а такого разлива не видал сроду. Бешено пер стылый поток, волок на себе черное месиво сора да ноздреватые ошметки пены, нес чвакающие взалехб крученые жерла воронок. Мутная, глухая вода казалась упругой, и хоть река давно уже выпшла из берегов, было ей по-прежнему тесно, на середине она как будто вздымалась тугим горбом, готовая еще дальше хлынуть в прибрежные тальники, еще шире расплескаться по заросшим кустами черемухи старицам да лывам.

На белом, с высокой просинью небе ни облака, расплющенное солнце ярится сухим жаром, а над рекой с гудом идет знобкий, с горных снегов слетевший верховик...

Иван всегда любил эту отчаянную для рыбаков да лодочников пору большого половодья, но сейчас на темную стремнину, на одинокую, туда-сюда сиротливо снующую посередине реки крохотную моторку смотрел с неясной тревогой, смотрел почему-то с тоскливым чувством щемящей жалости к самому себе.

Опять закрутило и понесло...

А еще несколько дней назад казалось ему, что выкарабкался, что минуло наконец безрадостное время тяжелых его сомнений.

Ожил Иван после поездки домой, на Терсь.

Так, наверно, устроена человеческая душа, что не может она болеть да маяться бесконечно, есть у нее какой-то предел, после которого она сама себя начинает спасать, подбывая для того, чтобы прий-

ти в равновесие, какой-нибудь самый незначительный, может быть, смешной, а может, нелепый повод.

Перед посадкой на катер была давка, а он хотел захватить для Гошки местечко у окна. На них напирали со всех сторон, он попытался оградить мальчонку и нечаянно торкнулся рукой в карман к пожилой тетке...

Иван тут же отдернул руку, раскрыл было рот, чтобы извиниться, но тетка, видать, была бедовая — приподняла локоть, замахаясь, сверкнула глазом:

— Я ть-те, хулюган!..

Пока шли по трапу, она все оглядывалась на него, наглухо прикрывая карман тяжелой ладонью.

В салоне они уселись неподалеку, и тетка все посматривала на Ивана пронзительно, потом пошептала со своей соседкой, такой же, как и сама, пожилой, и та зыркнула на него, сделав испуганное лицо, встретила с ним глазами и все потом старалась не смотреть, только показывала — будто про себя — головой...

Ивану стало весело, он к Гошке начал приставать, чтобы пошутить было чему, — то локтем его подтолкнет, то плечом к стеночке притиснет... Гошка пыхтит, отжимается от стенки обеими руками, потом плечиком начал поддавать — ы-ык!.. ы-ык!

— Че, Гошка, скучать-то будешь?

Тот улыбается щербатым ртом:

— Не-а... Если токо деда лодку будет давать.

Погода была плохая, дождь с ветром, в салон скоро набилось битком. Народ все из притомских деревень, да осиновские в основном, да терсинские — и бабки, с внуками едущие из города от зятьев, и старики с леченья, и торговки, и техникумовские девчата, и рыбаки, и пацанва из ремесленных, и два солдата-отпускника, и пожилой майор с двумя чемоданами — видать, к родне...

С Иваном стали здороваться:

— А я гляжу, вроде Савелья Братка сын. Ты теперь иде?.. А это твой? А как дед?

Свежим лучком запахло в салоне, и черемшой, и селедочкой. Иван тоже из складного стаканчика глотнул чуток, и в карты придвинулся, и тоже высказался, выгодно или невыгодно леспромхозу держать зимник до дальних участков или лучше лес плавить и берет ли таймешка на мыша только зорькой или и днем?

С лодкой им потом повезло, и дома они были через час-полтора, считай, в полдень. Успели с Гошкой сходить за черемшой, и он поймал наконец мальчонке давно обещанного бурундучка, а вечером еще вырвался со спиннингом, пробежал до Мохового.

Все это было для Ивана как выздоровление, и он сам уловил эту перемену и, помогая себе, и раз и другой сказал: давай-давай, царпайся, Вань, выбирайся — хватит!..

Поздно вечером, накинув на плечи пропахшую махрой, да сеном, да теплым коровьим запахом отцовскую телогрейку, он стоял, сложив руки на груди, и, задрав голову, смотрел на знакомые с детства звезды, такие в лесу чистые да ясные, прислушивался к обложившей все глухой тишине, и ему подумалось отчетливо: да, а какой же он дурной дурак, надо!.. Это ведь удосужиться — подумать такое о Насте!

И, закрывая глаза ладонью, тихонько засмеялся: вот дурак!

— А ну-ка, ма,— попросил в избе,— плесни чего не жалко.

Отодвинул в сторону граненый стакан, подставил под затянутое марлей горло бидончика литровую кружку.

— Ты ба уж прямо из бидона,— осудил отец.

А он выпил терпко пахнувшую хлебной медовуху, ткнул в солонку пузатый стебелек черемши, вкусно захрустел — и опять рассмеялся.

— Оглушил стоко, что самому смешно, — оглаживая бороду, все наблюдал за ним отец. — Аль Настя подавать перестала — оголодал?

Утром он повез Ивана на пристань. Вода стояла большая, не надо было приподниматься, чтобы перейти в нос или оттолкнуться. И Иван все смотрел по берегам, отмечая про себя знакомые им с Настей места и как бы приветствуя их в душе, как бы им улыбаясь: здесь они прошлой осенью брали малину... тут он лазил на кедр, кидал оттуда шишки Насте в подол, она стояла, задрав голову и смеясь, а Гошка забирал шишки из подола, и одна стукнула его по уху, было крику...

Потом издалека еще увидел Иван пышную крону громадной осокорины, и ему вдруг захотелось постоять около дерева на крошечной поляне, руку положить ему на корявый бок.

— Ба-ать! — Он показал ладошью: пристань-ка.

Отец сбросил газ, мотор заклекотал, захлебнулся. Лодка шоркнула боком о траву.

— Ровно Гошка! — начал отец насмешничать. — Полчаса мослаю мотор, чуток отъеду, а он: деда! И за штаны доржится...

— Ты поезжай обратно давай, — попросил Иван. — Я дальше пешочком добегу.

Он оттолкнул нос, подождал, пока лодка сделает круг. Поднял потом руку, и отец неторопливо повел бородой.

Иван медленно пошел к осокорине.

Три или четыре года назад здесь был отцов покос, и они с Настей приехали, как всегда, помогать. В это время обычно гостей у отца с матерью полон дом — и свои живут и чужие... Дома толчея. И в тот раз Иван раздобыл перед поездкой сюда старенькую, но прочную еще палатку, и они с Настей поставили ее здесь, под этой осокориной... Хорошее было время! Вечерами жгли они с Настей костер, валялись около него на охапках свежего сена, лежали, запрокинув голову в бездонное небо, слушали, как плещет рядом сонная Терсь....

Однажды он проснулся среди ночи — была гроза.

Над палаткой нестерпимо сверкало синим. Тугой ливень шпарил по брезенту, бился в листьях осокорины. Грозно гремело где-то над самой головой, от мощных раскатов вздрагивала земля.

Настя обняла Ивана и все приникала к нему плотней и плотней.

— Глаза закрою, а все равно — свет...

— Боишься? — Он тоже обнял ее.

— Не боюсь... Хочу только, чтобы мы запомнили с тобой и гром и грозу... Какие мы молодые были, какие счастливые. Время у нас сейчас, наверное, самое хорошее — ты никогда не задумывался, а, Ваня?

Палатка дрожала под напором дождя, глухо гудел лес. Белые ножи молний сверкали рядом — казалось, слышно было, как рвали они зелень, кромсали дерево, как с шипеньем уходили в мокрую землю.

Потом оглушительно ударило совсем близко, ослепило, по осокорине прошел сочный хруст.

Настя беспомощно вскрикнула.

— Все-таки боишься?

И она, уже разгоряченная, задышала жарко, повела влажными губами, зашептала:

— Нет, Ванечка, милый, хороший ты мой, **нет**, с тобой ничего не боязно!.. Я неразговорчивая у тебя, никогда слова лишнего не слышишь, а ты всегда знай, что и люблю и не могу без тебя, Ванечка!

И заплакала в голос.

А утром она увидела первая, подвела его к осокорине за палец:

— Ва-ань, смо-ри!

От верхушки до корня неширокая полоса коры была содрана, дерево белело разбитой мякотью, на концах рваных волокон слезами подрагивали капли сока...

Теперь Иван глядел на эту полосу, так и оставшуюся на дереве серой ложбинкой, так и сбегавшую вниз — от верхушки до корня.

Он сбил кепку на затылок, положил на шершавый бок дерева ладонь, снова глянул вверх, и засмеялся, и ткнулся лбом в кору: вот дурак!..

Дома Настя увидела чуть виноватую, неволью промелькнувшую на его еще нарочито хмуром лице улыбку, и этого было достаточно, и им не понадобилось никаких долгих слов, чтобы помириться, и все стало хорошо, как прежде, а может, и лучше прежнего, потому что теперь словно бы вернулась ко всему и та радость, которой не было до этого в доме несколько долгих дней...

Настя рядом с Иваном шла по улице гордо, словно хотела еще раз всем показать, какой он у нее парень, и еще внимательней была к нему в гостях — отправив Гошку, они теперь выкраивали время.

А Иван иногда ловил себя на мысли: как хорошо, что ничего не сказал Насте, когда она спрашивала его — в чем дело? Все пережил сам, не оскорбив ее ни подозрением, ни грубым словом. И как не говорил он ей о горьких своих минутах, так не сказал теперь и о том, что был он на старом отцовском покосе, постоял около их осокорины... И оттого, что о них двоих он знал теперь такое, чего не знала Настя, Иван сам себе казался и старше, и сильнее, и опытней и рад был, что так оно и есть, как и должно быть.

А потом, в конце прошлой недели, Настя стала собираться на воскресник. До этого всех конторских не раз уже посылали убирать территорию вокруг домны, а на этот раз решили отправить в Карлык на стройку пионерского лагеря, который вот-вот должны были сдать.

— Так ты чего — с ночевой? — спросил Иван, сидя за столом напротив Насти, глядя, как она укладывает в его спортивную сумку плавленые сырки, колбасу, баночку варенья...

— Ну да, — вздохнула Настя, — на два дня.

Он все смотрел, как она поплотней старается уложить и небольшой кусок грудинки, и пару соленых огурцов в полиэтиленовом мешочке, и как будто ни с того ни с сего в голову ему пришло: ну куда столько?

И сердце вдруг подпрыгнуло, стук в горле отдался: а разве не ясно? Мужики вина, водки наберут, а эти — поесть, весело! Кто-нибудь магнитофон сообразит... Танцы. А вокруг лагеря — глухая тайга, вольная воля.

Он уже сам не свой сидел за столом.

— Год спали на этом лагере, — рассуждала Настя, продолжая укладывать, — а теперь — гонка. Год ничего не делали, а теперь...

И тут увидела, наверное, какое у него лицо, дрогнувшим голосом спросила:

— Ты что эт, Ва-ань?..

— Закуску-то... помогать не надо нести? Сама управишься?

Опять началась у них с Настей не жизнь, а мука. Снова все пошло наперекосяк.

НЕСТЕРОВ. Откуда-то из глубины памяти неслышно всплывет ощущение ясного осеннего дня, и того золотисто-синего простора, и той почти первобытной тишины, которые в эти места никогда уже не вернутся.

И мы никогда больше не будем такими, какими были тогда, только и останется нам на память эта черная, вся в потеках «кузбаслака» громадина — одна на всех. Да каждому еще эти на всю жизнь поселившиеся в душе воспоминания, от которых тебе то сладостно, а то горько...

Был я вчера у Миронова в больнице, сидел в шоковой палате рядом с его койкой, и вдруг мне припомнилась эта история с курицами, и я спросил у него: а помнишь?

Женька сжал зубы — я уже и не рад был, что об этом заговорил. Перевел разговор на что-то другое, но самому эта история то и дело теперь припоминается...

Мы тогда роздали свои квартиры кто кому и вчетвером сошлись у Женьки в его двухкомнатной. Баба Дора еще не приехала, приструнить нас было некому, и жизнь у нас, несмотря на некоторые в отношении слабого пола ограничения, была вполне веселая.

И вот как-то поднимаюсь я на наш пятый и вижу, что дверь в квартиру слегка приоткрыта. Ну, думаю, кому-то и захлопнуть лень, совсем наши мальчики обленились. Захожу, а по коридору у нас гуляют две курицы — так и бросились у меня из-под ног!

Откуда они, думаю, могли тут взяться? И вдруг дошло: да это ведь дверь была открыта, они и зашли.

А дальше — что? Взять да и просто выгнать их на лестницу неудобно. Остается поймать их и возвратить законным владельцам. Стал ловить.

Носились они по комнатам, носились! То в окна бросятся, то на стол, то на шкаф.

Одну наконец я поймал, связал ей ноги и взялся гонять вторую. Эта заскочила в ванную, а в ванне полно воды — глубокой ночью, когда появляется она раз в месяц по обещанию, набрали на все случаи жизни. Плхнула в воду, меня с головы до ног обдала, вырвалась — и по постелям! Насилу поймал.

Взял их потом обеих, прижал к груди и с видом победителя выхожу на лестничную площадку, тихонько стучу в дверь напротив:

— Извините, наверно, это ваши курицы?

И в каждой квартире удивлялись и — только головой: нет, нет, нет...

Но я-то, случается временами, парень старательный. Спустился этажом ниже и опять: это не ваши курицы? у нас дверь была открыта, а они, понимаете, зашли...

В одной квартире мне открыл маленький, злой с виду мужичонка. Был он в драной майке, сквозь которую проглядывали колотые синим тексты относительно родной мамы. Я стал объяснять: понимаете, хожу вот с этажа на этаж, не знаю, кому...

И не успел я еще договорить, как он протянул руки и живо сграбастал обеих куриц. И даже спасибо не сказал. Пнул ногою дверь с той стороны — и привет.

Я только плечами пожал от такой неблагодарности, но на душе у меня все равно стало легче: как же, сделал человек доброе дело.

Вернулся к себе, достал из «холодильника» под подоконником пару луковиц да кусок подтаявшей на жару грудинки, отломил кусок от черствой горбушки.

Сажу на кухне довольный собою и жую медленно, как хлебопашец, — Женька называет это «системой Нестерова». Если это и прав-

да «система», то от многих других ее отличает простота необыкновенная — чтобы привести ее в действие, надо только найти засохший ломоть «черняшки». Если к этому добавить еще и слегка поржавевшую хамсу, то все будет просто прекрасно. Остается только тщательно жевать, жевать долго, не торопясь и с достоинством, и это станет так вкусно, словно ты наконец-то распробовал, что такое хлебное зерно, вскормившее и твоих предков и весь род человеческий, словно трапезу твою освятил высокий и древний дух еды и питья ради чего-то главного в жизни, но не ради обжорства.

Так вот, сижу я довольный и собою и своею системой и слышу стук в дверь. Открываю. На пороге стоит Сергей Дранишников, и в обеих руках у него пузатых кульков да фунтиков из оберточной бумаги — до подбородка. Прошел на кухню, вывалил все на стол, потом поглядел по сторонам и удивился:

— А где наши куры?

Я поперхнулся:

— К-какие?

— Разве тут не было куриц?

— Б-были...

Сергей усмехнулся — он умеет как-то так усмехаться: в глазах чертики, а лицо серьезное, даже как будто значительное.

— Ты как на рапорте у генподрядчика: а ну-ка, такой-сякой, незаманый, отвечай, к какому числу ты должен сделать обратную засыпку? — к пятнадцатому! — а почему сорвал? — какую засыпку?

Я неуверенно хихикнул, а Дранишников руки потер.

— Сациви я вам сделаю, мальчики, учитесь, пока живой! У меня в институте дружок был, грузин. Ты знаешь, например, что сациви надо делать из парной курицы, только из-под ножа? Где они?

Я только выдавил:

— К-куры?

— Женьке сегодня двадцать четыре. Мне в управлении телеграмму отдали, хорошо — рано, потому все успел...

Вот тут до меня дошло. Говорю Сергею: делай со мной что хочешь, так и так.

— В чем же загвоздка? Пойди и забери!

А меня начали мучить сомнения: как же так? Почему он все-таки взял, если курицы не его? Если я теперь приду забирать, даже ничего не сказав, я обвиню этого мужичонку в нечестности. Уже одним своим стуком в его дверь.

Сбиваясь, изложил это Дранишникову, и тот посмотрел на меня как на подопытного:

— Гм... Любопытно, и что же мы будем делать?

— А может, с полчаса подождем? Станет стыдно, и он сам...

За этот час, который мы отвели мужичонке для угрызений, вернулся домой Женька и пришел Роберт — тогда еще единственный литсотрудник «Новостройки».

Женька достал из пакета коньяк:

— Должен вам, братцы, сказать, что у меня сегодня...

И началось!

Дранишников кричит, что я, жалкая и ничтожная личность, обязан спуститься вниз и выложить этому нашему соседу все, что мы о нем думаем. Мне, дураку такому, стыдно. Как же мы потом будем с ним встречаться — в одном подъезде живем? Женька разнимает нас, говорит, что жаль, конечно, да аллах с ним, обойдемся и без сациви, а у Роберта рот до ушей, он то и дело говорит:

— Вот законный попался Валюхе старик — такой деловой! Интересно, срубал он наших цыплят или еще нет?

Потом Дранишников твердо шагал из угла в угол и чеканил:

— Я мог бы пойти сам. И этот ваш... обходил бы меня потом за версту. Но я этого не сделаю. Вот почему. Пусть все так и будет — чтобы каждый из вас потом припомнил, какой был слюнтяй и размазня!

И вот верно — припомнилось!

Этот сибирский город

По неширокой дорожке среди привядших от жары газонов Валька шел мимо больших портретов на металлических ножках, и его провожали глазами строгие, как будто закованные в пиджаки из жести парни при орденах и с недоступностью во взоре девчата. Между портретами были крашенные бурым скамейки, и на них сидели густо, как в зале ожидания, и еще стояли напротив где с гитарою и с мороженым, а где с колясками, и кругом смеялись, курили, шелестели газетами, щелкали семечки, с криком бегали друг за дружкой малыши, то бросали над головами какие-то бумажки, а то дружно приседали рядком около клумб и наклонялись над цветами, нюхали и хитровато жмурились.

За скамейками зеленели не очень ровно подстриженные кусты акации, поодаль от них тянулись вверх молодые тополя, а за ними по обе стороны аллеи возвышались облитые сейчас розовым вечерним заревом дома с разноцветными балконами, с густой щетиной самодельных антенн на крышах.

Это было самое бойкое место в поселке, проспект Первых добровольцев, и, хоть ничем особенным он, конечно, не отличался, Валька подумал: нет, а все-таки здесь... н-ничего, с этой вечерней подсветкой...

Катя вчера сказала ему:

— Вот ты всем в Москве уши прожужжал: Авдеевская площадь... Я понимаю, у тебя много с этим поселком связано. Ты вон и сейчас как о нем говоришь и на меня уже смотришь чертом. Но ты понимаешь... Допустим, я не знаю, как все оно тут создавалось. Кем, для чего. Допустим, и знать не хочу. Что тогда останется от твоей замечательной Авдеевской площадки? Одинаковые коробки? Вытопанные газоны? Железная дорога посреди поселка?.. Попробуй взглянуть на нее как-нибудь... не чужим, но, предположим, просто объективным глазом.

Да, так оно, конечно, не Рио-де-Жанейро, сказал он себе теперь.

Проспект Первых добровольцев пересекала бетонка, а рядом с ней шла железная дорога, и теперь по ней, то и дело тревожно покривая, бежала с завода электричка.

Он подумал: надо будет рассказать ей, Катьке...

Сначала здесь думали строить поселок совсем крошечный, и дорога была за его чертой. А городок строителей да металлургов, самый что ни на есть современный, планировали поставить ниже по реке, на красивом обрывистом берегу, где вольно раскинулось старинное село Ильинское. Но туда надо было перекинуть мост с этого берега, а с ним запоздали сначала на один год, потом на два, а народу на стройке все прибывало, валом повалил, жить негде, и тут поставили один дом внеплановый, два, три, а потом кто-то первый сказал: поймите, дорогие товарищи, а зачем средства мы будем распылять, это еще когда будет — город-спутник, нам пока не до жиру... Стройте здесь!

И строители быстренько перешли на ту сторону железной дороги, и документацию они рвали у проектировщиков со стола. Оттого нет здесь тебе общего замысла, оттого и планировка поселка странная: сначала модная (в то время) внутриквартальная, потом «елочка», по-

том вообще не поймешь что — в общем, архитектура известная: быстрей! Надо.

А железная дорога сначала никого не тревожила. Один раз в день протащится через поселок полупустой товарнячок — вот беда! Когда наступало межсезонье да начиналась бесконечная грязь, по шпалам гуляли парочками и с гармошкой. Потом как-то зимой случилось на переезде первое происшествие. Пьяный дедок из шорского селеньица хотел проскочить на санях перед самым поездом, да просчитался. Паровоз ударил сани предохранительной решеткой, опрокинул. Собралась толпа. Дедок прыгал на одной ноге, жалобно всхлипывал: «Кде друкая нока?.. Остался тока отна!»

Задние переспрашивали друг друга, дивясь старикову мужеству. А кто-то из передних подобрал в снегу слегка помятый деревянный протез, кинул в сани: «Нашлась нога, дед, не горюй!»

В поселке посмеялись. Переезд, на котором сшибло незадачливого старика, назвали Дедовым.

Время было тогда нелегкое: Госплан все раздумывал, приступить ли к промышленному строительству широким фронтом или не приступать. Бригады простаивали, краны на промплощадке замерли над фундаментами, как будто подняв руки...

А однажды ночью Валька проснулся от тяжелого грохота. Позвякивали в рамках стекла, дом глухо подрагивал.

Ночь лунная была, и он увидел, как по рельсам медленно тянется состав: громоздкие конструкции из металла, темные туши каких-то непонятных машин, стальные трубы... Валька стоял, ткнувшись лбом в темное стекло.

А на подоконнике зазвонил телефон, и Банников сказал таким тоном, как будто это он лично организовал, так сказать, мероприятие, чтобы обрадовать его, Вальку Нестерова:

— Видал, техника к нам идет? Оборудование — видал? Подожди, скоро не то еще начнется! Совет Министров принял решение строить — поздравляю!

Валька тоже поздравил его, а Банников сказал уже ворчливо:

— Надо будет, слушай, сказать железнодорожникам, чтобы они пускали такие составы в светлое время. Пусть люди глядят. Пусть душа у них радуется.

Тогда каждый и час и два готов был мучиться в машине перед Дедовым переездом... лишь бы только шли и шли, тяжело грохоча, на стройку составы, вот как оно тогда было, это дело!

Кате он сказал:

— Надо нам было договориться выйти чуть-чуть пораньше. Уехали бы с электричкой. А то раздавят в автобусе.

Катя, на секунду опустив подбородок и тут же подняв его, словно скользнув глазом по голубому своему великолепному платью с глубоким вырезом, властно спросила:

— Помнут?

— Слишком радужная перспектива.

Народу на остановке толпилось много, и Валька сначала подумал, что, пожалуй, надо было ему попросить у кого-либо машину, хоть у Пашки, а хоть у Банникова, но потом усмехнулся: пусть так! Уж если взялась Катерина Васильевна судить Авдеевскую его площадку, пусть видит все, как оно тут на самом деле, он не станет устраивать ей красивую жизнь.

На них с Катей смотрели, а за спиной у них перешептывались, он и без того знал наверняка и, невольно оглядываясь, замечал это краем глаза, как уж тут не заметить.

Эх, стройка, стройка, жизнь на виду...

На другой день после приезда Кати Вальке снова не удалось увидеть Дашеньку утром и на третий тоже, и он не выдержал, пошел в общежитие поздно вечером. Вахтерша дежурила знакомая, наверняка пропустила бы (хоть всех забирай), но Валька только представил себе, как расхаживает там по коридору эта братия в халатах да с полотенцами, с толстым слоем крема на лицах, в косынках поверх вдвое увеличивших объем головы бигуди... Нет уж!

И он (докатился!) стал камешки в окошко на четвертом этаже бросать.

— Нету ее! — сообщила подружка.

— А где?

Она засмеялась:

— Ты бы не пришел — тоже не знали б, где ты...

Любимая шутка на стройке, где вечно кто-нибудь кого-нибудь ищет.

Он, конечно, подозревал, что Дашенька, прижав руки к груди, стоит в глубине комнаты, слушает этот разговор... А вдруг да не так? С тем солдатом в кино ушла, на последний сеанс. Или, чего доброго, гуляют где-нибудь в роще или по заросшим густою травой пригоркам за поселком?

И днем он разыскал Дашеньку на работе.

Бригада их докрашивала бытовки на паровозоудовнувшей станции, и они нашли с Дашенькой пустую комнату, стали у раскрытого окна. Она поправила низко надвинутую на лоб косынку, завязанную с таким искусством, что лица ее почти не было видно — на свободе оставался только вздернутый носик да настороженно смотревшие на него, как будто немного печальные глаза.

Валька начал было что-то о погоде, но Дашенька сказала:

— Говорят, к тебе приехала... невеста?

— Это кто же говорит?

— Н-не знаю... в автобусе слышала.

— А еще что... в автобусе?

— Что красивая.

Вальке очень захотелось, чтобы она сняла свою глухую косынку, чтобы улыбнулась ему, взбивая волосы, рассмеелась бы, как она умеет смеяться, — тогда у нее смешно подрагивают тонкие крылья слегка вздернутого ее носика.

А Дашенька смотрела на него серьезно и, пожалуй, чуточку грустно.

— Чтобы ты ни о чем таком не думала, — начал он строгим тоном, — должен тебе...

Но Даша перебила его:

— Знаешь, что? Давай пока не встречаться. Не обижайся. Просто тебе надо подумать. Я это очень твердо решила. Я прошу тебя. Хорошо?

...Автобус остановился не доезжая — значит, битком, ясно, все бросились ему навстречу, и Валька легонько подтолкнул Катю, они тоже побежали и тоже стали тесниться перед дверью, пока из автобуса вываливалась, толкаясь и гогоча, плотная ватага в брезентовых спецовках да в синих курточках. Когда спрыгнул последний, толпа тесно сомкнулась перед пустой еще дверью и замерла, никто не садился, не мог, была давка, потом первого подкинуло вверх, как пробку, второй, стоя на подножке, уже выдергивал застрявшую внизу спортивную сумку, третий... И тут Валька заметил, чутьем старого авдеевского волка уловил, что их с Катей, несмотря ни на что, оберегают в толпе, их стараются по мере сил не давить, им на ноги не наступают, дорогу дают, пропускают, подталкивают, и его растрогала эта грубоватая га-

лантность, он знал ей цену, и тут он, конечно, дал маху, ясно, расслабился он, расчувствовался — Катя прошла, а он теперь стал пропускать впереди себя девчонок, защищал их спиной, поддерживая под локоть, подсаживая, на ходу кивая, здороваясь, а перед ним нырнул кто-то из парней, незнакомый, а сзади поднаперли, Вальку чуть было не оттеснили от двери совсем, и, когда автобус уже тронулся, он, вцепившись обеими руками в поручни, упершись ногами в подножку, ударил грудью и раз и другой стоявшие перед ним спины, вдавился в толпу, приник к единому ее телу, и за ним, безжалостно стягивая на спине пиджак, со скрипом сошлись створки двери...

Он приподнялся на цыпочки, отыскивая глазами Катю.

Катя стояла на передней площадке, держалась за верхнюю перекладину, и лицо у нее было надменное. А рядом с Катей, неотрывно глядя на нее, покачивался парень с большим синяком под глазом... не повезло Катюшке! Пора бы тебе, Нестеров, знать, что в этом автобусе ухо надо держать востро. А то других девчат посадил, ишь, рыцарь, а как теперь, если что, поможешь своей-то даме?

Он тоскливо поглядел на толпу впереди — куда, тут в силах пробиться только кондукторше.

Катя наконец тоже нашла его глазами. Укорила, конечно. Он плечами пожал: что делать? Потом увидел позади нее огненно-рыжую шевелюру. А-а, друг мифического Кольки.

Надо будет Катюшке рассказать.

Катя посмотрела на него, и он повел ладонью по своим волосам, а потом стрельнул глазом в того, с шевелюрой: обрати, мол, внимание. Когда-то они с Катюшкой великолепно могли переглядываться, понимали друг друга отлично.

Рыжего Валька снова встретил на днях. Тот с места в карьер: «Да ты чего, Вальк, смеешься? Ты дома-то бываешь?» — «Да так, иногда случается». — «Заходили к тебе с Колькой, дело у него. Дверь открыта, а тебя и близко... Постояли-постояли... — И как будто что вспомнил: — У тебя домино есть?» Валька покачал головой. «А у меня две коробки дома, одна лишняя. Я тебе занесу как-нибудь. А то скучно так ждать. А тут сел на кухне, и наяривай. Глядишь, не токо мы, а другой кто косячками постучит, пока тебя нету».

Хоть Пашу Береснева, ей-богу, проси, чтобы узнал наконец: кто такой этот рыжий и кто его друг, кто этот самый Колька, как его фамилия, где работает?

Автобус, снова покачнув толпу, остановился. Рыжий Колькин друг, работая плечом, заторопился к выходу. Валька быстро показал Кате глазами: обрати, мол, внимание. Та поглядела без интереса и тут же еле заметно кивнула Вальке, скосив глаза, и легонько повела головой в сторону своего соседа с заплывшим глазом: ты, мол, на этого лучше погляди.

Парень с фонарем все продолжал есть Катю глазами.

Дверь, отпуская Валькин пиджак, со скрипом раздвинулась, кто-то наступил ему на ногу повыше задника.

Чтобы не потерять из виду Катю, Валька боком теперь пристроился у двери, обнял металлическую стойку — не отодрать. Автобус уже тронулся, и последним прилепился к нему, выгибаясь, Сережка Листопадов. Висел спиной на улице, и кондукторша кричала свое обычное:

— Еще маленько, а то сорвется!

Дверь потихоньку захлопнулась у Сережки за спиной, и Валька, посмеиваясь глазами, спросил:

— Как дела?

— Два экзамена пока: десять баллов.

— Хорошо идешь!

— Отступить некуда...

Валька не выдержал, снова улыбнулся...

На днях он попросил Ваню Браткова помочь ему разобраться с хитрой экономией бензина у них в бригаде, и тот сперва помолчал-помолчал, а потом только вздохнул и кивнул на кабину своего «зилка»: ну, садись, мол. Сначала они разок проехали до карьера старой дорогой, а потом вслед за остальными свернули на новую. Эта была похуже, но зато гораздо короче. Нашелся первопроходец, который проломился сквозь кустарники между болотами, спрямил петлю, и вслед за ним двинули все. Новую дорогу подсыпали, и на трудных участках по ней прошелся бульдозер, но ни в каких документах она не значилась: работа на шлаковых пошла адская и людям решили дать возможность подзаработать. Но вот с бензином...

— А меня, Валя, о плакате не спрашивали... н-никто?

Вон как глядит — за правду готов и пострадать.

— Ты пока баллы набирай, — ответил Нестеров. — Будет минута — забегу. Лучше вечером. Попозже...

Снова нашел Катю глазами, и, кажется, очень вовремя. Лицо у нее было гневное. Уловив взгляд Нестерова, слегка повернулась, и он увидел, что голова этого малого с синяком под глазом преспокойно лежит на ее плече...

Валька сначала как будто слегка присел, потом, привставая, поддел плечом стоящего с ним рядом, развернул чуть-чуть, и протиснулся, и снова присел, как будто ввинчиваясь в толпу...

А Катя там уже объяснялась, отталкивая этого, с фонарем, и тот тоже тянул руку ей навстречу.

Автобус вдруг резко затормозил, шофер громко хлопнул дверцей и почти тут же появился в проходе, стал расталкивать передних. Тяжелой пятерней сгреб за грудки этого парня, который приставал к Кате, потащил к выходу. Валька вытянул шею, пытается рассмотреть в окно, что будет дальше. Шофер повернул парня, чуток подтолкнул, ударил ногой под зад. Парень, запинаясь ногами, перелетел через канаву и ткнулся в траву.

Шофер снова появился на подножке, отыскивая кого-то глазами. Увидел Вальку, радостно крикнул:

— Нестер! Отдашь мне потом!

В автобусе дружно грохнули. Валька руку поднял:

— Договорились!

— А ты чего там торчишь? Иди сюда! — И шофер протянул широченную ладонь, как будто на расстоянии раздвигал толпу. — А ну, земляки, раздайся, дай другу пройти!

— Хорошо, что хоть среди твоих друзей есть рыцари! — громко проговорила Катя, когда Валька наконец встал рядом.

— О, делов! — Шофер махнул громадной своей пятерней. — Я-то видал, что вы навстречу бежали вместе, потом одна. А потом глядь — а он уже к заднему мосту подбирается.

— Вы настоящий рыцарь! — сказала Катя с чертом в глазах.

И шофер Петро тоже не остался в долгу.

— Ха-рошая у ты баба! — сказал он Вальке с искренним восхищением. — Где ты только такую взял?

— Из Москвы выписал, — ответила Катя с шутливым достоинством.

На улице он взял Катю повыше локтя, но она легонько высвободила руку.

— Понеси, пожалуйста, плащ. Я на город хочу взглянуть.

Валька перекинул плащ через плечо и медленно шел теперь чуточку сзади, покуривая, а Катя то останавливалась на миг, откидывая

голову с рассыпающимися по плечам волосами, то четко постукивала по асфальту «шпильками».

Эти несколько дней, бывая вместе, они с Катей без конца спорили обо всем, он к этому привык, и все-таки ему сейчас хотелось, чтобы Сталегорск ей понравился.

Сам он впервые увидел его на закате дня с вертолета — в котловине среди крутых сопок лежал этот как будто протаявший в бескрайних снегах город, он жарко дышал, исходил паром и курился, он то там, то здесь вспыхивал багровым пламенем, по нему ходили малиновые отсветы, и в стилом небе над ним безмолвно ворочались глухие дымы. Это было — как поединок огня и холода, и серые от пыли и копоти сугробы вокруг, казалось, словно изъедены гревом и оплавлены, но деревья и металлические решетки в городе были все в куржаке, дома стояли, заледенев, и на теплых боках трамваев серебрилась густая изморозь.

По Сибири тогда гуляла эпидемия гриппа, и в сталегорских кафе официантки не снимали марлевых повязок, а в мелких тарелках на столах лежали горки чеснока, но на каждом перекрестке в центре торговали мороженым, и рядом с продавщицами толпились нахохленные, словно воробы, пацаны с измазанными шоколадной коркой губами...

И ему почему-то сразу понравился Сталегорск, и теперь он гордился этим городом, показывая заезжим знаменитостям да вездесущим столичным корреспондентам, и пытался им его объяснить, и переживал за него, и печалился.

Это был город крепкой закваски. В двадцатых годах американские да бельгийские спецы посмеивались над непроходимой безграмотностью лапотников, со всех концов России съехавшихся на строительство громадного комбината, а потом честно снимали шляпу перед их сноровкой и мастерством, здесь улицы носят имена русских металлургов, и сюда к сталеварам приезжают на поклон академики, и тут густо летит рыжий от дыма тополиный пух, и пахнет коксом, и на высоком обрыве стоит старинная, с зубчатыми стенами крепость, поставленная казаками еще при Екатерине, и в домах на окраине уголь на топку ковыряют в собственных подвалах, и в центре продают черемшу, и вечером из пузатых мешков стаканами насыпают в карманы щеголих кедровые орехи, и через город бежит черная, с пятнами масла речка, над которой в холода клубится плотный туман, и снежной зимой, когда в глухой тайге с вершинами заметает шестиметровые пихты, сюда заходят обессилевшие рыси, и тут сторожевые псы на комбинате подымают от силикоза...

Вот что такое был этот город.

Рядом с ним подрастал на Авдеевской площадке новый завод, расправлял постепенно плечи, набирал силу, и в этом соседстве было как бы и спокойное продолжение общего дела и ревностная оглядка: а хорошо ли? а так ли?

На улице, по которой они шли, стояли массивные дома, построенные в начале пятидесятых годов. По обе стороны между тротуаром и дорогой тянулись огороженные чугунными решетками газоны с высокими тополями посредине, и легкий ветер тащил по асфальту пух.

Вальке хотелось, чтобы Кате понравилась и каменные, с широкими окнами дома и даже эти толстенные решетки.

— А знаешь, — сказал Валька, — тут всю войну на площади перед комбинатом стояли немецкие пушки, танки... самолеты лежали. Разбитые. Привозили на переплав. И люди приходили смотреть. Мальчишки лазили по этим танкам.

— Что это ты вдруг?

— Глубокий тыл, понимаешь, и, наверно, это было очень нужно городу...

Прозрачная коробка кафе, уже щедро освещенная изнутри, стояла особняком, с боков и сзади окруженная совсем еще молодым парком.

Внутри было почти пусто, но у входа толпились щеголевато одетые парни и девчата, а за стеклянной дверью, набычившись, стоял дюжий швейцар.

— Лишнего билетика нету?..

— Валя, а вы не можете провести?

Швейцар уже вынимал с той стороны двери толстый металлический стержень.

— С супругой сегодня решили?

— Надо ведь иногда...

Катя, усмехнувшись, негромко проговорила:

— По-моему, ты с ним договорился заранее... Не хочешь же ты сказать, что все время ходил один?

— Он тут новенький,— сказал Валька.

Они были еще около гардероба, когда к ним подошел невысокий рыжеватый парень в темно-зеленом костюме, из-под очков улыбнулся Кате, щедро показывая полный рот золотых зубов.

— Много слышал о вас от этого молодого человека. Виталий. Давайте проведу за столик, пока еще можно выбрать.

— Большой специалист по столикам,— представил его Валька.

Тот снова показал свои золотые зубы:

— Катя — человек новый, подумает — правда.

Когда он отошел, усадив их за столик, оба посмотрели ему вслед, и Валька дружелюбно усмехнулся, глядя на щуплую Виталькину фигуру с почти идеально кривыми ногами.

Катя сказала с сожалением:

— Боже, как можно метрдотелю с такими кривулинами!

— Наверно, потому он и пошел в сталевары.

— Он сталевар?

— До недавнего времени. Сейчас секретарь комсомола...

— Ах, так это и есть твой знаменитый Нюшин?

— У меня, говорит, рост был бы метр девяносто, если бы выпрямить ноги.

— А вид у него чуть-чуть хулиганистый...

Валька кивнул, как бы успокаивая ее:

— Имело место.

— Это тогда ему — зубы?

— Частично.

— А остальные?

— Играл в хоккей.

— С такими ногами? И хорошо играл?

Валька притворно вздохнул:

— Ты забываешь, где ты находишься. Это центр сибирского хоккея. И хорошо играют здесь дети дошкольного и младшего школьного возраста. А люди повзрослей или не играют совсем, или играют в высшей лиге.

— Ах да! И бывшие ваши игроки в ЦСКА и «Динамо»...

— Наконец-то! Еще вопросы есть?

— Есть,— сказала Катя.— Ты сегодня не надерешься?

В кафе сделалосьлюдно, свободных столиков не осталось, и там и здесь подставляли пятое кресло, и на квадратном возвышении за фонтаном негромко играл оркестр, и пол под ногами у ребят вспыхивал разноцветными квадратами... Они уже выпили коньяку, Катя тоже

закурила, и Валька смотрел на нее по этому поводу с легкой иронией — на то, чтобы одобрить это, его все-таки не хватало.

Потом Катя погасила сигарету и сидела, положив подбородок на сцепленные ладони, смотрела на него не отрываясь, и впервые за все это время в глазах у нее Валька увидел не снисходительность и надменность — увидел покорность.

— Слушай,— сказал он,— а тебе не кажется, что ты просто хочешь вернуть то, чего на самом деле вернуть нельзя?

Тогда она сказала:

— А помнишь, как... летел лебедь?

Он только жадно затянулся и на секунду прикрыл глаза.

...На предпоследнем курсе они поехали на целину.

Перед этим Валька опять поссорился с женой, ушел в общежитие, и она приезжала туда утром, чтобы встретиться с ним и поговорить, и ждала его потом после лекций в университетском дворике. Он не переносил этих ее разговоров, в которых всегда оказывалась права только она... И поездка на целину была для него как находка.

Осень в тот год стояла — глаз не оторвешь, и первые два дня Валька вместе со своими дружками, почти не вставая, просидел в дверях теплушки, а потом ему пришло в голову прокатиться на паровозе.

К этому времени Валька уже успел хорошенько поработать на вокзалах да пристанях (арбузы грузил, и мешки с мукой, и цемент, и общий язык с рабочим людом находить он умел) и тут только спросил: помощники не нужны? И ему так же коротко сказали: айда.

Там он то кидал и кидал в топку уголь, то стоял потом, по пояс высунувшись из окна, и тугой, как натянутое полотно, ветер мигом сушил пот на разгоряченном лице, и плотно затыкал уши, и держал наотлет волосы.

Паровоз тяжело и часто дышал жаром, равномерно грохотал и подрагивал, а мимо неслись смазанные скоростью да слезами на глазах желтые лесополосы, и косо разворачивались одетые в багрец перелески, и тихонько начинали вращаться поля с почерневшими стогами, и отлетали назад золотые скирды соломы, и подрагивали вдалеке синие блюдца крошечных озер, и видеть все это с высоты паровоза было непривычно и хорошо.

На остановке Валька спросил:

— А можно, я приведу сюда одну девчонку... посмотреть?

И у окна теперь стояла она, Катя, и концы ее длинных волос, которые летели за окном, видны были из двери, и на следующей остановке о короткой этой поездке на паровозе она захлеб рассказывала своим подружкам — она ведь городской росток была, Катька.

Они попали в разные бригады, и на Алтае их развезли по разным деревням. Валька сначала решил: судьба. И два или три дня старался не думать о Кате и работал как сумасшедший, дело-то было знакомое ему еще с пионерских воскресников — лопатить зерно,— и он махал деревянной лопатой до седьмого пота, и как мальчишка валялся потом, отдыхая, на пшенице, и бросался показывать, как и что на току делается, москвичам да другим городским ребятам, и те уже начали поговаривать, что бригадиром-то надо было вот кого — Вальку Нестерова... Но тут Нестеров исчез.

Утром он встал чуть свет, к девяти уже был в соседней деревеньке, где проходила шоссейная дорога, а часа в четыре слезал с машины на том току, где работала Катя.

Она удивилась, увидев его, и обрадовалась, и он это уловил и твердо сказал:

— Собирайся. Я за тобой.

Катя стояла, не зная, на что решиться, и он взял ее за руку и повел с тока, и помогал ей потом собирать рюкзак, и отворачивался, если ей надо было положить в него что-нибудь такое...

И на обратном пути им тоже везло, как не везло потом, может быть, уже никогда.

Сначала им попалась телега, на которую Валька поспешил бросить рюкзак и посадить Катю — ему хотелось поскорее скрыться с глаз. И они благополучно добрались до моста и не успели еще расположиться в придорожном ивнячке, чтобы там ожидать попутной машины, как около них затормозил старый «ЗИС».

Вечером стало холодать, наверху дуло, но зерно в машине было еще теплое от дневного солнца, еще не остывшее, может быть, от соков летней земли, и оно слабо пахло и только что вынутым из русской печки хлебом, и размятой травой, и сухой пылью, и свежей осенью... Валька выгреб посредине одну широкую ложбину, и они улеглись рядом головами к кабине, и он слегка присыпал их обоим еще и с боков, так же, как мальчишками они присыпали друг друга в горячем песке, и им стало уютно и хорошо, и теперь они плавно покачивались вместе со всей массой пшеницы в кузове, а над ними подрагивало и начинало вдруг косо лететь и медленно кружиться темное небо с первыми студеными звездами.

Катина голова лежала у Вальки на руке, и его ладонь была у нее под подбородком, но он то и дело приподнимал ее и прикладывал к свитеру чуть пониже горла и на груди, словно желал совершенно точно знать, достаточно ли хорошо этот свитер Катю греет, и все заботливо спрашивал:

— А здесь не холодно?.. Не замерзла?

Катя сказала:

— Посмотри, вон там, сверху, треугольник из больших звезд... Окончание треугольника — это крылья, вон та звезда — это хвост лебеда, а голова у него во-он там впереди, видишь, как он вытянул шею?

Машина поворачивала, слегка кренясь, и тогда лебеда тоже как будто клонил свои крылья набок.

— Он нас сопровождает, а?

— Сопутствует,— сказал Валька.

Левая его рука до сих пор спокойно лежала сбоку, ею он приподнимал иногда горку зерна и медленно высыпал обратно, но потом он слегка повернулся набок и положил Кате на свитер и вторую ладонь...

— Не знаю, почему я тебе это позволяю? — виновато шептала Катя ему в ухо, но он снова находил ее губы, они целовались, и, как это зерно, которое было под ними и вокруг них, когда-то разбухало, и прорастало, и наливалось упругой земною силой, так теперь наливались ею они, и она захлестнула их, и видеть небо, и звезды, и летящего вслед за машиной и за юностью их лебеда могла теперь только Катя, но глаза ее были полны слез, она плакала, и Валька молчал и только осторожно гладил ее по мокрым щекам, по волосам на висках...

...Катя снова зажгла сигарету, сказала, жадно затягиваясь:

— Вчера ты довел меня до подъезда и ушел. А мне так почему-то не хотелось подниматься к себе! И я вышла, стала спиной к стене, посмотрела вверх. И вдруг сразу увидела лебеда, но, ты знаешь, наверно, этот дом так стоит... или я так повернулась...

К их столу подошел Виталий Ньюшин с невысокой худенькой женщиной, коротко подстриженной и миловидной:

— Знакомьтесь, Катя, это Рита. Моя благоверная. Мы вам не помешали?

— Боже мой! — весело сказала Катя, жестом приглашая Риту садиться. — Мы уже вспомнили все, что только можно было вспомнить, и начали уже потихоньку скучать.

Жена Виталия близоруко щурилась, глядя на Катю.

— У нас сегодня одни очки на двоих, — сказал Виталий, улыбаясь и снова показывая свое золото. — Дочка впервые сама подошла к столу, дотянулась, и...

— Хорошо еще, что потом не порезалась, — улыбнулась Рита. — Гляжу, а она сидит, играет стекляшками.

Они выпили вместе, оркестр снова заиграл, и Виталий поднялся, подавая руку жене.

— Может быть, и мы потанцуем? — предложил Валька.

Около них остановился высокий светловолосый человек с институтским значком на лацкане длиннополого пиджака, учтиво поклонился.

— Я издали пытался с вами поздороваться, но вы были так увлечены друг другом...

— Юрий Кульков, — представил Валька. — Старший инженер отдела будущего завода.

Тот пожал Кате руку, легонечко придержав ее и второй ладонью.

— Только почему будущего? Завод уже есть. Так сказать, общими усилиями... Вы еще не уловили, Катя, за каким столиком самая шумная компания? По-моему, вон там, в нашем углу. И я пришел просить вас оказать нам, так сказать...

— Рацию небось свою обмываешь? — спросил Валька.

Тот снова поклонился, как будто клюнув что-то длинноватым носом.

— Совершенно верно.

— За это не грех, — сказал Валька. — Кто там у тебя?

— Друзья по работе... институтские товарищи. Тебя они все знают, а с Катей будут рады...

— А как мы оставим Ньюшиных? — спросила Катя, и в голосе ее послышалась легкая досада.

— Я их тоже непременно приглашу, — успокоил ее Кульков. — С Виталием мы давние товарищи, вместе учились.

За длинным столом в углу их усадили недалеко от виновника торжества, напротив Зубанова. От Вальки, конечно, тут же потребовали речи.

— Рационализаторов я вообще-то боюсь, — сказал Валька, приподнимая рюмку с коньяком и глядя на Кулькова с дружеской откровенностью. — Уж больно они лихие ребята. Джигиты. Проектировщик долго сидит, думает, а они потом — р-раз! И ваших нет — все переименовали. Но в этом случае, — Валька улыбнулся, — все мои предыдущие слова придется взять обратно... Два месяца, которые благодаря предложению Юры Кулькова выиграли на шлаковом, — это штука весомая...

Притихшие было за столом заводчане снова ожили:

— За тебя, Юрий Пальч!

— Живи!

— Шлаковый отвал проходит через болото, — объяснил Кате Нестеров. — И перед тем как насыпать его, должны были вынуть очень много тысяч кубов торфа, а на его место уложить грунт... ну, как бы сделать фундамент, понимаешь? А Юра сделал перерасчет, доказал, что он великолично и так простоит, шлаковый, без всякого тебе фундамента. Просто на болоте.

Зубанов, слушавший Вальку, подхватил:

— И теперь представьте себе: на домне запарка, а судьба шлакового, по сути дела, давно решена.

С противоположного конца стола полная молодая женщина с цветками-клипсами громко спрашивала:

- Юра! Ты можешь, в конце концов, сумму назвать, Юр Палыч?
- Да разве в... сумме, так сказать дело, дорогие товарищи? — шуточно укорил Зубанов. — Главное в том, что такие вот простые...
- Серые, можно сказать! — со смехом откликнулся Кульков.
- ...реально приближают сроки пуска такого важнейшего...
- Военная тайна, что ли? — кричала полная.

— Чем вы занимаетесь завтра после обеда? — спрашивал у Кати Зубанов. — Хочу вас на одно интересное собрание пригласить. Демобилизованные солдаты в бригаде, кровельщики. Один выписал из Белоруссии жену с маленьким сыном, а тут бросил. Устраиваем теперь ее на работу, мальчишке пробили место в детском саду. Но дело не в этом. Бригада хочет его усыновить... то есть как бы это сказать? Они его впишут в табель, дадут ему третий разряд. А деньги будут пока на книжку... Составляют сейчас текст письма ему, этому мальчонке, от бригады. Прочитать, когда стукнет шестнадцать.

Полная женщина с клипсами все кричала:

— Я не знаю, Юр Палыч, будешь ли ты машину брать — это дело хозяйское! Но главное — богатей ты, ради бога! А то ведь на этой Авдеевской площадке голь перекатная! Пятерку до полочки сшибить не у кого!

Валька засмеялся — святая правда!

Зубанов все говорил с Катей, низко наклонясь над столом, и Валька, привыкший видеть его в последнее время то в куцем пиджачке, из которого торчали длинные руки, то в синей курточке из хэбэ, то в кургузом плаще с обтрепанными рукавами, вдруг заметил, какой на нем сейчас великолепный костюм, серый, в черную полоску, какая булавка на галстук, какие запонки...

А Валька в этом же пиджачке из букле лазил по домне... Он увидел крошечную рыжеватую дырку с внутренней стороны рукава, прокурил как-то, и увидел, что вместо трех пуговиц там у него болтается только одна, и почувствовал, как невыносимо жмут его новые туфли, и показался самому себе жалким и неловким, и тут же удивился, чего это, и вспыхнул, и прикрикнул на себя: эй ты, «надев перевязь и не боясь ни зноя, ни стужи, ни града, весел и смел, шел рыцарь...»! А ну-ка сядь попрямей, откинись на спинку, и ногу брось на ногу, и убери с груди подбородок, а ну, выше голову, казак, «ночью и днем Млечным Путем за кущи райского сада держи свой путь», — что это ты вдруг скис? И он, затягиваясь дымком, поглядывал вокруг себя уже чуть иронически, теперь он уже точно знал, откуда этот комплекс, он старше становился, он уже мог разбираться в самом себе, и тут не надо было долго искать: он начал иногда неуверенно чувствовать себя в компании молодых инженеров... Они жили в мире очень реальных понятий и очень реальных дел и если что-то решали сегодня, то завтра или послезавтра это уже можно было видеть исполненным, и плоды их размышлений можно было посмотреть и потрогать, и можно с чем-то соизмерить, с чем-то соотнести и оценить объективно; тут уж было ясно, кто чего стоит, они словно были солдатами регулярной армии, объединенной общими проектами да чертежами, общими графиками да сроками, солдатами со своими знаками отличия и со своею славой. У них за плечами останется на Авдеевской площадке громадный завод.

— А что оставит после себя Валька? Годовые комплекты многотиражки; название которой натошак не выговоришь? Несколько статей? Две свои изданные в области тощие книжки?

Правда, иногда, в минуты душевного подъема, он начинал рассуждать несколько иначе: пусть многие из этих парней великолепно

знают дело, и в работе своей поднимаются выше обыденного, и болеют научной организацией, и ногами бьются над американскими экономистами да над Винером, и над перфокартами сидят до утра... Валькина же работа почти не имела ни вех, ни пределов, и она всегда была для него свободным поиском, и он знал, что в этом для него есть все — и долг, и совесть, и есть разочарование, и есть удача, и это давало ему ощущение внутренней свободы и позволяло взглянуть на то, что делалось на Авдеевке, не только с точки зрения Министерства, предположим, строительства или Министерства, допустим, черной металлургии, и это было очень важно, потому что создавались на стройке не только заводские цехи — создавался и дух человеческий, и справедливость, и доброта...

Не раз он начинал сомневаться: стройка, самосвалы, предположим, обязательства, сроки, графики... Пройдет десять лет, а потом пролетит сто — кому все это будет надо?

Но вот сегодня этот мальчишка Листопадов гордо проходит мимо теплого и сытого дома, из которого он ушел два года назад... Разве это не важно?

И тут Валька словно уловил в себе далекий зов и сосредоточился, прислушиваясь... Опять еле ощутимо тронула и тут же заставила забыть обо всем другом эта мысль, которая стала приходить к нему с недавних пор, пока еще нечеткая, но такая же настойчивая, как стук птенца в тесной скорлупе. Опять ему приоткрылось: все, что видел здесь за шесть лет — и безделье, от которого стройка страдала раньше, и сегодняшняя запарка, и людские судьбы, и лозунги, технические решения, проценты, порыв, сомнения, радость с горечью пополам, — весь этот тугой сплав здешней жизни есть я в л е н и е, над которым ему надо хорошенько поломать голову, чтобы додуматься до чего-то очень и очень важного не только для него самого, но, может быть, для всех, и мелочей тут нет, все жаждет пристального взгляда...

Катя тронула его за локоть:

— Они, по-моему, не очень рвутся...

Валька сперва долго смотрел на нее, соображая, потом повернулся к столику, за которым сидели Ньюшины.

Кульков стоял около них, за руку придерживая привставшую было Риту, но Виталька сидел за столом, не глядя на Кулькова, и вид у него был такой, словно он и не думал подниматься.

— Потанцуем и снова подсядем к ним, — негромко сказала Катя.

— Пойдем.

За их столиком Виталий сидел, беспомощно щурясь — очки были у Риты.

— А все-таки меня заинтересовало — с этим мальчишкой, — сказала Катя, — которого бригада хочет усыновить...

— На то и рассчитано, — пожал плечами Валька.

— И вам уже рассказал? — усмехнулся Ньюшин. — Не нравится мне эта затея.

— Почему?

— А можно, я подумаю?

Рита улыбнулась Кате, снимая очки:

— Просто он поищет другую причину, кроме своей неприязни к Зубанову...

— Знаете, Катя, почему мне эта затея не нравится? — склонился над столом Ньюшин. — Потому что распадется потом бригада — это с солдатами быстро. Уйдет из штаба Зубанов, который все это придумал. И про мальчонку просто забудут. Уж как хотите, а позабудут как пить... А мать мальчонки невольно начнет думать, что ее обманули. И получится: была в обиде только на своего муженька, а то на

всю советскую власть будет в обиде... Ритка, отдай очки — больше не могу.

Когда Ньюшины ушли танцевать, Катя подалась к Вальке, широко открытыми глазами глядя на него, спросила грудным своим голосом: — А тебя не пугает ее молодость? Этой девочки... ну, с которой ты?..

...Одетые звонким золотом, тихо стояли тогда уже прозрачные по-осеннему леса. Тонко дымилось над ними до холода голубое вверху высокое небо... Он помнил, как среди рыжих да багряных листьев рдели тогда гроздь рябины, он хорошо помнил горьковатый вкус теплых от вечернего солнца ягод. Он помнил эту чуткую тишину, в которой отчетливо было слышно, как с легким хрустом отламывается от ветки иссохшая ножка листа, как он неторопливо летит потом, косо подаваясь из стороны в сторону, коротко постукивает о ветки, переставшие питать его живыми соками, как опускается, шурша, на уже полегшую местами серую траву. Он до сих пор чувствовал и дух слегка подсушенной острым ветерком прели, и сырой запах раздавленного ногой мокрого гриба, и как будто ощущал озноб глухого тумана вечером, и ощущал тот стылый морозец, который оставался на телогрейке, когда Валька потом подбирал ее с земли... и он всегда помнил и влажное тепло Катиных губ, и гревшее его руки сухое тепло ее плеч, он все помнил — даже тогда, когда приказывал себе все это накрепко забыть!

Казалось, они тогда хорошо понимали всю сложность своего положения, и в долгих разговорах решали действовать разумно и осмотрительно, и обещали ничего не скрывать друг от друга и во всем советоваться. Но вышло иначе.

Преподаватель, который был старшим в том селе, где первые три дня работала Катя, доложил на факультете о том, как Нестеров самовольно увез Ковалеву, и комсомольские деятели теперь косо поглядывали на Вальку. О них пошли всякие слухи один другого страшней, и Валька уже готовился к разговору где-нибудь на курсовом бюро, но однажды, когда они встретились, Катя сказала ему, глядя с надменной насмешливостью:

— Что ж, пора, пожалуй, и закончить наш осенний роман? Должна сказать тебе с той самой прямоотой — выхожу замуж.

И она больше не замечала его на факультете, и бросала трубку, когда он звонил, и совсем скоро действительно вышла замуж.

А Валька вернулся к жене.

Потом уже, когда они давно разошлись, один из друзей прислал ему коротенькое письмо: Катя тоже теперь одна. Странное тогда что-то с Валькой произошло: он бросился к Банникову, выпросил машину, кинулся в город. В тот раз он дозвонился до Москвы, еще не дочитав письма до конца. Катя сказала ему: приезжай. И только теперь он узнал, что пять лет назад жена его была у Кати дома, просила порвать с Валькой, плакала, говорила, что ждет ребенка — тогда это еще было неправдой...

И начались у них потом с Катей бесконечные разговоры по телефону с короткими Валькиными наездами в Москву. Но никак не могли решить одного: Москва или Авдеевская площадка? Ничего пока здесь не сделавши, Валька не соглашался уехать.

А потом — Дашенька. Вот и все.

Он наконец понял, что хотела сказать Катя своим вопросом: они успели уже вдоволь наошибаться, у нее вон дочка растет без отца, а у него, у Вальки, парнишка без матери. А имеет ли право Валька втягивать девчонку в запутанную свою жизнь, через которую прошла уже

не одна женщина? Может быть, честно говоря, у него вовремя не хватило мужества от нее, от Дашеньки, отказаться?

Катя, слегка подавшись к нему, мягко провела по его щеке ладонью.

— Ты слышишь? — сказала негромко, но очень твердо. — А почему это я опять должна отдавать тебя? Ты мне можешь внятно сказать? — Низкий, грудной ее голос окреп, в нем снова как будто появилась надменность.

Валька, собираясь с мыслями, усмехнулся и на секунду прикрыл глаза.

НЕСТЕРОВ. В прошедшее воскресенье мне надо было дозвониться до города.

— Одна линия занята, — сказала телефонистка, — а вторая у нас что-то не работает... Сейчас попробую.

Долго пыталась включить вторую, все бесполезно, а я, пока ждал, все слышал, как по первой разговаривает Банников.

В психбольнице рядом с поселком погас свет, ему, видно, позволили, попросили помочь, и он теперь бился, искал концы:

— Ну, хорошо, я понимаю, выходной день, но можете вы мне посоветовать, к кому обратиться?..

Я допил чай, оделся — снова за телефон:

— Не закончил там Георгий Мироныч?

— Нет, еще говорит.

Через некоторое время опять решил позвонить: собкор областной Мелька Гешко мне нужен был позарез.

Снова голос Банникова:

— Я второй час пытаюсь найти, кто может помочь, и хоть это и не в моих правилах, немедленно пишу в горком докладную, потому что такого разгильдяйства, как у вас в горэнергосети...

Значит, свет все еще не горел. Бедный Банников!

С тех пор как парткому стройки дали права райкома, к нам отошли и два соседних поселка, и эта психбольница, и еще сам бог не разберет кто и что.

Да и вообще, чем только нашему старику не приходится заниматься, каких только не решать вопросов, во что только, кроме производства, не влезать, и он ведь тут не только главное начальство, но и первый за все ответчик. Чуть где перегнули, а к нему первым с вопросом: а почему так? В области табачная фабрика на ремонт стала, а к нему в бригаде: не могли бы папиросочкой угостить — интересно, что начальство сегодня курит? В городе на мясокомбинате авария — на собрании его за горло: а колбаса где?

И он в работе и день и ночь.

Иногда я себе пробую представить: а часто ли он думает о том, как странно поменялись они ролями с Кадышевым? Тот был у него замом, они не сработались, и Кадышев ушел, а теперь он секретарь горкома, самое первое начальство Банникова. И, как знать, не хочется ли Банникову, глядя на преуспевающего Кадышева, пересмотреть свою линию? И перестать говорить правду-матку на обкомовских совещаниях, и быть предупредительней со всяким, от кого он зависит, и перестать ершиться... Жизнь его как будто нарочно искушает примером Кадышева: разве не видишь — так удобней?

Банников, мне кажется, испытание выдерживает достойно, другое дело — легко ли это ему дается?

Вроде бы я его и хорошо знаю, и не один пуд соли действительно съели в одной и той же столовой — сперва на промбазе, потом на промплощадке. За одним и тем же столом... Правда, у нас-то пуд этот

съедается гораздо быстрее. Подзывает он как-то к нашему столу зав-производством и говорит ей громко, на весь зал: «Маргарита Семеновна! Я вот долго прикидывал: почему это Нестеров бросает в суп столько соли да столько перца? Еще и не пробовал, а уже за солонку! А теперь я, кажется, понял. Посолишь да поперчишь — так хоть что-то почувствуешь, а если так просто — оно и памяти никакой от вашего супа».

Начну я ему рассказывать о летающих тарелках или о чем-либо другом столь же необычном, другой раз нарочно стану сомневаться вслух в чем-нибудь общепринятом, а он только щурит один глаз да помалкивает.

А я часто спрашиваю себя, думает ли он о загадках бытия и о тайнах погибших цивилизаций. О том, что кроманьонцу сорок тысяч лет, а советской власти нет еще и полсотни? О том, что не все, предположим, написанное им в передовой статье нашей «Новостройки», истина в последней инстанции?

И живет ли у него в душе тот маленький мальчик, который, кажется, живет в каждом из нас?

Об этом мальчике.

Однажды на оперативке мы сидели с ним рядом, а говорили на ней все то ж да про то ж, опять стояла сплошная ругань, и мне вдруг стало скучно, я посмотрел на его сосредоточенное лицо, и бес уже толкнул меня... наклонился к нему и шепчу:

— Знаете, что мне кажется?..

Он ухом ко мне подался.

— Все-таки это, конечно, был корабль, а никакой не метеорит.

А он поднял руку и громко обратился к управляющему трестом:

— Одну минуту, Николай Трифонович. Я считаю, что мы вправе потребовать от нашей многотиражки, чтобы она тоже взяла под контроль сдачу государственных актов... А то вот давайте сейчас для интереса поднимем Нестерова: думаете, он знает, что уже сдано, а что нет?

И опять склонился над блокнотом.

Оперативка затянулась, и мы потом съездили перекусить — он хотел пройтись по участкам после двенадцати, посмотреть, как работает третья смена, и я решил составить ему компанию.

В поселок мы кое-как добрались часа в четыре утра. Шли одни по пустынной бетонке, и он как будто вдруг вспомнил:

— Да... Ты вот часто о чем-нибудь таком... А я тебе скажу, со мною был один случай, который я сначала отнес к чудесам. Я еще совсем мальчишка был. Летом жил в деревне у бабушки. И вот однажды бегали мы, бегали за околицей, играли в казаков-разбойников, а потом ребята по домам разошлись, а я остался на лужке за гусями присматривать. Прилег на солнышке и уснул. И вот снится мне, будто в одном овражке неподалеку ха-рошая малина растет. Такая крупная! И никто оборвать ее еще не успел. Вижу ее как наяву. Просыпаюсь, глаза протер — и туда, в овражек. Гляжу — и правда: в жизни еще не видал такого рясного куста да такой спелой ягоды. Подступил я к ней — и давай в рот, а потом остановился и замер: как же так, думаю? Приснилось, а выходит, что правда. Колдовство, да и только! Ты веришь, я от этой малины бежал так, что батожок около куста оставил... А в сорок третьем лежу в госпитале. На глазах повязка, а все представляешь себе так ясно, как нарочно — так и тянет тебя взглянуть на что-то красочное... светлое, понимаешь. Снова я эту малину увидел. И тут до меня дошло: да это я заметил ее еще тогда, когда сломя голову носился, играл и тут же забыл, а потом, когда на лужку заснул да успокоился, тут-то оно и выплыло... Хорошая, брат, была малина! Иной

раз грустно станет, а я глаза прикрою и опять увижу этот куст со спелой ягодой — и ты знаешь, вот странная штука: тут же легче делается. Почему бы, а?..

Святая дева Мария

Маришка оставила Валерку побегать на улице, сама поднялась на пятый этаж. Авоську с бутылкой молока и консервами повесила на дверную ручку на кухне, присела рядом на табуретку. Хотела на единственный миг, только оглядеться да чуток отдохнуть, а все сидела и сидела, не шевелясь и словно бы не думая ни о чем, только душа продолжала потихонечку ныть...

Потом спохватилась — надо Валерку сегодня искупать, и снова вздохнула уже на ходу, жалея в который раз, что нету окна во двор и она не может, как другие матери, крикнуть, не выходя из квартиры.

Валерка не хотел домой, садился на ступеньки, капризничал, и на третьем этаже она взяла его на руки, понесла. Посадила перед этажеркой, где в нижнем ряду лежали книжки, которые тот еще не успел дорвать, сама пошла в ванную открыть кран.

Горячей воды не было.

Хотела поставить на плиту кастрюлю холодной, уже налила, прислушалась: из комнаты, где мальчонка только что шуршал книжками, до нее донесся храп, тихонький и сладкий.

Она включила плитку и поспешила к Валерке. С книжкой на коленях он сидел на полу, привалясь спиной к ножке стула, и русая его головенка неудобно клонилась набок. Валерка храпел взхлеб, маленький ее мужичок... Конечно! Смену, считай, отъездил сегодня в кабине рядом с Ваней Братковым да с матерью потом выстоял в магазине такую очередь.

Сняла кастрюлю, пристроила на плитку чайник, воды на доньшке, слегка подождала, плеснула потом на край полотенца — хоть мордашку Валерке вытереть, чтобы не пачкал подушку.

Валерка вертел головой и недовольно мычал, пока она терла, попробовал было заплакать, но Маришка прижала его к себе, стала потихоньку покачивать, успокаивая, и он тут же пригнулся и затих.

Она раздела его, не выпуская из рук, сперва положила с краю, потом уже разобрала постель, потихоньку перекатила мальчонку на середину.

Валерка выгнулся и лег на спину, закладывая руки за голову, потянулся, и лобик у него то морщинами пошел, а то разгладился, лицо стало спокойное и как будто чем-то очень довольное, и она улыбнулась ему, спящему, склонилась над ним. Прижалась щекой к теплому тельцу, потом поцеловала и тут же нахмурилась.

От Валерки пахло бензином, сладковатой дорожной пылью и еще чем-то таким, чем пахнет вся авдеевская шоферня, то ли табаком, а то ли потом, и она вдруг затрясла головой, беззвучно заплакала.

Господи, да разве не ясно, что не на пользу мальчонке целый день в кабине трястись, хоть бы не очень во вред! Все-таки что ни говори, а уже большенький. А то родила у них Вера Зимцова, шоферша, год кое-как у бабок девочку продержала, а потом в кабину рядом с собой. Всё смеялась: вот тут и все мои ясли — ни карантина тебе, никакой заразы! Девочка и правда развитая была, такая ранняя, а в этом году признали искривление позвоночника, и Вера теперь почти не работает, то по врачам, а то по бабкам.

Маришка тогда тоже за своего перепугалась, решила, что лучше опять будет с хлеба на воду перебиваться, но Валерку снова к какой-нибудь старушке определит. Сперва показалось, что на этот раз ей

повезло: бабка вроде попалась чистенькая, опрятная, неглупая на разговор и как будто не жадная, а те четверо детишек, что к ней ходили, были хорошие с виду, здоровенькие. И плата Маришку не испугала, рубль в день, знала, что все авдеевские няньки давно уже на тариф сели — так им выгодней. То брали двадцатку в месяц, а тут, когда на стройке стали на пятидневку переходить, такса эта заколебалась: чего ж двадцатку по-прежнему отдавать, если ребенок теперь в субботу дома? И тут старухи словно совещание какое провели, словно договорились. Стали брать по рублю в день, а там хочешь как хочешь — то ль неси, то ль, когда вздумается, дома оставляй, твое дело.

Она стала водить Валерку раненко утром, и все вроде было хорошо, только начала замечать, что мальчишка другой раз бывает уж очень какой-то вялый, как будто сонный.

Допытывалась:

— Лерчик, у тебя ничего не болит?

Он качал головой, обнимал ее за шею, и пахло от него чем-то таким... то ли крепким сиропом, то ли газировкой.

— Вас там бабушка соком поит? — спрашивала Маришка. — Или конфетки едите такие пахучие?

У Валерки глазки такие умные, понимающие уже все, даже чего и не надо бы ему понимать, но сам что-либо объяснить — все перепутает, ничего не добьешься. Много с таким поговоришь — теперь кивал: да, да!

Как-то в воскресенье он попросил:

— Ма, купи красенького.

Она сначала не поняла:

— Чего красенького-то? Красенькое яблочко? Или помидор?

— Не-а, просто красенького... что пьют.

Она тогда от души посмеялась: не заскучаешь с ним, придумал же! Как ты его тут, в самом деле, воспитаешь, сказано — проходной двор, стройка! Мамкино молоко еще на губах, а и он туда — услышал от шоферни, ясно!

Потом у нее как-то разболелась голова, и начальник мастерских почувствовал, отпустил. Пока она на остановке простояла, пока до поселка доехала, стало ей лучше, и она решила забрать Валерку у няньки да в роще на краю поселка хоть немножечко с ним погулять, пусть дите, бедное, хоть немножко по зеленой травке потопчется.

Дверь в квартире оказалась незапертой, и Маришка только легонько стукнула пальцем — может, уже прилегли — и по коридору пошла на цыпочках.

Тут-то и увидала: за круглым столом посреди комнаты сидели пятеро малышей во главе со своею нянькой, перед каждым стоял на два пальца налитый маленький стакашек, а в руках у старухи была бутылка наливки, из которой мягко булькало в большую фарфоровую кружку.

— А уж какая вкусенькая! — говорила старуха ласково, почти с дрожью. — Вы пейте, пей-те-то, кто первый выпьет, тот молодец!

Маришка не выдержала, всплеснула руками:

— Бабушка!

Старуха, казалось, не удивилась ни внезапному приходу Маришки, ни испуганному ее голосу. Неторопливо повернувшись, спросила:

— А че? Ты, наверно, девка, не знаешь, так я скажу. Это у нас! А за границей, люди говорят, специально: отдельно водка для взрослых мужиков, есть женская водка, вроде дамская, а есть котора токо для детишек. Все равно пить-то потом — пуцай привыкает! Да и аппетит опосля первостатейный, и хоть поспит... попробуй иначе с пятерыми управься!

Маришка унесла Валерку, припугнув старуху милицией, привела сынишку в рожицу, и он тут же уснул, положив голову ей на колени, а она сидела, и плакала, и думала, как теперь: что ж ей делать с мальчонкой дальше?

Тогда-то ей казалось, что у нее еще оставался проверенный уже многими бабами-одиночками давно испытанный ход...

Весь вечер она себя подбадривала, все доказывала самой себе, что больше ей и правда ничего не остается, да разве не так и было?

Наутро подняла Валерку раным-рано, придела хоть чуть, повезла в автобазу. Директор Колесников был уже у себя. Она молча открыла дверь, провела, почти протащила мальчонку в глубь кабинета и посадила на стол, на какие-то лежавшие перед директором графки да сводки.

Думала, Колесников минут через пятнадцать придет, станет стыдить ее, уговаривать, пообещает опять садик при первом случае, однако никто к ней не приходил, никто никуда не звал.

Смену она отбыла сама не своя. Колесников пришел ровно в пять. Валерка бросился к ней от порога, а директор только постоял ровно столько, сколько надо было Валерке, чтобы до нее добежать. Повернулся и вышел, ни слова не говоря.

Где он день пробыл, от Валерки она так и не добилась.

— Там,— отвечал он.

На следующее утро привела к директору снова. Тот около стола протянул Валерке руки, сам посадил наверх. Хмуро сказал:

— Неразговорчивый он у тебя. Не в мать. Что любит-то?.. Чем его... ну, чтобы в охотку?

Она все хорохорилась:

— Да за вами тут не очень дитя разбалуешь! Все съест!

Пошла к двери.

Колесников в спину проскрипел:

— Он это... манку не ест, ага?

Остановилась:

— Манку плохо.

Валерка уже что-то перевернул у директора на столе, и Колесников только рукою Маришке махнул — так, как он обычно отсылает из кабинета.

Секретарша его, Райка, сидела на своем месте, красилась, и Маришка спросила у нее:

— Где он его? В сад куда-нибудь?

Эта завоображала:

— Ты плохо думаешь о Константине Семеныче... Если б можно было в сад, давно бы уже устроил, да ты ведь не одна у нас такая красивая. Дома он его держит, вот где!

— У себя?

— А ты думала! Жене вчера на работу позвонил, она все бросила и домой. Отвезли его туда на «Москвиче», пацаненка твоего.

И Маришка метнулась обратно в кабинет, на руки схватила Валерку, унесла.

...Она погладила его по русой голове, вытерла слезы и вернулась на кухню. Есть ей не хотелось и делать ничего не хотелось.

Она опять села на табурет, сложив руки на груди и привалившись спиной к стене, окрашенной синей масляной краской.

Странный прожила она месяц. Бывает, дни тянутся скучно, ни особой радости в них, ни особой печали, а тут пошло у нее такое время, словно разом вернули ей все тревоги, все волнения да все то счастье с несчастьем пополам, которого лишена была в одинаково бесцветные дни перед этим...

Началось все с той телеграммы, которую нашла она у себя под дверью. Очень пррстая телеграмма: «Встречай московским пятнадцатого вагон четыре Леонид». Больше ни слова. Но она читала ее и переречитывала, и ей казалось, что за скупой строчкой, отстуканной телеграфным аппаратом, есть какой-то очень важный для нее тайный смысл... Может быть, потому, что на Леонида она больше, чем на других, надеялась? Может, оттого, что больше других принес он ей горя?

Когда к ней перешел, жили они душа в душу, чего уж там старое чернить, хорошее было время. И то, что они поженятся, считалось у них делом решенным. Он только хмурился иногда:

— Мать у меня, ты понимаешь... Боюсь, что с ней будет не так просто.

Она пожимала плечами:

— А при чем мать? Она там, мы тут.

Он не соглашался:

— Н-нет, поедем в родные края, в Москву, раз уж такое дело...

Домой он уехал по телеграмме, что мать при смерти, и с тех пор как в воду канул — ни ответа тебе на письмо, ни привета. Дружки его из Фундаментпроекта намекали ей, что бесполезное теперь дело — ждать, но она решила: потому так говорят, чтобы с полным правом начать теперь самим за нею ухаживать. И все было такое чувство, что у них с Леонидом наладится, это теперь какая-то обидная заминка произошла, и скоро все выяснится, и все станет хорошо, как было. Когда чувствовала себя сумно, приставала к Валерке:

— Все-таки правильно, что мы дядю Леню ждем, а, Лерчик?

Валерка сердито поправлял ее:

— Папку!

Он был совсем маленький, когда сошлись они с Леонидом, только что два года исполнилось, за ним еще нужен был глаз да глаз, и Леонид помогал ей с мальчишкой, они подружились, Валерка стал папой его называть, когда у самих у них разговора об этом. еще и не было.

Когда он уехал, Валерка все спрашивал, скоро ли тот вернется да что ему привезет, надоедал Маришке расспросами, а она с ним, видишь, советовалась.

Выросла Маришка в детдоме, родных у нее не было нигде никого, Валерка был единственный родной ей человек на всем белом свете, и она видела в нем и свою опору и продолжение своей жизни. Несмотря на то, что был он еще такой несмышленый, она считала его как бы старшим. Даже когда он еще целыми днями лежал в кровати и ничего еще, показалось бы другому, не мог понимать, уже тогда крошечный этот человечек был для нее и помощник и защитник, и ему вовсе не надо было с ней говорить — это она говорила: мы. А мальчишке достаточно было посмотреть на нее и только краешком губ улыбнуться...

Коротенькую телеграмму, которую она получила от Леонида, читала Валерке и перечитывала. И хоть не было в ней ничего особенного, только день, когда придет, да номер вагона, Маришке чудилась за сухими словами, которые телеграф одинаково коротко раздавал всякому, последняя надежда...

Успела и проклясть его и почти забыть, но теперь она, наверно, уже здорово сдала, здорово постарела и во многих вещах разуверилась, потому что думала теперь больше не о себе — о Валерке. Может, Леонид помотался-помотался да и понял наконец, что лучше, чем у Маришки, не было ему нигде? А к мальчишке относился он, как никто другой, и как знать, может быть, это самая последняя возможность найти Валерке отца — потом будет поздно, вон как Валерка вырос, понимать стал слишком много.

До прихода поезда оставалось еще с полчаса, и никогда для Маришки время не тянулось так медленно... Потому ли, что решила простить Леонида да встретить по-доброму, вспоминалось ей в эти минуты все только хорошее, а многое несчастливое как будто ушло разом навсегда, растаяло, куда делось, и она не находила себе места — так ждала.

Тогда она поняла, что ожидать вот так ей впервой. Подруги, которых она встречала да провожала здесь, на вокзале, не в счет. А мужа проводить ей не пришлось, постарался, чтобы она не знала, когда уедет, в какую сторону... Павлик Береснев, бедный, куда только на счет алиментов не писал, где только его не искал — как сквозь землю провалился, пропал, нету!..

Хорошо, что четвертый вагон остановился как раз напротив входа в тоннель, и она прислонилась плечом к шероховатой бетонной стенке. Люди все выходили и выходили, и она все больше замирала: вот сейчас... вот!

Потом из тамбура кто-то помахал рукой, она сначала даже не поняла, что это ей, а тот подошел, негромко спросил:

— Простите, вы Марина? Очень рад.— Он мягко, но как-то очень решительно взял ее под руку, в другой у него был только небольшой чемодан.— Если позволите, я вам все по дороге.. Видите, поехать в Сталегорск должен был Леонид, уже и телеграмму вам дал, а в последний момент что-то поломалось... пришлось мне взять на себя эту неприятную миссию — огорчить вас... А я вас сразу узнал, видите, он так удачно обрисовал...

Они шли рядом, она растерянная вконец, совершенно обескураженная, а он как будто бы очень искренне опечаленный.

Он неторопливо шел чуть впереди нее, слегка наклонялся, глядя в глаза открыто, но вместе с тем и с каким-то значением, и во всей его мягкости, этой кротости его, с которой он ее успокаивал, была какая-то неожиданно встревожившая Маришку настойчивость.

И вдруг она, кажется, поняла!

У нее сердце захолонуло от этой догадки, ватными стали руки и ноги, она почувствовала себя так, будто в ней стержень какой-то сломался, ее в жар бросило, она головой повела вбок, чтобы свободно передохнуть, а он, видно, все это по-своему истолковал, уверенная его ладонь, сжимавшая руку, была у нее почти под мышкой, и теперь он притянул Маришку к себе, так что она слегка прижалась к нему боком, и тоже очень искренне, весело и как будто чуть удивленно сказал:

— Послушайте, чем больше смотрю на вас, тем... вы мне больше нравитесь, это я вам совершенно определенно говорю. И знаете, мне, ей-богу, как наши родители говорят, расхотелось рассказывать вам байки... что-то такое... темнить, в общем. Я это не люблю. Он мне, Леонид, почти в шутку сказал: есть такая девочка. Если хочешь, дадим телеграмму...

Лицо его было теперь совсем близко... Вокруг шли люди, разговаривали, смеялись, кто-то громко звал носильщика, а он все смотрел на нее так, словно было это глубоким вечером и они вдвоем, кроме них, никого, и он знает Маришку давным-давно, и больше не может без нее, и хочет, чтобы и она сказала ему сейчас то же самое...

Он был красивый и сильный, видно, мужик, она почувствовала себя перед ним совсем беззащитной... «Ездит вот так небось по стройкам,— подумалось ей беспомощно,— все видел... все знает».

Показалось, что пробудь она рядом еще минуту-другую — и не уйдет от него до тех пор, пока он сам этого не захочет... Маришка испугалась.

Она вырвала руку и сначала пошла от него некрасивой ломкой походкой, ей стыдно было за эту походку, на которую, она была уверена, все сейчас смотрят, и тогда она побежала, тоже неловко, как связанная.

На площади она никак не могла прийти в себя, задышалась не от бега, но от какого-то чувства, которое пробовала сдерживать. Она и думать не хотела об обиде, не смела перед собой о том заикнуться, потому что догадывалась: назови это обидой — и тут же поймешь, что нет ей ни конца и ни края.

Маришка не плакала, только всхлипывала судорожно.

Она искала такси.

У стойки с табличкой для городских машин стояла длинная очередь, и она пошла к той площадке, где торговалась с пассажирами эта братва, междугородники, но ее окликнули, и она увидела за баранкой «Волги» длиннотелого парня из бывших авдеевских мазистов.

— Куда тебе, землячка?

— В поселок. Еще дальше... на шлаковый.

— Хочешь, чтобы там меня раздавили?

Она чуть не взмолилась:

— Будь человеком!

На площади надо было смотреть в оба, и носатый таксист помалкивал, то и дело поглядывая то в зеркальце, то по бокам, а когда они выехали на проспект, пошуршал папирсой, закурил, поудобней устроился за баранкой, локоть на дверцу положил, обернулся к ней:

— Ты как живешь-то?

Она почему-то все лихорадочно наблюдала за ним, а теперь откинулась на спинку, негромко попросила:

— Ты извини меня, а? Можно, я тихо посижу, так мне... чего-то.

Этот спросил сочувственно:

— Ты че — из больницы?

И она закусила губы.

Хотелось ей сейчас только одного: найти Валерку, посадить на колени, прижать к себе...

Таксист оказался хороший парень, довез до шлакового, согласился подождать, пока она сбегает поищет мальчишку возле столовой.

Потом недалеко от автолавки Маришка увидела самосвал Вани Браткова, бросилась к нему и, выходя из-за машины, услышала:

— Да разве пацан всех ейных хахалей запомнит? Тут память, понял, как у академика... га-га!

...Мальчишка давно уже спал у нее на руках, а она никак не могла успокоиться.

А затем... Затем и случилось то, чего она до сих пор не может себе простить. Что ее безжалостно мучает теперь каждый час и каждую минуту. Чем счастлива она все последние дни и ночи...

И на следующее утро и потом еще много раз она все пыталась осознать, как это могло произойти, пробовала, но так и не могла разложить все по полочкам — выстроить одно за другим. Отлично помнила каждую подробность, но как и с чего это началось...

Позвонили, и она по привычке глянула в зеркало и нехотя пошла открывать.

Он стоял и на вытянутой ладони держал бежевый Валеркин беретик.

— В-вы... п-потеряли... к-когда...

Он так отчаянно заикался, Маришка просто должна была хоть что-то сказать, чтобы выручить его:

— Ой, спасибо, Сережа. А я думаю, где он?

Покрасневшее лицо его страдальчески морщилось, он судорожно сглатывал, каждый звук давался ему с трудом.

— И еще... Я х-хотел... п-просить...

Ей снова захотелось ему помочь:

— Ты тут так и будешь стоять?

Уже в комнате он сказал:

— П-просить... п-прощения..

— За что, боже мой? Еще не поздно.

— З-за то, ч-что там, на ш-шлаковом...

Она замерла, глядя на него почти жалеючи.

— Я з-знаю, вы не такая... И п-пусть кто только посмеет... оскорбить, потому что я...

Маришка и раньше замечала, что смотрит он на нее как-то так, интересно, да мало ли, она думала — чокнутый, чего с него возьмешь, с бородой... А говорит — любит...

Так ей было непривычно смотреть: стоит, рук не тянет, сам бледный как полотно, а губы под светлыми усами ровно красным соком окрашены, на глазах слезы блещут, вот-вот брызнут.

Может, виноват был тот истерзавший ей душу день?

Маришка притянула его к себе и заплакала.

А потом как-то уже все само собой вышло. Не потому что ласки давно не видала, не потому что — живые люди, не совсем так, она себя умела держать, знала, но тут на нее что-то такое нашло, чего она и не могла никак до сих пор понять... а он совсем мальчишка, стыдился, утешала его, сама измучилась, да только ей и муки эти были тогда, наверно, нужны, все для одного — лишь бы плакать, и она так и была вся в слезах, а он целовал ее совсем неумело и все любит, говорил, как будто не ее — себя уговаривал:

— Н-нет, эт-то никогда не пройдет! Никогда.

Ей и обижать его сейчас не хотелось и не хотелось правду скрывать:

— Ну конечно, никогда... никогда. А потом и пройдет.

И все последние дни прожила она как в радостном, да уж больно тревожном сне.

Сережка все твердит — пожениться им надо, господи! У кого другого клещами не вырвешь, а этот сам, страшно подумать, что если бы на какую другую нарвался!

А она и отговаривала его, и смеялась, и вздрагивала, когда ловила себя на мысли: да, а правда — а почему бы и нет? Подумаешь, девять лет разницы. Сходятся, да еще как живут, другим завидно. А какие бы могли пойти детишки. Маришка еще красивая, недаром же на нее глаза пялят, а она сама чистота, ласковый да хороший, и кожа как у ребенка, даром что борода, и дышит легко, словно мальчишонок, тут и подумаешь, что такое молодость, какую ты сама когда-то была, какую никогда больше не будешь...

Сердце сжималось, когда другое думала: да разве она может жизнь ему исковеркать? Неужели же она, Маришка, такая — лишь бы в загс кого притащить?

Уже привыкла, что ей самой не везет, считала — сама виновата, а вдруг и к нему это прицепится, почему он должен платить за чужие грехи да ошибки?

Было иногда по-бабьи тоскливо: может, в другом дело? Характером-то вон какой Сережка хороший, да только разве она ему пара? Другой раз скажет что-нибудь, а ей непонятно и спросить стыдно. Что ты хочешь, детский дом, а потом ремеслуха. Научили паять да лудить, кусок хлеба зарабатывать — живи, Маришка, с тебя хватит! Ныло сердце: а может, училась бы дальше, сложились все хоть чуть по-

иному... Не родись красивой, а родись счастливой — никуда не денешься, точно... А вдруг все и совсем просто: мальчишка он, разве в силах пока сам себя понимать — ему молодость да здоровье в голову ударили, посмотрел на нее, на Маришку, раз и другой, но ты-то уже через это прошла, ты знаешь!

Думала Маришка, думала, и так своим бабьим умом раскидывала, и эдак...

А вышло, что было это ей напоследок немножечко счастья — перед другой жизнью.

Три дня назад пришел Федя Обрядин. Сидел тут, сидел, силится что-то сказать. И тут снова раздался звонок в дверь, она почему-то испугалась: неужели Сергей? Вышла, а на площадке — Ваня Братков. Она и удивилась и обрадовалась:

— Заходи, гостем будешь.

Тот Федю увидел и удивился: вот, дескать, не ожидал. Сначала и не подумала, что договорились.

И тут Иван пристроился на кухне напротив Феде, кашлянул:

— Ну вот, друзья встречаются вновь... Я думал, ты, Федя, на танцах.

Федя только открыл рот и жалобно глядел на своего друга, а тот как переводчик. При Феде все уже так привыкли, что никто и не ждет, когда он ответит — сами за него говорят. Ваня без лишних слов:

— А что, если тебе, Марина, за Федю замуж?

И Федя вздохнул, покраснел, как мальчишка, и она только теперь и заметила, что он в новом костюме, что при галстукке.

И ей стало очень смешно:

— Ой, роденькие, свататься пришли, надо же! А я дура! Даже угостить нечем.

Ваня, видно, был слегка выпивший:

— Ваш положительный ответ будет нам лучше любого угощения!

Тряхнул черным чубом и голову перед ней опустил — как будто поклонился. А потом сказал так, словно очень почему-то устал:

— До тебя что, не доходит, Маришка? — И посмотрел на своего друга. — Ты, Федь, извини. — И опять ей. — Пусть мы не совсем... как бы тебе сказать, по форме... Да дело-то все равно какое серьезное. Ты ведь за ним, как за каменной стеной, будешь, скажи — нет? Разве когда в обиду даст? Разве сам когда пальцем тронет? И Валерка твой при отце...

— Большой! — неожиданно сказал Федя.

— Большой уже! — подсказал Иван. — Дальше трудно будет... а пока не поздно. Остальное он сам тебе потом скажет, что на душе... разве он к тебе так вот, без этого пришел? — Под кожаной курткой Ваня положил руку на сердце. — Я правильно, Федь?

Федя благодарно кивал, и лицо у него было жалостное и доброе.

И она поняла, что это очень серьезно и что она сейчас, по крайней мере, никак не должна им говорить «нет».

— Подумать мне надо... ой, надо! — Она только теперь почувствовала себя и растерянной и вконец поглупевшей. — Можно, подумаю? ...Вот и сидит она теперь. Вот и думает. Там любовь такая горячая. А тут человек серьезный. Самостоятельный.

Это уж потом она поняла, когда подруга о нем расспросила.

А что она пока сама знала о Феде? Только то, над чем вся автобаза посмеивалась.

Вспоминали обычно, как он пришел на работу устраиваться еще тогда, в самом начале стройки. Служил в ракетных войсках и повредил слух, директор, Колесников, говорят, долго вертел в руках документы его с комсомольской путевкой, потом сказал: все ничего, но

для шоферской работы вы не совсем здоровы... А Федя молча выворотил из угла пузатый стальной сейф, поставил на середину кабинета и на Колесникова только посмотрел, ни слова не говоря: это я-то, мол, не здоровый? И несколько месяцев работал потом на ремонте, двигателя ворочал, что кран.

Рассказывали всегда, как Иван с Федей машину ремонтируют. Один гайки крутит, а другой ключ отнимает, чуть не плачет: «Ради бога, осторожней, Федь, опять резьбу посрываешь!»

Вот и все, что знала сначала Маришка о втором своем женихе, — байки, которые слышала то в диспетчерской, то где-нибудь в столовке, когда они соберутся с папиросами: га-га-га!..

Захотелось ей с Ваней Братковым поговорить и с ним посоветоваться и на другой день на работу пришла раним-рано, но он только непонятно как-то улыбался да все отмалчивался и, уже стоя на подножке, сказал наконец:

— Любит он тебя, понимаешь? Давно. А ты... недогадливая была.

Хотел вроде еще что-то сказать, но потом хлопнул дверцей, прогазовку дал: разговор окончен.

Она подозревала тут кое-что. Был бы Ваня Братков не такой честняга, они с ним давненько бы уже поближе знали, чувствовала это Маришка, да только вон как хорошо они с Настей со своей живут и пусть живут. Маришка не из тех, кому от чужой беды радость. Не из тех, которая сама будет добиваться, чтобы прижали ее где-нибудь под черемуховым кустом или в красном уголке на диване, а потом глядеть вслед, когда он со своей законной женой появится, и думать о ней: ну и дура! И этим будет счастлива.

О том, что у нее с Сережкой, Маришка никому не говорит, боже упаси. А насчет Феде к подружкам пошла — за советом. Диспетчерша Вера, тоже, как и Маришка, соломенная вдова, руками всплеснула, да так и оставила их около полной груди:

— Да что ты, Машка, какой может быть разговор! Еще и мнение хочешь — от дура! Не будешь же ты весь век одна, все равно мужика искать, а тут — сам... Чего ж не попробовать?

Она грустно усмехнулась:

— Хватит бы. Уже напробовалась.

— Ой, Машка, да один раз живем, а я еще нет...

Маришка только вздохнула:

— Тебе легче прожить.

И Вера без всяких согласилась:

— Конечно, у меня-то другое дело.

Вера местная, из Осинового плеса, из тайги. Там отец-пасечник, мать, тетки с дядьками. Девочку свою туда отдала — там за нее дерутся...

Сколько потом ни думала Маришка, все ловила себя на том, что уж больно спокойно да по-деловому, что ли, размышляет она о Феде-ном предложении, рассуждает так, будто речь идет о чем-то не очень трогательном за душу. Может быть, потому, что все еще жила жаркими Сережкиными словами? Здесь-то другое было... Она стеснялась к Валерке мысленно обращаться, когда думала о Сергее, понимала, что волей-неволей выходит так, будто Валерка почему-то должен быть против Сережки. Ей стыдно было думать о Сережке, если Валерка был поблизости. А о Феде рядом с ним только и размышляла, и тут был как будто только одной ей понятный совет и было Валеркино одобрение...

Сначала Маришке показалось странным, что совсем еще недавно не было у нее никого, только от непрощенных женихов приходилось отбиваться чуть ли не силой, а тут сразу один пришел с такими реча-

ми и почти тут же вслед за ним — другой. Как сговорились — почему так? И поняла однажды: виною всему тот разговор на шлаковом. Тогда ее оскорбили, а они пришли, чтобы защитить. И Сережка. И, выходит, Федя? Значит, прав Иван: действительно Федя любит...

К одному стала Маришка постепенно приходить: получится у них с Федей, нет ли, а надо ей пока перестать с Сережкой встречаться. Пусть мальчишка пораньше разлуку переживет да поскорей обо всем забудет. И пусть она сама перестанет душу себе бередить. Пусть тоже постарается все забыть, пока не привыкла.

Объяснить все это сложно, не выдержит она — как ему объяснишь?

И надо сесть за стол да так вот все и написать: что не надо им видаться, что была это ее ошибка, ее слабость. А теперь она все поняла, теперь подумала. Выходит замуж.

Или поступить как по-другому?.. Ты ли сама виновата, что жизнь у тебя не очень получилась? Или виноват кто другой? Давай-ка с тобою припомним, как начиналось оно тут, на Авдеевской площадке, где горе твое с тобою рядом живет, и живет радость, и счастье твое с несчастьем пополам.

Помнишь, заработки на стройке еще никому и не снились и парни тут долго не задерживались, налево-направо глянул — и айда искать прораба пощедрей, начальника побогаче, еще и подъемные не вернул — уже нету, а тут оставалась да безропотно тянула лямку терпеливая и неудачливая ваша братва — совсем молоденькие девчата. Сами себе не хотели признаться, что скучно без женихов; чтобы холодной ночью поплакать в одинокой своей постели, других причин было у вас хоть отбавляй. И на танцах в промерзшем клубе с Надею танцевала Лариса, и с Галкою — Люда, и какой-нибудь из-за угла пыльным мешком прихлопнутый недотепа, сам ростом с побирушку, одолжение делал, когда выбирал грудастую, кровь с молоком, синеглазую деваху; и первый парень на деревне был — вербованный, с золотыми зубами пройдоха, сделавший тут короткую остановку, до тех пор, пока не прилетит вслед за ним путешествующий по России исполнительный лист...

А потом, помнишь, слово, которое с жадностью повторяли тогда все: разворот. В нем как будто слышался хруст натруженных плеч, и стройка ждала будущих своих работников, помнишь, и девчата из женского оркестра — женский-то он был тоже не от хорошей жизни! — до блеска чистили трубы, и школьников сняли с занятий и отправили в сопки за кандыками, а перед зеркалом в красном уголке нового общежития ладонью рубили воздух комсорги, готовили речи, и единственной пока на стройке орденоске Ире Михайловой парткомом было категорически предложено надеть свою награду — Трудовое Красное Знамя, — и кудрявый фотокорреспондент из городской газеты учил ее, как надо будет обнять первого, который сойдет с поезда, солдата.

Шел на стройку эшелон из ГДР, пассажирский состав, двенадцать вагонов, больше тысячи демобилизованных хлопцев — сила нерастраченная, верные сердца, крепкие руки. Будущие покорители Сибири.

Помнишь?

Ехали Сибирь покорить, а покорили сначала вас.

Как на подбор мальчишки, один к одному ребята, красавцы — грудь, плечи, чуб, взгляд, — русые здоровяки, ладные парубки с мягким говором, смуглолицые молодые боги с гортанным кавказским акцентом. И было наоборот: теперь уже соперничали они. И представители всех родов войск, пуская в ход за три года накопленную удачу, штурмова-

ли сердце забытой до этого и богом и всеми авдеевскими ухажерами дурнушки.

И уже не надо было учить обнимать, и ворчали комендантши, и шархались и улетали в ночь вспугнутые нетвердыми девичьими шагами на сопках птицы, и синей тучею застенчиво закрывалась полная молодая луна...

И гуляли свадьбы, и запрягали хлопцы коней — по всей стройке! Сколько пито было и заводской белой да разливной красной в поселке, сколько запашистой медовухи, да бражки, да кислушки сгубили по таежным деревенькам вокруг!

Потом было похмелье.

С милым рай-то и в шалаше, да молчит пословица: а надолго ли? Заколебались где-то далеко от стройки, прикрыли глаза ладонью, нахмурили лбы: а что, если пуск завода на Авдеевской площадке отсрочить на один год? Тогда можно будет высвободить деньги для других нужд.

И перестало звучать на стройке крепкое это слово: разворот.

В кабинетах да на узких совещаниях стали другое вполголоса говорить: надо не дать людям за этот год разбежаться. Надо сохранить кадры. А как?

Да все просто.

Сегодня, хлопцы, роем траншею, землю — направо. Завтра траншею засыпаем. Послезавтра опять откапываем, землю — налево.

Он в гимнастерке приехал, даже бушлата не привез, работает — оденется. А тут сразу семью завел. Как теперь? Ладно тем, кого мать с отцом хоть чуть приодели, кого дородная теща привела в магазин, руки с зажатым в них тугим кошельком сложила на животе: выбирай! А кто сам себе единственная надежда и опора?

А кино у нас красиво ставить умеют. А телевизор в Сибири уже Москву берет. И там и тут поглядишь — живут люди! А здесь... да что это, в самом деле, свет клином сошелся на этой стройке? Он чертоломить сюда приехал, горбатить, гнутья, вкалывать не разгибаясь, а ему по неделе — перекур. Он — упираться, мантулить, надсаживаться, пупок рвать, а ему в тепляке — домино да карты. Если этот тепляк есть. Если нету, значит, разговор у костра: где как зарабатывают, где как живут? Все то ж да про то ж. Потому что здесь разве — заработок? Потому что здесь разве — жизнь?

И ребят уже не узнать — как будто и не они.

Стояли, ткнувшись лбом в синее оконное стекло. Вы на стол собирали, стирали пеленки, детишек расчесывали. А они были уже далеко...

Вернутся ли потом сюда, чтобы семью забрать? Как знать.

Вы и утешить еще не умели и не умели так, чтобы все забыл, приласкать.

И следующую зиму ты уже одна коротаешь с малышом на руках. Ждешь еще. Не привыкла пока, чтобы тебя бросали. Это потом привыкнешь.

Ах вы, вчерашние насмешницы да гордячки, ах вы, вчера еще недотроги да неженки, вольная красота, молодая стать, взгляд — синий огонь, сердце — вспугнутая лесная птица! Одинокими вдовьями ночами приходят ли к вам в тревожных снах те, кому отдали вы первую любовь? Зовут ли, как тогда, за собой на пригорок, за косогор, обнимают ли крепко да ласково, на кургузый, купленный еще до армии пиджачок укладывая среди шальной весенней травы?

Как тебе живется одной? Как можется? Будешь и дальше так колотиться или попробуешь все начать снова? О тебе и так уже — халва, на одного глянет, а всех жалко; пожилые бабы в спину взгляд —

как ножик: пошла, шлендра! А тебе уже не постели хочется, тебе — лишь бы у мальчишки отец, вон как одной с ним трудно! Тебе уже не двадцать давно, тебе уже часто не до красоты его, не до силы мужичьей, а лишь бы не очень пил, лишь бы хоть чуть самостоятельный да серьезный, да только где они — непьющий, самостоятельный да серьезный? Тут за таких умные-то девчата повыходили уже давно и держатся, как черт за грешную душу.

...Сидит Марйшка, думает...

НЕСТЕРОВ. Приехал я домой два года назад, собрались мы за столом в палисаднике, и я говорю что-то такое: а ну-ка, ма, плесни еще черпачок.

Мишка мой, который свою бабушку тоже зовет мамой, внимательно посмотрел на меня, дернул подбородком:

— Мы с тобой, что ли, братики?

Да нет, говорю, я тебе папа, а ты мне сынок, но тут, понимаешь, такое дело... Хорошо, что к колодцу подошла соседка с ведром, окликнула маму, и разговор этот кое-как мы замяли. Да только все равню: нет-нет и замечу, что глядит на меня Мишка теперь с подозрением.

Я уже к нему и так, и этак... Заметил, что охотничьи истории слушает с открытым ртом — столько насочинял, что сам потом удивился, когда он мне начал пересказывать. А как-то прищурился и говорит: а привези поглядеть свое ружье.

Уговор дороже денег, как говорится, прошлой осенью привез я в станицу свою «ижевку».

И пошли мы с Мишкой на охоту.

День был яркий, но ветреный, и даже внизу, в долине, где лежит станица, заметно потягивало, а за рекою дуло и совсем сильно. Зеленая степь кое-где уже порыжела и пожухла, склоны холмов стали бурыми, а горбы поседелели от ковыля. Мы поискали затишек и пошли рядом с высокою стенкой кукурузы, которая начиналась в одной низинке — там было прошлогоднее просо и бурьян.

Бурьян высокий и жесткий, Мишке почти с головой, и я говорю ему: ты иди-ка за мною следом. Я приминаю траву, а ты — как по дорожке. Только где там!

Ему ведь надо бежать рядом, а то и чуть впереди — оборачивается, глазенки горят, заглядывает мне в лицо... Если перепелка вырвется из-под ног, окликнет меня так, что я на расстоянии чувствую, как у него сердчишко колотится:

— Па, вот она!.. Вон, вон!

А мне не везло, как, пожалуй, еще никогда.

За ружье-то я взялся уже в Сибири, и опыта в перепелиной охоте у меня, считай, никакого. А тут ветер! Перепелка с треском выпархивает из бурьяна, и порывом ее швыряет в сторону, она косо планирует вбок, а мне все кажется, что Мишка слишком забежал вперед, под стволы...

Один раз я промазал. Два. Три. Гляжу, Мишка начал отставать. — Что там у тебя?

А он ведь как идет — каждый кустик, каждую травину сперва пригнет, оседлает, потом уже перелезет через нее, пропустит между ногами. И в шагу у него на шароварах с начесом столько репяхов нацеплялось, что мы их еле выбрали. Опять я ему:

— Иди за мной следом!

Какой там!

Метров пятьдесят так протащимся, и опять у него на штанах колтун из репяхов да колючек...

Тут как раз ветер слегка поутих, и одна перепелка прямо пошла, поднялась над кукурузой, и я, кажется, хорошо прицелился. Упала, словно из кукурузы дернули ее за шнурок.

Мы побежали — только треск стоял, и я говорю Мишке: стань тут — и ни шагу в сторону, чтобы нам не потерять место, где она примерно упала. Договорились?

Бросился я искать, слышу, а он сопит у меня за спиной.

— Эх, ты почему ушел?

А он мнетя.

Конечно, кукуруза-то мне выше головы, страшно пацаненку стоять в ней одному...

Стали мы искать перепелку вместе. Искали-искали, да так и не нашли. Ни с чем домой вернулись.

А назавтра Мишка вышел на улицу, и его тут же окружили мальчишки:

— Ну, че, Миха, с охоты принесли?

А я стою в палисаднике за домом и думаю: что же он, бедный, начнет отвечать? Надо же, как нам не повезло. Вез я ружье за четыре тысячи километров, чтобы столько раз тут промазать.

Миха мой спокойно говорит:

— Да ниче не принесли.

А один дружок его подначивает:

— Да батя небось и стрелять не умеет!

— Это твой не умеет! — взорвался Мишка. — А мой еще как! Поглядел бы ты, как стрелял!

— А чего ж пустые пришли?

И Миха поднял руки так, словно держал в них ружье:

— Папа хорошенько прицелится — бах! А перепелка — мимо! Он опять — бах! А перепелка — мимо!

И так мне вдруг сделалось грустно. То ли от Мишкиной интонации, в которой были восторг и любовь ко мне, живущему бог знает как далеко от него, то ли от внезапного ощущения, что не так складно, как хотелось бы, все у нас с ним выходит — не только эта охота...

Так и вспоминается мне с тех пор: солнечный ветер в голубом небе над порыжелой осенней степью, и затишек рядом с кукурузой, и Мишка отстает, потому что ему трудно бежать в высокой траве, потом обгоняет меня, заглядывает мне в лицо — с восхищением и с надеждой...

(Окончание следует)



РОМАН СОЛНЦЕВ

★

НЕ СРАЗУ ДЕРЕВЬЯ МОИ ПРОБУДИЛИСЬ...

Не сразу деревья мои пробудились —
над ними вороны кругами носились,
кричали, чтоб их разбудить как-нибудь...
Но голос их резок и слишком уж громок.
Так в детстве, бывало, уснешь средь потемок —
устан, наработавшись, шапку на грудь.

И стук топора или крик петуха ли
коснутся тебя в эту пору едва ли...
Бывало, и пушками не поднимали!
Но — тихий заботливый голос сестры
иль матери шепот разбудят немедля!
Вот так и деревья на этой неделе
дремали средь крика, теплы и мудры...

Но утром сегодня нежнейшие птицы:
дрозды и скворцы, соловьи и синицы
(кто с юга, а кто зимовал) собрались —
и роща наполнилась щебетом, звоном,
и свистом, и трелью, и зовом влюбленным...
И дождик по струнам провел золоченым...
И почки прозрачным огнем налились!

И медленно лопнули почки тугие.
И зелень свежей оделась Россия...
Вдохнула земля, и проснулась земля...
И долго пишу я в поселок на Каме
письмо голубое, письмо моей маме,
и детству неспражданному радуюсь я...

ВЕЧЕРОМ

Скамейка во дворе. За час иль два
помянут тех, кто далеко, в Калуге,
иль даже рядом спит, закрыв фрамуги.
Помянут не добром! Все трын-трава!
Ругают, отрицают все заслуги...
Но что это? Как птица с рукава —
вдруг кто-то хорошо сказал о друге!

— Спасибо вам за добрые слова!
 — Вы знаете его?
 — Кого — его?
 — А друга моего!
 — О нет, понятно.
 — Так почему ж спасибо?
 — А приятно
 слова услышать добрые.
 — Чего?!
 — Мне, говорю, приятно, что вот вы
 единственный о ком-то вдруг сказали
 слова хорошие...
 — Эй, вы видали?!
 Что ж, это редкость?
 — Знаете, увы!
 — Но он хороший человек! Сперва
 я взвесил, что сказать... не с потолка же...
 — Вот я и говорю вам — как же, как же,—
 спасибо вам за добрые слова!..

БЕССОННИЦА

Нет, не война прошла, не мор,
 а просто спят все по домам...
 И на случайный тот костер,
 снеша, иду я по лугам!

Кто там и как его зовут?
 И я средь ночи — кто такой?
 Но люди на земле живут,
 и каждый — брат мне дорогой!

Тот человек сидит на пне,
 он смотрит в зеркало огня,
 и от костра навстречу мне
 он встанет, чтоб обнять меня.



ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

★

ИМЯ

Какое большое счастье
От шума дождя вставать,
В знакомые двери стучаться,
Свои для друзей открывать.

На девушку оглянуться,
Которой не назовешь,
Уехать, и вновь вернуться,
И знать, что живешь, живешь,

Что чувствуешь кожей ветер
И знойную благодать,
Что можешь всему на свете
Хорошее имя дать.

* * *

И ранний час... И ты — моя жена.
В забытом доме мы вдвоем с тобою.
Меж половиц пробилась тишина
Травой зеленою, землей сырою.

Мы обживаем дом на день, на два.
А приживемся в нем — так и на месяц.
Ты протираешь стекла. Синева
Вступает в дом, ничем не занавесясь.

Вступают в дом все краше и ясней
И берега и взгорья Селигера,
Где пахнут дегтем доски пристаней..
Забытый дом — любви и счастья мера.

Хотел бы я, чтоб дом,
наш первый дом
Здесь, у Истоков, жил бы и потом,

Когда мы станем, милая, с тобой,
Когда мы станем, милая, с тобою
Забвеньем, памятью, хулой, хвалой,
Травой зеленою, землей сырою.



ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ

★

НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

Повесть

1

Как и положено, выпускной вечер открывали торжественными речами.

В спортзале, этажом ниже, слышно было — двигали столы, шли последние приготовления к банкету.

И бывшие десятиклассники выглядели сейчас уже не по-школьному: девчата в модных платьях, подчеркивающих зрелые рельефы, парни до неприличия отутюженные, в ослепительных сорочках, при галстуках, скованные своей внезапной зрелостью. Все они, похоже, стеснялись самих себя — именинники на своих именинах всегда гости больше других гостей.

Директор школы Иван Игнатьевич, величественный мужчина с борцовскими плечами, произнес прочувствованную речь: «Перед вами тысячи дорог...» Дорог тысячи, и все открыты, но, должно быть, не для всех одинаково. Иван Игнатьевич привычно выстроил выпускников в очередь соответственно их прежним успехам в школе. Первой шла та, что ни с кем не сравнима, та, что все десять лет оставляла других за своей спиной, — Юлечка Студёнцева. «Украсит любой институт страны...» Следом за ней была двинута тесная когорта «несомненно способных», каждый член ее поименован, каждому воздано по заслугам. Генка Голиков был назван среди них. Затем отмечены вниманием, но не превознесены «своеобразные натуры» — характеристика, сама по себе грешащая неопределенностью, — Игорь Проухов и другие. Кто именно «другие», директор не счел нужным углубляться. И уже последними — все прочие, безымянные, «которым школа желает всяческих успехов». И Натка Быстрова, и Вера Жерих, и Сократ Онучин оказались в числе них.

Юлечке Студёнцевой, возглавлявшей очередь к заветным дорогам, надлежало выступить с ответной речью. Кто как не она должна поблагодарить свою школу — за полученные знания (начиная с азбуки), за десятилетнюю опеку, за обретенную родственность, которую невсильно унесет каждый.

И она вышла к столу президиума — невысокая, в белом платье с кисейными плечиками, с белыми бантами в косичках крендельками, девочка-подросток, никак не выпускница, на точеном личике привычное выражение суровой озабоченности, слишком суровой даже для взрослого. И взведенно-прямая, решительная, и в посадке головы сдержанная горделивость.

— Мне предложили выступить от лица всего класса, я хочу говорить от себя. Только от себя!

Это заявление, произнесенное с безапелляционностью никогда и ни в чем не ошибающейся первой ученицы, не вызвало возражений, никого не насторожило. Директор заулыбался, закивал и поерзал на стуле, удобнее устраиваясь. Что могла сказать, кроме благодарности, она, слышавшая в школе только хвалу, только восторженные междометия в свой адрес. Потому лица ее товарищей по классу выражали дежурное терпеливое внимание.

— Люблю ли я школу? — Голос звенящий, взволнованный. — Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою нору... И вот нужно вылезать из своей норы. И оказывается — сразу тысячи дорог!.. Тысячи!..

И по актовому залу пробежал шорох.

— По какой мне идти? Давно задавала себе этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все — прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю... Школа заставляла меня знать все, кроме одного — что мне нравится, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравится, то и дается трудней, значит, этому не нравящемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и... и не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!

Юлечка стояла, глядя птичьими тревожными глазами в молчащий зал. Было слышно, как внизу передвигают столы для банкета.

— У меня все, — объявила она и мелкими дергающимися шажочками двинулась к своему месту.

2

Года два назад был спущен запрет — в средних школах на выпускных вечерах нельзя выставлять на столы вино.

Этот запрет возмутил завуча школы Ольгу Олеговну: «Твердим: выпускной вечер — порог в зрелость, первые часы самостоятельности. И в то же время опекаем ребят, как маленьких. Наверняка они это воспримут как оскорбление, наверняка принесут с собой тайком или открыто вино, а в знак протеста, не исключено, кой-чего и покрепче».

Ольгу Олеговну в школе за глаза звали Вещим Олегом: «Вещий Олег сказал... Вещий Олег потребовал...» — всегда в мужском роде. И всегда директор Иван Игнатьевич уступал перед ее напористостью. Ольге Олеговне нынче удалось убедить членов родительского комитета — бутылки сухого вина и сладкого кагора стояли на банкетных столах, вызывая огорченные вздохи директора, предчувствовавшего неприятные разговоры в горно.

Но букетов с цветами все-таки стояло больше, чем бутылок: прощальный вечер должен быть красив и благопристойен, вселять веселье, однако в границах дозволенного.

Словно и не было странного выступления Юлечки Студёнцевой. Подымались тосты за школу, за здоровье учителей, звон стаканов, смех, перекатные разговоры, счастливые, раскрасневшиеся лица — празднично. Не первый выпускной вечер в школе, и этот начинался как всегда.

И только, словно сквознячок в теплой комнате, среди разгоревшегося веселья — охлаждающая настороженность. Директор Иван Игнатьевич несколько рассеян, Ольга Олеговна замкнуто-молчалива, а остальные учителя бросают на них пытливые взгляды. И Юлечка Студёнцева сидела за столом потупившись, связано. К ней время от

времени подбегал кто-нибудь из ребят, чокался, перекидывался парой слов — выражал свою солидарность — и убегал.

Как всегда, чинное застолье быстро сломалось. Бывшие десятиклассники, кто оставив свой стул, кто вместе со стулом, передвигались к учителям.

Самая большая, самая шумная и тесная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы, рассадила по партам, заставила раскрыть буквари.

Нина Семеновна крутилась среди своих бывших учеников и только сдавленно выкрикивала:

— Наточка! Вера! Да господи!

И платочком осторожно утирала слезы под крашеными ресницами.

— Господи! Какие вы у меня большие!

Натка Быстрова была на полголовы выше Нины Семеновны, да и Вера Жерих тоже, похоже, перегнала ростом.

— Вы для нас самая, самая старая учительница, Нина Семеновна! «Старой учительнице» едва за тридцать, белолица, белокура, по-доброму-стройна. Тот первый, десятилетней давности, урок нынешних выпускников был и ее самым первым самостоятельным уроком.

— Такие большие у меня ученицы! Я действительно старая...

Нина Семеновна утирала платочком слезы, а девчонки лезли обниматься и тоже плакали — от радости.

— Нина Семеновна, давайте выпьем на брудершафт! Чтоб на ты,— предложила Натка Быстрова.

И они рука за руку выпили, обнялись, расцеловались.

— Нина, ты... ты славная! Очень! Мы все время тебя помнили!

— Наточка, а какая ты стала — глаз не отвести. Была, право, гадким утеночком, разве можно догадаться, что вырастешь такой красавицей... А Юлечка... Где Юлечка? Почему ее нет?

— Юлька! Эй! Сюда!

— Да, да, Юлечка... Ты не знаешь, как часто я о тебе думала. Ты самая удивительная ученица, какие у меня были...

Возле долговязого физика Павла Павловича Решникова и математика Иннокентия Сергеевича с лицом, стянутым на одну сторону страшным шрамом, собрались серьезные ребята. Целоваться, обниматься, восторженно изливать чувства они считают ниже своего достоинства. Разговор здесь сдержанный, без сантиментов.

— В физике произошли подряд две революции — теория относительности и квантовая механика. Третья наверняка будет не скоро. Есть ли смысл теперь отдавать свою жизнь физике, Павел Павлович?

— Ошибаешься, дружок: революция продолжается. Да! Сегодня она лишь перекинулась на другой континент — астрономии. Астрофизики что ни год — делают сногшибательные открытия. Завтра физика вспыхнет в другом месте, скажем в кристаллографии...

Генка Голиков, парадно-нарядный, перекинув ногу за ногу, с важной степенностью рассуждает — преисполнен уважения к самому себе и к своим собеседникам.

Возле директора Ивана Игнатьевича и завуча Ольги Олеговны толкучка. Там разоряется Вася Гребенников, низкорослый паренек, картинно наряженный в черный костюм, галстук с разводами, лакированные туфли. Он, как всегда, переполнен принципами — лучший активист в классе, ратоборец за дисциплину и порядок. И сейчас Вася Гребенников защищает честь школы, поставленную под сомнение Юлечкой Студенцевой:

— Наша альма матер! Даже она, Юлька, как бы ни заносилась, а не выкинет... Нет! Не выкинет из памяти школу!

Против негодующего Васи — ухмыляющийся Игорь Проухов. Этот даже одет небрежно — рубашка не первой свежести и мятые брюки, щеки и подбородок в темной юношеской заросли, не тронутый бритвой.

— Перед своим высоким начальством я скажу...

— Бывшим начальством,— с осторожной улыбкой поправляет его Ольга Олеговна.

— Да, бывшим начальством, но по-прежнему уважаемым... Третью уважаемым! Я скажу: Юлька права, как никогда! Мы хотели наслаждаться синим небом, а нас заставляли глядеть на черную доску. Мы задумывались над смыслом жизни, а нас неволили — думай над равнобедренными треугольниками. Нам нравилось слушать Владимира Высоцкого, а нас заставляли заучивать ветхозаветное: «Мой дядя самых честных правил...» Нас превозносили за послушание и наказывали за непокорность. Тебе, друг Вася, это нравилось, а мне нет! Я из тех, кто ненавидит ошейник с веревочкой...

Игорь Проухов в докладе директора отнесен был в самобытные природы, он лучший в школе художник и признанный философ. Он упивается своей обличительной речью. Ни Ольга Олеговна, ни директор Иван Игнатьевич не возражают ему — снисходительно улыбаются. И переглядываются.

Своего собеседника нашел даже самый молодой из учителей, преподаватель географии Евгений Викторович — над безмятежно чистым лбом несолидный коровий залез, убийственно для авторитета розовощек. Перед ним Сократ Онучин:

— Мы теперь имеем равные гражданские права, а потому разрешите стрелкнуть у вас сигарету.

— Я не курю, Онучин.

— Напрасно. Зачем отказывать себе в мелких житейских наслаждениях. Я лично курю с пятого класса. Нелегально, разумеется,— до сегодняшнего дня.

И только преподавательница литературы Зоя Владимировна сидела одиноко за столом. Она была старейшая учительница в школе, никто из педагогов не проработал больше — сорок лет с гаком! Она встала перед партами еще тогда, когда школы делились на полные и неполные, когда двойки назывались неудами, а плакаты призывали граждан молодой Советской страны ликвидировать кулачество как класс. С тех лет и через всю жизнь она пронесла жесткую требовательность к порядку и привычку наряжаться в темный костюм полумужского покроя. Сейчас справа и слева от нее стояли пустые стулья, никто не подходил к ней. Прямая спина, вытянутая тощая старушечья шея, седые до тусклого алюминиевого отлива волосы и блекло-желтое, напоминающее увядший цветок луговой купальницы лицо.

Заиграла радиолка, и все зашевелились, тесные кучки распались, казалось, в зале сразу стало вдвое больше народу.

Вино выпито, бутерброды съедены, танцы начали повторяться. Вася Гребенников показал свои фокусы с часами, которые прятал под опрокинутую тарелку и вежливо доставал из кармана директора. Вася делал эти фокусы с торжественной физиономией, но все давно их знали — ни одно выступление самодеятельности не проходило без пропавших у всех на глазах часов.

Дошло дело до фокусов — значит, от школьного вечера ждать больше нечего. Ребята и девчата сбивались по углам, шушукались голова к голове.

Игорь Проухов отыскал Сократа Онучина:

— Старик, не пора ли нам вырваться на свежий воздух, обрести полную свободу?

— Мы мыслим в одном плане, фратер. Генка идет?

— И Генка, и Натка, и Вера Жерих... Где твои гусли, бард?

— Гусли здесь, а ты приготовил пушечное ядро?

— Предлагаю захватить Юльку. Как-никак она сегодня встряхнула основы.

— У меня лично возражений нет, фратер.

Учителя один за другим потянулись к выходу.

3

Большинство учителей разошлось по домам, задержались только шесть человек.

Учительская щедро залита электрическим светом. За распахнутыми окнами по-летнему запоздало назревала ночь. Вливались городские запахи остывающего асфальта, бензинового перегара, тополиной свежести, едва уловимой,— жалкий, стертый след минувшей весны.

Снизу все еще доносились звуки танцев.

Ольга Олеговна имела в учительской свое насиженное место — маленький столик в дальнем углу. Между собой учителя называли это место прокурорским. Во время педсоветов отсюда часто произносились обвинения, а порой и решительные приговоры.

Физик Решников с Иннокентием Сергеевичем пристроились у открытого окна и сразу же закурили. Нина Семеновна опустила на стул у самой двери. Она здесь гостя — в другом конце школы есть другая учительская, поменьше, поскромней, для учителей начальных классов, там свой завуч, свои порядки, только директор один, все тот же Иван Игнатьевич. Сам Иван Игнатьевич не сел, а с насупленно-распаренным лицом, покачивая пухлыми борцовскими плечами, стал ходить по учительской, задевая за стулья. Он явно старался показать, что говорить не о чем, что какие бы то ни было прения неуместны — время позднее, вечер окончен. Зоя Владимировна уселась за длинный, через всю учительскую стол,— натянута-прямая, со вскинутой седой головой... снова обособленная. У нее, похоже, врожденный талант — оставаться среди людей одинокой.

С минуту Ольга Олеговна оглядывала всех. Ей давно за сорок, легкая полнота не придает внушительности, наоборот, вызывает впечатление мягкости, податливости — домашняя женщина, любящая уют,— и лицо под неукротимо вьющимися волосами тоже кажется обманчиво мягким, чуть ли не бесхарактерным. Энергия таилась лишь в больших, темных, неувядающе красивых глазах. Да еще голос ее, грудной, сильный, заставлял сразу настораживаться.

— Ну так что скажете о выступлении Студёнцева? — спросила Ольга Олеговна.

Директор остановился посреди учительской и произнес, должно быть, заранее заготовленную фразу:

— А, собственно, что случилось? На девочку нашла минута растерянности, вполне, кстати, оправданная, и она высказала это в несколько повышенном тоне.

— За наши труды нас очередной раз умыли,— сухо вставила Зоя Владимировна.

Ольга Олеговна задержалась на увядшем лице Зои Владимировны долгим взглядом. Они не любили друг друга и скрывали это даже от самих себя. И сейчас Ольга Олеговна, пропустив замечание Зои Владимировны, спросила почти с кротостью:

— Значит, вы думаете, что ничего особого не произошло?

— Если считать, что черная неблагодарность — ничего особого, — съязвила Зоя Владимировна и с досадой хлопнула сухонькой невесомой ладошкой по столу. — И самое обидное — одернуть, наказать мы уже не можем. Теперь эта Студёнцева вне нашей досягаемости!

От этих слов вспыхнула Нина Семеновна, густо, до слез в глазах:

— Одернуть? Наказать?! Не понимаю! Я... Я не встречала таких детей... Таких чутких и отзывчивых, какой была Юлечка Студёнцева. Через нее... Да, главным образом через нее я, молодая, глупая, неумелая, поверила в себя: могу учить, могу добиваться успехов!

— А мне кажется, произошло нечто особенное, — чуть возвысила голос Ольга Олеговна.

Директор Иван Игнатьевич пожал плечами.

— Юлия Студёнцева — наша гордость, человек, в котором воплотились все наши замыслы. Наш многолетний труд говорит против нас! Разве это не повод для тревоги?

Громоздящиеся над темными глазами волосы, бледное лицо — Ольга Олеговна из своего угла требовательно разглядывала разбросанных по светлой учительской учителей.

4

Припасена большая круглая бутылка «гамзы» в пластиковой пленке — «пушечное ядро». Сократ Онучин прихватил свою гитару. Трое парней и три девушки из десятого «А» решили провести ночь под открытым небом.

Самым видным в этой группе был Генка Голиков. Генка — городская знаменитость, открытое лицо, светлоглаз, светловолос, рост сто девяносто, плечист, мускулист. В городской секции самбо он бросал через голову взрослых парней из комбината — бог мальчишек, гроза шпанистой ребятни из пригородного поселка Индии.

Это экзотическое название произошло от весьма обиденных слов — «индивидуальное строительство», сокращенно «индстрой». Когда-то, еще при закладке комбината, из-за острой нехватки жилья было принято решение — поощрять частную застройку. Выделили место — в стороне от города, за безымянным оврагом. И пошли там лепиться дома — то тяп-ляп на скорую руку, сколоченные из горбыля, крытые толем, то хозяйски-добротные, под железом, с застекленными террасками, со службами. Давно вырос город, немало жителей Индии переселились в пятиэтажные, с газом, с канализацией здания, но Индия не пустела и не собиралась вымирать. В ней появлялись новые жители. Индия — пристанище пережати-поля. В Индии свои порядки и свои законы, приводящие порой в отчаянье милицию.

Недавно там объявился некий Яшка Топор. Ходил слух — он отсидел срок «за мокрое». Яшке подчинялась вся Индия, Яшку боялся город. Генка Голиков недавно схлестнулся с ним. Яшка был красиво брошен на асфальт на глазах его оробевших «шестерят», однако поднялся и сказал: «Ну, красавчик, живи да помни — Топор по мелочи не рубит!» Пусть помнит сам Яшка, обходит стороной. Генка — слава города, защитник слабых и обиженных.

Игорь Проухов — лучший друг Генки. И, наверное, достойный друг, так как сам по-своему знаменит. Жители города больше знают не его самого, а рабочие штаны, в которых Игорь ходит писать этюды. Штаны из простой парусины, но Игорь уже не один год вытирает о них свои кисти и мастихин, а потому штаны цветут немислимыми цветами. Игорь гордится ими, называет: «Мой поп-арт!»

Картины Игоря пока нигде не выставлялись, кроме школы, зато

в школе они вызывали кипучие скандалы, порой даже драки. Для одних ребят Игорь гений, для других ничтожество. Впрочем, подавляющее большинство не сомневалось — гений! На картинах Игоря деревья сладко-розовые, а закаты ядовито-зеленые, лица людей безглазые, а цветы реснично-глазастые.

И еще славен Игорь Проухов в школе тем, что может легко доказать: счастье — это наказание, а горе — благо. ложь правдива, а черное — это белое. Никогда не угадаешь, что затнет в следующую минуту. Потрясающе!

Натка Быстрова... Уже на улицах встречные мужчины оглядываются ей вслед с ошалевшими лицами: «Ну и ну!» Лицо с чеканными бровями, текучая шея, покатые плечи, походка с напором, грудью вперед — посторонись!

Еще недавно Натка была обычной долговязой, угловатой, веселой, беспечно пренебрегающей науками девчонкой. Всем известно, что Генка Голиков вздыхает по ней. А вздыхает ли по Генке Натка — этого никто не разберет. Сам Генка тоже.

Вера Жерих, Наткина подруга, рыхловато-широкая, вальяжная, лицо крупное, мягкое, румяное. Она не умеет ни петь, ни плясать, ни горячо спорить на высокие темы, но всегда готова всплакнуть над чужой бедой, помирить поссорившихся, похлопотать за провинившегося. И ни одна вечеринка не обходится без нее. «Компанейская девка» — в устах Сократа Онучина это высшая похвала.

О себе же Сократ говорил: «Мама сделала меня смешным по обществу и по вывеске — папину фамилию окрутила с древнегреческим женихом. Уникальный гибрид — антик с алкашом. Чтоб, глядя на меня, люди не лопались от смеха, я обязан быть стильным». А потому Сократ, несмотря на школьные запреты, умудрился отрастить до плеч волосы, принципиально их не расчесывал, носил на немойшей шее девичью цветную косынку, на груди — амулет, камень с дыркой на цепочке, куриный бог. И никогда не стиранные, донельзя узкие, с рваной бахромой внизу джинсы. И гитара через плечо. И суегливно-вертляв — лицо из острых углов, серое, гримасничающее, с веселыми, без ресниц глазками. Непревзойденный исполнитель песен Высоцкого.

Генка считается врагом Индии, Сократа принимают там как друга — всем одинаково поет его гитара. Всем, кто хочет слушать. Даже Яшке Топору...

Шестой была Юлечка Студенцева.

Сократ кривлялся, выдавал под гитару о жирафе в «желтой жаркой Африке», влюбившемся в антилопу:

Поднялся тут гадеж и лай,
И только старый попугай
Кр-р-рык-нул из ветвей:
«Жыр-раф-ф бал-шой,
Яму вид-ней!..»

Юлечка, держась за руки с Наткой и Верой, несла суровое каменное личико.

Город внезапно заканчивался обрывом, падающим к реке. Здесь самое высокое место. Здесь, над обрывом, разбит скверик. В центре его вздымался вровень с молодыми липками обелиск с мраморной доской, повернутой к городу. Доска была густо покрыта фамилиями погибших воинов:

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой

БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой

БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — старший сержант...

И так далее тесно друг к другу, двумя столбцами.

Нет, войны пали не здесь и не лежали под памятником посреди сквера. Война и близко не подходила к этому городу. Те, чьи имена выбиты на мраморной доске, закопаны безвестно в приволжских степях, на полях Украины, среди болот Белоруссии, в землях Венгрии, Польши, Пруссии, бог знает где. Эти люди здесь когда-то жили, отсюда они ушли на войну, обратно не вернулись. Обелиск на высоком берегу — могила без покойников, каких много по нашей стране.

Мир за гребнем берега утопал в первобытной непотревоженной тьме. Там, за рекой. — болота, перелески, нежилые места, нет даже деревень. Плотная влажная стена ночи не пробивается ни одним огоньком, а напротив нее убегают вдаль сияющие этажи, ровные строчки уличных фонарей, блуждающие красные светячки снующих машин, холодное неоновое полыхание над крышей далекого вокзального здания — огни, огни, огни, целая звездная галактика. Обелиск с именами погибших в дальних краях, схороненных в неведомых могилах, стоит на границе двух миров — обжитого и необжитого, щедрого света и непокоренной тьмы.

Он поставлен давно, этот обелиск, до появления на свет всей честной компании, которая явилась сюда с гитарой и бутылкой «гамзы». Эти парни и девушки видели его еще во младенчестве, они много лет тому назад, едва осилив печатную грамоту, прочитали по складам первые фамилии: «Артюхов Павел Дмитриевич — рядовой, Базаев...» И наверняка тогда им не хватило терпения дочитать длинный список до конца, а потом он примелькался, перестал привлекать внимание, как и сам обелиск. До него ли, когда окружающий мир заполнен куда более интересными вещами: будка «Мороженое», река, где всегда клюют пескари и работает лодочная станция, в конце сквера кинотеатр «Чайка», там за тридцать копеек, пожалуйста, тебе покажут и войну, и выслеживание шпиона, и «Ну, погоди!» с удачливым зайцем — обхохочешься. Мир с мороженым, пескарями, лодками, фильмами изменчив, не изменчив в нем лишь обелиск. Быть может, каждый из этих мальчишек и девчонок, чуть повзрослев, случайно натыкаясь взглядом на мраморную доску, задумывался на минуту, что вот какой-то Артюхов, Базаев и остальные с ними погибли на войне... Война — далекое-далекое время, когда их не было на свете. А еще раньше была другая война, гражданская. И революция. А раньше революции правила цари, среди них самым знаменитым был Петр Первый, он тоже вел войны... Последняя война для ребят едва ли не так же старинна, как и все остальные. Если б обелиск вдруг исчез, они сразу бы заметили это, но когда он незыблемо стоит на своем месте, нет повода его замечать.

Сейчас они пришли к обелиску потому, что здесь, возле него, красиво даже ночью — лежит рассыпанный огнями город внизу, шелестят пронизанные светом липки, и ночь бодряще пахнет рекой. И пусто в этот поздний час, никто не мешает. И есть скамейка, есть тяжелая, круглая, как ядро старинной пушки, бутылка «гамзы». Красное вино в ней при застойно-равнодушном, бесцветном свете ртутных фонарей выглядит черным, как сама ночь, напиральная на обрывистый берег.

Бутылка «гамзы» и один на всех стакан.

Сократ передал гитару Вере Жерих, со знанием дела стал откупоривать «пушечное ядро».

— Фратеры! Пьем по очереди кубок мира.

Игорь скромно попросил:

— Если нет возражений, то я...

Возражений быть не могло, обязанность Игоря Проухова, общепризнанного мастера высокого стиля, — провозглашать первый тост.

Сократ, нежно обнимая бутылку, нацедил ночной влагой полный стакан.

— Давай, Цицерон! — подбодрил Генка.

Игорь крепко сбит, кудлат, между разведенных скул — рубленый нос, крутые салазки в темной дымке — зарождающаяся художническая борода, отрастить которую Игорь поклялся еще перед экзаменами. Он поднял стакан, мечтательно нацелился на него носом, минуту другую выдерживал молчание, чтоб все прониклись моментом, чтоб в ожидании откровения испытали в душе некую священную зябкость.

— Друзья-путники! — с пафосом провозгласил он. — Через что мы сегодня перешагнули? Чего мы добились?..

Сократ Онучин во время паузы успел произвести нехитрый обмен — бутылку Вере, себе гитару. И он в ответ ударил по струнам и заблеял:

— Сво-бо-да раз! Сво-бо-да два! Сво-о-обо-о-да!

Это Игорю и было надо — точку опоры.

— Этот гейдельбергский человек хочет свободы! — возвестил он. — А может, вы все того же хотите?

— А почему бы и нет, — осторожно улыбаясь, подкинул Генка.

— Для всех свободы или только для себя?

— Не считай нас узурпаторами, мальчик с бородкой.

— Для всех! Сво-боды?! Очнись, толпа! Подлецу свобода — подличай! Убийце свобода — убивай! Для всех!.. Или вы, свободомыслящие олухи, считаете, что человечество сплошь состоит из безобидных овечек?

В пренебрежении к слушателям и состояла обычно ораторская сила Игоря Проухова. Расправив плечи, с темным подбородком и светлым челом, он принялся сокрушать:

— Знаете ли вы, невежи, что даже мыши, убогие создания, собираясь в кучу, устанавливают порядок: одни подчиняют, другие подчиняются? И мыши, и обезьяны-братья, и мы, человеки! Се ля ви! В жизни ты должен или подчинять, или подчиняться! Или — или! Середины нет и быть не может!

— Ты, конечно, хочешь подчинять? — спросил Генка.

Повторялось то, что тысячу раз происходило в стенах школы, — Игорь Проухов вещал, Генка Голиков выступал против. У философа из десятого «А» был только один постоянный оппонент.

— Кон-нечно, — с величавой снисходительностью согласился Игорь. — Подчи-нять.

— Тогда что ж ты возишься с кисточками, Кай Юлий Цезарь? Брось их, вооружись чем потяжелее. Чтоб видели и боялись — можешь проломить голову.

— Ха! Слышишь, народ? — Нос Игоря порозовел от удовольствия. — Все ли здесь такие простаки, что считают — кисть художника легка, кистень тяжелее, а еще тяжелее пушка, танк, эскадрилья бомбардировщиков, начиненных водородными бомбами? Заблуждение обывателя!

— Виват Цезарю с палитрой вместо счита!

— Да, да, дорогие обыватели, вам угрожает Цезарь с палитрой. Он завоюет вас... Нет, не пугайтесь, он, этот Цезарь, не станет пробивать ваши качественные черепа и в клочья вас рвать атомными бомбами тоже не станет. Забытый вами, презираемый вами до поры до времени, он где-нибудь на мансарде будет мазать кисточкой по холсту. И сквозь ваши монолитные черепа проникнет созданная им многокрасочная отравка: вы станете радоваться тому, что радует нового Цезаря, ненавидеть то, что он ненавидит, послушно любить, послушно негодовать, окажетесь в полной его власти...

— А ежели этого не случится? Ежели черепа обывателей окажутся непроницаемы? Или такого быть не может?

— Может, — согласился Игорь спокойно и важно.

— И что тогда?

— Тогда произойдет в мире маленькое событие, совсем пустячное, — сдохнет под забором некий Игорь Проухов, не сумевший стать великим Цезарем.

— Вот это я как-то себе отчетливее представляю.

Игорь вознес над головой стакан.

— Я, бывший раб школы номер три, пью сейчас за власть над другими! Желаю вам всем властвовать кто как сможет!

Священнодейственно навесив над стаканом нос, Игорь сделал опустошающий глоток, царственным жестом не глядя отвел стакан к Сократу, уже держащему наготове бутылку, дождался, пока тот дольет, протянул Генке:

— Старик, ты оттолкнешь протянутую руку?

Генка принял стакан и задумался. Невнятная улыбка блуждала у него на лице. Наконец он тряхнул волосами:

— За власть?.. Пусть так! Но извини, Цезарь, я выпью не с тобой.

И он шагнул к Натке.

— Пью за власть! Да! За власть над собой!.. — Генка выпил до дна, с минуту глядел влажневшими глазами на невозмутимую Натку. — Сократ! Наполни!

Но Сократ скупенько плеснул до половины — девчонке хватит, бутылка-то не бездонная.

— Ну, Натка... — попросил Генка. — Ну!

Натка поднялась, распрямилась, переняла стакан — в движеньях картинная лень. Лицо ее было в тени, освещены только лоб да яркие брови. И рука — оголенная до плеча, бескостно-белая, струящаяся, лишь бледные пальцы, обнимающие черный сгусток вина в стакане, в беспокойном изломе.

— Натка, ну!

Игорь Проухов наблюдал со стороны с едва сочащейся снисходительно-мудрой улыбкой.

Натка пошевелилась, со строгой пеленой в потемневших глазах, подняла стакан:

— Когда-нибудь, Гена, за власть... Не за свою. За чью-то... над собой. Сейчас рано. Сейчас... — Вскинутый стакан в белой струящейся руке. — За свободу!

И запрокинула голову, показав на мгновение ослепительно колыхнувшееся горло.

Генка сразу поскунел, а в мудрой улыбке Игоря появился новый оттенок — столь же снисходительное сочувствие.

А Сократ уже хлопотал возле Веры.

— Мне — за власть? — У Веры блаженно раздвинуты румяные щеки.

— Не стесняйся, мать, не стесняйся.

— Надо мной всегда кто-нибудь будет властвовать.

— За них, мать, за них хлебай. Приходится.

— За них! Пусть их власть не будет уж очень тяжелой.

— Виват, мать, виват! Честный загибон... Юлька, твоя теперь очередь... Эй, Цезарь с палитрой, слушай, как тебе Юлька перо вставит!

Юлечка приняла стакан, долго разглядывала черное вино.

— Власть... — произнесла она, — Игорь, ты сказал, даже мыши подчиняют друг друга. И ты собираешься перенять — живи по-мышинному, сильный давит слабого?.. Не хочу!

Юлечка оторвала взгляд от стакана, уставилась на Генку — беспокойно-тревожные глаза пойманной птицы, сжатые губы. Генка невольно поежился, а Юлечка двинулась к нему. Ей пришлось обогнуть Натку, неподвижно-величественную, как богиня в музее.

— Гена... — подойдя вплотную, запрокинув лицо, дрогнувшим голосом. — Вот я сегодня перед всеми... призналась: не знаю, куда идти. Но ведь и ты еще не знаешь. Давай выберем одну дорогу. А? Я буду хорошим попутчиком, Гена, верным...

Генка растерянно молчал.

— Пойдем вместе, возьмем Москву, любой институт. А?..

Генка стоял, пряча глаза, с порозовевшими скулами. Даже Игорь озадаченно замер. Сократ с бутылкой сучил ногами. Для всех открытие Юлечки — неожиданность.

А с бледного лица — тревожно блестящие, требовательно ждущие глаза.

Генка смотрел под ноги, молчал. И Натка возвышалась в стороне изваянием.

— Ладно, Гена... — замороженный голос. — Я знала — ты не ответишь. Сказала это, чтоб себя проверить: могу при всех, не сробею, не дрогну...

И вызывающе решительное личико Юлечки сморщилось, она отвернулась. В неловкой судороге тонкая рука, обхватившая стакан.

— Почему?! — сдавленный выкрик в сторону. — Почему я все эти годы — одна, одна, одна?! Почему вы меня сторонились? Боялись, что плохое сделаю? Не нравилась? Или просто не нужна?.. Но поч-чему?!

Вера Жерих надвинулась на Юлечку всем своим просторным, мягким телом, обняла:

— Юлеч-ка!.. Тебя кто-то за ручку... Да зачем? Ты сама других поведешь.

Игорь со стороны обронил:

— А ты, оказывается, отчаянная, Юлька. Вот не знали.

Сократ засуетился:

— Слезы, фратеры! Сегодня! Я вам спою веселое!

— Не надо. Уже все...

Юлечка отстранила Веру и улыбнулась, и эта улыбка, жалкая, дрожащая, осветила ее серьезное лицо.

— Можно, я выпью за тебя, Натка? За твоё счастье, которого у меня нет. К тебе тянутся все и всегда будут тянуться... Завидую. Не скрываю. Потому и пью...

Натка не пошевелилась. Натка не возразила. Сократ ударил по струнам.

5

Зоя Владимировна устала считать, сколько раз в своей жизни она провожала выпускников из школы, и почти всегда эти праздничные выпускные вечера оставляли в ней столь тягостный осадок, что казалось — все кончено, дальше нет смысла жить.

Почтительно удивлялись: она учит уже сорок лет! На самом деле еще больше, почти полвека, хотя ей самой было не столь уж и много от роду — шестьдесят пять.

Ее родная деревня, холщовая и лапотная, имела до революции только двух грамотеев — бывшего волостного писаря, который требовал от мужиков, чтоб его называли барином, и спившегося дьячка-расстригу. Даже местный богатей Панкрат Кузовлев, крупно торговавший льном и кожами, не умел расписываться в казенных бумагах.

В начале двадцатых годов в деревню прислали учителя, бойкого парнишку с покалеченной на польском фронте рукой. Он принялся не только за детишек, но и за взрослых, вошло в уличный быт новое слово «ликбез».

Детишки быстрее баб и мужиков осваивали букварь, сами становились учителями. Зойка, шестнадцатилетняя дочь Володьки Ржавого, деревенского коновала и лихого балалаечника, натаскивала потеющих от натуги бородачей читать по слогам: «Мы не рабы. Рабы не мы».

Через два года сельсовет направил ее в учительское училище, после него она попала в лесной починок, еще более глухой, чем родная деревня. Там ее ждал пустой, оставшийся после сосланного кулака пятистенок — его надлежало сделать школой.

Сначала эта школа состояла из одной первой группы, в ней рядом с малышами сидели починковские парни и девки, пытавшиеся жечься на уроках. Потом стало четыре группы: все в одной комнате, перед одной доской, и учительница на всех одна — Зоя Владимировна.

После годичных курсов усовершенствования ее перебросили в рабочий поселок. Он на ее глазах стал городом. Сносились старые дома и старые школы, строились новые, светлые и просторные, понаехали педагоги с институтским образованием. А Зоя Владимировна, как прежде, билась с учениками, больше всего сил отдавала самым ленивым, самым неподатливым, не любящим ни школу, ни учителей-мучителей.

Педагоги с институтским образованием поглядывали на нее свысока, но она забивала их своей добросовестностью — до самоотречения. Она не вышла замуж, не обзавелась семьей: до того ли, когда все время, все силы — ученикам, только им! Неподатливым — в первую очередь.

И каждый раз, когда эти ученики оканчивали школу, приходили на прощальный вечер, нарядные, казалось, выросшие со времени последнего экзамена, Зоя Владимировна оставалась в одиночестве. Ученики толпились вокруг других учителей, с другими обнимались, целовались, пили, спорили, и никому в голову не приходило подойти к ней, обняться, поговорить по душам, кинуть хотя бы торопливое: «Прощайте!»

Все силы, все время, из года в год, из десятилетия в десятилетие, забывая о себе, — только для учеников! А ученики забывают о ней, не успевают переступить порог школы. Так ради чего она бьется как рыба об лед? Ради чего она жертвовала своим?.. Не хочется жить.

Но она жила, не уходила на пенсию, потому что без школы не могла. Без школы совсем пусто.

Неуважение учеников к себе она еще как-то переносила — привыкла за много лет. Но вот неуважение к школе... Выступление Юлии Студёнцева казалось Зое Владимировне чудовищным. Если бы такое отмочил кто-то другой, можно бы не огорчаться, но Студёнцева! На руках носили, славили хором и поодиночке, умилялись — предательство, иначе и не назовешь. А Ольга Олеговна выгораживает, видит какие-то особые причины: «Повод для тревоги...»

Зоя Владимировна оборвала молчание.

— Уж не считаете ли вы, Ольга Олеговна, — с нажимом, с приглушенным недобржелательством, — что тут виноваты мы, а не сама Студёнцева?

И Ольга Олеговна искренне удивилась:

— Да она-то в чем виновата? Только в том, что сказала что думает?

— Я вижу тут только одно — плевок в сторону школы!

— А я — страх и смятение: ничем не увлечена, не знает, куда по-даться, что выбрать в жизни, к чему приспособить себя.

— Вольно же ей.

— Ей?... Только она, Студёнцева, такая? Другие все целенаправленные натуры? Знает, по какой дороге устремиться, Вера Жерих, знает Быстрова?... Да мы можем назвать из всего выпуска, пожалуй, только одного увлеченного человека — Игоря Проухова. Но его увлечение возникло помимо наших усилий, даже вопреки им.

— Лично я никакой своей вины тут не вижу! — отчеканила Зоя Владимировна.

— Вы никогда не требовали от учеников — заучивай то-то и то-то, не считаясь с тем, нравится или не нравится? Вы не заставляли — уделяй не нравящемуся предмету больше сил и времени?

— Да ребятам нравится собак гонять на улице, в подворотнях торчать, в лучшем случае читать братьев Стругацких, а не Толстого и Белинского. Вы хотели, чтоб я потакала невежеству, дорогая Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна разглядывала темными загадочными глазами лицо Зои Владимировны, неизменно сохранявшее покойный цвет увядшей купальницы.

— Что же...— проговорила Ольга Олеговна.— Придется объясниться начистоту.

— А вы, значит, что-то скрывали от меня? Вот как!

— Да, скрывала. Я давно наблюдаю за вами и пришла к выводу — своим преподаванием вы, Зоя Владимировна, в конечном счете плодите невежд.

— К-как?!

— Очень извиняюсь, но это так.

— Думайте, что говорите, Ольга Олеговна!

— Попробуйте сейчас доказать.— Ольга Олеговна повернулась к директору: — Иван Игнатьевич, вы не против, если я ради эксперимента устрою вам коротенький экзамен?

Директор устало опустил на стул, он понял, что короткого разговора уже не получится — придется терпеть долгий спор, один из тех, которые вызывают взаимное раздражение, ломают устоявшиеся отношения и почти никогда не дают ощутимых результатов.

— Не припомните ли вы, Иван Игнатьевич, в каком году родился Николай Васильевич Гоголь?

— М-м... Умер в пятьдесят втором, а родился, представьте, не помню.

— А в каком году Лев Толстой закончил свой капитальный роман «Война и мир»?

— Право, не скажу точно. Если прикинуть приблизительно...

— Нет, мне сейчас нужны точные ответы. А может, вы процитируете наизусть знаменитое место из статьи Добролюбова, где говорится, что Катерина — луч света в темном царстве?

— Да боже упаси,— вяло отмахнулся директор.

И Ольга Олеговна с прежней решительностью снова обратилась к Зое Владимировне:

— Мы с Иваном Игнатьевичем забыли дату рождения Гоголя, почему она должна остаться в памяти наших учеников? А ведь из таких сведений на восемьдесят, если не на все девяносто девять процентов состоят те знания, которые вы, Зоя Владимировна, усиленно вбиваете. Вы и многие из нас... Эти сведения не каждый день нужны в жизни, а порой и совсем не нужны, потому и забываются. Девяносто

девять процентов из того, что вы преподаете! Не кажется ли вам, что это гарантия будущего невежества?

У Зои Владимировны на увявшем лице проступили мученические морщинки.

— Я напрасно преподаю...— выдавила она с горловой спазмой.

— До недавнего времени и я так думала,— не спуская недобро тлеющих глаз, ответила Ольга Олеговна.

— Странно... Теперь не думаете?

— Теперь пришла к убеждению, что такое преподавание не проходит безнаказанно. И не только невежество его последствия.

Зоя Владимировна, напряженно вытянувшись, встречала прямой взгляд Ольги Олеговны — ждала.

— Преподносим неустойчивое, испаряющееся, причем в самой категорической, почти насильственной форме — знай во что бы то ни стало, отдай все время, все силы, забудь о своих интересах. Забудь то, на что ты больше всего способен. Получается: мы плодим невнимательных к себе людей. Ну, а если человек невнимателен к себе, то вряд ли он будет внимателен к другим. Сведения, которыми мы пичкаем школьника, улетучиваются, а тупая невнимательность остается. Вас это не страшит, Зоя Владимировна? Мне, признаться, не по себе.

У Зои Владимировны побелели тонкие губы.

— И на меня...— тихо, с внутренней дрожью.— Почему-то на одну меня — обличающим перстом, я больше всех виновата! А может, вы... вы все-таки виновнее? Вы же завуч, и много лет. Кому как не вам и карты в руки?

— Вы прекрасно знаете, какими картами мне приходится играть. У вас, Зоя Владимировна, козыри в руках покрупнее. Любые мои замечания вы с легкостью отбивали: мол, полностью придерживаюсь утвержденных учебных программ. С одной стороны, устаревшие программы, с другой — косные привычки самих преподавателей, а посередине — школьный завуч. Более беспомощной фигуры в нашей педагогике нет.

— Вы даже против программ! Вы хотите перевернуть обучение в стране? Не много ли вы хотите?

— Я просто хочу, чтоб учителя, с которыми я работаю, открыли глаза на опасность... Грозную опасность, Зоя Владимировна! Я ее и раньше чувствовала, но сейчас она для меня открылась с особенной отчетливостью. Так ли уж редко мы выпускаем людей ничем не интересующихся, ничем не увлеченных? Но должны же они занять чем-то себя, свой досуг. Хорошо, если станут убивать время безобидным забиванием козла, ну а если водкой... Мало ли мы слышим о пьяных подростках! Вспомните нашумевшее два года назад судебное дело. Три подгулявших сопляка семнадцати—восемнадцати лет среди бела дня на автобусной остановке пырнули ножом женщину. Так просто, за косой взгляд, за недовольное слово — трое детей остались без матери.

Директор досадливо крякнул:

— Ну, знаете ли!

— Они же не с нашей улицы, из чужой школы. Вы это хотите сказать, Иван Игнатьевич?

— И на солнце бывают пятна. Не связывайте патологическое уродство с нашим обучением.

— А вы забыли, что в прошлом году уже нашего ученика Сергея Петухова милиция задержала в пьяном виде. Он не убивал, да! Но к водке-то потянулся! Почему? Семья испортила? Нет, семья хорошая: мать — врач, отец — инженер, оба уважаемые люди, в рот не берут спиртного. Товарищи дурные сбили с пути? Но эти товарищи, как

оказалось, тоже бывшие ученики, их-то кто испортил? Был пьян, попал в милицию. Можно ли поручиться за пьяного недоросля, что он не совершит преступления?

Иван Игнатьевич ничего не ответил, смотрел в пол, сосредоточенно сопел. Нина Семеновна глядела на Ольгу Олеговну от дверей оставившимися глазами. Физик Павел Павлович хмурился и курил. На искалеченном шрамом лице математика Иннокентия Сергеевича подергивался живчик — верный признак, что взволнован.

Зоя Владимировна в общей тишине медленно-медленно поднялась со стула.

6

Юлечка Студёнцева выпила за Наткино счастье, и Натка не возразила, не фыркнула в ответ — приняла. А раз так, то стоит ли расстраиваться, что она, Натка, не поддержала его, Генки, тост. Просто, как всегда, показывает норов, дурит. Пусть себе...

И Генка освобожденно оглянулся.

Перед ним стояли товарищи. Все они родились в один год, в один день пришли в школу, из семнадцати прожитых лет десять знают друг друга — вечность! И Генка вспомнил шуплого мальчишку — большая ученическая фуражка, налезаящая на острый нос, короткие штанишки, тонкие ноги с исцарапанными коленями. Это Игорь Проухов, начавший теперь уже обрастать бородой. Помнит, и хорошо, Сократа Онучина: мелкий вьюн, пискляв, шумен, совался постоянно под руку, а в драках кусался. И Юлечку помнит, она, кажется, и не изменилась, даже подросла не очень — была серьезная, такой и осталась. А вот Натку, как ни странно, в те давние времена, в первый год учебы, Генка совсем не помнит. Веру Жерих тоже... Трудно поверить, что Натка долгое время могла не замечаться.

Перед Генкой стояли его товарищи, и только теперь он остро почувствовал, что скоро придется расставаться, иные люди войдут в его жизнь, иной станет сама жизнь. Какой?.. Кто знает эту тайну тайн. Сжимается сердце, но нет, не от страха. Генка привык, что все кругом его самого побаивались и уважали. Тайна тайн — в неизвестном-то и прячутся неведомые удачи. Странно, что Юлька Студёнцева — тоже ведь удачлива! — сегодня какая-то перекрученная. В попутчики вдруг навязывалась... Генка был благодарен Юлечке и жалел ее.

— Это хорошо же, хорошо! — заговорил он с силой. — Тысячи дорог! На какую-то все равно попадешь, промашки быть не может. Ни у тебя, Юлька, ни у меня, ни у Натки... Вот Игорю труднее — одну дорогу выбрал. Тут и промахнуться можно.

— Старичок! Без риска нет успеха! — отбил Игорь.

Юлечка с горячностью возразила:

— Даже если Игорь и промахнется... Тогда у него будет, как у нас, те же тысячи без одной дороги. Счастливый, как все. Он что-то не хочет такого счастья, и я не хочу! Хочу тоже рисковать!

— Человек — забыли, фратеры, — создан для счастья, как птица для полета! — провозгласил важно Сократ. — Лети себе куда несет. — Он забренчал: — Эх, по морям, морям, морям! Нынче здесь, а завтра — там... Вот так-то!

— Птица-то и против ветра летает, — напомнил Игорь. — А ты не птица, ты пушинка от одуванчика.

— Пушинки-то с семечком. Куда ни упадем — корни пустим... — Генка с хрустом потянулся. — И вы-рас-тем!

— На камни может семечко упасть, — напомнила Юлечка.

Натка молчала, как обычно, с невозможностью, застыв в отды-

хающей позе — вся тяжесть литого тела покоится на одной ноге, рука брошена на бедро. Она лениво пошевелилась, лениво произнесла:

— Летать. Мыкаться. Лучше ждать.

Вера вздохнула:

— Тебе, Наточка, долго ждать не придется. Ты, как светлый фонарь, издалека видна, к тебе счастье само прилетит.

— Какие мы все разные! — удивилась Юлечка.

Сократ неожиданно с силой ударил по струнам, заголосил:

— За что вы Ваньку-то Морозова? Ведь он ни в чем не виноват!.. Праздник у нас или панихида, фратеры?

— И то и другое. — ответил Игорь. — Погребаем прошлое.

Вера Жерих снова шумно вздохнула:

— Скоро разлетимся. Знали друг друга до доньшка, сроднились — и в друг..

— А до доньшка ли мы знали друг друга? — усомнился Игорь.

— Ты что? — удивилась Вера. — Десять лет вместе — и не до доньшка.

— Ты все знаешь, что я о тебе думаю?

— Неужели плохое? Обо мне? Ты что?

— А тебе не случалось обо мне плохо подумать?.. Десять же лет вместе.

— Не случалось. Я ни о ком плохо..

— Завидую твоей святости, мадонна. Генка, ты мне друг, — я всегда был хорош для тебя?

Генка на секунду задумался.

— Не всегда.

— То-то и оно. В минуты жизни трудные чего не случается.

— В минуты трудные... А они были у нас?

— Верно! Даже трудных минут не было, а мысли бывали всякие.

Юлечка встрепенулась:

— Ребята! Девочки!.. Я очень, очень хочу знать... Я чувствовала, что вы все меня... Да, не любили в классе... Говорите прямо, прошу. И не надо жалеть и не стесняйтесь.

Глаза просящие, руки нервно мнут подол платья.

Генка сказал:

— А что, друзья мы или нет? Давайте расстанемся, чтоб ничего не было скрытого.

— Не выйдет, — заявил Игорь.

— Не выйдет, не додружили до откровенности?

— А если откровенность не понравится?..

— Ну тогда грош цена нашей дружбе.

— Я, может, не захочу говорить, что думаю. Например, о тебе, — бросила Генке Натка.

— Что же, неволить нельзя.

— Кто не захочет говорить, тот должен встать и уйти! — объявила Юлечка.

— Об ушедших говорить не станем. Только в лицо! — предупредил Генка.

— А мне лично до лампочки, капайте на меня, умывайте, только на зуб не пробуйте. — Сократ Онучин провел пятерней по струнам. — Пи-ре-жи-ву!

— Мне не до лампочки! — резко бросила Юлечка.

— Мне, пожалуй, тоже, — признался Игорь.

— И мне... — произнесла тихо Вера.

— А я переживу и прощу, если скажете обо мне плохое, — сообщил Генка.

— Прощать придется всем.

- Я остаюсь,— решила Натка.
- Будешь говорить все до доньшка и открытым текстом.
- Не учи меня, Геночка, как жить.
- С кого начнем? Кого первого на суд?
- С меня! — с вызовом предложила Юлечка.
- Давайте с Веры. Ты, Верка, паинька, с тебя легче взять разгон,— посоветовал Игорь.
- Ой, я боюсь первой!
- Можно с меня,— вызвался Генка.
- Фратеры! — завопил плачуще Сократ.— Мы же собрание открываем. Надоели и в школе собрания!

Эх! Дайте собакам мяса,
Авось они подерутся!
Дайте похмельным кваса,
Авось они перебьются!

- Заткнись!.. Ничего не таить, ребята! Всем нараспашку!
- Собрание же. фратеры, с персональными делами! Это надолго! Вся ночь без веселья!
- Генка встал перед скамьей:
- Господа присяжные заседатели, прошу занять свои места!
- Генка нисколько не сомневался в себе — в школе его все любили, перед друзьями он свят и чист, пусть Натка услышит, что о нем думают.

7

Зоя Владимировна поднялась со своего места, иссушенно-плоская, негнущаяся, с откинутой назад седой головой, на посеревшем, сжатом в кулачок лице — мелкие, невнятно поблескивающие глаза.

— Вы против школы поднялись, Ольга Олеговна, а с меня начали. Не случайно, да, да, понимаю. И правы, трижды правы вы: та школа, которой вы так недовольны сейчас, та школа и я — одно целое. Всю школу какая есть вам крест-накрест перечеркнуть не удастся, а меня... Меня, похоже, не так уж и трудно...

Ольга Олеговна не перебивала и не шевелилась, сидела в углу, подавшись вперед, глазницы до краев залиты теньями. И шелестящий голос Зои Владимировны:

— Вы, наверно, помните Сенечку Лукина. Как не помнить — намозолил всем глаза, в каждом классе по два года отсиживал и всегда норовил на третий остаться. Только о нем и говорили, познаменитей Студёнцева была фигура. Как я тащила этого Сенечку! За уши, за уши к книгам, к тетрадям, по два часа после уроков каждый день с ним. Подсчитать бы, какой кусок жизни Сенечка у меня вырвал. И сердилась на него и жалела... Да, да, жалела: как, думаю, такой бестолковый жизнь проживет? Двух слов не свяжет, трех слов без ошибки не напишет, страницу прочитает — потом обольется от натуги. Не закон бы о всеобщем обучении, выпихнули бы Сенечку из школы на улицу, а так с натугой большой вытянули до восьмого класса. И вот недавно встретила его... Узнал, как не узнать, улыбается от уха до уха, золотой зуб показывает, разговор завел: «Чтой-то у вас, Зоя Владимировна, пальтецо немодно, извиняюсь, сколько в месяц заколачиваете?.. Я ныне на тракторе, выходит, вдвое больше вас огребаю — мотоцикл имею, хочу дом построить...» Он же радовался, радовался, что не такой, как я! И правда, мне завидовать нечего. По шестнадцать часов в сутки работала год за годом, десятилетие за десятилетием, а что получила?.. Болезни да усталость. Ох как я устала! Нет достатка, нет

покоя и уважения тоже... Почтенная учительница, окруженная на старости лет любовью учеников только в кино бывает. Но, думалось, есть одно, чего отнять нельзя никакой силой, никому! — вера, что не зря жизнь прожила, пользу людям принесла, и немалую! Как-никак тысячи учеников прошли через мои руки, разума набрались. Считают, для человека самое страшное быть убитым. Но убийцы-то могут отнять только те дни, которые еще предстоит прожить, а прожитых дней и лет никак не отнимут, бессильны. Но вы, Ольга Олеговна, все прошлое у меня уберите, на всем крест ставите!

Ольга Олеговна не шевелилась — сплюснутые губы, немигающие, упрятанные в тень глаза.

— А если вас вот так, как вы меня, вместе со всем прошлым! — придушенно воскликнула Зоя Владимировна. — Поглядите на меня, поглядите внимательней! Вот перед вами стоит ваша судьба — морщинистая, усталая, педагогическая сивка, которую укатали крутые горки на долгой дороге. На меня похожи будете. Глядите — не ваш ли это портрет?

Зоя Владимировна судорожно стала искать в рукаве носовой платок, нашла, приложила к покрасневшим глазам.

— Последнее скажу: любила свою школу и люблю! Да! Ту, какая есть! Не представляю иной! Рассадник грамотности, рассадник знаний. И этой любви и гордости за школу никто, никто не отнимет! Нет!

Она еще раз приложила к глазам скомканный платочек, испустила прерывистый вздох, спрятала платок в узкий рукав.

— Будьте здоровы.

И двинулась к выходу, волоча ноги, узкая костистая спина перекошена.

И никто не посмел ее остановить, молча провожали глазами... Только Нина Семеновна, сидевшая у дверей, приподнялась со стула со смятенным и растерянным лицом, вытянувшись, пропустила старую учительницу.

8

На скамье — тесно в ряд все пятеро: Сократ с гитарой, Игорь, склонившийся вперед, опираясь локтями на колени, Вера с Наткой в обнимку, Юлечка в неловкой посадке на краешке скамьи.

И Генка перед ними — с улыбочкой, отставив ногу в сторону.

Если б он сел вместе со всеми, находился в общей куче — быть может, все получилось бы совсем иначе. Он сам поставил себя против всех — им осуждать, ему оправдываться. А потому каждое слово звучало значительней, серьезней, а значит, ранимей. Но это открылось позднее, сейчас Генка стоял с улыбочкой, ждал. Новая игра не казалась ему рискованной.

Все поглядывали на Игоря, он умел говорить прямо, грубо, но так, что не обижались, он самый близкий друг Генки, кому как не ему первое слово. Но на этот раз Игорь проворчал:

— Я пас. Сперва послушаю.

И Сократ глупо ухмылялся, и Натка бесстрастно молчала, и Юлечка замороженно глядела в сторону.

— Я скажу, — вдруг вызвалась Вера Жерих.

Странно, однако, — Вера не из тех, кто прокладывает другим дорогу: всегда за чьей-то спиной, кого-то повторяет, кому-то поддакивает. Она решила! — уселась плотнее, приготовились слушать. Генка стоял, отставив ногу, и терпеливо улыбался.

— Геночка, — заговорила Вера, напустив серьезность на широкое щекастое лицо, — знаешь ли, что ты счастливчик?

— Ладно уж, не подмазывай патокой.

— Ой, Геночка, обожди... Начать с того, что ты счастливо родилась — папа у тебя директор комбината, можно сказать, хозяин города. Ты когда-нибудь нуждался в чем, Геночка? Тебя мать ругала за порванное пальто, за стоптанные ботинки? Нужен тебе новый костюм — пожалуйста, велосипед старый не нравится — покупают другой. Счастличик от роду.

— Так что же, за это я должен покаяться?

— И красив ты, и здоров, и умен, и характер хороший, потому что никому не завидуешь. Но... Не знаю уж, говорить ли все? Вдруг да обидишься.

— Говори. Стерплю.

— Так вот, ты, Гена, черствый, как все счастливые люди.

— Да ну?

Генка почувствовал неловкость — пока легкую, недоуменную: ждал признаний, ждал похвал, готов был даже осадить, если кто перестарается — не подмазывай патокой, — а хвалить-то и не собираются. И нога в сторону и улыбочка на лице, право, не к месту. Но согнать эту неуместную улыбочку, оказывается, невозможно.

— Гони примерчики! — приказал он.

— Например, я вывихнула зимой ногу, лежала дома — ты пришел меня навестить? Нет.

— Вера, ты же у нас одна такая... любвеобильная. Не всем же на тебя походить.

— Ладно, на меня походить необязательно. Да разобраться — зачем я тебе? Всего-навсего в одном классе воздухом дышали, иногда вот так в компании сидели, умри я — слезу не выронишь. Меня тебе жалеть не стоит, а походить на меня неинтересно — ты и умней и самостоятельней. Но ты и на Игоря Проухова, скажем, не похож. Помнишь, Сократа мать выгнала на улицу?

— Уточним, старушка, — перебил Сократ. — Не выгнала, сам ушел, отстаивая свои принципы.

— У кого ты ночевал тогда, Сократ?

— У Игоря. Он с меня создавал свой шедевр — портрет хиппи.

— А почему не у Гены? У него своя комната, диван свободный.

— Для меня там не совсем комфортабель.

— То-то, Сократик, не комфортабель. Трудно даже представить тебя Генкиным гостем. Тебя — нечесаного, невымытого.

— Н-но! Прошу без выпадов!

— Ты же несчастенький, а там дом счастливых.

— Да что ты меня счастьем тычешь? Чем я тут виноват?

Генка продолжал улыбаться, но управлять улыбкой уже не мог — въелась в лицо, кривенькая, неискренняя, хоть провались. И все это видят — стоит напоказ. Он улыбался, а подымалась злость... На Веру. С чего она вдруг? Всегда услужить готова — и... завелась. Что с ней?

— Да, Геночка, да! Ты вроде и не виноват, что черствый. Но если вор от несчастной жизни ворует, его за это оправдывают? А?

— Ну, старушка забавница, ты сегодня даешь! — искренне удивился Сократ.

— Черствый потому, что полгода назад не навестил тебя, над тобой вывихнутой ногой не поплакал! Или потому, что Сократ не ко мне, а к Игорю почевать сунулся! Ну, знаешь...

— А вспомни, Геночка, когда Славка Панюхин потерял деньги для похода...

— А не помнишь, кто выручил Славку? Может, ты?!

— Аг-га-а! Знала, что этот проданный велосипед нам напомнишь! Как же, велосипед загнал, не пожалел для товарища... Но ты сам вспомни-ка, как сначала-то ты к этому отнесся? Ты же выругал бедно-

го Славку на чем свет стоит. А вот мы ни слова ему не сказали, мы все по рубайку собирать стали, и только тогда уж до тебя дошло. Позже всех... Нет, я не говорю, Гена, что ты жадный, просто кожа у тебя немного толстовата. Тебе ничего не стоило сделать благородный жест — на, Славка, ничего не жаль, вот какая у меня широкая натура. Но только ты не последнее отдавал, Геночка. Тебе старый велосипед уже надоел, нужен был новый — гоночный...

И ударила кровь в голову, и въедливая улыбочка наконец-то слетела с лица. Генка шагнул на Веру:

— Ты!.. Очухайся! Эт-то свинство!

Вера не испугалась, а надулась, словно не она его — он обидел ее:

— Не нравится? Извини. Сам же хотел, чтоб до дна, чтоб все откровенно...

И замолчала.

Игорь серьезен, Сократ оживленно ерзает, Натка холодно-спокойна, откинулась на спинку скамьи рядом с надутой Верой — лицо в тени, маячат строгие брови.

— Ложь! — выкрикнул Генка. — До последнего слова ложь! Особенно о велосипеде!

И замолчал, так как на лицах ничего не отразилось — по-прежнему замкнуто-серьезен Игорь, беспокоен Сократ, спокойна Натка и надута Вера. Будто и не слышали его слов. Как докажешь, что хотел спасти Славку, жалел его? Даже велосипед не доказательство! Молчат. И как раздетый перед всеми.

— Кончим эту канитель, ребята, — вяло произнес Игорь. — Переругаемся.

Кончить? Разойтись? После того, как оболгали! Натка верит, Игорь верит, а сама Верка надута. И настороженно, выжидающе блестят с бледного лица глаза Юлечки Студенцевой... Кончить на этом, согласиться с ложью, остаться оплеванным! И кем? Верой Жерих!

— Нет! — выдавил Генка сквозь стиснутые зубы. — Уж нет... Не кончим!

Игорь кашлянул недовольно, проговорил в сторону:

— Тогда уговоримся — не лезть в бутылку. Пусть каждый говорит что думает — его право, терпи.

— Я больше не скажу ни слова! — обиженно заявила Вера.

Генку передернуло: наговорила пакости — и больше ни слова. Но никто этим и не думает возмущаться — Игорь сумрачно-серьезен, Натка спокойна. И терпи, не лезь в бутылку...

Генка до сих пор жил победно — никому не уступал, не знал поражений, себя даже и защищать не приходилось, защищал других. И вот перед Верой Жерих, которая и за себя-то постоять не могла, всегда прибивалась к кому-то, он, Генка, беспомощен. И все глядят на него с любопытством, но без сочувствия. Словно раздетый — неловко, хоть провались!

— Можно мне? — Юлечка по школьной привычке подняла руку.

Генка повернулся к ней с надеждой и страхом — так нужна ему сейчас поддержка!

— Не навестил больную, не пригласил ночевать бездомного Сократа, старый велосипед... Какая все это мелочная чушь!

Серьезное, бледное лицо, панически блестящие глаза на нем. Так нужно слово помощи! Он, Генка, скажет о Юлечке только хорошее — ее тоже в классе считали черствой, никто ее не понимал — зубрилка, моль книжная. Каково ей было терпеть это! Генка даже ужаснулся про себя — он всего минуту сейчас терпит несправедливость, Юлечка терпела чуть ли не все десять лет!

— Я верю, верю — ты, Гена, не откажешь в ночлеге и велосипед ради товарища не пожалеешь... — Блестящие глаза в упор. — Даже рубаху последнюю отдашь. Верю! А когда бьют кого-то, разве ты не бросаешься спасать? Ты можешь даже жизнью жертвовать. Но... Но ради чего? Только ради одного, Гена: жизни не пожалеешь, чтоб красивым стать. Да! А вот прокаженного, к примеру, ты бы не только не стал лечить, как Альберт Швейцер, но через дорогу не перевел бы — побрезговал. И просто несчастного ты не поддержишь, потому что возня с ним и никто этому аплодировать не будет. От черствости это?.. Нет! Тут серьезнее. Рубаха, велосипед, жизнь на кон — не для кого-то, а для самого себя. Себя чувствовать смелым, себя — благородным! Ты так себе нравится любишь, что о других забываешь. Не черствость тут, а похуже — себялюбие! Черствого каждый разглядит, а себялюбца нет, потому что он только о том и старается, чтоб хорошим выглядеть. А как раз в тяжелую минуту себялюбца-то и подведет. Щедрость его не настоящая, благородство наигранное, красота фальшивая, вроде румян и пудры... Ты светлячок, Гена, — красиво горишь, а греть не греешь.

Юлечка опустила веки, потушив глаза, замолчала. И лицо ее сразу — усталое, безразличное.

— Это ты за то... отказался в Москву с тобой?.. — с трудом выдавил Генка.

— Думай так. Мне уже все равно.

Генка затравленно повел подбородком. Перед ним сидели друзья. Других более близких друзей у него не было. И они, близкие, с детства знакомые, оказывается, думают о нем вовсе не хорошо, словно он враг.

Он взял себя в руки, придушенно спросил:

— Ты это раньше... что я светлячок? Или только сейчас в голову пришло?

— Давно поняла.

— Так как же ты... в Москву?..

— За светлячком можно в чащу лезть сломя голову, за себялюбцем в Сибирь ехать, не только в Москву. Тут уж с собой ничего не делаешь, — не подымая глаз, тихо ответила Юлечка.

Ночь напирала на обрыв. От нее веяло речной сыростью. Перед всеми как раздетый... Светлячок, надо же!

Чтоб только не растягивать мучительную тишину, Генка хрипло попросил:

— Игорь, давай ты.

— Может, кончим все-таки. Врагами же расстанемся.

— Спасает, благодетель?

— Что-то мне неохота ковыряться в тебе, старик.

— Режь, не уваливай.

— Н-да-а.

Игорь Проухов... С ним Генка сидел на одной парте, его защищал в ребячьих потасовках. Как часто они лежали на рыбалках у ночных костров, говорили друг другу самое сокровенное. Много спорили, часто не соглашались, бывало, сердились, ругались даже, но никогда дело не доходило до вражды. Игорь не Юлечка Студенцева. Вот если б Игорь понял, как трудно ему, Генке, сейчас: дураком выглядит, без вины оболган, заклеямен даже — светлячок, надо же... Если б Игорь понял и сказал доброе слово, отбрил Веру, возразил Юльке — а Игорь может, ему нетрудно, — то все сразу бы встало на свои места.

Но просить при всех о помощи, сознаваться, что слаб, Генка не мог, а потому произнес почти с угрозой:

— Режь! Только учти, я тебя тоже жалеть не стану.

Эх, если б Игорь понял, не поверил угрозе, мир остался бы прежним, где дружба свята, правда торжествует, а ложь наказывается...

Но Игорь поскреб небритый подбородок, не глядя Генке в глаза, угрюмо сказал:

— Не пожалеешь?.. Само собой. Что ж...

9

За Зоей Владимировной закрылась дверь. С минуту никто не шевелился.

Скрипнул стул под Иваном Игнатьевичем, директор решительно поднялся, грудью повернулся к Ольге Олеговне, насупленно-строгий и замкнутый:

— Не кажется ли вам, что вы сейчас обидели человека? Сильно обидели и незаслуженно!

У Ольги Олеговны немигающие, широко открытые глаза, но неподвижное лицо все равно кажется каким-то слепым. Тяжелая копна вознесенных волос и расправленные плечи.

— Мне очень жаль, что так получилось.— Голос сухой, без выражения.

— Не сочтите за труд извиниться перед ней.

Иван Игнатьевич редко сердился, но когда сердился, всегда становился церемонно-вежливым: «Не сочтите за труд.. Смею надеяться... Позвольте рассчитывать...»

— Извиниться? За что?

Неподвижное лицо Ольги Олеговны ожило, взгляд вновь стал позрительно-настороженным.

— Вы только что, любезная Ольга Олеговна, сказали, позвольте напомнить: «Мне очень жаль, что так получилось». Надеюсь, сожаление искреннее. Так сделайте же следующий шаг — извинитесь!

— Мне жаль... Наверное, как и каждому из нас. Жаль, что у Зои Владимировны долгая жизнь оканчивается разбитым корытом.

— Разрешу себе заметить: разбитое корыто — довольно рискованное выражение.

— А разве она сейчас сама не призналась в этом?

— Не станете же нас уверять, уважаемая Ольга Олеговна, что долгая жизнь Зои Владимировны не принесла никакой пользы?

— Пользы?.. Сорок лет она преподает: Гоголь родился в таком-то году, Евгений Онегин — представитель лишних людей, Катерина из «Грозы» — луч света в темном царстве. Сорок лет одни и те же готовые формулы. Вся литература — набор сухих формул, которые нельзя ни любить, ни ненавидеть. Не волнующая литература — вдумайтесь! Это такая же бессмыслица, как, скажем, не греющая печь, не светящий фонарь. Получается: сорок лет Зоя Владимировна обесмысливала литературу. Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов глаголом жгли сердца людей. По всему миру люди горят их пламенем — любят, ненавидят, страдают, восторгаются. И вот зажигающие глаголы попали в добросовестные, но, право же, холодные руки Зои Владимировны... Сорок лет! У скольких тысяч учеников за это время она отняла драгоценный огонь! Украла способность волноваться! Вы в этом видите пользу, Иван Игнатьевич?!

Иван Игнатьевич сердито засопел, спрятал глаза за кустистыми пшеничными бровями.

— Но она еще была преподавателем и русского языка, научила

тысячи детей грамотно писать. Хоть тут-то признайте, что это немалая заслуга.

— Научить правильно писать слово — и отучить его любить. Это все равно что внушать понятия высокой морали и вызывать к ним чувство безразличия.

— Странный вы человек, Ольга Олеговна, — огорченно произнес Иван Игнатьевич. — Вдруг взорвались — готовы крушить и проламывать головы только потому, что девочка-выпускница задела вас за живое.

— Вдруг?.. Неужели для вас выступление Студёнцева неожиданность?

— Да уж признаюсь: от любого и каждого ждал коленца, только не от нее.

— И вы считали, что у нас в школе все идеально, не нужно освобождаться от старых навыков?

— Положим, не все идеально и от каких-то привычек нам придется освобождаться.

— Но тогда придется освободиться и от тех, кто безнадежно увяз в этих старых привычках.

— Освободиться от Зои Владимировны?.. Немедленно? Или можно подождать немного, хотя бы того не столь далекого дня, когда она сама решит оставить школу?

— Недалекого дня? А когда он наступит? Через год, через два, а может, через пять лет?.. За это время сотни учеников пройдут через ее руки. Я преклоняюсь перед вашей добротой, Иван Игнатьевич, но тут она, похоже, дорого обойдется людям.

Иван Игнатьевич, опустив борцовские плечи, недовольно разглядывал Ольгу Олеговну.

— Мне кажется, вы собираетесь выправить накренившуюся лодку, черпая решетом воду, — сказал он с досадой.

— То есть?

— То есть мы освободимся от Зои Владимировны, а на ее место придет молодой учитель, только что окончивший наш областной пединститут. И вы рассчитываете, что он-то непременно будет горящим. Вам ли не известно, что в областной пединститут, увы, идут те, кто не сумел попасть в другие институты. Десять против одного, что на смену Зое Владимировне придет неспособный раздувать святой огонь Пушкина и Толстого. Не рассчитывайте на Прометеев, дорогая Ольга Олеговна.

Ольга Олеговна не успела ответить, как по учительской прокатился глуховатый басок:

— Зоя Владимировна опасна больше других? Сомневаюсь.

Директор шумно повернулся, Ольга Олеговна подобралась: подал голос учитель физики Решников.

— Что ты хочешь этим сказать, Павел? — спросила Ольга Олеговна.

— Хочу сказать: врачу — излечися сам!

— Ты считаешь, что я?..

— Да.

— Зои Владимировны?..

— В какой-то степени.

— Объясни.

И Решников поднялся, нескладно высокий, крепко костистый, с апостольским пушком над сияющим черепом, лицо темное, азиатски-скуластое, плоское, как глиняная чаша.

Игорь Проухов сидел на скамье и целился твердым носом в Генку — включенная шевелюра, светлое чело, темный подбородок.

— Тебя тут по-девичьи щипали. Вот Юлька сказала: прокаженно через дорогу не переведет, для себя горит, не для других. А кто из нас в костер бросится, чтоб другому тепло было?

— Может, я брошусь, — отозвалась Юлечка.

— Готов встать перед тобой на колени... За негорючесть я тебя, старик, не осуждаю. Считаю: если уж гореть до пепла, то ради всего человечества. Почему я, он или кто другой должен собой жертвовать ради кого-то одного, хотя бы тебя, Юлька? Что ты за богиня, чтоб тебе — человеческие жертвоприношения?

— А я не жертв вовсе, я отзывчивости хочу. За отзывчивость, даже чуточную, я сама собой пожертвую.

— Э-э! — отмахнулся Игорь. — Сама хоть с крыши вниз головой, лишь бы вовремя схватили, не то ушибиться можно. Верка лучше Генку нащупала: баловень судьбы, любое дается легко.

— Уж и любое, — усмехнулась молчавшая Натка.

Генка вздрогнул, кинул на Натку затравленный взгляд.

— Допускаю исключения, — с едва проступившей улыбочкой согласился Игорь.

И Генка вскипел:

— Красуешься, философ копейный! Хватит. По делу говори!

И призрачная улыбочка исчезла с лица Игоря.

— Может, не стоит все-таки по делу-то? А?.. Оно не очень красивое.

— Нет уж, начал — говори!

— Дело прошлое, я простил тебя — ворошить не хочется.

— Простил? Нужно мне твое прощение!

— Тебе не нужно, так мне нужно. Как-никак много лет дружили... Догадываешься, о чем я хочу?..

— Не догадываюсь и ломать голову не стану. Сам скажешь.

— Учти, старик, ты сам настаиваешь.

— Цену себе набиваешь!

— Ладно. Почему не уважить старого друга... Почтеннейшая публика, мы с ним часто играли в диспуты, и вы нам за это щедро платили — своим умилением...

— Хватит кривляться, шимпанзе!

— Мой друг бывает очень груб, извиним его. Грубость баловня судьбы: я, мол, не чета другим, я сверхчеловек, сильная личность, а потому на дух не выношу тех, кто хоть чуть стал поперек...

— Сам ярлыки клеишь, обзываешься, как баба в очереди, а еще обижаешься — груб, извиним!

— Мы обычно спорим на публику, но однажды схлестнулись с глазу на глаз. Он стал свысока судить о моих картинах, а я сказал, что его вкусы ничем не отличаются от вкусов какого-нибудь Петра Сидорыча, который не морщится от кислой банальности. И, представьте, он согласился: «Да, я — Петр Сидорыч, рядовой зритель, то есть народ, а ты, мазилка, антинароден». Я засмеялся и сказал, что преподаю ему на день рождения народную картину — лебедей на закате, и непременно с надписью: «Ково люблю — тово дарю!» Он надулся и, казалось, ничего особенного, все осталось как было — ходили по школе в обнимочку.

— Вот ты о чем!.. О выступлении...

— Да, о том. Должна была открыться выставка школьного рисунка. Не у нас — в областном Доме народного творчества. Событие!

С этой выставки лучшие работы должны поехать в Москву. Хотелось мне попасть на эту выставку или нет?.. Хотелось! И он это знал. Но... Но выступил на комитете комсомола... Что ты там сказал обо мне, Генка?

— Сказал что думал. Хвалить я тебя должен, если у меня с души прет от твоих работ?

— Но при этом ты ходил со мной в обнимочку, показательно спорил, играл в волейбол... И ни слова мне! За моей спиной...

— А что я мог тебе сказать, если и сам не знал, о чем пойдет речь на комитете...

— За моей спиной ты продал меня!

— Я говорил только то, что раньше... Тебе! В глаза!

— Нет, мне передали: ты даже растленность мне вклеил... В глаза-то говорил пообкатанней, боялся — отобью мяч в твои же ворота.

— А тебе не передали, что я талантливым тебя называл?

— Вот именно, чтоб легче подставить ножку... Ходил в обнимочку, а за пазухой нож держал, ждал случая в спину вонзить.

С минуту Генка ошеломленно таращил глаза на Игоря, а тот целился в него носом — отчужденно-спокоен.

— Ты-ы!..

Игорь пожал плечами:

— Сам просил — я не набивался.

— Ты-ы!.. Ты-ы меня!.. Носил за пазухой!..

— Сказал факты, а вывод пусть делают другие.

Генка, сжав кулаки, шагнул на Игоря:

— Я те-бе!..

Игорь распрямился, выставил темный подбородок.

— Давай,— тихо попросил он.— Ты же самбист, научен суставы выворачивать.

Генка остановился, хрипло выдохнул:

— Сволочь ты!

— Я сволочь, ты святой. Кончим на этом. Аминь.

— И правда кончим,— откликнулась Вера с жалобно округлившимися глазами.— Господи! Если б я знала...

— А ты ждала, что я все съем!

— Пусть меня лучше, не надо его больше, ребята. Пусть лучше меня!.. — Вера всхлинула.

— Пожалела. Спасибо большое! Только я не нуждаюсь в жалости! Давайте, давайте до конца! Все раскройтесь, чтоб я видел, какие вы... Сократ, валяй! Ну! Твоя очередь!

Генка кричал и дергался, а Сократ, как ребенка, прижимал к животу гитару.

— Я бы лучше вам спел, фратеры.

— Тут на другие песни настроились, разве не видишь? Не порти хор.

— А я что, Генка... У нас с тобой полный лояль.

— Не бойся, его не ударил и тебя бить не стану. Дави!

— Для меня ты плохого никогда... Конечно, что я тебе: Сократ — лабух, Сократ Онучин — бесплатное приложение к гитаре. А кто из вас, чуваки, относится с серьезным вниманием к Сократу Онучину? Да для всех я смешная ошибка своей мамы. У нас же праздник, фратеры. Мы должны сегодня петь и смеяться, как дети.

Эх, дайте собакам мяса,
Авось они подерутся!..

— Моя очередь.

Натка не спеша разогнулась, твердые груди проступили под тон-

ким платьем, блуждающая улыбочка на полных губах, под ресницами — убийственно покойная влага глаз.

Никому сейчас не до улыбок. Генка замер с перекошенными плечами...

11

Двадцать с лишним лет назад они пришли в школу — трое педагогов со студенческой скамьи, два парня с колодками орденов и медалей на лацканах поношенных пиджаков и девица с копной волос, с изумленно распахнутыми глазами. Школа встретила их по-разному.

Иннокентия Сергеевича — уважительно. Раненный под Белгородом, он слишком наглядно носил на себе след войны — пугающий лиловый шрам на лице, и в то же время он не кичился фронтовым прошлым, не требовал привилегий, держался скромно, преподавал толково, о нем сразу же установилось прочное мнение — надежный работник, образец для подражания.

Павел Павлович Решников, тоже фронтовик, трижды раненный, награжденный орденами, с ходу вошел в конфликт со школой. Он считал, что школьные программы по физике устарели — нельзя преподавать лишь законы Ньютона, когда современная наука живет открытиями Эйнштейна, — начал преподавать по-своему. Остальных преподавателей тогда вполне устраивали привычные программы, все они были старше Решникова, а потому резонно замечали, что яйца курицу не учат, на экзаменах с пристрастием спрашивали с учеников не то, чему их учил Павел Павлович. До полного разрыва со школой у него не дошло, он по-прежнему преподавал физику не строго по программам и не по учебникам, но делал это уже осторожно — инспекторские проверки никогда не заставляли его врасплох, его ученики достаточно хорошо знали программный материал. Сам же Павел Павлович являлся в школу, чтоб дать уроки и исчезнуть. Ни с кем из учителей он не сходил, не вступал в споры, не навязывал своих взглядов. Его кто-то назвал однажды — вечный гастролер. На это он спокойно возразил: «Смотря для кого. Ученики меня так не назовут». У Павла Павловича среди учеников всегда были избранные, которых он приглашал даже к себе на дом, снабжал книгами.

Ольгу Олеговну школа сначала встретила равнодушно — молодой преподаватель истории, ничем, собственно, не выделяющийся. Она выделялась не преподаванием, не педагогическим мастерством, а неукротимым правдолюбием. Ольга Олеговна могла во всеуслышанье произнести то, о чем все осмеливались лишь шептаться по углам, заклеймить подхалимов, обличить зарвавшихся, не считаясь ни с их властью, ни с их авторитетом. Она всегда шла напролом — пан или пропал — и почти всегда выходила победителем. В школе менялись директора, Ольга Олеговна оставалась бессменным завучем вот уже пятнадцать лет.

Она часто упрекала Решникова «за отшельничество», но уважала его за преданность своей науке. Науке, а не предмету — физике! Она сама давно уже не скрывала недовольства существующими учебными программами. Решников и Ольга Олеговна скорей были единомышленниками, врагами же — никогда! И вот сейчас Решников поднялся, чтобы выступить против нее.

— Объясни.

Из-под сияющего лба Решников внимательно и долго вглядывался в Ольгу Олеговну, сидящую с вызывающе вскинутой головой.

— Тут ты вся: зовешь — делай, и не замечаешь, что уже делается. Кричишь — вперед! И хватаешь за полу — стой, не смей шевелиться!

— Не говори шарадами, Павел.

— Хочу сказать, что я много лет стараюсь развивать увлечения своих учеников, а ты меня постоянно одергивала: пестуешь любимчиков!

— Я и сейчас против, чтоб кто-либо из педагогов выделял любимчиков. И какая тут связь с увлечением?

— Прямая.

— Не вижу.

— Я люблю свою науку, мечтаю подарить ей талантливых ученых. Надеюсь, что ты не собираешься тут меня осуждать?

— Нет.

— Но тогда можно ли меня судить, что я прохладен к тем, кто, мягко выражаясь, от природы не даровит к физике, не любит ее?

— Наверное, нельзя.

— Вот именно, как нельзя упрекать меня и за то, что я пристрастен к тем ученикам, в которых природа вложила способность увлекаться физикой. И чем больше ученик увлечен, тем сильнее он должен мне нравиться. Естественно это или нет, Ольга Олеговна?

Ольга Олеговна помолчала секунду, тряхнула волосами:

— Естественно!

— Но нужно ли скрывать мне это естественное чувство, делать вид, что для меня все ученики одинаковы, ничем друг от друга не отличаются?

На этот раз Ольга Олеговна не ответила.

— Делать вид — не отличаются и стараться не отличать неспособных от способных, равнодушных от увлекающихся. Да как же мне после этого развивать увлечение, за которое ты так горячо ратуешь? Но если я начну отличать, а значит, и выделять одних перед другими, ты же первая меня попрекнешь — любимчиков пестуешь? И ты, право, недалеко от истины: да, я каких-то люблю больше, каких-то меньше. Люблю потому, что они надежда той науки, преподаванию которой я посвятил жизнь, люблю потому, что рассчитываю — с моей помощью они могут стать чрезвычайно ценными членами общества.

— Ну, а как быть с остальными?.. — спросила Ольга Олеговна. — С теми, Павел, кто не оказался достойным твоей любви?

— Я им стараюсь дать общее понятие о физике. Не больше того.

— Они для тебя второй сорт люди, парии. Не так ли?

— Э-э нет! Я никак не исключаю, что среди них могут быть не менее, а еще более талантливые натуры. Но уже не в моей области. Лицеист Пушкин, увы, был зауряден в математике, наверное, и в физике тоже, если б ее преподавали в царском лицее. Представь, что я стану развивать природные способности нового Пушкина, я, не сведущий в поэзии, не чувствующий ее. Нет, пусть им занимаются другие, иначе загублю драгоценный талант.

Ольга Олеговна склонила к столу отягощенную волосами голову.

— Хорошо, Павел, согласимся, что тут ты прав. Но разве эта моя вина столь велика, что дает тебе право говорить — я опаснее Зои Владимировны?

Решников досадливо крикнул:

— Зоя Владимировна своего огня не раздует, но и моего не потушит. А ты можешь потушить.

— Что бы ты хотел от меня?

— Одного — не мешай мне возделывать свой сад.

— Каждый должен возделывать свой сад? И только?..

— Да. Без помех!

— В одиночку?

— Если я в своем труде рассчитываю на кого-то, я или плохой работник, или просто-напросто лодырь.

Сидевший рядом с Решниковым Иннокентий Сергеевич повернул к нему асимметричное суровое лицо.

— Ты так сердито разругал сейчас Ольгу и так жалко посоветовал,— произнес он.

— Это все, что я знаю.

— Теперь все делается коллективно,— все! — от канцелярских скрепок до космических ракет. А ты нам предлагаешь убого-единоличное — пусть каждый возделывает свой сад.

— Всю жизнь я единолично справлялся со своими обязанностями. Всю жизнь мне лезли помогать — и большей частью только мешали.

— Ремесленник-одиночка, оглянись кругом — ты последний из своего племени! Все твои собратья остались где-то в позднем средневековье. Прикажешь миру вернуться вспять? Не выйдет, Павел.

У Иннокентия Сергеевича под глазом, выше рваной скулы, подергивался живчик.

12

Натка, неприступно-прямая на скамейке, глядела мимо Генки влажными глазами.

— Гена-а... — с ленивенькой растяжкой, нутряным, обволакивающим голосом. — Что тут только не наговорили про тебя, беденький! Даже пугали — нож в спину можешь. Вот как! Не верь никому — ты очень чистый, Гена, насквозь, до стерильности. Варился в прокипяченной семейной водичке, куда боялись положить даже щепоточку соли. Нож в спину — где уж.

— Нат-ка! Не издевайся, прошу.

— А я серьезно, Геночка, серьезно. Никто тебя не знает, все видят тебя снаружи, а внутрь не залезают. Удивляются тебе: любого мужика через голову бросить можешь — страшен, берегись, в землю вобьешь. И не понимают, что ты паинька, сладенькое любишь, но мамы боишься, без спросу в сахарницу не залезешь.

— О чем ты, Натка?

— О тебе, только о тебе. Ни о чем больше. Целый год ты меня каждый вечер до дому провожал, но даже поцеловать не осмелился. И на такого паиньку наговаривают — нож в спину! Защитить хочу.

— Нат-ка! Зачем так?.. — Генка прятал глаза, говорил хрипло, в землю.

— Не веришь мне, что защищаю?

— Издеваешься... Они — пусть что хотят, а тебя прошу...

— Они — пусть?! — У Натки остерегающе мерцали под ресницами влажные глаза. — Я — не смей?.. А может, мне обидно за тебя, Генка,— обливают растворчиком, а ты утираешься. И потому еще обидно, что сами-то обмирают перед тобой: такой-рассякой, черствый, себялюбец негреющий, а шею подставить готовы — накинь веревочку, веди Москву завоевывать.

— Злая ты, Натка,— без возмущения произнесла Юлечка.

— А ты?.. — обернулась к ней Натка.— Ты добрей меня? Ты можешь травить медвежонка, а мне нельзя?

— Травить?! Нат-ка! Зачем?!

Натка сидела перед Генкой прямая, под чеканными бровями темные увлажненные глаза.

— Затем, что стоишь того,— жестким голосом.— И так тебя и эдак пихают, а ты песочек уминаешь перед скамеечкой. Чего тогда с тобой и церемониться. Трусоват был Ваня бедный... Зато чистенький, чи-

стенный, без щепоточки соли. Одно остается — подержать во рту да выплюнуть.

Натка отвернулась.

В листе молодых лип равнодушно горели матовые фонари. На поросший неопрятной травой рваный край обрывистого берега напирала упругая ночь, кой-где проколота шевелящимися звездами. Ночь все так же пахла влагой и травами. И лежал внизу город — россыпь огней, тающих в мутном мареве. Искрящаяся галактика, окутанная житейским шумом: кто-то смеялся среди огней, где-то надрывно кричала радиоло, тархтел мотоцикл.

— Жалкий ты, Генка, — безжалостно сказала Натка в сторону.

И Генка дернул головой, точно его ударили в лицо.

— Н-ну, Нат-ка!.. Ну-у!.. — из горла хриплое.

13

Он был одним из самых благополучных учителей школы. Уж он-то возделывал свой сад с примерным усердием.

Иннокентий Сергеевич подымал к Решникову свое суровое, шрамом стянутое на одну сторону лицо.

— Ты-то должен знать, что ремесленники повымерли не случайно, — говорил он неторопливым глуховатым голосом. — Люди бродили бы по миру нагие и голодные, если б сейчас каждый ковырял в одиночку свой сад дедовской мотыгой.

— Почему обязательно мотыгой? — невозмутимо возразил Решников. — Я лично пользуюсь всем тем, что предлагает современная педагогика. И смею думать, что сверх того кое-что сам изобретаю.

— Может, ты изобрел паровую машину и тайком ею пользуешься в своем единоличном садике?

— Не нуждаюсь ни в какой машине.

— То-то и оно, все нуждаются в машинах, все — от доярки до ученого-экспериментатора, а вот нам с тобой хватает классной доски, куска мела и тряпки. Мы с тобой вооружены, как был вооружен дедушка педагогики Ян Амос Коменский триста лет тому назад. И пытаемся поспеть за двадцатым веком. Удивительно ли, что нам приходится надрываться. Все работают по семь часов в сутки, мы — по двенадцать, по шестнадцать, а результаты?..

Решников снисходительно усмехнулся:

— Увы, еще не изобретены машины для производства духовных ценностей, скажем для произведений живописи, литературы, музыки, равно как и для передачи знаний.

Иннокентий Сергеевич дернул искалеченной щекой:

— А разреши спросить тебя, глашатай физики: открытие Галилеем спутников Юпитера — духовная ценность для человечества или нет?

Решников нахмурился и ничего не ответил.

— Молчишь? Знаешь, что эту духовную ценность Галилей добыл с помощью механизма под названием телескоп. А синхрофазотроны, которыми пользуются нынче твои собратья физики, разве не специально созданные машины? Эге! Еще какие сложные и дорогостоящие. Ими ведь не картошку копают, не чугуны выплавляют. Знания давно уже добываются с помощью машин, а вот передаются они почему-то до сих пор, так сказать, вручную.

— Может, ты даже представляешь, как выглядит та паровая машина, на которую собираешься посадить педагогов? — спросил Решников.

— Предполагаю.

— А ну-ка, ну-ка.

— Будем исходить из существующего ремесленничества — миллионы учителей по стране преподают одни и те же знания по математике, по физике, по прочим наукам. Одни и те же, но каждый своими силами, на свой лад. Как в старину от умения отдельного кустика сапожника зависело качество сапог, так теперь от учителя зависит качество знаний, получаемых учеником. Попадет ученик к толковому преподавателю — повезло, попадет к бестолковому — выскочит из школы недоучкой. Вдуматься — лотерея. А не лучше ли из этих миллионов отобрать самых умных, самых талантливых и зафиксировать их преподавание хотя бы на киноленте. Тогда исчезнет для ученика опасность попасть к плохому учителю, все получают знания по одному высокому стандарту...

— Стоп! — перебил Решников. — По стандарту!.. Бездушная кинолента, выдающая всем одинаковую порцию знаний... Да ведь мы с тобой только тем и занимаемся, что стараемся приноровиться к каждому в отдельности ученику — один усваивает быстрее, другой медленней, третий совсем не тянет. Да что там говорить, обучать живых, нестандартных людей может только живой, нестандартный человек.

И снова Иннокентий Сергеевич дернул щекой.

— Заменить тебя кинолентой?.. Да боже упаси! Хочу лишь снять часть твоего труда. Однообразного труда, Павел. Тебе уже не придется по нескольку раз в каждом классе втолковывать то, что ты втолковывал в прошлом году, в позапрошлом, три и четыре года назад. Стандартная кинолента даст тебе время... Время, Павел! Чтоб ты мог нестандартно, творчески заниматься учениками — способным преподавал сверх стандартной нормы, неспособных подтягивал до стандарта. Тебе остается лишь тонкая работа — доводка и шлифовка каждого человека в отдельности. Каждого!

— Все-таки топчи дорогу своими ногами. Может, ты предлагаешь не локомотив, а просто посошок для облегчения моих натруженных ног?

— А ты хотел бы такой локомотив, который бы полностью устранил тебя?

— Зачем мне тогда и жить на свете, — отмахнулся Решников.

— То-то и оно, нет еще машины, которая исключала бы человека. И будет ли?

— О чем вы спорите?! — выкрикнула забытая Ольга Олеговна. — Как преподнести знания — механизированным или немеханизированным путем! Юлия Студёнцева до ноздрей нами набита этими знаниями, а тем не менее... Снова мне, что ли, повторять: у нас часто формируются люди без человеческих устремлений! А раз нет человеческого, то животное прет наружу вплоть до звериности, как у тех парней, что ножом женщину на автобусной остановке... В локомотиве спасение — да смешно! Машиной передавать человеческие качества!.. Решников удовлетворенно хмыкнул:

— Вот и вернулись на круги своя: я человек, что-то любящий, что-то презирающий в мире сем, я передаю свое, ученикам, вы — свое, пусть каждый мотыжит свой сад... Если мне вместо мотыги предложат сподручный трактор, я, пожалуй, не откажусь, но детей трактору не доверю.

Иннокентий Сергеевич с минуту молчал — странное, неподвижное лицо, одна его половина разительно не походит на другую, — затем обронил холодно и спокойно:

— Не доверю?.. А самим себе мы доверяем?..

14

Пять человек на скамье под фонарями, тесно друг к другу, и Генка нависает над ними.

— До доньшка! Правдивы!.. Ты сказала — я черств. Ты — я светлячок-себялюбец. Ты — в предатели меня, нож в спину... А ты, Натка... Ты и совсем меня — даже предателем не могу, жалкий трус, тряпка! До доньшка... Но почему у вас доньшки разные? Не накладываются! Кто прав? Кому из вас верить?.. Лгали! Все лгали! Зачем?! Что я вам плохого сделал? Тебе! Тебе, Натка!.. Да просто так, воспользовались случаем — можно оболгать. И с радостью, и с радостью!.. Вот вы какие! Не знал... Раскрылись... Всех теперь, всех вас увидел! Насквозы!..

Накаленный Генкин голос. А ночь дышала речной влагой и запахами вызревающих трав. И густой воздух был вкрадчиво теплым. И листва молодых лип, окружающая фонари, казалось, сама истекала призрачно-потусторонним светом. Никто этого не замечал. Подавшись всем телом вперед, с искаженным лицом надрывался Генка, а пять человек, тесно сидящих на скамье, окаменело его слушали.

— Тебя копнуть до доньшка! — Генка ткнул в сторону Веры Жерих. — Добра, очень добра, живешь да оглядываешься, как бы свою доброту всем показать. Кто насморк схватит, ты уже со всех ног к нему — готова из-под носа мокроту подтирать, чтоб все видели, какая ты благодетельница. Зачем тебе это? Да затем, что ничем другим удивить не можешь. Ты умна? Ты красива? Характера настойчивого? Шарь, не шарь — пусто. А пустоту-то показной добротой покрыть можно. И выходит — доброта у тебя для маскировки!

Вера ошалело глядела на Генку круглыми, как пуговицы, глазами, и ее широкое лицо, казалось, покрылось гусиной кожей. Она пошевелилась, хотела что-то сказать, но лишь со всхлипом втянула воздух, из пуговично-неподвижных глаз выкатились на посеревшие щеки две слезинки.

— Ха! Плачешь! Чем другим защитить себя? Одно спасение — пролью-ка слезы. Не разжалобишь! Я еще не все сказал, еще до доньшка твоего не добрался. У тебя на доньшке-то не так уж пусто. Куча зависти там лежит. Ты вот с Наткой в обнимочку сидишь, а ведь завидуешь ей — да, завидуешь! И к Юльке в тебе зависть и к Игорю... Каждый чем-то лучше тебя, о каждом ты, как обо мне, наплела бы черт-те что. Добротой прикрываешься, а первая выскочила, когда разрешили, — можно дерьмом облить...

Вера ткнулась в Наткино плечо, а Юлечка выкрикнула:

— Гена!

— Что — Гена?

— Ты же не ее, ты себя позоришь!

— Перед кем? Перед вами? Так вы уже опозорили меня, постарались. И ты старалась.

— Сам хотел, чтоб откровенно обо всем...

— Откровенно. Разве ложь может быть откровенной?

— Я говорила что думала.

— И я тоже... что думаю.

— Не надо нам было...

— Ага, испугалась! Поняла, что я сейчас за тебя возьмусь.

И без того бледное точеное личико Юлечки стало матовым, нос заострился.

— Давай, Гена. Не боюсь.

— Вот ты с любовью лезла недавно...

— Ты-ы!..

— А что, не было? Ты просто так говорила: пойдём вместе, Москву возьмём?

— Как тебе не стыдно!

— А притворяться любящей не стыдно?

— Я притворялась?..

— А разве нет?.. Сперва со слезами, хоть сам рыдай, а через минуту — светлячок-себялюбец. Чему верить — слезам твоим чистым или словам?.. И ты.. ты же принципиальной себя считаешь. Очень! Только вот тебя, принципиальную, почему-то в классе никто не любил.

— Как-кой ты!..

— Хуже тебя? Да?.. Я себялюбивый, а ты?.. Ты не из себялюбия в школе надрывалась? Не ради того, чтоб первой быть, чтоб хвалили на все голоса: ах, удивительная, ах, необыкновенная! Ты не хотела этого, ты возмущалась, когда себялюбие твое ласкали? Да десять лет на голом себялюбии! И на школу сегодня напала — зачем? Опять же себялюбие толкнуло. Лезла, лезла в первые и вдруг увидела — не танцовывается, давай обругаю.

— Как-кой ты!..

Бледная от унижения Юлечка — осунувшаяся, со вздрагивающими веками, затравленным взглядом.

Не выдержал Игорь:

— Совсем свихнулся!

И Генка качнулся от Юлечки к нему:

— Старый друг, что ж... посчитаемся.

Игорь криво усмехнулся:

— Не до смерти, не до смерти, пожалей.

Генка с высоты своего роста разглядывал Игоря, сидящего на краешке скамьи бочком, с вызывающим изломом в теле — одно плечо выше другого, крупный нос воинственно торчит.

— А представь, — сказал Генка, — жалею.

— Вот это уж и вправду страшно.

— Нож в спину... Я — тебе?! Надо же придумать такое. А зачем?

Вот вопрос.

Игорь, не меняя неловкой позы, презрительно от молчался.

— Да все очень просто: на гениальное человек нацелен. Искренне, искренне о себе думаешь — Цезарь, не меньше!

— Тебе мешает, что кто-то высоко о себе...

— Цезарь... А любой Цезарь должен ненавидеть тех, кто в нем сомневается. Голову отрубить, Цезарь, мне не можешь, одно остается — навесить что погаже: такой-сякой, нож в спину готов, берегитесь!

— Ты же ничего плохого за моей спиной обо мне не говорил, дружил и не продавал?

— Да почему, почему сказать о тебе плохо — преступление? Неужели и в самом деле ты думаешь, что тебя в жизни — только тебя одного! — станут лишь хвалить? И никого не будет талантливей тебя, крупней? Ты самый-рассамый, макушка человечества! Да?

— Я себя и богом представить могу. Кому это мешает?

— Тебе, Цезарь! Только тебе! Уже сейчас тебя корчит, что не признают макушкой. А вот если в художественный институт проскочишь, там наверняка посильней тебя, поспособней ребята будут. Наверняка, Цезарь, им и в голову не придет считать тебя макушкой. Как ты это снесешь? Тебе же всюду ножи в спину мерещиться станут. Есюду, всю жизнь! От злости сгоришь. Будет вместо Цезаря головешка. Ну, разве не жалко тебя?

Генка нависал над Игорем; тот сидел, вывернувшись в неловком изломе, выставив небритый подбородок.

— Ловко, Генка... мстишь... за нож в спину...

— Больно нужно. И незачем. Ты же сам с собою расправишься... Под забором умру... Не знаю, может, и в мягкой постели. Знаю, от чего ты умрешь, Цезарь недоделанный. От злости!

Игорь коченел в изломе, блуждал глазами.

— Ну, спасибо,— сказал он сипло.

— За что, Цезарь?

— За то, что предупредил. Честное слово, учту.

Генка оскалился:

— Исправишься? Гениальным себя считать перестанешь?

— Хотя бы.

— Давно пора. Какой ты, к черту, Цезарь.

Матовые фонари висели в обложных сияющих облаках листвы, лицо Генки под их сильным, но бесцветным светом, отбрасывающим неверные тени, было бескровно-голубым, кривящиеся губы черными. Изломанно сидящий Игорь перед ним.

— Рад?! — наконец выдохнул Игорь.

Генка сильней скривил рот и ничего не ответил.

— Рад, скотина?!

И Генка оскалился. Тогда Игорь -вскочил, задыхаясь, закричал в смеющееся голубое лицо:

— Я же не палачом, не убийцей мечтал!.. Мешаю! Чем! Кому?!

Генка скалил отсвечивающие зубы.

— И ты мечтай! Кто запрещает?! Хоть Цезарем, хоть Наполеоном, хоть Христом-спасителем! Не хочешь! Не можешь! И другие не смей!.. Скотина завистливая!..

Взлохмаченный носатый Игорь, дергаясь, выплясывал перед долговязым Генкой. Тот слушал и скадил зубы.

15

— Дадим себе отчет: о чем мы сейчас мечтаем? Только о том, чтоб лучше готовить учеников? Нет! Готовить лучших людей! Мечтаем усовершенствовать человеческую сущность. А об этом мечтали с незапамятных времен. Можно сказать, мечта рода людского.

Решников хмыкнул:

— Гм!.. Не по Сеньке шапка. Задача не школьного-масштаба.

— Не школьного?.. А разве школа как общественное учреждение — не масштабное явление? Укажите такое место на карте, где бы не было школы. Назовите хоть одного человека, который бы сейчас прошел мимо школы. Кому и заниматься масштабными задачами, как не вездесущей школе с ее миллионной армией учителей.

— Но ты начал с того, что мы не верим сами себе,— напомнила Ольга Олеговна Иннокентию Сергеевичу.

— Не верим потому, что никто из нас не чувствует себя бойцом великой армии, каждый воюет в одиночку. Вот ты, Ольга, завуч школы, много мне можешь помочь?.. Тем более что ты по образованию историк, тогда как я преподаю математику. А много ли помогает мне горно с его методическим кабинетом? И от областных организаций и от нашего министерства нагоняев — да, жду, требований, приказов — да, но только не помощи! Я боец великой просветительной армии, нас миллионы, но я, как и каждый из этих миллионов, один в поле воин. Один!.. Школа — масштабное явление, но я-то этого никогда не чувствую.

— И кинолентой рассчитываешь объединить нас, одиночек? — спросил с усмешкой Решников.

— Хотя бы! Если кинолента несет в себе знания и опыт лучших учителей.

— Если лучших!.. На практике-то мы часто сталкиваемся с иным. Разве не выпускаются сейчас плохие учебники, почему же не быть плохим учебным кинолентам? У этой песенки два конца.

— Первый паровоз, первый многоверетенный прядильный станок тоже попервоначально были крайне несовершенными, но вытеснили же они в конце концов ломового извозчика и пряху-надомницу, — спокойно возразил Иннокентий Сергеевич.

— Эге! Ты, вижу, мечтаешь совершить в педагогике промышленную революцию!

— Разумеется. А зачем нужна тогда паровая машина, если она не совершит переворота?

Наступило неловкое молчание.

Иннокентий Сергеевич сидел, расправив плечи, высоко подняв асимметричное лицо, — над измятой, стянутой рубцами скулой жил, настороженно поблескивал светлый глаз.

Ольга Олеговна исподтишка приглядывалась из своего угла: двадцать лет, считай, вместе, а не подозревала, что он, Иннокентий, недоумен школой. Один из самых благополучных учителей. Благополучные тяготеют своим благополучием. Юлия Студёнцева тоже была самой благополучной ученицей в школе.

— Хе-хе, — неожиданно кольхнулся на своем стуле директор Иван Игнатьевич, — чем мы тут занимаемся? В облаках витаем. Мосты воздушные возводим. Хе-хе! Всемирные проблемы, революционные преобразования... А не пора ли нам спуститься на грешную землю, друзья?..

16

Игорь выкричался и потух, отвернулся от Генки — руки в карманах, взлохмаченная голова втянута в плечи, одна нога нервно подергивается. Генка, сведя белесые брови, уже без улыбки, хмуро глядел Игорю в затылок.

Юлечка, не спускавшая с Генки блестящих глаз, снова выдохнула:

— Н-ну, как-кой ты... опасный!

И Генка вскипел:

— Думали, барашек безобидный, хоть стриги, хоть на куски режь — снесу! Я вам не Сократ Онучин!

— Старик!.. За что?..

Генка досадливо повел на Сократа плечом:

— Тебя всего грязью обложи — отряхнешься да песенку проблеешь.

— Он взбесился, фратеры!

Сократ, прижимая к животу гитару, подавленно оглядывался.

— Что я ему плохого сделал, фратеры?

Игорь Проухов изучал землю и подергивал коленом.

Напруженно поднялась Натка — вскинута голова, покатые плечи.

— С меня хватит. Я пошла.

И Генка рванулся к ней:

— Нет, стой! Не уйдешь!

Она надменно повела подбородком в его сторону:

— Силой удержишь?

— И силой!

— Ну попробуй.

— Бежишь! Боишься! Знаешь, о чем рассказывать буду?

Натка ужаленно развернулась:

— Не смей!

- Ха-ха! Я же трус, не посмею — побоюсь.
- Генка, не надо.
- Ха-ха! Мне хочется — и что ты тут сделаешь?!
- Генка, я прошу...
- Ага, просишь, а раньше?.. Раньше-то пинала — трус, размазня!
- Прощу, слышишь?
- А ты на колени встань — может, пожалею.
- Совсем свихнулся!
- Да! Да! Свихнулся! Но не сейчас, чуть раньше, когда ты меня.
- Ты! Хуже всех! Злей всех! Всех обидней!
- Очвись, сумасшедший!
- Очнулся! всю жизнь как во сне прожил — дружил, любил, уважал. Теперь очнулся!.. Слушайте... Ничего особенного — картинка с натуры, моментальный снимочек...
- Не-го-дьяй!
- Негодяй. Да. Особенно перед тобой. Я же почти два года в твою сторону дышать боялся. Если ты в классе появлялась, я еще не видел тебя, а уже вздрагивал. Негодяй и трус — верно! Даже когда издали на тебя глядел, от страха обмирал, но глядел, глядел... Как ты голову склоняешь, как ты плечом поведешь... Я, негодяй, смел думать, что лучше ничего, чище ничего на всем, на всем свете! И ты меня, негодяя, мордой за это, мордой! И вправду, чего тебе жалеть меня.
- Гена-а... — дрогнувшим голосом. Натка вдруг вся обмякла, словно из нее вынули пружину.— Пошли отсюда. Слышишь, вместе... Хватит, Гена.
- Ага, будь послушеньким, чтоб потом снова всем: трус, жалок, хошь в какой узелок свяжу... Нет, Натка, теперь не обманешь, ты с головой себя выдала. Красивая, а душа-то змеиная! Как раньше любил, так теперь ненавижу! И лицо твое и тело твое, которое ты мне...
- За-мол-чи!!!
- Злись! Злись! Кричи. Мне даже поиграть с тобой хочется... в кошки-мышки... Ну, не буду играть, лучше сразу... Слушайте: это недавно было, после экзаменов по математике...
- Прощу же! Прощу!
- ...Пошел я на реку, и, конечно, я, негодяй, шел по бережку и думал... о ней. Я же всегда о ней думал, каждую минуту, как проснусь, так и думаю, думаю, раскисаю... Значит, иду и думаю. И вдруг...
- Последний раз, Генка! Пожалеешь!
- Смотрите, снова напугать хочет. Как страшно!.. И вдруг вижу в воде у самого бережка — она...
- Рассказывай! Рассказывай! Весели! Давай! — закричала Натка, и ее крик отозвался где-то в глубине ночи смятенно-суматошным «вай! вай! вай!».
- Купается... Из воды только плечи и голова. Меня-то она раньше заметила — смеется...
- Давай! Давай! Не стесняйся!
- Вай! вай! айся! — отозвалась ночь.
- Я же не ждал, я только думал о ней. А потом — я трус... Встал я столбом и рот раскрыл как дурак — ни туда ни сюда, «здравствуй» сказать не могу...
- О-о-о! — застонала Натка.
- А она знай себе смеется: уходи, говорит, я голая...
- Натка всхлипнула и схватилась руками за горло — изломанные брови, растянутый гримасой рот, преобразившаяся разом, судорожно-некрасивая.
- Голая... Это она-то, на которую издали взглянуть страшно.

Уходи!.. Кто другой — не трус, не жалкий слюнтяй — может, ближе бы подошел, тары-бары, стал бы заигрывать. А я не мог. И как тут не послушаться — уходи. На улице издали увижу — вся улица сразу меняется. И я... я задом, задом да за кусты. Там, за кустами, встал, дух перевел и честно отвернулся, чтоб нечаянно как-нибудь, чтоб, значит, взглядом нехорошим... Но уши-то не заткнешь, слышу — вода заплескалась, трава зашуршала, значит, вышла из воды... И рядом же, пять шагов до кустика. Она! И холодно мне и жарко...

Натка медленно опустила от горла руку, низко-низко склонила голову — плечи обвалились, спина сторбилась.

— Шевелилась она, шевелилась за кустом, и вот... вот слышу: «Оглянись!» Да-а...

Натка горбилась и каменела, лица не видно, только гладко расчесанные на пробор волосы.

— Да-а... Я оглянулся. Я думал, что она уже оделась... А она... Она как есть... Я и в одежде-то на нее... А, черт! Об одном талдычу — ясно же!.. Она вся передо мной, даже волосы назад откинула. И небо синее-синее, и вода в реке черная-черная, и кусты, и трава, и солнце... Она, мокрая, белая, — ослепнуть! Плечи разведены, и все распахнуто — любуйся! И зубов полон рот, смеется, спрашивает: «Хороша я?»

— Мразь! — дыханием сквозь зубы.

— Сейчас, может быть. Сейчас! Но не был мразью! Нет! Глядел. Конечно, глядел! И захотел бы, да не смог глаз оторвать. И шевельнуться не мог. И оглох. И ослеп совсем... Солнце тебя всю, до самых тайных складочек... Горишь вся сильнее солнца, босые ноги на траве, руки вниз брошены, платье скомканное рядом, и улыбаешься... зубы... «Хватит. Уходи!». То есть хорошего понемножку... И я послушался. А мог ли?.. Тебя!.. Тебя не послушаться, когда ты такая. Мог ли!.. А теперь-то понимаю — ты хотела, чтоб не послушался. Хотела, теперь-то знаю.

— Мразь! Недоумок!

— Опять ошибочка. Тогда — да, недоумок, тогда, не сейчас. Сейчас поумнел, все понял, когда ты меня трусом да еще жалким назвала. Мог ли я думать, что ты не богиня, нет... Ты просто самка, которая ждет, чтоб на нее кинулись...

Натка натужно распрямилась — лицо каменное, брови в изломе. Вместо нее откликнулась Юля Студёнцева:

— Господи! Как-кой ты безобразный, Генка! — В голосе брезгливый ужас.

— По-самочьи обиделась, свела сейчас счеты: трус, мол, а почему — не скажу... Это не безобразно? Ну так мне-то зачем в долгу оставаться? Да и в самом деле теперь себя кретином считаю: такой случай, дурак, упустил!.. До сих пор в глазах стоишь... Груды у тебя в стороны торчат, а какие бедра!

И Натка вырвалась из окаменелости, большая, гибкая, метнулась на Генку, вцепилась ногтями, крашенными к выпускному празднику, в лицо.

— Подлец! Подлец! Подлец!!!

Голова Генки моталась из стороны в сторону. Наконец он перехватил руки, секунду сжимал их, дико таращась в Наткины брови, на его щеках и переносье проступали темные полосы — следы ногтей.

— Тьфу!

Натка плюнула в его исцарапанное лицо. Генка с силой толкнул ее на скамью. Испуганно взвизгнула подмятая Вера Жерих.

Задев плечом не успевшего откачнуться Игоря, Генка кинулся к обрыву.

С откоса из темноты долго был слышен бестолковый шум суматошных шагов.

Плотная, плоская ночь — как стена, как конец всего мира. Ночь пахла речной илистой сыростью.

17

Повернувшись в сторону бесстрастно-сумрачного учителя математики пухлой грудью, красным лицом, возбужденный, весело недоумевающий, Иван Игнатьевич всплескивал большими руками, сыпал захлебывающейся скороговорочкой:

— Иннокентий Сергеевич! Как же вы — вы! — на маниловщину сорвались? Лапушка Манилов мосты до Петербурга мысленно строил, вы же мечтаете — хорошо бы деткам нашим увлекательные учебные картинки показывать, знания по самому высокому стандарту без труда выдавать. Если б это говорили не вы, а кто-нибудь из молодых педагогов, хотя бы наш новый географ Евгений Викторович, вчерашний студент, я бы нисколько не удивился. Но вы-то человек трезвый, разумный, многими годами на деле проверенный, и нате вам — в миражи ударились!

— В миражи? — Иннокентий Сергеевич оборвал веселую директорскую скороговорку. — А рассчитывать, что можно поправить нашу педагогику кустарным способом, мотыжа в одиночку свой садик, не вера в миражи?

— Мой садик — сугубая реальность, — сухо бросил со стороны Решников, — а твои упования, согласишься, из области фантазии.

— Не такая уж фантазия — показ учебных фильмов. Мы и сейчас уже их время от времени показываем, — напомнил Иннокентий Сергеевич.

— Но пока революцию они нам не делают. Не-ет! — снова обрушился Иван Игнатьевич. — Революция-то случится — если случится еще! — когда специальные киностудии по всей стране станут выпускать не единицами, а тысячами такие фильмы. От нас сие не зависит, значит, нам ждать прикажете — кто-то когда-то сверху революцию сотворит. А до тех пор нам сложа ручки сидеть, Иннокентий Сергеевич, дорогой? Дети-то не смогут ждать этой высокой революции, они к нам стучаться будут — принимайте, учите, воспитывайте, мы растем, развития требуем.

— Ну что ж, будем по старинке-матушке — каждый в своем закутке, в одиночку...

— Да нет, нет! Не получается у нас в одиночку! Да оглянитесь, как живем — трясем друг друга, на ковер бросаем. Вон сейчас Ольга Олеговна Зою Владимировну бросила на лопатки, Павел Павлович — Ольгу Олеговну, вы, Иннокентий Сергеевич, — Павла Павловича, я вот вас пробую положить. И это называется жить в одиночку? Где уж...

— Бросаем на ковер, а результат? — резко спросила Ольга Олеговна из своего угла.

— А разве мы в таких битвах не добивались результатов? Вспомните, какой была наша школа лет семь тому назад. Нас тогда душили — даешь высокий показатель, и баста! Отметки приходилось завышать, полных балбесов боялись на второй год оставить, до отчаянья доходили — думалось, рассадником невежества школа станет. И сходились вот так, и на ковер друг друга швыряли, и сплачивались, и разваливались, снова сплачивались, пока не победили. Теперь не показатели, а какие-никакие, но твердые знания даем. Результат это? Да! Но и этого, оказывается, мало — неделё ученика, кроме знаний, еще высокими личными качествами! Вот сейчас у нас первая битва про-

шла, маленькая, так сказать, примерочная и пока безрезультатная. Сколько их будет, этих битв? Не знаю. Скоро ли поймаем за кончик хвоста желаемый результат? Тоже не знаю. Но убежден в одном: рано ли, поздно — чего-то добьемся. Тянем-потянем — и вытянем репку. Сами! Не ожидая, что кто-то нам руку протянет.

— Завидный у вас характер, Иван Игнатьевич,— произнесла Ольга Олеговна, подымаясь с места.

— Тренированный, Ольга Олеговна, тренированный. Вам-то известно, что меня чаще других на ковер бросают. Привычка выработалась духом не падать... Есть предложение: кончить на сегодня нашу вольную борьбу, разойтись по домам. Время-то позднее.



На скамье под освещенными липами металась Натка, каталась лбом по деревянной спинке:

— Он!.. Он!.. Я же его любя, а он!.. Сам-кой! О-о-о!..

Вера Жерих топталась над ней:

— Наточка, он же не только тебя, он всех... И меня тоже... А я, видишь, ничего...

— Перед всеми!.. Зачем?! Зачем?! И все вывернул!.. Не было, не было у меня тогда в мыслях дурного! Он — сам-ка!.. Под-лец!

Игорь нервно ворошил свою взлохмаченную шевелюру, ходил, как маятник, от одного конца скамьи до другого, слепо натываясь на Сократа, прижимающего к животу гитару, на Юлечку Студёнцева, вобравшую голову в кисейные плечики.

— Лучше бы убил меня, чем так!.. Лучше! Честней!

— Наточка, он же всех...

Сократ, не спускавший глаз с Натки, задумчиво спросил:

— А меня-то он за что? А?..

Никто ему не ответил, каталась лбом по твердой спинке скамьи Натка.

— Как-кой он! — Юлечка вся передернулась — от белых бантов в косичках до щиколоток.

— Лучше бы убил!

Игорь внезапно остановился, развернулся всем телом, уставил твердый нос на бьющуюся в истерике Натку.

— Он и есть убийца,— заговорил Игорь.— Только бескровный. Такие вот высмотрят в человеке самое дорогое, без чего жить нельзя, и...

— Как-кой он безобразный!

— Нен-на-в-ви-жу! Нен-на-в-ви-жу! — металась Натка.

— Разве не все равно, каким путем убить жизнь — ножом, ядом или подлым словом. Без жалости подлец! И ловко, ловко!..

— Меня-то он за что? Я, фратеры, даже спас его. Яшка Топор подстраивал, я шепнул Генке... — Сократ, как младенца, укачивал гитару.

— У всех нашел самое незащищенное, самое дорогое — и без жалости, без жалости!.. Всех, и даже Натку...

Натка перестала метаться, припав лбом к спинке скамьи, замерла, согнувшись.

Юлечка снова передернулась:

— Как-кой он, однако... бесстыдный!

— Фратеры, а ведь Яшка Топор снова его стережет,— объявил негромко Сократ.

— Два сапога — пара,— процедил сквозь зубы Игорь.

Натка оторвалась лбом от спинки скамьи, упираясь рукой, с усилием распрямилась — выбившиеся волосы падают на глаза, нос распух, губы вялые, бесформенные.

— Я сегодня такое узнал, фратеры... Не хотел говорить Генке сразу, думал — праздник испорчу. Хотел шепнуть, когда домой пойдем. Игорь с досадой передернул плечами:

— Какое нам до них дело!

— Мне — дело! — произнесла Натка.

У нее отвердело лицо, губы сжались, под упавшими волосами скрытно тлели глаза.

— Мне — дело! — повторила она громче, с гневным звоном в голосе.

— А-а, ну их! Пусть перегрызутся.— Игорь неприязненно отвернулся в сторону обрыва.

— И тебе есть дело! — Спрятанные за упавшими волосами Натки глаза враждебно ощупывали Игоря.

Игорь не ответил, упрямо смотрел в сторону.

— Убийца же — сам сказал. Убийцу наказывают. А ты можешь?..

— При случае припомню.

— Не ври! Кишка у тебя тонка. А вот Яшка Топор может...

— Не хочешь ли, чтоб я помогал Яшке?

— Яшка сам справится, лишь бы не помешали.

— Ну и пусть справляется. Плевать. Для меня теперь Генка чужой.

Под спутанными волосами — враждебные глаза. Обернувшийся на Натку Игорь невольно поежился. Натка спросила:

— Вдруг кто из нас захочет помешать Яшке, как ты тогда?

— Никак. Мне-то что.

— Врешь! Врешь!.. Нен-на-виж-жу! И ты нен-навидишь!

— Да чего ты от меня хочешь?

— Хочу, чтобы Яшке не помешали! По старой дружбе, из жалости или просто так, из благородства сопливого. Хочу, чтоб все слово друг другу дали. Сейчас! Не сходя с места! От тебя первого хочу это слово услышать!

— Лично я ни Яшке, ни Генке помогать не собираюсь.

— Даешь слово?

— Пожалуйста, если так тебе нужно.

— Даешь или нет?

— Да слышала же: у нас с Генкой все кончено, с какой стати мне к нему бежать.

Натка минуту вглядывалась в Игоря недружелюбно мерцающими из-под упавших волос глазами, медленно повернулась к Сократу:

— А ты?.. Ты хотел шепнуть?.. Снова не захочешь?

— Я как все, фратеры. Генка и меня... ни за что ни про что.

Натка подалась к Вере:

— А ты?

— Что, Наточка?

— Что? Что? Не понесешь завтра на хвосте?

— Но Яшка, Наточка... Он же зверь.

— И верно, фратеры, Яшка на этот раз шутить не будет... Он страшненькое готовит.

И Натка вскипела:

— Уже сейчас раскисли! А завтра и совсем... Разжалобимся, перепугаемся, вспомним, что Яшка злой, Яшка страшненький, и — простим, простим, спастись наперегонки кинемся! Нен-на-виж-жу! Всех буду ненавидеть!

— Мое дело предупредить, фратеры. А там решайте. Как все, так и я. Мне-то зачем стараться перед Генкой.

— Ну, Верка?

— Наточка, если уж все...

— И все-таки жаль?

— Противен он мне.

— Даешь слово, что ни завтра, ни послезавтра — никогда не проговоришься?

— Да... даю.

Натка развернулась к Юлечке:

— Ты?

Юлечка, подняв кисейные плечики, стояла с прижатыми к груди кулачками, бледная, с заострившимся носом, с губами, сведенными в ниточку.

— Что тянешь? Отвечай!

— А если Яшка покалечит... или убьет?

— Если б Яшка звал Генку в карты играть, то и разговора бы не было.

— Даже если убьет?..

Натка медленно-медленно поднялась со скамьи, раскосмаченная, с упрятанными глазами, распухшим носом, искривленным ртом, шагнула на Юлечку:

— Жалеть прикажешь? Мне — его? Весь город завтра узнает, пальцами показывать станут: сук-ка!.. Мне жить нельзя, а ему можно? Да я бы его своими руками!.. Нен-на-виж-жу! Не смей. Не смей дорожку перебежать! Только шепни... Мне терять нечего!

Натка кричала, напирала грудью на побледневшую до голубизны, сжимавшую на груди маленькие кулачки Юлечку.

Игорь не выдержал, сердито крикнул:

— Хватит! О чем мы — Яшка, Генка... Да в первый раз такой треп слышим? Кто-то сболтнул, Сократ услышал, а мы заплясали. Ничего не случится, вот увидите — звон один.

— Нет, фратеры, не звон. — Узкое лицо Сократа вытянуто, голос приглушен, руки, держащие гитару, беспокойны. — Точные сведения, верьте слову.

— Кто тебе накапал? Не темни.

— Скажу. Только — могила. Если Яшка дознается, был Сократ Онучин — и нет его. Я не Генка, Яшке меня — раз чихнуть.

— Да кому нужно Яшке на тебя капать! Здесь Яшкиных друзей нет. Выкладывай.

— Пашку Чернявого из Индии знаете?

— Это ты там всех знаешь, мы к ним в гости не ходим.

— Маленький такой, рожка в веснушках, волосы белые. Потому и прозвали Чернявым, что совсем на чернявого не похож. Он у меня, фратеры, уроки берет... по классу гитары. Так вот он мне под страшным секретом... Из верных рук, фратеры, из верных, верьте слову.

— Что сказал тебе Чернявый?

— Генка гоняет на велосипеде по Улыбинскому шоссе. Так?

— Ну, так.

— А шоссе мимо чего идет, помните?

— Шоссе длинное.

— Мимо Старых Карьеров, фратеры. Вот когда Генка мимо Карьеров погонит, этот Пашка Чернявый и выскочит...

— Один? На Генку?

— Ты слушай... Будет Пашка в рваной рубаше и портрет в крови. Специально разукрасят. Значит, выскочит он таким красивым и закричит: «Помогите! Убивают!» Ну, а Генка мимо проскочит, не остановит-

ся? Нет уж, сами хорошо знаете, козлом поскачет, куда укажут. «Помогите!» Чего ему не помочь, когда самбо в руках. Но в Карьерах-то его и встретят... Яшка с кодлой. В прошлый раз Генка Яшку красиво приложил. Теперь Яшка все учтет. Так что ой, мама, не жди меня обратно — самбо не поможет.

19

Уже зашевелились, чтоб подняться, проститься, разойтись по домам, закончить затянувшийся вечер, а вместе с ним и очередной учебный год. Обычный год, напряженно-трудный, принесший под занавес неожиданное огорчение.

Но тут все увидели, что Нина Семеновна, забыто сидевшая в стороне, собранным в комочек платочком промокает слезы с наведенных ресниц — плачет втихомолку.

— Что с вами, Нина Семеновна?

— Да так, ничего.

Ольга Олеговна устало опустилась рядом с Ниной Семеновной:

— Сегодня нам всем не по себе...

Нина Семеновна, комкая платочек, прерывисто вздохнула:

— Все о Юлечке думаю, и вот стало так жаль...

Директор Иван Игнатьевич укоризненно покачал головой:

— Бросьте-ка, бросьте! Юлию Студёнцеву жалко. Не страдайте за нее. Девушка настойчивая, сами знаете, свое возьмет.

— Да мне не ее, а себя... — Нина Семеновна выдавила виноватую улыбку.

Ольга Олеговна заглянула под ее опущенные ресницы:

— О ней думаете — себя жаль?

— Я же на Юлечку надеялась очень. Да, все эти годы... Глупость, конечно, но мечтала: открою утром газету, а там ее имя, включу вечером телевизор — о ней говорят... Нет, нет, не слава мне была нужна! Есть люди, необходимость которых очевидна, они время несут на своих плечах. Можно ли, скажем, наступление нашего двадцатого века представить без Марии Кюри... Думалось, вдруг да Юлечка... А я-то ее у порога школы встретила. От меня значительный человек через времена двинулся, как большая Волга от маленького источника. И вот сегодня... Сегодня я поняла — не случится. Да, да, вы правы, Иван Игнатьевич, за Юлечку беспокоиться нечего — свое возьмет. Но только свое, а на меня-то уже не хватит. Наверное, будет толковым инженером или врачом, каких много. А значит, я не исключительной удачи учитель, нет... таких много. Право, стыдно даже, какие глупости говорю, но настроила себя, чуть ли не все десять лет настраивала и ждала — будет, будет у меня сверхудача! Теперь вот поняла и до слез... Не смейтесь, пожалуйста.

Все молчали, рассеянно глядели каждый в свою сторону.

— Молоды вы еще, очень молоды! — вздохнул Иван Игнатьевич. — Кто из нас в молодости не мечтал великана в мир выпустить из своих рук!

— И, как правило, взмывали не те, от кого ждешь полета, — с горечью проговорила Ольга Олеговна. — Никто из нас не отличал особо Эрика Лобанова, а нынче профессор, и уже известный.

— Но это... — Нина Семеновна даже задохнулась от волнения, — это же доказательство нашей близорукости — не разглядеть в человеке, чем он значителен. Так можно и гения просмотреть!

Наверное, впервые за весь вечер Ольга Олеговна улыбнулась, покачала головой, увенчанной тяжелой прической:

— Мы не провидцы — обычные люди. Самые обычные. Предви-

деть гения, тем более научить гениальному,— нет, нам не по силам. Научить бы самому простому, банальному из банального, потому, что повторялось из поколения в поколение, что вошло во все расхожие прописи — вроде уважай достоинство ближнего, возмущайся насильем... Собственно, научить бы одному: не обижайте друг друга, люди.

— Научить?! — воскликнула Нина Семеновна.— Кого? Юлечку! Гену Голикова! Игоря Проухова! Они все, все еще в детстве были удивительно отзывчивы на доброту. С самого начала, еще до школы, все добры от природы. И уж если они станут обижать друг друга, то тогда... Тогда остается только одно — повеситься на первом же гвозде от отчаяния.

Иннокентий Сергеевич повернул к свету изрытую сторону лица, тронул свой страшный шрам.

— Не исключено, что вот это украшение подарил мне вовсе не злой от природы человек. И я должен был каких-то детей оставить сиротами, не ведая озлобления.

И Нина Семеновна с испугом отвела глаза, с жаром проговорила:

— Я готова каждый день повторять: господи, дай мне силы отдать жизнь тем, кого учу! Господи, не обмани меня, сделай их всех счастливыми!

— Стоит ли молиться! — отозвалась Ольга Олеговна.— Мы и без молитв делаем это — отдаем жизнь.

— Вот именно. И Зоя Владимировна тоже,— напомнил Иван Игнатьевич.

Ольга Олеговна встала, засмотрелась в темное распахнутое окно, за которым лежала притихшая улица.

— Мальчики и девочки, мальчики и девочки, как вы еще зелены! Нет, не готовы к жизни... — Помолчала и, не отрываясь от окна, спросила: — Интересно бы послушать, что они сейчас говорят о своем будущем?

— Пусть поют и веселятся. Думать о будущем им предстоит завтра.

Учителя задвигали стульями, стали подыматься.

20

Фонари освещали уголок сквера под липами — пять человек и пустая скамья. Сократ замолчал.

Юлечка, выставив на Натку острый подбородок, спросила:

— Слышала?

— Слышала! — Ответ с вызовом.— Ну и что? Я ненавижу его! Раньше любила. Открыто говорю: лю-би-ла! Теперь нен-навижу! Не прощу!

Щу! — отозвалось в ночи.

— Мне даже кошку жаль, когда ее бьют и калечат. Тут человек.

— Пусть каждый как хочет, Натка,— вступился Игорь.

— Опять заело у тебя, Иисусик. Убийцей же его называл, теперь простить готов. Трепач ты!

— Яшке помогать — не жди, не буду!

— Так помогай Генке! А сам говорил — они друг друга стоят, два сапога...

— Я к Генке не побегу, но других за руку хватать не стану.

— А я... — Юлечка задохнулась.— Я и Яшку бы... Да! Предупредила, если б кто-то убивать его собирался.

— Побежишь? Скажешь? Только попробуй!

— А что ты со мной сделаешь? За волосы удержишь?

— Попробуй... Все попробуйте! Только заикнитесь!

— Игорь! Ты слышишь? Игорь! Ты хочешь художником... Наверно, радовать людей хочешь. Наверно, думаешь: посмотрят люди твои картины — и добрей станут. Разве не так, Игорь? Добрей! А сам сейчас... Пусть бьют человека, пусть калечат, даже убить могут — тебе плевать. Сам не пойду, других держать не буду, моя хата с краю... Игорь! Пойдем к Генке вместе!

Прижимая ладошки к груди, натянуто-хрупкая, дрожащая, Юлечка тянулась к Игорю, на выбеленном лице просяще горели темные глаза. Игорь морщился и отводил взгляд.

— Черт! Ты думаешь, он шевельнул бы пальцем, если б нас Яшка...

— Стари-ик! — слабо изумился Сократ. — Надо быть честным, старик! Генка за нас всегда... Даже за незнакомых на улице... И ты знаешь, как он Яшку приложил.

— То раньше... Раньше он за меня готов черту рога сломать. А вот теперь... сомневаюсь.

— Тут что-то не то, фратеры. Раньше — не сомневаюсь. Значит, хорошо был раньше, а на него накинлись. Зачем? Что-то не то...

— А кто накинулся? Кто?! — с отчаяньем закричал Игорь. — Я на него? Ты не слышал, как я говорил ему — не будем, не надо, кончим! Нет! Сам, сам напрашивался! Угрожал еще — не жди, не пожалею! А что ему сказали? Да то, что было. А он про нас понес что? Про каждого! На меня как на врага. И на тебя тоже, хотя ты ни слова плохого о нем... Все ему вдруг враги. И нас, врагов, ему любить и защищать? Да смешно думать. Ну, а мне-то зачем врага спасать? Он мне теперь чужой, посторонний!

Сократ тоскливо промолчал, мигал красными веками, оглаживал гитару.

Юлечка снова подалась на Игоря:

— Пусть он плохой, Игорь. Пусть чужой. Но не кошку — человека... собираются бить!

И снова Игорь сморщился, влез пятерней в растрепанные волосы.

— Ч-черт! Что же делать? Он мне в душу плюнул, а я к нему на полусогнутых...

Натка, каменея губами и скулами, слушала.

— Ну, поговорили? — сказала она резко. — Хватит! Теперь я скажу. Попробуйте помешать Яшке. Только заикнитесь! Пеняйте на себя. Тогда я сама к Яшке пойду, тогда я скажу ему, кто помешал...

Рука Сократа задела за струны, и гитара издала густой, тающий звук.

— Ага! Поняли — Яшка не простит, вместо Генки вас... разукрасит.

— Наточка! — всхлипнула Вера.

— Плоха? Мне теперь на все плевать! Хуже уже не стану.

Натка возвышалась со вскинутой головой, с гневливым мерцанием за упавшими на лицо волосами.

— Фратеры-ы... — тоскливо выдавил Сократ.

Игорь, не подымая глаз, сутулился, казалось, стал меньше ростом. У Юлечки торчит вперед острый подбородок, глаза остановились, утратили блеск.

— Фратеры-ы!.. Яшка меня первого...

— Иди! — с высоты своего роста кинула Натка Юлечке. — За волосы держать — больно нужно.

И Юлечка, не спуская с Натки остановившихся глаз, тихо произнесла:

— Пойду.

— Юлька! — заволновался Сократ. — Ты Яшку не знаешь, Юлька! Он любого!.. И меня и тебя.. Он не посмотрит, Юлька, что ты девчонка.

— Одна пойду. Донеси Яшке..

Сократ поводил зябко плечами, суетливо топтался:

— Игорь! Старик! Скажи ей, дуре.. Ты-то знаешь, какой он, Яшка. Она и себя и всех нас... Меня Яшка первого.. Ему убить — раз плюнуть.

— Слышишь, Игорь, — раз плюнуть. Так помогите Яшке, он без тебя не справится!

Игорь дрожащей рукой провел по лицу:

— Да ну вас всех к черту. — Вяло, без энергии: — С ума посходи-ли.. — И вдруг вскинулся на Сократа: — Ты что голову тут морочишь? Страшен! Страшен! Убить — раз плюнуть. Да никого он не убьет — ни Генку, ни тебя. Что он, без головы, что он, не понимает — за такое ему вышку врежут. Ну, проучит Генку, если тот сам им раньше руки не переломает.

— Нет, фратеры! Нет! — задохнулся Сократ.

— Он пугает, Юлька. Ничего не случится, цел Генка останется.

— А если случится, тогда что?

— Да Яшка же знает: чуть что — его первого щупать станут. Кому своей головы не жаль.

— Игорь, ты не трясись. Ведь я уже не зову тебя. Я одна все сделаю. Сам не трясись и Сократа успокой, вон как он от страха выплываает.

— Юль-ка-а... — Сократ заговорил сдавленным шепотом. — Ты сообрази, Юлька, почему Яшка Карьеры выбрал. Думаешь, место глухое, потому... Глухих мест без Карьеров много. А в Старых Карьерах захоронения есть. Слышала — туда из комбината всякую ядовитую пакость свозят. Яшка все продумал, фратеры: стукнут они Генку — и... в яму, за табличку, где череп с косточками, куда даже подходить запрещено. Хватятся — человек пропал, где его искать? Сперва же по реке да по кустам шарить будут. Пока шарашатся, глядишь, яму заполнят, цементом зальют, землей сверху закидают. Захоронения же! А там, говорят, какие-то страшные кислоты, они все разведут — и мясо и кости. Был человек да растаял, ничего-шеньки от него не осталось. Яшка может каждого так..

Захлебывающийся шепот Сократа оборвался.

Не раз в эту ночь наступали тихие паузы, но такой тишины еще не обрушивалось. Далеко-далеко гудело шоссе, связывающее город с не засыпающим на ночь комбинатом. Сам город спал, разбросав в разные стороны прямые строки уличных фонарей.

И сияла над головой застывшая листва лип, и высился обелиск павшим воинам, и дышала ночь речными запахами.

Генка Голиков... Он только что стоял здесь — белая накрахмаленная сорочка, облегающая широкую грудь, темный галстук, крепкая шея, волосы светлой волной со лба. Обиженный Генка, обидевший других! Рост сто девяносто, лепное лицо, крутой лоб, белесые брови, волосы светлой волной... И в запретном месте, заполненные ядовитозловонными, разъедающими все живое отходами ямы. Для Генки. Генка Голиков и ямы...

Тихо-тихо кругом, гудит далекое шоссе, спит украшенный огнями город, ночь дышит речной сыростью.

Слово «убить» было произнесено раньше. И не раз. Но до этой тихой минуты никто из вчерашних школьников не в силах был представить себе, что, собственно, это такое.

Теперь вдруг представили. Через несовместимое: Генка — и ямы...

Ольга Олеговна и директор Иван Игнатьевич шли по спящему городу. Иван Игнатьевич говорил:

— Мы вот в общих проблемах путались, а я все время думал о сыне. Да, да, об Алешке... Вы же знаете, он не попал в институт. И глупо как-то. Готовился, и настойчиво, на химико-технологический, а срезался-то на русском языке — в сочинении насадил ошибку. Пошел в армию... Нет, нет, я вовсе не против армии, мне даже хотелось, чтоб парень понюхал воинской дисциплины, пожил в коллективе, чтоб с него содрали инфантильную семейную корочку. Не армия меня испугала, а сам Алешка. Собирался стать химиком, никогда не мечтал о воинской службе, но спокойно, даже, скажу, с облегчением встретил решение, сложившееся само собою, помимо него. Армия-то его устраивает потому только, что там не надо заботиться о себе: по команде поднимают, по команде кормят, учат, укладывают спать. Каждый твой шаг размечен, записан, в уставы внесен — надежно. Что это, Ольга Олеговна, — отсутствие воли, характера? Не скажу, чтоб он был, право, совсем безвольным. Он как-то взял приз по лыжам. Не просто взял, а хотел взять, готовился с упорством, нацеленно, волево. А характер... Гм! Да сколько угодно. Что-что, а это уж мы в семье чувствовали. Но вот что я замечал, Ольга Олеговна, он слишком часто употреблял слова «ребятя сказали... все говорят... все так делают». Все носят длинные волосы на загривке — и мне надо, все употребляют словечко «пахан» вместо «отец» — и я это делаю, все берут призы по спортивным соревнованиям — и мне не след отставать, покажу, что не хуже других, волю проявляю, настойчивость. Как все... Так даже не легче жить! Отнюдь! Надо тянуться за другими, а сколько сил на это уходит. Не легче, но гораздо проще. Легкость и простота — вещи неравнозначные. Проще существовать по руководящей команде, но, право же, необязательно легче.

Ольга Олеговна остановилась.

— Как все — проще жить? — переспросила она.

Остановился и Иван Игнатьевич.

Над ними сиял фонарь — пуста улица, темны громоздящиеся одно над другим по отвесной стене окна, спал город.

— Да ведь мы все понемногу этим грешим, — виновато проговорил Иван Игнатьевич. — Кто из нас не подлаживается: как все, так и я.

— А вам не пришло в голову, что люди из породы «как все, так и я» непременно примут враждебно новых Коперников и Галилеев потому только, что те утверждают не так, как все видят и думают? К Коперникам — враждебно, к заурядностям — доверчиво.

— М-да. Недаром говорится в народе: простота хуже воровства.

— Воровства ли? Не простаки ли становились той страшной силой, которая выплескивала наверх гитлеров? «Германия — превыше всего!» — просто и ясно, объяснений не требует, щечочет самолюбие. И простак славит Гитлера!

— М-да. Но к чему вы ведете? Никак не уловлю.

— К тому, что мы поразительно слепы!

— А именно?

— Целый вечер спорили — дым коромыслом. И на что только не замахивались: обучение и увлечение, равнодушие и преступность, ремесленничество и техническая революция. А одного не заметили...

— Чего же?

— На наших глазах сегодня родилась личность! Событие знаменательное!

— М-да... Но, позвольте, все кругом личности — вы, я, первый встречный, если бы такой появился сейчас на улице.

— Все?... Но вы, Иван Игнатьевич, сами только что сказали: кто из нас не грешит — как все, так и я, под общую сурдинку. Смазанные и сглаженные личности — помилуйте! — не нелепость ли? Вроде сухой воды, зыбкой тверди, лучезарного мрака. Личность всегда исключительна, нечто противоположное «как все».

— Если вы о Студёнцевой, так она и прежде была исключительна, не отыметь.

— Она отличалась от остальных только тем, что это «как все» удавалось ей лучше других. И вдруг взрыв — не как все, себя выразила, не утратилась! Событие, граничащее с чудом, Иван Игнатьевич.

— Ну уж и чудо. Зачем преувеличивать?

— Если и считать что-то чудом, то только рождение. Родилась на наших глазах новая, ни на кого не похожая человеческая личность. Не заметили!

— Как же не заметили, когда весь вечер ее обсуждали.

— Заметили лишь ее упреки в наш адрес, о них говорили, их обсасывали, и ни слова изумления, ни радости.

— Изумляться куда ни шло, ну а радоваться-то нам чему?

— Нешаблонный, независимо мыслящий человек разве не отрадное явление, Иван Игнатьевич?

— М-да... — произнес Иван Игнатьевич, с сомнением ли, с осуждением или озадаченно — не понять.

Они двинулись дальше.

Их шаги громко раздавались по пустынной улице — дробные Ольги Олеговны, тяжелые, шаркающие Ивана Игнатьевича. Воздух был свеж, но от стен домов невнятно веяло теплом — отдыхающие камни нехотя отдавали дневное солнце.

22

Слово «убить», которое так часто встречалось в книгах, звучало с экранов кино и телевидения, вдруг обрело свою безобразную плоть.

Натка на пригибающихся ногах, слепо вытянув вперед руки, двинулась к скамье.

Вера сдавленно всхлипнула, Игорь — остекленевший взгляд, одеревеневший нос, темный подбородок — стал сразу похож на старичка, даже штаны спадают с худого зада.

Виногато переминался Сократ с гитарой. Юлечка застыла в наклоне — вот-вот сорвется бежать.

А тишина продолжалась. И шумело далеко в ночи за городом шоссе.

Вера всхлипнула раз, другой и разревелась:

— Я... Я вспомнила...

— Нам теперь будет что вспомнить, — глухо выдал из себя Игорь.

— Я... Я в кабинете физики... трансформатор... пережгла. Один на всю школу и... дорогой. Генка сказал... — Плечи Веры затряслись от рыданий. — Сказал, это он сделал. Я не просила, он сам.. Сам на себя!

— А меня... Помните, меня из школы исключали, — засуетился Сократ. — Мне было кисло, фратеры. Мать совсем взбесилась, кричала, что отравится. Кто меня спас? Генка! Он ходил и к Большому Ивану и к Вещему Олегу. Он сказал им, что ручается за меня... А мне сказал: если подведу, набьет морду.

Игорь судорожно повел подбородком.

— О чем вы? — выкрикнул он сдавленно. — Трансформатор!.. Генка никогда не был таким... Таким, как сегодня! Трансформатор... Вы

вспомните другое: я, ты, Сократ, все ребята нашего класса, да любой пацан нашей школы ходил по улице задрвав нос, никого не боялся. Каждый знал — Генка заступится. Генка нашим заступником был — моим, твоим, всех! А сам... Он сам обидел кого-нибудь?.. Просто так, чтоб силу показать... Не было. Никого ни разу не ударил!.. И вот нас сегодня...

— Опомнись! — резко оборвала Юлечка. — Мы же раньше его обидели! Все скопом. И я тоже.

— А я... Я ведь не хотела... — заливалась слезами Вера. — Я откровенно, до донышка... Он вдруг обиделся... Не хотела!

— Юль-ка-а! — качнулся Игорь к Юлечке. — Скажи, Юлька, как это мы?.. Чуть-чуть не стали помощниками Яшки.

— Стали, — жестко стрезала Юлечка. — Согласились помочь Яшке. Молчанием.

На скамье в стороне сидела Натка, прямая, одеревеневшая, с упавшими на глаза волосами, с увядшими губами.

— Нет, Юлька! Нет! — Тоскливое отчаянье в голосе Игоря. — Нет, не успели! Слава богу, не успели!

— Согласились молчать или нет?

Бледное, заострившееся личико, округлившись, тревожно-птичьих глаза в упор — Игорь сжался, опустил взгляд.

— Согласились или нет?!

Игорь молчал, опущенные веки скрывали бегающие зрачки. Молчали все.

Натка, окоченев, сидела в стороне.

— Раз согласились, значит, стали!.. Уже!.. Пусть маленькими, пятиминутными, но помощниками убийцы!

Игорь схватился за голову, замычал:

— М-мы-ы! М-мы-ы — его!..

— А я не хотела! Не хотела! — захлебывалась Вера.

— А я хотел? А другие? М-мы — его!

Игорь мычал и качался, держась за голову.

Натка, деревянно-прямая на скамье, подняла руки, неуверенно, неловко, непослушными пальцами, как пьяная, стала заправлять упавшие волосы. Так и не заправила, обессиленно уронила руки, посидела, мертво, без выражения глядя перед собой, сказала бесцветно:

— Я пойду...

И не двинулась.

Тишина. Далеко за городом шумело шоссе.

Игорь опустил руки, обмяк.

— Юль-ка... — снова просяще заговорил он. — Не были же такими... Нет... Ни Генка, ни мы...

Тишина. Обмерший город внизу — темные кварталы, прямые строчки уличных фонарей да загадочный неоновый свет над вокзалом. Шумело шоссе.

— Юль-ка... Я чувствовал, чувствовал, ты помнишь?

Глядя в сторону, Юлечка ответила тихим, усталым голосом:

— Не лги... Никто из нас ничего не чувствовал... И я тоже. Каждый думает только о себе... и ни в грош не ставит достоинство другого... Это гнусно... вот и доигрались...

Опираясь на спинку скамьи, Натка наконец с трудом поднялась:

— Я пошла... к нему... Никто не ходите со мной. Прошу.

И опять застыла, нескладно-деревянная, слепо уставясь перед собой.

Все косились на нее, но сразу же стыдливо отводили глаза и... упирались взглядами в обелиск, в мраморную доску, плотно покрытую именами:

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой
 БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой
 БУТЫРИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ — старший сержант...

Обелиск — знакомая принадлежность города. Настолько знакомая, привычная, что уже никто не обращал на нее внимания, как на морщину, врезанную временем, на отцовском лице. Обелиск весь вечер стоял рядом, в нескольких шагах... Сейчас его заметили — отводили глаза и вновь и вновь возвращались к двум столбцам имен на камне с тусклой, выеденной непогодой позолотой.

Нет, выбитые на камне, вознесенные на памятник лежали не здесь, их кости раскиданы по разным землям. Могила без покойников, каких много по стране.

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ — рядовой
 БАЗАЕВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ — рядовой... —

и еще тридцать два имени, кончающихся на некоем Яшенкове Семене Даниловиче, младшем сержанте.

Убитые... Умерших своей смертью тут нет. Окаменевшая гордость за победу и память о насилии, совершенном около трех десятилетий назад, задолго до рождения тех, кто сейчас немотно отводит глаза...

АРТЮХОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ...
 БАЗАЕВ...

Убитые уже не могут ни любить, ни ненавидеть. Но живые хранят их имена. Для того, наверное, чтоб самим ненавидеть убийство и убийц.

Бывшие школьники отводили глаза...

Натка качнулась:

— Я пошла...

Негнущаяся, с усилием переставляя ноги, она прошла мимо обелиска к обрыву.

Долго было слышно, как осыпается земля под ее ногами.

Ночь уже не напирала с прежней тугой упругостью. Призрачная синева проступала в небе, и редкие звезды отливали предутренним серебром.

23

Физик Решников и математик Иннокентий Сергеевич жили в одном доме. Они подошли к подъезду и неожиданно вспомнили:

— Э-э! Какое сегодня число?

— А ведь да! Двадцать второе июня...

— Тридцать один год...

— Пошли, — сказал Решников, — у меня есть бутылка коньяка.

Они поднялись на пятый этаж, тихонько открыли дверь, забрались в кухню. Решников поставил на стол бутылку.

— Уже светает.

— Как раз в это время...

В это время, на рассвете, тридцать один год назад начали падать первые бомбы, и двое паренков в разных концах страны, только что отпраздновавшие каждый в своей школе выпускной вечер, отправились в военкоматы.

За окном синело. За узким кухонным столиком перед початую бутылкой — два бывших солдата.

— Ты можешь представить нынешних ребят в занесенных снегом окопах где-нибудь под Ельней?

— Или у нас под Ленинградом, где мы жрали мерзлые почки с берез?

— В каких костюмах они сегодня были, в каких галстуках!

— Учти, каждый при часах, а первые часы я купил, проработав два года учителем.

- Все-таки в счастливое время они живут.
- Не удивительно, как сказала эта Нина Семеновна, добры от природы. Должны быть добрее нас.
- Ну, сия гипотеза еще нуждается в проверке... На посошок, Иннокентий?
- Выпьем за то, чтоб они не мерзли в окопах.

А в том же доме, этажом ниже, в своей одинокой тесной комнате не спала, плакала в подушку Зоя Владимировна, старая учительница, начавшая свое преподавание еще с ликбеза.

Нина Семеновна, сегодня неожиданно тоже ставшая старой учительницей, изнемогала от материнской нежности и тревоги: «Какие взрослые у меня ученики! Что их ждет? Кто кем станет? Кем Юлечка? Кем Гена?»

Она жила в новом квартале, на окраине, не спеша шла сейчас пустыми улицами, через просторные пустые площади, и маленький город, где родственно знаком был каждый тупичок, каждый перекресток и каждый угол, выглядел сейчас, в мутно-синих сумерках, величественным и таинственным.

Перед подъемом к набережному скверу она неожиданно увидела своих учеников. Они спускались по широкой лестнице — Сократ Онучин с гитарой, встрепанный, как всегда, нахохленный Игорь Проухов, задумчивая, клонящая вниз гладко расчесанную голову Юлечка Студёнцева, и Вера Жерих, увалисто-широкая, покойно-сосредоточенная. Тесной кучкой, молчаливые, заметно уставшие, пережившие свой праздник. Похоже, они уже несут сейчас недетские мысли.

Старая присказка: жизнь прожить — не поле перейти. Не первые ли самостоятельные шаги через жизнь — самые первые! — она сейчас наблюдает? Далеко ли каждый из них уйдет? Кем станет Юлечка?..

Ребята прошли, не заметив Нину Семеновну.

Они проходили мимо школы.

В необмытой от сумерек рассветной голубизне школа вознесла и развернула все свои четыре этажа размашисто-широких, маслянисто-темных окон. Непривычно замкнутая, странно мертвая, родная и чужая одновременно. Скоро взойдет солнце, и нефтянисто отсвечивающие окна буйно заплавятся — все четыре этажа. Должно быть, это мощное и красивое зрелище.

Запрокинув голову, бывшие десятиклассники разглядывали свою школу в непривычный час, в непривычном обличе. Каждый мысленно проникал сквозь глухие, налитые жирным мраком окна в знакомые коридоры, в знакомые классы.

Вера Жерих шумно и тяжело вздохнула. Юлечка Студёнцева тихо сказала:

— Здесь было все так понятно.

Долго никто не отзывался, наконец Игорь произнес:

— Мы научимся жить, Юлька.

Вера снова шумно вздохнула.

А на реке по смолисто загустевшей воде ползли неряшливые клоья серого тумана. Натка с мокрым, липнущим к ногам подолом платья, в насквозь мокрых от росы праздничных туфлях бродила по берегу, искала Генку.

Ночь после выпуска кончилась.



ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

★

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Познание

Зачем всю ночь я жду нетерпеливо,
чтоб рассвело?
Я знаю, что рассвет отнимет
еще один из мне сужденных дней.
Я знаю — день, родившись, неизбежно
умрет в ночи.
Я знаю — каждый час счастливый, наступив,
исчезнет навсегда.

Но разве не бывают утра,
что в нас восход навеки оставляют?
И дни, таким пылающие солнцем,
что и в ночи не гаснут?
И разве нет в судьбе таких минут,
что вечности равны?

Покуда маятник в груди моей
стучит бессменно —
нетерпеливо буду ждать всю ночь
рассвета,
и проживать за дни —
века,
и узнавать галактики, вселенные
в земном привычном мире —
так птица, севшая на землю,
пьет небо
из реки.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

ИВАН ДАВИДКОВ

Каменоломня

Он работал с утра и до вечера в каменоломне.
 Камни стали похожими на него, словно братья,—
 как и он, спускались по склону они усталой походкой,
 когда их выкорчевывал лом,
 как он, засыпали в полдень они, улегшись ничком,
 и ящерицы в их тени зеленели.

Полвека мостил он дороги —
 и они убегали между холмами
 в серых, подаренных им ожерельях.

Полвека он делал ступени у деревенских домов —
 и камни голосом его говорили,
 когда мы по ним поднимались к пылающему очагу.
 Полвека он камнем обтесывал чешмы¹
 и населял их струи песнями птиц.
 Соловей опускался к нам на ладонь, когда мы хотели напиться.

За долгие годы он успел заработать
 только рубашку из камня. Сшило ее долото
 нитями звуков. Носил он ее,
 искрящуюся слюдой. А когда говорил он с гранитом —
 скрипели слова от серебряной пыли,
 что оседала на руки его...

Но человек, что казался нам каменным,
 однажды прислушался и услышал:
 трещины каменоломни тянутся к сердцу его —
 тянутся неумолимо.

И долото покачнулось
 и, разломившись, упало на землю, не успев зазвенеть...
 Дороги покачивают ожерельями серыми —
 а человека нет.

По веселым ступенькам крик ребенка сбегает —
 а он и не слышит.

Под звонкими струями танцуют леса и луна —
 а он их не видит.

Трава по могиле его крадется на цыпочках,
 чтобы он не проснулся,
 а в горах, вспомнив о нем,
 кузнечики лунными долотами
 долбят каменоломню мрака.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

¹ Чешмы — источники, облитованные камнем.

СЛАВ ХР. КАРАСЛАВОВ

История

Мы крутим колесо ее бессонно...

На съездах, на конгрессах, на парадах,
потом в цехах, в несущихся вагонах,
на вздыбленных мостах и эстакадах,
что связывают все вокруг в одно
огромное незримое звено
минут, часов, бегущих неуклонно...

Мы крутим колесо ее бессонно...

История у нас в ладонях спит
и, пробуждаясь утром вместе с нами,
вдыхает запах солнца и глядит
на ложь и правду нашими глазами.
Но, возмужав, она кладет нас на ладони
и взвешивает на весах огромных.
Все наши мысли и поступки помнит,
которые и помнить нет резона...

Мы крутим колесо ее бессонно...

Страшна ее всеведущая память —
на ней запечатлелось, как на пленке,
пятно, что в горький час легло на знамя,
предательство, жестокость, плач ребенка,
измена другу, родине, идее,
ложь, вспомнив о которой — холодеем.
Она все помнит — вплоть до слова и до тона...

Мы крутим колесо ее бессонно...

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

Тишина

Тишина снаружи, тишина,
воробьи под крышею бормочут.
Ну а где-то вновь
 гремит война,
синий воздух разрывая в клочья.
Враг в меня не посылал заряд,
злой беды я не познал нисколько.
Почему же

 раны так болят
и свистят
 над головой осколки?
До чего опасен человек,
он в собрата где-то вновь стреляет.
И, окаясь, наш жестокий век
чей-то скромный кров опять терзает.

Брат мой, шире двери отвори,
я пойду вперед неутомимо.
Преграждают путь слова твои:
— Осторожно! Под землею — мины...—
На траве — кровавые следы
или отсвет ярого рассвета.
Слышу шепот узкой борозды:
— Осторожно! Над землей — ракеты...—
В этом мире день и ночь война
грузными моторами грохочет...

Тишина снаружи, тишина,
воробьи под крышею бормочут...

Друзья

(Из цикла «Бородинское поле»)

Друзья мои, благодарю вас за синь и ясность небосвода,
благодарю за то, что вместе сегодня оказались здесь.
Я слышу грохот барабанов, я слышу, как идет пехота
и как спокойно под травой крутая вызревает месть.

Легко шагая через время, остановлюсь я на редутах,
где смерть на темных батареях лицо не отвернет свое.
Разносит тихий ветер вести, посвистывает в гулких дулах,
и каждый воин молчаливо для битвы приподнял ружье.

Быть может, вестовые скачут? Или труба пропела — к бою?
Или ладонь простер Кутузов? Но вот в мгновение одно
огонь взметнулся. Дым и грохот. Смешались разом лес и поле,
не видно ни земли, ни неба, и лишь горит — Бородино!

Я знаю лютый бой при Чесме и яростный порыв Полтавы.
Стремись, душа, к познанию истин через извечный непокой.
Друзья мои, благодарю вас за то, что здесь, на поле славы,
я неба вашего коснуться сумел восторженной рукой.

Перевел ГЕННАДИЙ СЕРЕБРЯКОВ.

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВ

Чувство

Земля, опора петухов, поющих на рассвете.
Земля, под лебединым снегом хранящая зерно.
Земля, что в волосы вплетает
Лучей весенних пряжу золотую.
Земля, которая умеет
Сурово брови хмурить
И прощать...

Люблю тебя навеки, Родина!

Земля, где все вокруг
 свое имеет имя,
 Где ветер листья дикой груши теребит,
 Где добрая рука отца
 Привычно держит ложку деревянную,
 А если нужно —
 Вытащит всегда из пятки малыша
 Колючку злую...

Люблю тебя навеки, Родина!

Земля, в губах которой пламенеет роза.
 И небо, где простор ветрам тугим, зеленым.
 И ветка дерева, с которой
 По осени в края чужие
 По долгу верности
 Не улетают птицы.

Все это — Родина.

Геолог

Все будет — резкий встречный ветер,
 И степь
 без тропок и дорог,
 И солнце ярое осветит
 Мой путь,
 что по земле пролег.
 Дожди седые буду пить я,
 А в зной —
 росинки из следа.
 Прозреньем
 явится открытье.
 Сверкнет,
 как истина, руда!
 И заспешат на клик счастливый
 Ко мне
 машины и народ...
 Я снова
 по степным разливам
 Иду, иду, иду вперед.

Перевел ГЕННАДИЙ СЕРЕБРЯКОВ.

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

Диалектика природы

Прах Фридриха Энгельса
 погребен в Атлантическом океане.

Могила Энгельса: там — волн гряда,
 приливы,
 отливы,
 вечное движение.

Трассы судов сталкивает вода,
как в яростном споре
разные мнения.
Плывут корабли из далеких мест,
пену с покатых валов срывают.
А кочегары
«Коммунистический манифест»,
как топку огненную,
раскрывают.
Внешне
мир — спокоен пока.
Закат догорает
полоской бурой.
Но альбатросы
режут крыльями облака —
значит, в пути
не разминуться
с бурей.
И баркас рыбацкий
не с рыбой плывет —
с листовками,
презирая угрозы...
На могилу Энгельса
солнце вновь принесет
ослепительно-яркие розы.

Перевел ГЕННАДИЙ СЕРЕБРЯКОВ.

Голос в защиту Луиса Корвалана

Ярость ведет следствие
над моими мыслями.
Боль
память мучает мне.
Плачут филантропы.
Все остались чистыми —
расстреляли Чили,
а убийц вроде бы нет...

Ах, инфляция, конечно, серьезный вопрос...
И поскольку не бывают безработными иуды,
в тридцать сребреников
был оценен Христос,
а Луис —
в 500 000 эскудо.

Как она знакома, эта драма,
эта клятва:
«Сантьяго, крови!»

Но знай:
ты, который вновь поднимешь знамя,
это бой последний —
первым
ты стреляй!

Рана

Чили,
 была ты
 республикой — за океаном,
 на другом краю
 земного шара.
 Теперь
 ты моя длинная рана
 от сабельного
 удара.
 Длинная рана,
 врага монограмма,
 по побережью души идущая...
 Но кроется чудо
 в этих шрамах —
 они
 узнают
 грядущее.
 Болит во мне Чили —
 значит, ребята,
 завтра в небе
 не будет тумана.
 Все изменится завтра,
 заблестит
 наше солнце!
 Это мне
 говорит
 моя рана!

Перевела М. ПАВЛОВА.

ПАВЕЛ МАТЕВ

Нависшие молчанья

Я получил завидное наследство,
 родившись во фракийской стороне.
 Влечет меня Марица, словно детство,
 и Яворова стих звенит во мне.

Утраты и нависшие молчанья
 преследуют меня, летят за мной.
 Я нахожу свои воспоминанья
 на сельской тропке, под густой травой.

Она тех дней жестоких не забыла
 и позднюю печальную зарю.
 Она твердит мне, что не лгут могилы,
 и я с землею темной говорю,

с отцом своим — таинственно и страстно,—
 как будто смог войти в легенду я.

Хочу, чтоб стало наконец мне ясно,
в чем вечный смысл и тайна бытия.

Я говорю с далекими друзьями —
как рано мир покинули они!
И жжет меня неистовая память
и полные немим упреком дни.

И вновь передо мной, лишь день погаснет,
встают, как тени, страшные года.
Качается, плывет кровавый праздник —
с него во тьму уходят навсегда.

И исчезают будничные чувства
под взглядом тех, кто обречен на смерть...
Я открываю вечное искусство
в сердцах, которым вечно пламенеть,

в траве, в ветрах хмельных и бесшабашных,
в словах, что произносят в смертный час,
и в каплях крови партизан бесстрашных,
в земле родимой, твердой как алмаз,

в дорогах, бесконечных словно мысли,
что убегают, за собой маня,
и в вас, друзья, герои коммунисты,
и в бурном ритме нынешнего дня.

...Я во фракийской нашей стае — птица,
а без нее я одинок, бескрыл.
Я умереть хочу у вод Марицы —
я в ней когда-то молнии открыл.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ

После допроса

(Из партизанского цикла)

Вперед два шага и столько же вбок...
Ночь глуха и темна.
Поднимешь голову — потолок.
Руку протянешь — стена.

А есть зеленеющие поля,—
реки бездонны, месяц двурог,
горное эхо,
 небо,
 земля
в пыли убегающих дорог.

Есть мечты, и святое братство,
и верность друзьям —
что превыше всего.
И есть это крошечное пространство,
где он не предаст
никого.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

ИВАН НИКОЛОВ

Воспоминание о Пискаревском кладбище

Я приду сюда весной
или в летний день погожий,
отыщу получше место
на припеке, на ветру...
Погляжу на юг, на север,
крикну громко и тревожно —
как детей под кров отцовский,
города я соберу.

И скажу я им, притихшим,
что стареет даже камень,
но на вечность — я скажу им —
этот город осужден.
Тот, кто умер, не погибнет,
коль о нем не стерлась память.
И пока о мертвом брате
помню я — не умер он!

Там гранитные аллеи
к горизонту убегают
и на скорбных белых плитах
тускло блещут письма.
Там не слышен ночью сонной
звон стремительных трамваев.
Там великая, седая,
там святая тишина.

В этом городе печальном
пишет девочка средь мрака
зимней ночи бесконечной
и холодного жилья:
«Умер папа мой сегодня.
Больше нет на свете брата.
Умерла сегодня мама.
И осталась только я».

Тонут годы в черном пепле.
А над ними ветер рдяный.
А под ними воды глухо
песнь свою поют весной.
Между ветром и водою

спят спокойно капитаны,
награжденные посмертно
легендарною звездой.

И напрасно в желтом поле
ходит волнами пшеница,
поднимаются березы
в зеленеющем лесу:
города замрут в печали,
и Варшава прослезится,
старый Киев незаметно
со щеки смахнет слезу.

В том краю, где торопливо
гаснет северное лето,
где железа звук упорный
заглушает мягкий снег —
там над каждой могилой
от рассвета до рассвета
плачет о погибших детях
грозовой двадцатый век.

Снимки

В тусклых старых снимках
рылся без конца
и курил весь вечер
в доме у отца.

В снимках только правда,
снимок не солжет.
Вижу, как по жизни
мой отец идет.

Вот, легко шагая,
он из тишины
входит в дни лихие —
это дни войны.

Вот он саблю поднял —
жест знаком и прост,—
будто начинает
в поле сенокос.

Вот согнул колено —
прыгает в окоп,
будто наклонился,
чтоб поправить сноп.

Рылся в старых снимках
в доме у отца.
О войне далекой
думал без конца.

Сколько уничтожил
этот страшный вихрь
хлеба золотого,
жизней молодых!

И отец мой, сгорбясь,
курит в стороне.
Думает он молча
тоже о войне...

На одном лишь снимке
вот с улыбкой он,
и крестьянский праздник —
с четырех сторон.

* * *

Золотистая пшеница
на окраине села...
Глубоко во мне, я знаю,
где-то спрятана пчела!

В дни, когда хлопчут пчелы
и людской обилен пот,
я из солнца и из сока
создаю чудесный плод.

Я живу в привычных буднях,
полный мыслей и забот.
Я в работу погружаюсь,
как в душистый сладкий мед.

Зреют грозди винограда,
от плодов земля смугла...
Глубоко во мне, я знаю,
где-то спрятана пчела!

И поэтому не входят
в дом мой ни беда, ни зло.
И печаль моя прозрачна,
как пчелиное крыло.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

АЛЕКСАНДР ГЕРОВ

Сила

Если б слабым был я —
жил бы беззаботно.
Жил хорошо бы я.
И весело бы жил.
Но сильный я.
И — тяжело мне.

День

Наполненный людьми, борьбой,
страданием и надеждой ясной,
трудом, мечтами, суетой,
день загорится и угаснет.

Я был с тобой, а ты со мной,
пока звезда не засияла.
Но мало дня тебе, друг мой.
Ну почему, скажи мне, мало?

А мне довольно даже дня.
Замкнется завтра круг знакомый,
и вся вселенная, звеня,
заговорит во тьме безмолвной.

И эту сущность бытия —
круговорот, что так исправен,
смирненно принимаю я.
Ведь каждый день всей жизни равен.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

АНДРЕЙ GERMANOV

* * *

В белейшую из всех земных ночей,
в ночь, что короче всех ночей на свете,
когда и ночи-то над миром нет, —
я шел через прекрасный вечный город
и думал о тебе.

Струилось зыбко
сияние таинственное. Пары,
оцепенев, стояли над Невою,
смотрели в глубину молочных вод,
на розовый, невероятный север...
И львы почти у самого причала,
мне показалось, ожили внезапно
от нежности неповторимой ночи.
И только я устало и бездумно
бродил один по площадям безлюдным,
стоял у старых памятников хмуро —
ведь некому мне было рассказать
о смутной красоте той странной ночи...
И я грустил и думал о тебе,
шагая через спящий вечный город
в белейшую из всех земных ночей,
в ночь, что короче всех ночей на свете,
когда и ночи-то над миром нет...

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

НАЙДЕН ВЪЛЧЕВ

Женщина

— О самой первой женщине своей
 поведай мне, о ласковой и властной...
 — О, та звезда давно уже погасла
 на небосводе тех далеких дней.

— О самой нежной женщине своей
 поведай мне, о самой незабвенной...
 — О ней я забываю постепенно —
 огонь тускнеет среди других огней.

— О самой темной женщине своей
 поведай, о надменной и жестокой...
 — О, тот костер погас еще до срока —
 осталась только горсточка углей.

— О женщине единственной своей
 поведай. С ней ты в горе и веселье...
 — Она качает сына в колыбели
 и с песнею склоняется над ней...

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

ДАМЯН П. ДАМЯНОВ

* * *

Я медленно старею, незаметно,
 А мысли мои не стареют,
 И это прекрасно, что душа прежняя,
 Как будто только родилась.
 И хорошо, что человек рождается с такой душой,
 И человечество тоже рождается с такой душой.
 Наши мысли —
 Они вечные,
 И мы всю жизнь ищем,
 И в конце концов находим,
 И, найдя, радуемся,
 Как дети.
 И хорошо, что мы
 Стареем лишь плотью.
 Это наше счастье
 И наше бессмертие.

Перевел В. СИКОРСКИЙ.

КРАСИН ХИМИРСКИ

* * *

Луну и звезды
 нарисовали дети...
 И с легкостью космонавтов
 высадившись на неведомых планетах,
 они кричали, играли и пели...
 А потом
 счастливые возвращались на Землю.

И я нарисовал звезду —
 звезду своей мечты...
 Но сколько бы я ни летел к ней,
 она удалялась от меня,
 убегая по Млечному Пути...
 Но не могу я,
 не могу
 вернуться назад...

Когда спят мальчики

Когда мальчишки спят,
 Вперед идут солдаты...
 И бьют сердца в набат,
 И в бой ведут комбаты...

Когда мальчишки спят,
 Продрогшие шинели
 Все рвутся через ад
 Бушующей шрапнели...

Когда мальчишки спят,
 Чужие силуэты
 Встречает автомат,
 И помнит враг об этом...

Когда мальчишки спят,
 Девчонки в снах приходят
 И тихо так сидят,
 А утром вновь уходят...

Когда мальчишки спят...

Перевел ВАЛЕРИЙ КРАСНОПОЛЬСКИЙ.

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ

Поединок

Безмятежного покоя
не ищу я с давних пор.
Я стремлюсь в кипенье боя,
в беспощадный смертный спор.

Мне по сердцу буйный ветер,
непокорный, грозовой.
Моему здоровью вреден
застоявшийся покой.

Без конфликтов, без сражений
было б серо все кругом.
Знаю я: добру служенье
лишь в одном — в борьбе со злом.

Так бушуй же, вечный, сильный
и непримиримый бой
между свежестью и гнилью,
между злом и добротой.

Нет, судьба меня не скрючит!
И в последний раз — в бою —
пульс, как колокол могучий,
пусть ударит в грудь мою.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

ВЫТЬО РАКОВСКИЙ

Я остаюсь

Уходит все — но остаюсь я неизменно.
Плывут закаты, утренние зори — мимо, мимо...
Меняют ветры путь. Листва листве идет на смену,
и в реках тонут осени и зимы.

Уходит все — но остаюсь я неизменно.

Я остаюсь

как горсть земли в земле, как шум листвы,
как маленький родник, что поит реки,
как звук растущей в тишине травы,
как голос тихий, но не молкнущий вовеки.

Уходит все — но остаюсь я неизменно.

Здесь, на земле, я навсегда останусь.

Средь вечных, хоть и маленьких вещей останусь.

Травинкой под огромным небом я останусь.

Тропинкой на крутом холме останусь.

Среди людей, среди деревьев я останусь.

Я — вечный,

как зерно земное,

я — просто человек —

останусь.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

НИКОЛАЙ АНТОНОВ

К морю

Как жалкий изгнанник, тоскую
 О твоём непомерном просторе,
 Ты снишься мне, море,
 С волнами твоими во сне говорю я.

И вконец измучен тоскою,
 Я вернусь к тебе, даль морская,
 Ты унесешь меня, закачаешь,
 Спасешь навсегда от покоя.

Но, пройдя все морские дороги,
 Навеки слившись с тобою,
 Упаду пусть с твоей волною
 Болгарскому берегу в ноги.

Перевела В. СМЕРНОВА.

Буревестник

У берега океана,
 в расщелине скалы
 он презрительно слушает тишину,
 это беззвучное ничто — тишину!

Но вот —
 чайки возвращаются с тревожным криком!
 Но вот —
 нарастает темный грохот прибоя!
 Но вот —
 ветры рвутся с грозным беснованием!

Это его час!

И он несется прямо навстречу урагану,
 туда, где океан сливается
 с рухнувшим небом.
 Совсем один загребаёт крылами,
 и никто не может поведать,
 как в хаосе молниеносных жал —
 ветров, с которыми океан не в силах справиться,
 он устоял на своих двух крыльях!

Он возвращается, покачиваясь
 от смертельного утомления,
 едва в мутном небе выходит день,
 похожий на испуганного ребенка.

И обессиленный падает на скалу...
 А чайки, видя океан усмиренным,
 снова обретают крылья,
 снова несутся с отважным криком!

Перевела Б. БРАЙНИНА ?

² Перевод сделан вольным стихом, чтобы точнее передать сложный ритмический рисунок оригинала.

Истинный цвет океана

А ведом ли тебе цвет океана?
Его то синих, то зеленых вод?
А то стальных, как отблеск ятагана?

Он многоцветен, да! Но день придет —
Разодранный до дна налетом урагана,
Он побелеет весь.

Вот истинный цвет океана.

Но он жестоко мстит тем, кто посмел
Цвет этот оглядеть в безмолвье оробелом,
В ад белых бездн заброшен невзначай.

Он бел, поверь, он бел. Но не желай
Его когда-либо увидеть побелелым.

Перевел Д. БЛАГОЙ.

НИКОЛАЙ ХРИСТОЗОВ

Творчество

Твои стихи тебя покинут сами
и улетят неведомо куда.
И где-то, под чужими небесами,
заговорят чужими голосами —
но не прощайся с ними
навсегда.

Они к тебе — свободны, легкокрылы —
вернутся из-за рек, из-за морей.
Ведь все, что их когда-то вдохновило —
надежда, верность, край навеки милый, —
они в душе оставили твоей.

И в ней они с доверьем и стараньем
совьют гнездо, как в те, бывшие дни,
из пламени надежды и страданья.
А коль огонь погас — слова прощанья
не ты им скажешь.
А тебе они.

Перевела ЛОРИНА ДЫМОВА.

УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

★

СВЕТ В АВГУСТЕ*

Роман

16

На стук свой не получив никакого ответа, Байрон спускается с крыльца, огибает дом и входит в огороженный задний дворик. Он сразу видит кресло под шелковицей. Это парусиновый шезлонг, латаный, линялый, до того провисший от долгого употребления, что кажется — даже пустой он бесплотнo обнимает обрюзгое, рыхлое тело хозяина; приближаясь, Байрон думает, что в неодушевленном этом кресле, запечатлевшем в себе бездействие, праздность, убогую оторванность от мира, отображается и даже как-то содержится суть самого человека. «Которого я опять побеспокою», — думает он, по обыкновению своему чуть вздернув губу, думает *Опять? Прошлое-то беспокойство, оно гаже ему теперь покажется ерундой. И опять в воскресенье. Хотя почему бы и воскресенье не захотело ему отомстить, раз воскресенье тоже людьми придумано.*

Он подходит к креслу сзади и заглядывает. Хайтауэр спит. На выпуклом его брюшке, там, где белая рубашка (сегодня она чистая и сзезжая) надулась над поношенными черными брюками, лежит обложкой кверху раскрытая книга. Руки Хайтауэра сложены на книге мирно, благостно, чуть ли не по-архиерейски. Рубашка старомодная, с плиссированной, но небрежно заглаженной грудью и без воротничка. Рот его открыт, дряблая мякоть лица отекла от круглого отверстия, где виднеются темные нижние зубы, и от точеного носа, который один лишь не тронут возрастом, разрухой лет. Байрон смотрит сверху на спящее лицо, и кажется ему, будто бежал, отгредся человек от собственного носа, который хранит непреклонную гордость и мужество над раздрызгом поражения, как забытый флаг над уничтоженной крепостью. И опять свет, отражение неба за листвой шелковиц, заливаает, белит линзы очков, так что Байрон не замечает, когда у Хайтауэра открываются глаза. Он видит только, что сомкнулись губы — и движение сложенных рук перед тем, как Хайтауэр сел.

— Да,— говорит священник,— да? Кто это?.. А, Байрон.

Байрон смотрит на него сверху, лицо у него очень серьезное. Но на этот раз сочувствия в нем нет. В нем нет ничего, кроме спокойствия и решимости. Он произносит без всякого выражения:

— Его вчера поймали Вы, наверно, еще не слышали об этом, как об убийстве тогда не слышали.

— Поймали?

— Кристмас. В Мотстауне. Он пришел в город и, как я понимаю, стоял там на улице, пока его не узнали.

— Поймали.— Хайтауэр уже сидит в кресле.— И вы пришли сказать мне, что его... Что они его...

— Нет. Ему пока ничего не сделали. Он пока жив. Он в тюрьме. Ничего не случилось.

— Не случилось. Вы говорите, ничего не случилось. Байрон говорит — ничего не случилось... Байрон Банч помог любовнику этой женщины продать товарища за тысячу

* Окончание Начало см. «Новый мир» №№ 7, 8 с. г.

долларов, и Байрон говорит, что ничего не случилось. Прятал женщину от отца ее ребенка, пока... Сказать ли мне — другой любовник, Байрон? Сказать? Или воздержаться от правды, если Байрон Банч ее скрывает?

— Если молва и правда — одно и то же, тогда, наверно, это правда. Особенно когда люди узнают, что я их обоих упрятал в тюрьму.

— Обоих?

— С Брауном. Хотя, наверно, большинство народу почти решило, что Браун способен убить или помочь в убийстве не больше, чем поймать того, кто убил, или помочь в поимке. Зато теперь они спокойно могут сказать, что Байрон Банч упрятал его в тюрьму для своего удобства.

— А, да.— Голос Хайтауэра, слабый и тонкий, слегка дрожит.— Байрон Банч, страж общественного блага и нравственности. Наследник, получатель премии, поскольку теперь она достанется морманатической жене... Сказать чьей? Внести ли Байрона и сюда? — Тут он начинает плакать — громадный и расслабленный, в провисшем кресле.— Я так не думаю. Вы же понимаете. Но это несправедливо — беспокоить, тревожить меня, когда я... когда я приучил себя держаться... они меня приучили держаться... Чтобы это пришло ко мне, настигло меня, когда я уже старик и примирился с тем, что они сочли...— Один раз он сидел перед Байроном, и пот катился по его лицу, как слезы; теперь же слезы катятся по дряблым щекам, как пот.

— Я знаю. Это нехорошо. Нехорошо вас беспокоить. Я не знал. Я не знал, когда вязывался в эту историю. А то бы я... Но вы духовное лицо. Вы не можете уклониться.

— Я не духовное лицо. И не по своей воле. Не забывайте этого. Не по своему выбору я перестал быть духовным лицом. Это произошло по воле — больше, чем по повелению, — таких, как вы и как она, как тот, в тюрьме, и как те, кто посадил его туда, чтобы совершить над ним свою волю, как совершили надо мной, с глумлением и насилием — хотя он создан тем же самым Богом, который создал их, и ими же самими доведен до того, за что они сегодня готовы растерзать. Выбор был не мой. Не забывайте этого.

— Знаю. Потому что человеку не так часто приходится выбирать. Вы выбрали еще раньше.

Хайтауэр смотрит на него.

— Вам дано было выбирать до того, как я родился, и вы выбрали, когда ни меня, ни ее, ни его не было на свете. Вот когда вы выбрали. И, по-моему, хорошие так же должны расплачиваться за свой выбор, как дурные. Так же, как она, как он, как я. Так же, как все они, остальные, как та, другая женщина.

— Другая женщина? Еще одна женщина? Неужели, Байрон, на шестом десятке мою жизнь должны поломать и мой мир нарушить две пропавших женщины?

— Эта другая уже не пропавшая. Она пропадала тридцать лет. Но теперь нашлась. Она — его бабушка.

— Чья бабушка?

— Кристмаса,— говорит Байрон.

Дожидаюсь, наблюдая за улицей и калиткой из темного окна кабинета. Хайтауэр слышит далекую музыку, как только она начинается. Он не сознает, что ожидал ее, что каждую среду и воскресенье вечером, сидя у темного окна, он ждет, когда она начнется. Когда она начнется, он знает почти с секундной точностью, не прибегая к помощи часов. Часами он не пользуется и не нуждается в них вот уже двадцать пять лет. Он живет, отмежевавшись от механического времени. Но именно поэтому ни разу его не упустил. Как будто из подсознания возникая, без участия воли, кристаллизуется несколько неизменных состояний, которыми управлялась и упорядочивалась его прошлая жизнь в действительном мире. Не обращаясь к часам, он может сразу сообразить, где именно он был бы и что делал бы между двумя мгновениями, отмечавшими начало и конец воскресной утрени и воскресной вечерни и ночной службы в среду; когда именно он входил бы в церковь, когда именно с расчетом подвигал бы к концу молитву или проповедь. И вот, прежде чем сумерки погаснут окончательно, он говорит себе *Сейчас они собираются, медленно подходят*

по улицам и сворачивают, згореваясь друг с другом: группами, парами, поодиночке. И в самой церкви непринужденно переговариваются тихими голосами; гамы помахивают и чуть шелестят веерами, кивая грузьям, которые идут по проходу. Мисс Каругерс (она была его органисткой и умерла почти двадцать пять лет назад) тоже среди них; скоро она встанет и поднимется на хоры. Воскресная вечерняя служба. Ему всегда казалось, что в этот час человек ближе всего к Богу — ближе, чем в любой другой час за все семь дней. Только тут — из всех церковных собраний — есть что-то от покоя, в котором — обетование и цель Церкви. Тут очищаются сердце и ум, если дано очиститься; неделя и всяческие ее беды кончены, подытожены, искуплены строгим и чинным неистовством утренней службы; грядущая неделя и всяческие ее беды еще не родились, сердцу покойно пока, ласковой прохладой веет на него вера и надежда.

Сидя у темного окна, он будто видит их *Вот они собираются, входят в дверь. Почти все уже здесь.* И он начинает говорить: «Сейчас. Сейчас», чуть подавшись вперед; и вот, словно по его сигналу, начинается музыка. Глубокая, раскатистая, разноситесь в летней ночи мелодия органа, слитная и широкая, воспаряет смиренно, словно сами освобожденные голоса принимают позы и формы распятий; восторженно, величественно и проникновенно набирает звучность. Но даже теперь в музыке слышится что-то суровое, неумолимое, обдуманное, и не столько страсти в ней, сколько жертвенности, она просит, молит — но не любви, не жизни, их она запрещает людям, как всякая протестантская музыка, в возвышенных тонах она требует смерти, словно смерть — благо. Словно одобрявшие ее и возвысившие свои голоса, чтобы восхвалить ее в своей хвале — воспитанные и возвращенные на том, что восхваляет и символизирует их музыка, они самой хвалой своей мстят тому, на чем возвращены и воспитаны. Он слушает, и слышится ему в этом апофеоз его собственной истории, его земли, племенного в его крови: народа, который его породил и окружает, который не способен ни пережить наслаждение или беду, ни уклониться от них — без свары. Наслаждение, восторг, кажется, для него невыносимы: он спасается от них в буйстве, в пьянстве, в драке в молитве; от бед — тоже, в таком же буйстве, по-видимому неискоренимом *Так стоит ли удивляться, что их религия заставляет людей казнить себя и друг друга?* думает он. Ему слышится в музыке объявление и освящение того, что им уготовано сделать завтра и о чем они уже знают. Ему кажется, что прошлая неделя пронеслась как бурный поток, а грядущая неделя, которая наступит завтра, — пропасть, и сейчас, на кромке обрыва, поток исторгнул единый, слитный, зычный, суровый крик — не оправдание, но последний салют перед тем, как низринуться в бездну — и не Богу вовсе, а обреченному человеку за решеткой, который слышит их и две другие жертвы и казня которого они тоже вздвигнут крест. «И сделают это с радостью», — говорит он в темное окно. Он ощущает, как сжимаются его губы и вздуваются желваки на челюстях от какого-то предчувствия, от чего-то еще более ужасного, чем смех. «Ибо пожалеть его — значило бы допустить, что они сомневаются в себе, сами надеются на жалость и нуждаются в ней. Они сделают это с радостью, с радостью. Вот почему это так ужасно, ужасно, ужасно». Затем, подавшись вперед, он видит, как к дому подходят трое людей и сворачивают в калитку — силуэтами против уличного фонаря, между теней. Он уже узнал Байрона и теперь смотрит на тех двоих, которые следуют за ним. Он понимает, что это мужчина и женщина, но если бы не юбка, они были бы почти неразличимы: одного роста и одинаковой ширины, вдвое плотнее обыкновенных мужчины или женщины, они похожи на двух медведей. Он начинает смеяться, еще не приготовившись к тому, чтобы оборвать смех. «Байрону — только пестрый платок на голову и серьги», — думает он и смеется, смеется беззвучно, стараясь совладеть с собой, потому что сейчас постучит Байрон и надо будет открыть ему дверь.

Байрон вводит их в кабинет — приземистую женщину с совершенно неподвижным лицом, в багровом платье и шляпе с пером, с зонтом в руке, и мужчину, невероятно грязного и, должно быть, невероятно старого, с козлиной бородкой, пожелтелой от табака, и безумными глазами. Входят они не робко, но как-то по-кукольному, словно их приводит в движение примитивный пружинный механизм. Из них двоих женщина выглядит более уверенной или, по крайней мере, более здоровой. При всей ее скованности, механически преодолеваемой косности, кажется, что

она пришла сюда с определенной целью или, по крайней мере, неясной надеждой. Старик же — и Хайтауэру это ясно с первого взгляда — находится в прострации, словно не сознает и ничуть не интересуется, где он: но при этом в нем таится подспудная взрывчатость — он в забытьи и вместе с тем настоороже.

— Это она, — тихо говорит Байрон. — Это миссис Хайнс.

Они стоят без движения: женщина — точно достигнув цели долгого путешествия, в незнакомом месте, среди незнакомых лиц — ждет тихо, ооченело, как раскрашенное каменное изваяние; и мужчина — спокойный, отсутствующий, но подспудно яростный и очень грязный. Оба они как будто и не взглянули на хозяина — ни с любопытством, ни равнодушно. Он жестом предлагает сесть. Байрон подводит женщину к стулу, и она садится осторожно, не выпуская зонтика. Мужчина садится сразу. Хайтауэр занимает свое место за столом.

— О чем она хочет со мной говорить? — спрашивает он.

Женщина не шевелится. Видимо, она не слышала. Она выглядит как человек, который совершил трудное путешествие за чем-то обещанным, а теперь опустил руки и ждет.

— Это он, — говорит Байрон. — Преподобный Хайтауэр. Скажите ему. Скажите то, что желали ему сообщить.

Она смотрит на Байрона, но лицо ее ничего не выражает. Если за этим кроется бессловесность, то дар речи сведен на нет неподвижностью самого лица; если — надежда или стремление, то их не видно и тени.

— Скажите ему, — говорит Байрон. — Скажите, почему вы пришли. Зачем приехали в Джефферсон.

— Потому что... — говорит она. Голос ее неожиданно низок, почти груб, хотя и негромок. Она как будто сама не ожидала, что речь ее окажется такой шумной; она умолкает, словно в изумлении перед собственным голосом, и переводит взгляд с одного лица на другое.

— Расскажите, — говорит Хайтауэр. — Постарайтесь рассказать.

— Потому что я... — снова голос смолкает, обрывается, словно изумившись самому себе, хотя он по-прежнему негромок. Кажется, что эти три слова — препятствие, которое ее голос не может преодолеть; почти заметно, как она заставляет себя их обойти. — Я так и не видела, как он ходит своими ножками, — говорит она. — Тридцать лет его не видела. Он еще не умел ходить, имя свое выговорить...

— Скотство и омерзение! — вдруг произносит старик. Голос у него высокий, пронзительный, сильный. — Скотство и омерзение!

Затем он умолкает. Из сомнамбулического и настоороженного своего забытья он выкрикивает внезапно и иступленно, как шаман, три слова — и все. Хайтауэр смотрит на него, затем на Байрона. Байрон тихо объясняет:

— Он — ребенок их дочери. Он, — легким движением головы указав на старика, который впился в Хайтауэра горящим бешеным взглядом, — он взял его сразу после рождения и унес. Она не знала, что он с ним сделал. Не знала даже, жив он или нет, куда...

Старик опять прерывает их с той же ошеломляющей внезапностью. Но на этот раз он не кричит: теперь его голос так же спокоен и рассудителен, как у самого Байрона. Он говорит ясно, только немного отрывисто:

— Да. Старый Док Хайнс забрал его. Бог помог старому Доку Хайнсу, так что старый Док Хайнс тоже помог Богу. И Бог свою волю возвестил через уста детишек. Детишки ему кричали «нигер! нигер!» перед Богом и перед людьми тоже, волю Божью говорили. А старый Док Хайнс сказал Богу: «Но этого мало. Они, детишки, промеж себя и похуже обзываются, чем нигером» — и Бог сказал: «Ожидай и доглядывай, потому что некогда мне возиться с развратом и скотством на вашей земле. Я отметил его и теперь сделаю так, чтобы люди знали. А тебя ставлю караульщиком и хранителем Моей воли. Тебе велю следить и надзирать за этим». — Голос его обрывается. Не замирает постепенно, а просто прекращается — точно иглу с грамофонной пластинки сняла рука человека, который не слушал запись.

Хайтауэр переводит взгляд с него на Байрона — тоже почти горящий.

— Что это? Что это значит? — говорит он.

— Я хотел устроить так, чтобы она пришла и поговорила с вами без него,— говорит Байрон.— Да оставить его было негде. Она говорит, что должна за ним следить. Вчера в Мотстауне он подстрекал людей, чтобы его линчевали, не зная даже, в чем тот провинился.

— Линчевали? — говорит Хайтауэр.— Линчевали его внука?

— Так она говорит,— ровным тоном отвечает Байрон.— Говорит, что он и сюда за этим приехал. И ей тоже пришлось ехать, чтобы ему помешать.

Опять начинает говорить женщина. Возможно, она слушала. Но лицо ее так же мертво, лишено выражения, как и вначале; безжизненный ее голос раздается внезапно, почти как голос старика:

— Он пятьдесят лет такой. Больше пятидесяти, пятьдесят — это сколько я с ним мучаюсь. Он и до того, как мы поженились, все время дрался. И в ту ночь, когда родилась Милли, его посадили за драку. Вот что мне пришлось от него терпеть. Он говорил, что должен драться, потому что он ростом меньше других людей и они хотят им помыкать. Это у него от суетности и гордыни. Но я говорила, что это в нем от дьявола. И что когда-нибудь дьявол нападет на него врасплох и скажет: «Юфьюс Хайнс, я пришел за данью». Вот что я ему сказала на другой день после того, как Милли родилась и я головы не могла поднять от слабости, а его опять только что выпустили из тюрьмы. Я ему так и сказала — ведь это Бог его предостерегает и знак подает: в тот самый день и час, когда у него родилась дочка, он сидел в тюрьме, и это — знамение небесное, что не доверяет ему Господь воспитывать свою дочь. Знамение Господа свыше, что город (он тогда кондуктором был на железной дороге) ничего ему не приносит, кроме вреда. И он тогда сам это понял, потому что это было знамение, и мы в городах больше не селились, а потом он сделался мастером на лесопилке и хорошо зарабатывал, потому что не называл еще имени Господа Бога всуе и в гордости, чтобы дьявола в себе извинить и оправдать. Так что ночью, когда Лем Буш по дороге домой из цирка проехал на повозке мимо и не остановился, и Милли с ним не было, и Юфьюс вошел в дом и повыкидывал вещи из ящика в комод, чтобы добраться до пистолета, я сказала: «Юфьюс, это дьявол в тебе говорит. Не из-за того, что Милли нужно выручать, ты сейчас распалился»; а он сказал: «А хоть и дьявол. А хоть и дьявол» — и ударил меня, и я лежу на кровати. смотрю...— Она умолкает. Но — на падающей интонации, словно завод вышел на половине пластинки.

Снова Хайтауэр переводит с нее на Байрона гневно-изумленный взгляд.

— Я то же самое слышал,— говорит Байрон.— Тоже сперва было трудно разобрать что к чему. Они жили при лесопилке, где он был мастером, в Арканзасе. Девушке тогда было лет восемнадцать. Как-то ночью мимо лесопилки проезжал цирк — в город. Стоял декабрь, дожди все время, и под одним фургоном проломился настил моста, неподалеку от них; пришли к ним люди, разбудили его и попросили тали, чтобы вытащить фургон...

— Бабья плоть, омерзение Господне! — вдруг выкрикивает старик. Затем его голос стихает, слабнет, как будто он только хотел привлечь внимание. Он опять говорит быстро, речь его убедительна, туманна, фанатична, и он опять рассказывает о себе в третьем лице: — Он знал. Старый Док Хайнс знал. Он уже видел на ней, у ней под одеждой, бабью примету Господнего омерзения. Он пошел, надел плащ, зажег фонарь, вернулся, а она уже стоит в дверях, тоже в плаще, и он сказал: «Ступай обратно, ложись»; а она сказала: «Я тоже хочу пойти»; и он сказал: «Ступай обратно в комнату и ложись»; и она ушла, а он пошел и взял в цеху большие тали и вытащил фургон. Чуть ли не до зари работал и думал, что послушалась отцовского приказа, Господом данного. Но надо было знать. Надо было знать бабью плоть, омерзение Господне; надо было знать скотство и мерзость в ходячем облике, уже смердящем в глазах Господних. Чтобы старый Док Хайнс поверил рассказням, будто он мексиканец. А старый Док Хайнс видел на морде его чернсе проклятие Господа Всевышнего. Чтобы рассказням этим...

— Что? — говорит Хайтауэр. Говорит громко, словно надеясь своим голосом заглушить старика.— Что это значит?

— Парень был из цирка.— объясняет Байрон.— Она ему сказала, что парень мексиканец,— дочь сказала, когда он ее догнал. Может быть, сам парень ей так сказал. А

он,— опять показывая на старика,— как-то узнал, что в парне негритянская кровь. Может, ему другие из цирка сказали. Не знаю. Он и не обмолвился ни разу, откуда ему известно — будто это не имеет значения. Да, пожалуй, и не имело — после того, что случилось в следующую ночь.

— В следующую ночь?

— Видно, она все-таки ушла в ту ночь, когда застрял цирк. Он говорит, что ушла. По крайней мере, так он себя повел — если бы он этого не знал и если бы она не сбежала, он бы ничего такого не сделал. Потому что на другой день она отправилась в цирк с соседями. Он ее отпустил — не знал еще, что она уходила прошлой ночью. И когда она садилась к соседу в повозку, нарядившись по-выходному, он тоже еще ничего не подозревал. Но ночью, когда сосед возвращался, он их ждал и слышал, как повозка проехала мимо, словно и не собиралась останавливаться, чтобы высадить девушку. Он выбежал, окликнул их, и сосед остановил повозку, но девушки там не было. Сосед сказал, что она распрощалась с ними возле цирка и хотела заночевать у другой девушки, которая жила милях в шести от города, и сосед удивлялся, как же Хайнс этого не знал — ведь когда она садилась в повозку, у нее был саквояж. Хайнс саквояжа не видел. И она,— Байрон показывает на каменноликую женщину; непонятно, слушает она его или нет,— она говорит, что вел его дьявол. Она говорит, что он не больше ее знал, где девушка, однако вернулся в дом, взял пистолет, сшиб ее на кровать, когда она попробовала его остановить, оседлал лошадь и ускакал. И она говорит, что он выбрал единственный короткий путь, который годился, угадал в темноте — единственный из пяти или шести, которым можно было из догнать. При том, что знать он не мог, какой дорогой они поехали. Но знал. Нашел их, как будто с самого начала знал, где они будут, как будто сам с тем человеком, про которого девушка сказала, что он мексиканец, уговорился там встретиться. Как будто знал. Тьма была кромешная, и даже когда он нагнал коляску, он все равно бы не мог определить, что нужна ему именно эта. Но поскакал прямо за ней — за первой коляской, которую увидел ночью. Подъехал к ней с правой стороны, нагнулся и в кромешной тьме, не говоря ни слова, на скаку схватил человека, который мог оказаться и посторонним, и соседом, и кем угодно — ведь он его в глаза никогда не видел. Схватил его одной рукой, а другой приставил к нему пистолет и застрелил, а девушку привез домой, посадив ее сзади на лошадь. Коляску и убитого оставил на дороге. Между прочим, опять шел дождь.

Он умолкает. И сразу начинает говорить женщина, будто только и ждала в нетерпеливом оцепенении, чтобы Байрон умолк. Она говорит тем же неживым, ровным голосом: два голоса монотонно чередуются — строфой и антистрофой: два бесплотных голоса рассказывают как во сне о чем-то, содеянном в краю без расстояний людьми без крови:

— Я лежала на кровати и слышала, как он вышел, а потом услышала, как вывел лошадь из конюшни и мимо дома проскакал. Я лежала не раздевшись и смотрела на лампу. Керосин выгорал, потом я встала, отнесла ее на кухню, заправила, нагар с фитиля сняла, а потом разделась и легла, при лампе. А дождь все шел, и было холодно, потом я услышала — лошадь вернулась на двор, у крыльца остановилась, я встала, накинула шаль и слышу — входят в дом. Вперед Юфьюса шаги, потом Милли; прошли по передней к двери, и Милли в дверях стоит — лицо и волосы от дождя мокрые, новое платье все в грязи, а глаза закрыты, и тогда Юфьюс ударил ее, и она упала на пол, лежит, а в лице не переменялась ни капли — какая стояла, такая лежит. А Юфьюс — в дверях, тоже мокрый, грязный, и говорит мне: «Дьяволу, ты сказала, прислуживаю. Вот я привез тебе дьявола посев. Спроси, что она в себе носит. Спроси у ней». А я до того устала и озябла... говорю ему: «Что случилось?» — а он сказал: «Поди туда да посмотри в грязи — увидишь. Ее он, может, и обманул, что он мексиканец. Но меня-то он не обманул. Да и ее не обманывал. Нужды не было Ты сказала тогда, что придет ко мне дьявол за данью. Он и пришел. Проститутку родила мне жена. Но он хотя бы помог как умел, когда пришла пора рассчитаться. Он указал мне дорогу и направил пистолет верно». Вот я и думала порой, что дьявол одолел Бога. Оказалось, что у Милли будет ребенок, и Юфьюс начал искать врача, который бы это исправил. Я думала, он найдет, и порой казалось, что пусть уж останется как есть, раз мужчине с женщиной надо жить на земле. А порой я надеялась, что он найдет — до того я

намучилась, пока суд тянулся, а хозяин цирка пришел и сказал, что человек тот действительно был не мексиканец, а с негритянской кровью, как Юфьюс все время говорил — словно дьявол шепнул ему, что он нигер. А Юфьюс опять брал пистолет и говорил, что добудет врача живого или мертвого, и уходил, и пропадал неделями, и люди про это знали, а я все уговаривала Юфьюса уехать, потому что ведь только этот из цирка сказал, что он нигер, и, может, он точно не знал, а потом ведь он тоже уехал и едва ли нам снова встретится. Но Юфьюс уезжать не хотел; у Милли уже срок подходит, а Юфьюс со своим пистолетом все ищет доктора, который бы согласился. А потом я услышала, что он опять в тюрьме; что он ходил по церквям, по молитвенным собраниям в тех местах, где пробовал найти врача, и на одном молитвенном собрании встал, взошел на кафедру и сам начал проповедовать, кричать против негров, чтобы белые люди поднялись и всех их убили, и люди в церкви заставили его замолчать и сойти с кафедры, а он угрожал им пистолетом прямо в церкви, пока не пришла полиция и не забрала его, и он первое время был как помешанный. И узнали про то, как он избил доктора в другом городе и сбежал, успел скрыться. Так что когда он вышел из тюрьмы и вернулся домой, Милли уже ждала ребенка со дня на день. И я подумала, что он отступился, признал наконец волю Божью — потому что дома не скандалил, и даже когда детские вещи нашел, что мы с Милли приготовили, все равно ничего не сказал, спросил только, скоро ли. Каждый день спрашивал, и мы думали, что он отступился, что, может быть, по церквям похаживая да в тюрьме посидевши, смирился он, как той ночью, когда Милли родилась. И вот подошел срок, разбудила меня ночью Милли и говорит, что началось, я оделась и велела Юфьюсу идти за доктором, он оделся и пошел. А я собралась что нужно и ждем, и уж пора бы Юфьюсу с доктором воротиться, а его все нет, еще подождала — вот-вот, кажется, доктор должен подойти, вышла на крыльцо и вижу: на верхней ступеньке Юфьюс сидит с ружьем на коленях и говорит мне: «Ступай обратно в дом, проституткина мать»; я говорю: «Юфьюс»; а он поднял ружье и сказал: «Ступай обратно в дом. Пускай дьявол сам соберет свою жатву: он ведь сеял». Я хотела выйти черным ходом, а он услышал, бежал с ружьем круг дома, стволом меня ударил, и я пошла обратно к Милли, а он за дверью в передней стоял, чтобы Милли видеть, пока она не умерла. Тогда он подошел к кровати, посмотрел на ребеночка и поднял его, выше лампы поднял, будто ждет, увидеть хочет, кто верх возьмет — Господь или дьявол. А я до того замучилась, сижу у кровати, а на стене перед глазами — гень его, рук его тень и мальчика, высоко на стенке. И подумала я тогда, что Господь одолеет. А теперь не знаю. Положил он мальчика в постель рядом с Милли и ушел. Слышу, в переднюю дверь вышел, встала я тогда, плиту затопила, молоко согрела...

Она умолкает; грубый заунывный голос замер. Смотрит на нее через стол Хайтауэр: застывшая, каменнеликая женщина в багровом платье, с тех пор как вошла в комнату, ни разу не пошевелилась. Потом она снова начинает говорить — не двигаясь, почти не шевеля губами, словно она кукла, а говорит чревоуещатель в соседней комнате:

— И пропал Юфьюс. Хозяин лесопилки тоже не знал, куда он девался. Нанял другого мастера, но меня пока из дома не выгнал, потому что где Юфьюс, не знаем, а уже зима подходит и у меня ребенок на руках. И где Юфьюс — про то я знала не больше мистера Гилмана, пока письмо не пришло. Из Мемфиса, а в нем — почтовый перевод и ни слова. Так что я опять ничего не узнала. А потом, в ноябре, пришел еще перевод, и опять без письма. А я до того замучилась, а потом за два дня до рождества вышла на задний двор дров наколоть, возвращаюсь домой, а мальчика нет. От силы на час отлучилась и, кажется, должна была бы видеть, как он вошел и вышел. А не заметила. Только записка лежит от Юфьюса — на подушке, которую с краю подкладывала, чтобы мальчик не скатился с кровати.. и до того я измучилась. Все ждала, а после рождества приехал Юфьюс и ничего мне не объяснил. Сказал только, что мы переезжаем, и я подумала: он ребенка вперед увез, а теперь за мной вернулся. И не говорит, куда мы едем, только — что недалеко, а я с ума схожу, волнуюсь, как там без нас ребенок, а он все равно не говорит, и я прямо думала, никогда не доедем. Потом приехали, а мальчика нет, я ему: «Говори, что ты сделал с моим Джо? Говори сейчас же»: а он посмотрел на меня, как той ночью на Милли смотрел, когда она лежала и умирала, и говорит: «Эго омерзение Господне, и я орудие Его воли». А на

другой день пропал, и я не знала, куда он девался, а потом пришел еще перевод, и на другой месяц Юфьюс приехал домой и сказал, что работает в Мемфисе. И я поняла, что он спрятал Джо где-то в Мемфисе, и подумала — хорошо хоть так, хоть он там за ним присмотрит, раз уж я не могу. Знала, что надо ждать, покуда Юфьюс сам не пожелает сказать мне, и каждый раз думала, что, может быть, в другой раз он возьмет меня с собой в Мемфис. И ждала. Шила, костюмчики делала для Джо, все, бывало, подготавливаю к приезду Юфьюса, все, бывало, допытываюсь, годятся ли они моему Джо и как он там, здоров ли, а Юфьюс ничего не говорил. Сядет, бывало, с Библией и начнет читать, громко — а слушаю-то я одна, — громко читает, кричит прямо, будто думает, не верю я тому, что в Библии сказано. Пять лет ничего мне не говорил, и я не знала даже, отвозит он мальчику, что я нашла, или нет. А спрашивать боялась, не хотела его донимать, думаю, ладно хоть он там, где Джо, раз уж меня нету. Пять лет прошло, и вот является он раз домой и говорит: «Мы переезжаем» — и я подумала, что теперь-то я его увижу; если был грех, думаю, мы сполна за него расплатились, и я даже Юфьюса простила. Потому что думала, на этот раз мы наконец-то едем в Мемфис. Только не в Мемфис мы поехали. В Мотстаун. Через Мемфис проезжать пришлось, и уж как я его упрашивала. Первый раз за все время просила. Просила — хоть на минуту, на секунду; не потрогать, не поговорить — так просто. А Юфьюс не позволил. Мы даже со станции не вышли. Сошли с поезда и семь часов другого поезда ждали, со станции не выходя, и приехали в Мотстаун. А Юфьюс больше не поехал в Мемфис на работу, и я немного погодя сказала: «Юфьюс» — он на меня посмотрел, а я говорю: «Я пять лет ждала и никогда к тебе не приставала. Можешь ты хоть раз сказать мне, жив он или нет?» А он сказал: «Нет его в живых»; и я спросила: «Нет в живых на свете или только для меня? Пускай, если только для меня. Скажи мне хоть это, ведь я пять лет к тебе не приставала»; а он сказал: «Ни для тебя его нет в живых, ни для меня, ни для Бога, ни для всего света Божьего — нет в живых и никогда не будет».

Она снова умолкает. С тихим безнадежным изумлением смотрит на нее из-за стола Хайтауэр. Байрон тоже неподвижен, голова его слегка опущена. Они трое — как три береговых камня, обнаженных отливом. — они, но не старик. Сейчас он слушал почти внимательно, со свойственной ему способностью мгновенно переходить от полного внимания, когда он все равно, кажется, не слышит, к полубморочному забытию, когда взгляд его, по-видимому обращенный внутрь, стесняет человека так, будто он держит его рукой. Вдруг он раздражается кудахтающим смехом, бодрым, громким, беззвучным; невероятно старый, невероятно грязный, он начинает говорить:

— Это был Господь. Это Он был. Старый Док Хайнс тоже пособил Богу. Господь сказал старому Доку Хайнсу, что делать, и старый Док Хайнс сделал. Тогда Господь сказал старому Доку Хайнсу: «Теперь следи. Следи, как исполняется Моя воля». И старый Док Хайнс следил и слышал из уст детишек, божьих сирот, куда Он вложил Свои слова и разумение, когда они сами разуместь не могли, потому что безгрешные, даже девочки, греха и скотства не познавши — «Нигер! Нигер!» — из уст младенцев невинных. «Что я тебе говорил? — сказал Господь старому Доку Хайнсу. — А теперь я постановил Мою волю на исполнение, и я ухожу. Нет тут больше такого греха, чтобы Мне с ним возжаться, потому что какое Мне дело до блудодейства потаскухина, ежели и оно для Моей цели служит»; а старый Док Хайнс спросил: «Как это — и блудодейство потаскухино для Вашей цели служит?»; а Господь сказал: «Жди, увидишь. Ты думаешь, случайно я послал молодого доктора, чтобы он нашел омерзение Мое, в одеяло завернутое, на крыльце в ночь под рождество? Ты думаешь, случайно начальница была тогда в отлучке, чтоб молодые потаскухи могли назвать его Кристмасом, над сыном Моим кощунствуя? И теперь я ухожу, потому что наладил Мою волю исполняться, а тебя оставляю здесь доглядывать». И старый Док Хайнс, он ждал и доглядывал. Из котельни Господней доглядывал за ними, детишками, и дьявольское семя ходячее, неизвестное между них, землю сквернило, и слово то на нем сбывалось. Потому что с другими детишками он больше не играл. Все сам по себе — стоит тихонько, и тогда понял старый Док Хайнс, понял, что слушает он тайное предупреждение о Божьей каре, и сказал ему старый Док Хайнс: «Почему ты не играешь с другими детишками, как раньше?»; а он молчит, и старый Док Хайнс сказал ему: «Потому что нигером кличут?»; а он молчит, и старый Док Хайнс сказал ему: «Ты думаешь, ты нигер, потому что Бог лицо

твое отметил?»; а он сказал: «А Бог — тоже нигер?»; и старый Док Хайнс сказал ему: «Он — Господь Бог сил гневных, воля Его сбудется. Не твоя и не моя, потому что ты и я для Его цели и Его отмщения служим». И он пошел прочь, а старый Док Хайнс глядел, как он внемлет и слушает карающую волю Божью, и увидел старый Док Хайнс, как следит он за нигером, что по двору работал, и ходит за ним во время работы, покуда нигер ему не сказал: «Ты чего за мной надзираешь, мальчик?»; а он спросил: «Как вышло, что ты нигер?»; и нигер сказал: «Кто сказал тебе, что я нигер, белая сопливая рвань?»; а он говорит: «Я не нигер»; а нигер говорит: «Ты еще хуже. Ты сам не знаешь, кто ты есть. И еще того больше — никогда не узнаешь. Будешь жить, умрешь и все равно не узнаешь»; а он говорит: «Бог не нигер»; а нигер говорит: «Тебе лучше знать, кто такой Бог, потому что один Бог знает, кто ты сам такой». Но Бог не сказал, Его там не было, потому что Он наладил Свою волю исполняться, а доглядывать оставил старого Дока Хайнса. С той самой первой ночи, когда Он в святую годовщину Сына Своего наладил ее исполняться, Он поставил старого Дока Хайнса доглядывать. Холодная ночь была, и старый Док Хайнс стоял в темноте как раз за углом, чтобы видеть крыльцо и выполнение воли Божьей, и видел, как этот доктор молодой пришел в разврате и блудодействе и встал, и нагнулся, и поднял омерзение Господне, и внес его в дом. А старый Док Хайнс, он шел за ним, он видел и слышал. Он видел, как они одеяло разворачивали — молодые потаскухи те, святую годовщину Господнюю осквернявшие гоголь-моголем ромовым и водкой, пока начальницы не было. И она, Иезавель докторская, была орудием Господним, она сказала: «Назовем его Кристмасом»; и другая сказала: «Кристмас — а еще? Кристмас — а дальше как?»; и Бог велел старому Доку Хайнсу: «Скажи им»; и все они, скверной дыша, поглядели на старого Дока Хайнса и загалдели: «А-а, это дядя Док. Посмотри, дядя Док, что нам дед-мороз принес и положил на ступеньки»; а дядя Док сказал: «Его зовут Джозеф»; и тогда перестали смеяться, поглядели на старого Дока Хайнса, и Иезавель та сказала: «Откуда вы знаете?»; а старый Док Хайнс сказал: «Так сказал Господь»; и тогда они обратно засмеялись и загалдели: «И в писании так: Кристмас, сын Джо. Иосифа, значит. Джо, сын Джо. Джо Кристмас,— они сказали.— За Джо Кристмаса» — и хотели заставить старого Дока Хайнса тоже выпить за омерзение Господне, но он ихнюю чашу оттолкнул. Ему надо было только ждать и доглядывать, и он ждал, и пришел срок Господень выйти злу из зла. Прибежала Иезавель докторская от ложа похоти своей, смердящая грехом и страхом. «Он спрятался за кроватью», — говорит; и старый Док Хайнс сказал ей: «Сама пользовалась этим мылом надушенным, искусительным — себе на погибель, Господу во омерзение и поругание. Сама и наказание понесешь»; а она сказала: «Вы можете с ним поговорить. Я видела, как вы разговаривали. Вы могли бы его убедить»; и старый Док Хайнс сказал ей: «Нет дела до блуда твоего, а мне и давдно»; а она говорит: «Он донесет, и меня уволят. Я буду опозорена». Воняя похотью и блудом, стояла перед старым Доком Хайнсом, и воля Божья исполнялась над ней, потому что осквернила дом, где Бог приютил Своих сирот. «Ты — ничто,— сказал старый Док Хайнс.— Ты и все потаскухи. Вы орудие гневной цели Божьей, а без нее малая птица не упадет на землю. Ты орудие Бога, все равно как Джо Кристмас и старый Док Хайнс». И она пошла прочь, а старый Док Хайнс, он ждал и доглядывал, и в скором времени она опять пришла, и лицо у ней было, как у лютого зверя пустынного. «Я его пристроила», — говорит; и старый Док Хайнс сказал: «Как пристроила?» — потому что никакой новости старому Доку Хайнсу она не принесла, потому что Господь не таил Своей цели от избранного Своего орудия, и старый Док Хайнс сказал: «Ты послужила предреченной воле Божьей. Теперь ступай с миром и пакости до Судного Дня»; и лицо у ней было, как у лютого зверя пустынного, и засмеялась раскрашенной грязью поганой над Господом. И пришла, и забрали его. Старый Док Хайнс видел, как его увезли в коляске, и пошел обратно ждать Бога, и Бог пришел и сказал старому Доку Хайнсу: «Теперь и ты ступай. Ты Мою работу исполнил. Нет здесь больше зла, кроме бабьего зла, и не стоит оно того, чтобы избранное Мое орудие за ним доглядывало». И старый Док Хайнс ушел, когда Господь велел ему уйти. Но с Господом связь держал и сказал Ему ночью: «А ублюдок, Господи?»; и Господь сказал: «Он еще ходит по Моей земле»; и старый Док Хайнс держал связь с Господом и сказал Ему ночью: «А ублюдок, Господи?»; и Господь сказал: «Он еще ходит по Моей земле»; и старый Док Хайнс держал связь с

Господом, и однажды ночью он бился, и боролся, и воззвал громко: «А ублюдок, Господи? Чувствую! Чувствую клыки и когти зла!»; и Господь сказал: «Это — он, ублюдок. Твои труды еще не кончены. Он — скверна и мерзость на земле Моей».

Музыка в далекой церкви давно смолкла. В открытое окно доносятся только мирные и несметные звуки летней ночи. За столом сидит Хайтауэр, больше чем когда-либо напоминающий неуклюжего зверя, которого обманом и хитростью удержали от бегства, а теперь обложили — те самые, кто обманул и перехитрил его. Остальные трое сидят, обратив к нему лица, почти как судьи. Двое из них тоже неподвижны: женщина, каменноликая и терпеливая, как скала, и старик, выгоревший, как фитилек безжалостно задутой свечки. Байрон один кажется одушевленным. Его лицо опущено. Может быть, он разглядывает свою руку, лежащую на коленях; большой и указательный пальцы ее медленно трутся друг о друга, как бы раскатывая что-то, и кажется, будто он наблюдает за ними задумчиво и увлеченно. Услышав Хайтауэра, Байрон понимает, что священник обращается не к нему, да и ни к кому из присутствующих в комнате.

— Чего они ждут от меня? — произносит он. — На что рассчитывают — что я, по их мнению, могу сделать?

В ответ — ни звука; ни старуха, ни старик, по-видимому, не слышали. Байрон и не предполагал, что старик услышит. «Ему помощь не нужна, — думает он. — Ему-то нет. Ему мешать нужно, — думает он, вспоминая полуобморочное и вместе с тем маниакально-напряженное забытие, в котором вот уже двенадцать часов — с тех пор, как они встретились, — пребывает старик, таскаясь с места на место за своей женой. — Ему мешать нужно. Не ей одной, пожалуй, повезло, что он такой беспомощный». Он наблюдает за женщиной. И произносит тихо, почти ласково:

— Продолжайте. Скажите ему, чего вы хотите. Он хочет знать, чего вы от него хотите. Скажите ему.

— Я думала... — начинает она. Она говорит не шелохнувшись. Голос у нее не столько неуверенный, сколько скрипучий, точно его вынуждают произносить что-то, лежащее за границами речи, — то, что можно только знать, чувствовать. — Мистер Банч сказал, что, может быть...

— Что? — спрашивает Хайтауэр. Он говорит резко, нетерпеливо, несколько визгливым голосом; он тоже не пошевелился и сидит откинувшись в кресле, руки — на подлокотниках. — Что? Что может быть?

— Я думала... — Голос снова замирает. За окном — ровное гудение насекомых. Голос раздается снова, невыразительный, тусклый; при этом она сидит, тоже чуть опустив голову, словно прислушивается внимательно и тихо к собственному голосу: — Он — мой внучек, моей дочери сынок. Я только подумала, что если бы я... если бы он...

Байрон тихо слушает, думая *Чуждо, ей-богу. Можно подумать, они как-то поменялись. Как будто это у него должны повесить внука-нигера.* Голос продолжает:

— Я знаю, нехорошо беспокоит чужого человека. Но вам посчастливилось. Холостой одинокий мужчина, у него спокойная старость, он не знает горя любви. Но вы, наверно, все равно не поймете, даже если бы я складно могла сказать. Я только подумала — если бы хоть на один день сделалось так, как будто этого не было. Как будто люди никогда не знали его за человека, который убил... — Голос снова смолкает. Она не пошевелилась. Кажется, она прислушивается к молчанию так же, как раньше прислушивалась к своему голосу — с тем же интересом, так же тихо, без удивления.

— Продолжайте, — говорит Хайтауэр высоким нетерпеливым голосом, — продолжайте.

— Ведь когда я его видела, он ни ходить, ни говорить еще не умел. Тридцать лет я его не видела. Я не говорю, что он не сделал того, про что люди рассказывают. Что он не должен пострадать за это, как заставил страдать людей, которые любили и потеряли близких. Но если бы его хоть на денек могли отпустить. Как будто ничего этого еще не случилось. Как будто люди ничего еще против него не имеют. И было бы так, как будто он просто уехал надолго, стал за это время взрослым и вернулся. Если бы стало так хоть на один день. А после я бы не вмешивалась. Если он это сделал, то не мне защищать его от наказания, которое он должен понести. Только

на один день, понимаете? Как будто он уехал надолго, вернулся и рассказывает мне про то, как ездил, и ни одна живая душа не держит против него зла.

— А-а,— говорит Хайтауэр высоким, пронзительным голосом. Хотя он не пошевелился, хотя костяшки рук, сжавших подлокотники кресла, побелели от напряжения, видно, как под одеждой его начинает бить медленная, сдерживаемая дрожь.— Вон что,— говорит он.— Всего-то. Это так просто. Просто. Просто.— Он, очевидно, не может остановиться.— Просто. Просто.— Сначала он говорил тихо; теперь он повышает голос:— Чего они от меня хотят? Что я теперь должен сделать? Байрон! Байрон! Чего? Чего им теперь от меня надо?

Байрон встал. Он стоит у стола, положив руки на крышку, лицом к Хайтауэру. Хайтауэр по-прежнему не шевелится, только дрожь все сильнее сотрясает его дряблое тело.

— Ах да. Как же я не догадался. Ведь просить будет Байрон. Как же я не догадался. Это дело припасено для нас с Байроном. Давайте, давайте. Выкладывайте. Что же вы оробели?

Байрон смотрит на стол, на свои руки на столе.

— Нехорошо получается. Нехорошо получается.

— А-а. Соболезнования? Не поздновато ли? Соболезнования мне или Байрону? Давайте же выкладывайте. Чего вы от меня хотите? Ведь это вы — я понимаю. Я понял сразу. Ах, Байрон, Байрон. Какой режиссер в вас пропадает.

— Вы, наверно, хотели сказать — коммивояжер, торговый агент, маклер,— говорит Байрон.— Нехорошо. Я сам знаю. Можете мне не говорить.

— Но я же не ясновидящий, как вы. Вы, кажется, заранее знаете, что я вам скажу, а сами не говорите того, что хотели бы довести до моего сведения. Чего вы от меня хотите? Чтобы я признал себя виновным в убийстве? Да?

По лицу Байрона пробегает обычная гримаса — слабая, сардоническая, усталая, невеселая.

— Да почти что.— Затем его лицо разглаживается; оно очень серьезно.— Нехорошо об этом просить. Бог свидетель, я это понимаю.— Он наблюдает за своей рукой, движущейся медленно, механически и бесцельно по крышке стола.— Помнится, я вам раз говорил, что быть хорошим даром не дается, так же как быть плохим; за это тоже надо платить. И как раз хорошие люди не могут отказать платить, когда им подают счет. Не могут потому, что заставить их платить никак нельзя — они вроде честных картежников. Плохие люди могут отказать; потому-то никто и не ждет от них, что они расплатятся сразу или вообще когда-нибудь. А хорошие не могут. Может быть, хорошим приходится дольше расплачиваться, чем плохим. Но с вами это не в первый раз, ведь вы уже заплатили раз по счету вроде этого. Теперь не должно быть так же плохо, как тогда.

— Продолжайте. Продолжайте. Что же я должен сделать?

Байрон задумчиво следит за своей рукой, движущейся медленно и безостановочно.

— Он ведь так и не сознался, что убил ее. А улук у них — только слова Брауна, цена им — грош. Вы могли бы сказать, что он был у вас в ту ночь. И каждую ночь — когда Браун якобы видел, как он шел к большому дому и входил в него. Люди вам поверят. Все равно поверят. Они скорее поверят такому о вас, чем тому, что он жил с ней как муж с женой, а потом убил ее. И вы уже старый. Теперь они с вами ничего страшного не сделают. А ко всему остальному, что они могут сделать, я думаю, вы уже привыкли.

— А-а,— говорит Хайтауэр.— Конечно. Конечно. Они поверят. Это будет очень просто и очень хорошо. Для всех хорошо. Тогда он вернется к людям, которые из-за него пострадали, а Брауна без премии можно будет запугать, чтобы он признал ребенка своим, а потом опять сбежал, и уже навсегда. И останутся только она и Байрон. Поскольку я — всего лишь старик, которому посчастливилось дожить до старости, не познавши горя любви.— Его сотрясает непрерывная дрожь; он поднял голову. В свете лампы лицо его лоснится, будто намащенное. Искаженное и перекошенное, оно блестит в свете лампы; пожелтелая, застиранная рубашка, которая утром была свежей, мокра от пота.— Не потому, что я не могу, не осмелюсь,— говорит он,— потому что я не

желаю! Не желаю! Слышите? — Руки его отрываются от подлокотников. — Потому что я не желаю это делать!

Байрон не шевелится. Его рука замерла на столе, он смотрит на Хайтауэра и думает *Не мне он кричит. Похоже, он знает, что убедить ему надо кого-то другого, кто ближе к нему, чем я.* Потому что Хайтауэр уже кричит:

— Я не желаю! Не желаю!

Кулаки его подняты, по лицу течет пот, дряблые, отвисшие складки желто-серой кожи раздвинулись, обнажив гнилые стиснутые зубы. Вдруг его голос раздается еще громче.

— Вон! — вопит Хайтауэр. — Вон из моего дома! Вон из моего дома! — И он падает лицом на стол, выбросив вперед кулаки.

Выходя в дверь следом за стариками, Байрон оглядывается и видит, что Хайтауэр так и не пошевелился, его лысая голова и сжатые в кулаки руки лежат в озерке света под абажуром настольной лампы. Гудение насекомых за открытым окном не смолкло, не прервалось ни на миг.

17

Это было в воскресенье ночью. Утром Лина родила. Заря еще только занималась, когда Байрон прискакал на муле к дому, откуда вышел не далее как шесть часов назад. Он спрыгнул на землю и сразу побежал по узкой дорожке к темному крыльцу. Несмотря на спешку, ему кажется, что он хладнокровно наблюдает себя со стороны; он думает, угрюмо, без удивления: «Байрон Банч принимает младенца. Если бы я увидел это недели две назад, я бы глазам своим не поверил. Я бы сказал, что они врут».

Окно, за которым он шесть часов назад оставил священника, было темно. На бегу ему вспомнилась лысая голова, стиснутые кулаки, дряблое тело, навалившееся грудью на стол. «Вряд ли он много спал сегодня, — подумал Байрон. — Хотя и не изображает... не изображает...» Он не мог произнести про себя слово «повитуха», которое непременно употребил бы Хайтауэр. — Пожалуй, обязательно мне об этом думать, — размышлял он. — Если человек бежит от пистолета или на пистолет, ему тоже некогда рассуждать, как это называется — трусостью или храбростью».

Дверь была не заперта. Вероятно, он знал, что так и будет. Он ощупью пробирался по передней, нисколько не заботясь о тишине. Он ни разу не заходил дальше комнаты, где в последний раз видел хозяина, лежавшего грудью на столе под ярким светом лампы. Однако он подошел к нужной двери так уверенно, как будто знал или видел ее. Или как будто его вели. «Хайтауэр бы так сказал, — думал он в темноте, подгонявший его и лишенной ориентиров. — И она тоже. — Он имел в виду Лину, которая лежала сейчас в хибарке, мучаясь родами. — Только того, кто ведет, они называли бы по-разному». Еще не войдя в комнату, он услышал храп Хайтауэра. «Как будто не очень-то и огорчился, в конце концов, — подумал он. И тут же поправил себя: — Нет. Это неправильно. Несправедливо. Ведь я и сам так не думаю. Я же знаю: он спит, а я не сплю только потому, что он старик и не может выдержать столько, сколько я».

Он подошел к кровати. Невидимый хозяин издавал глубокий храп. В нем слышалась полная и окончательная капитуляция. Не изнеможение, а именно капитуляция, словно он разжал кулак, где собраны вместе гордость, надежда, страх и тщеславие — сила, позволяющая человеку держаться либо за поражение, либо за победу — сила, в которой и заключается Я-ЕСТЬ и отказ от которой часто оборачивается смертью. Стоя возле кровати, Байрон опять подумал *Бедняга. Бедняга.* Ему казалось — если он сейчас нарушит сон старика, это будет самой болезненной раной из всех, что он нанес ему. «Но ведь это не я жду, — подумал он. — Бог свидетель. Потому что, наверное, Он тоже наблюдает за мной последнее время, как все остальные, смотрит, что я сделаю дальше».

Он тронул спящего, не грубо, но решительно. Храп Хайтауэра оборвался; большое тело вскинулось под рукой Байрона.

— Да? — сказал он. — Что? Что такое? Кто это?

— Это я, — сказал Байрон. — Опять Байрон. Ну, вы проснулись?

— Да. Что...

— Да,— сказал Байрон.— Она говорит, пора. Срок подошел.

— Она?

— Скажите, где свет... Миссис Хайнс. Она с ней. Я иду за врачом. Но боюсь опоздать. Я оставляю вам мула. Дотуда, я думаю, вы сможете доехать. Та книга еще у вас?

Кровать под Хайтауэром скринула.

— Книга? Какая книга?

— С которой вы у нигеров ребенка принимали. Я просто хотел вам напомнить, на тот случай, если она вам понадобится. Если я с врачом не поспею вовремя. Мул — за воротами. Он знает дорогу. А я пойду в город за врачом. Постараюсь привести его поскорей.

Он повернулся и пошел. Он слышал, чувствовал, что Хайтауэр садится на кровать. Посреди комнаты он задержался, чтобы отыскать свисавшую с потолка лампочку и включить ее. Когда она загорелась, он уже шел к двери. Он не оглянулся. За спиной раздался голос Хайтауэра:

— Байрон! Байрон!

Он не остановился, не ответил.

Светало. Он быстро шел по пустой улице, под редкими и бледнеющими фонарями, около которых еще кружилась и толкалась мошकारа. Но свет прибывал; когда он вышел на площадь, фасады с восточной стороны резко обозначились на небе. Он быстро соображал. С врачом он не условился. И теперь на ходу, со страхом и злостью, как настоящий молодой отец, проклинал себя за эту возмутительную и преступную халатность. И все же тревога его была не совсем отцовская. За ней стояло что-то другое, в чем он пока не мог разобраться. Заслоненное необходимостью спешить, оно как будто притаилось в уме, готовясь выскочить, запустить в него когти. Но пока что он думал так: «Надо решать быстро. Говорят, того негритенка он принял как надо. Но тут другое дело. Надо было сделать это на прошлой неделе, заранее повидаться с врачом, чтобы не объясняться теперь, в последнюю минуту, не бегать от дома к дому, не искать того, кто согласится, кто поверит небылицам, которые мне придется плести. Черт подери, неужели же человек, который понаторел во вранье, как я за последнее время, не сумеет соврать так, чтобы ему всякий поверил — и мужчина и женщина. Но я, похоже, не сумею. Видно, не для меня эта работа — складно врать». Он шел быстро, шаги звучали гулко и одиноко на пустынной улице; решение уже было принято, хотя он этого не сознавал. Для него тут не было ничего нелепого или комического. Решение слишком быстро возникло и слишком прочно укоренилось в его уме к тому времени, когда он его осознал; ноги уже выполняли решение. Они несли Байрона к дому того самого врача, который опоздал на роды в негритянской семье, где акушерствовал Хайтауэр, вооружившись бритвой и книгой.

Врач опоздал и на этот раз. Байрону пришлось ждать, пока он оденется. Человек уже пожилой и суетливый, он был не слишком доволен тем, что его разбудили в такой час. Потом ему пришлось искать ключи от машины, хранившиеся в негоряемом ящике, ключ от которого тоже удалось найти не сразу. А сломать замок он Байрону не позволил. Так что, когда они подъехали к хибарке, восток уже золотился и вот-вот должно было выглянуть шустрое летнее солнце. И снова двое мужчин, постаревшие за это время, столкнулись в дверях лачуги, и профессионал опять проиграл любителю — ибо, ступив на порог, врач услышал крик младенца. Капризно сощурясь, врач посмотрел на священника.

— Ну-с, доктор,— сказал он,— напрасно Байрон меня не предупредил, что уже вызвал вас. Я бы спал себе спокойно.— Он протиснулся мимо священника в дверь.— Кажется, теперь у вас получилось удачнее, чем в прошлый раз, когда мы консультировались. Только вид у вас такой, будто вам самому нужен доктор. Или просто чашка кофе.

Хайтауэр что-то ответил, но врач уже двинулся дальше, не слушая его. Он вошел в комнату, где на узкой складной койке лежала незнакомая молодая женщина, изнуренная и бледная, а рядом старуха в багровом платье, тоже ему незнакомая, держала на коленях ребенка. На другой койке, в темном углу, спал старик. Заметив его,

врач сказал про себя, что он похож на мертвеца — так глубок и покоен был его сон. Но заметил он старика не сразу. Он подошел к старухе, которая держала ребенка.

— Так, так, — сказал он. — Байрон, наверно, очень волновался. Он не сказал мне, что вся семья будет в сборе, даже дедушка и бабушка.

Старуха посмотрела на него. Он подумал: «Она не больше его похожа на живого человека, даром что сидит. И кажется, не соображает даже, что она мать, а уж что бабушка — тем более».

— Да, — сказала старуха.

Она смотрела на него снизу, припав к ребенку. Тут он увидел, что лицо у нее не глупое, не бессмысленное. Оно показалось ему покойным и вместе с тем ужасным, как будто покой и ужас давным-давно кончились и сейчас возродились вместе. Но главное, что бросилось ему в глаза, — это ее поза, в которой было что-то от камня и вместе с тем от припавшего к земле зверя. Старуха показала головой на спящего старика; врач в первый раз задержал взгляд на его койке. Она прошептала лукаво, но еще встревоженно, не совсем оправившись от ужаса:

— Я его обманула. Сказала, что в этот раз вы придете с черного хода. Я его обманула. А вы уже здесь. Теперь вы сможете помочь Милли. А я присмотрю за Джо.

Затем все это исчезло. У него на глазах жизнь, одушевление вдруг погасли, стерлись с ее лица, и оно сделалось таким тупым и застывшим, как будто ничего подобного в нем и быть не могло; теперь ее глаза смотрели на доктора вопросительно, с тупой, немой озадаченностью, и она согнулась над ребенком так, словно его хотели утащить. Возможно, это движение разбудило младенца; он вскрикнул. Затем и озадаченность исчезла. Сплыла легко, как тень, и несуразная, с деревянным лицом старуха задумчиво уставилась на ребенка.

— Это Джо, — сказала она. — Сыночек моей Милли.

А Байрон, остановившись перед дверью, за которой скрылся врач, услышал этот крик, и с ним произошло что-то страшное. Ночью миссис Хайнс вызвала его из палатки. Голос у нее был такой, что он чуть ли не на бегу натянул брюки и, пробежав мимо миссис Хайнс, которая даже не разделась на ночь, влетел в хибарку. Тут он увидел ее и замер. Миссис Хайнс стояла рядом, что-то говорила; наверно, он отвечал, тоже что-то говорил. Во всяком случае, он оседлал мула и уже скакал к городу, а все еще видел ее на кровати — ее лицо, когда она, приподнявшись на локтях и воя от безысходного ужаса, смотрела на свое тело, прикрытое простыней. Видел все время, пока будил Хайтауэра, пока помогал собираться врачу, а между тем когтистая тварь в его душе таилась и ждала своей минуты и мысли бежали так быстро, что ему некогда было задуматься. Вот в чем дело. Слишком быстро, чтобы задуматься — куда они с врачом не подошли к хибарке. И тут, когда он остановился перед дверью хибарки и услышал крик младенца, с ним произошло что-то страшное.

Теперь он понял, что за когтистая тварь таилась в его душе, пока он шел по пустынной площади, разыскивая врача, с которым не удосужился поговорить заранее. Теперь он понял, почему не поговорился. Потому что не верил — пока миссис Хайнс не вызвала его из палатки, — что ему (ей) врач понадобится, понадобится непременно. Как будто за эту неделю его глаза привыкли к ее животу, а ум все равно не верил. «Нет, я верил, знал, — подумал он. — Иначе зачем я все это продельывал — бегал, врал, надоедал людям?» Но ему было ясно, что поверил он только после того, как, пробежав мимо миссис Хайнс, заглянул в хибарку. Когда голос миссис Хайнс прервал его сон, он знал, в чем дело, что случилось. Он встал и второпях прикрылся, как комбинезоном, спешкой, зная, зачем разбужен, зная, что вот уже пять ночей он ждал этого. И все же не веря. Он понимал теперь, что, подбежав к хибарке и заглянув туда, он ожидал увидеть ее сидящей; может быть, ожидал, что она встретит его в дверях, такая же, как всегда, — безмятежная, неподвластная времени. Но едва притронувшись к двери, он услышал то, чего никогда прежде не слышал. Жалобный вой, громкий, звучащий страстно и вместе с тем униженно, как будто она обращалась к чему-то на языке, чуждом ему и всем другим мужчинам. Затем он прошел в дверь мимо миссис Хайнс и увидел ее на койке. Он еще никогда не видел ее в постели и думал, что когда (или если) ему представится такой случай, она будет напряжена, собранна, может быть, слегка улыбнется и уж во всяком случае заметит его присутствие. Но когда он вошел,

она на него даже не взглянула. Она как будто даже не заметила, что дверь открылась и в комнате есть кто-то или что-то еще, кроме нее и того, к чему она обращала свой жалобный вой — речь, непонятную для мужчины. Она была укрыта до подбородка, но приподнялась на локтях, вытянув вперед шею. Волосы ее рассыпались, глаза были похожи на две дыры, губы белы, как подушка под головой, и в этой встревоженной позе, словно разглядывая изумленно и недоверчиво очертания своего тела под простыней, она снова издала громкий, обиженный, жалобный вопль. Миссис Хайнс уже склонилась над ней. Она обернула к нему деревянное лицо над барговым плечом.

— Идите,— сказала она.— Идите за врачом. Уже началось.

Он не помнил, как шел к конюшне. Только вдруг очутился там и уже ловил мула, вытаскивал седло, накидывал ему на спину. Он действовал быстро; мысли же текли негорюжливо. Теперь он понял — почему. Теперь он понял, что неспроста мысли текли плавно и негорюливо: так разливают по морю жир, когда разыгрывается шторм. «Если бы я тогда понял,— думал он.— Если бы я тогда понял. Если бы тогда до меня дошло». Думал, не шевелясь, с сожалением и отчаянием. «Да. Я бы повернул и поехал прочь. Ехал бы и ехал бог знает куда, бог знает сколько, до скончания века». Но он этого не сделал. Он проскакал мимо хибарки, а мысли текли плавно и ровно, и он еще не знал — почему. «Только бы дом миновать, только бы не услышать, как она опять закричит,— думал он.— Только бы дом миновать до того, как опять услышу». С этим его вынесло на дорогу; маленькое жилистое животное набрало ход, масло мысли растекалось ровно и плавно. «Сперва к Хайтауэру. Мула оставляю ему. Не забыть напомнить ему про врачебную книгу. Не забыть»,— растекалось масло, неся его к тому месту, где он на скаку спрыгнул с мула и побежал к дому Хайтауэра. Теперь его занимало другое. «Это я сделал»,— думал он *Даже если не удастся найти настоящего врача. Это вынесло его на площадь и там покинуло; он ощущал ее — притаившуюся, когтистую, думая Даже если я не найду настоящего врача. Потому что я никогда не верил, что он понадобится. Я не верил* — вскачъ неслось в уме, парной упряжь парадокса соединенное с необходимостью спешить, пока они со стариком доктором искали ключ от несгораемого ящика, чтобы достать ключ от машины. Наконец они его нашли, и необходимость спешить на время совпала с движением, с быстрой ездой по пустынной дороге, под пустынным рассветным небом — или, может быть, он просто взвалил всю действительность, весь свой страх и ужас на доктора, как обычно делают люди. Так или иначе, это привело его назад к хибарке, где он и доктор вылезли из машины и подошли к двери, за которой еще горела лампа: то был последний просвет покоя, за которым на него обрушился удар и когтистая тварь набросилась сзади. Он услышал крик младенца. И тогда понял. День разгорался быстро. Он тихо стоял, окруженный прохладным покоем, пробуждающейся тишиной — маленький, неприметный человек, на которого ни разу в жизни не оглянулись на улице — ни мужчина, ни женщина. Теперь он понимал, что все это время что-то охраняло его, мешая поверить,— верой охраняло. Со строгим, суровым изумлением он думал *Как будто пока миссис Хайнс меня не звала, пока я не услышал ее, не увидел ее лицо, не увидел, что Байрон Банч для нее сейчас нуль,— до тех пор я как будто не понимал, что она не девушка. И он подумал, что это ужасно, но это еще не все. Было что-то еще. Он не опускал головы. Он неподвижно стоял под разгоравшимся небом, и мысль тихо шла дальше. Значит, и это припасено для меня, как говорит преподобный Хайтауэр. Теперь я должен сказать ему. Должен сказать Лукасу Берчу. И в этом уже не было горького спокойствия. Это было что-то вроде страшного и неисцелимого отчаяния подростка. Ведь до сих пор я даже не верил, что он такой. Как будто я и она и все остальные, кого я в это втянул, были не нами, а просто кучей слов, которые ничего не значат, а сами-то мы все гнули и гнули свое и никакой нехватки слов не чувствовали. Да. Ведь я до сих пор не верил, что он — Лукас Берч. Что был такой Лукас Берч на свете.*

— Удачнее,— говорит Хайтауэр,— удачнее. Не знаю, такая ли уж это удача.

Но врач уже вошел в хибарку. Задержавшись еще на секунду, Хайтауэр наблюдает через плечо за группой у койки, слышит бодрый голос врача. Старуха сидит тихо, но Хайтауэру кажется, что не далее как секунду назад отнимал он у нее младенца, чтобы она не выронила его в припадке немного и яростного ужаса. И немота не могла

скрыть ярости, когда старуха выхватила ребенка чуть ли не из материнского тела, высоко подняла на руках и, пригнувшись, грузная, похожая на медведицу, свирепо воззрилась на старика, спавшего на койке. Он уже спал, когда пришел Хайтауэр. Казалось, он совсем не дышал — а возле койки, на стуле, пригнувшись, сидела старуха. Она напоминала скалу, нависшую над пропастью, и в первый миг Хайтауэр подумал: *Она его уже убила. На этот раз вовремя приняла меры предосторожности.* Потом ему было не до нее; старуха находилась рядом, но он не замечал этого, пока она не выхватила еще бездыханного младенца и не подняла вверх, влившись в спящего на другой койке старика взглядом тигрицы. Потом новорожденный вдохнул воздух и закричал, и старуха будто откликнулась — тоже на неведомом языке, дико и торжествующе. Пока он боролся с ней, отнимая ребенка, чтобы она его не выронила, лицо у нее было почти маниакальное.

— Поглядите,— сказал он.— Смотрите! Он спит. На этот раз он его не унесет.

А она все смотрела на него, немо, по-звериному, словно не понимая человеческой речи. Но ярость, торжество ушли с ее лица: она хрипло скулила, пытается отнять у него ребенка.

— Только поосторожнее,— сказал он.— Поосторожнее, ладно?

Она кивнула, скуля, тихонько щупая ребенка. Но руки у нее не дрожали, и он отдал ей ребенка. И теперь она сидит, держа его на коленях, а опоздавший врач стоит возле койки, разговаривает бодрым ворчливым голосом и что-то быстро делает руками. Хайтауэр отворачивается, выходит и осторожно, по-стариковски спускается со сломанной приступки на землю, будто в дряблом его брюшке спрятано что-то смертоносное и гремучее, как динамит. Уже не заря — утро на дворе: встало солнце. Он остановился, озирается; зовет: «Байрон». Ответа нет. Потом он видит, что мула, который был привязан неподалеку к заборному столбу, тоже нет. Он вздыхает. «Так,— думает он.— В довершение всех бед, которые я терплю от Байрона, я должен две мили идти пешком до дома. Это недостойно Байрона, ненависти. Впрочем, деяния наши часто нас недостойны. А также мы — своих деяний».

Он медленно бредет к городу — худой мужчина с брюшком, в замусоленной панаме и грубой бумажной ночной рубаше, кое-как заправленной в черные брюки. «Хорошо еще, что я не слишком поторопился и надел туфли,— думает он.— Я устал,— думает он с досадой.— Устал и не смогу заснуть». Он думает об этом с досадой, устало, в ритме шагов — и сворачивает в свою калитку. Солнце уже высоко, город проснулся; там и сям тянет дымом — готовят завтрак. «Самое малое, что он мог бы для меня сделать,— думает он,— после того, как не оставил мне мула, это поехать вперед и растопить у меня печку. Раз уж он считает, что мне полезна для аппетита двухмильная прогулка».

Он идет на кухню и растапливает плиту — медленно, неумело, так же неумело, как в первый день, двадцать пять лет назад; потом ставит кофе. «И опять лягу,— думает он.— Хотя уверен, что не засну». Но он замечает, что мысли у него сварливые, как мирное нытье сварливой женщины, которого не слушает даже она сама; тут он обнаруживает, что готовит себе по привычке обильный завтрак, и замирает на месте, прищелкивая языком как бы от неудовольствия. «Я должен был бы чувствовать себя хуже»,— думает он. Но вынужден признать, что этого нет. Он стоит, высокий, мешковатый, заброшенный, в своей заброшенной и запущенной кухне, держа в руке чугунную сковородку с тусклой пленкой вчерашнего жира,— и волна, прилив чего-то, почти горячего, почти торжества, накатывает на него. «Я им показал! — думает он.— Жизнь еще дается в руки старику, а они опаздывают. Им достаются лишь последки, как сказал бы Байрон». Да, это — тщеславие и суетная гордость. Но медленно спадающей горячей волне — все равно, она глуха к укорам. Он думает: «Ну и что? Ну и что ж, что я их испытываю? Торжество и гордость? Ну и что? Но тепло, волна, по-видимому, и к этому безразличны, не нуждаются в поддержке: не остужает их и вещественность апельсина, яичницы и поджарившегося хлеба. А он, глядя на грязные пустые тарелки на столе, говорит уже вслух: «Честное слово. Я их даже мыть сейчас не буду» — и в спальню не идет, хотя ночью не выспался. Он подходит к двери и заглядывает туда, все еще согретаемый ощущением цели и гордостью, думает: «Ну, это если бы я был женщиной. Женщина бы так и сделала — легла бы в постель». Он идет в каби-

нет. Он движется, как человек, имеющий перед собой цель,— он, который двадцать пять лет совсем ничего не делал от того мгновения, когда проснулся, и до того, когда заснул опять. И книга, которую он берет теперь,— не Теннисон: он и здесь выбирает мужскую пищу. Это «Генрих IV» — и выйдя на задний двор, он ложится в провисший шезлонг под шелковицей — плюхается тяжело и с размаху. «А поспать мне не удастся,— думает он,— потому что скоро явится Байрон и опять разбудит. Впрочем, узнать, какое еще дело он для меня придумал,— это, может быть, и стоит сна».

Он засыпает быстро, почти сразу, с храпом. Если бы кто-нибудь подошел и заглянул в кресло, то увидел бы под двумя сияющими осколками неба в очках — невинное, мирное и уверенное лицо. Но никто к нему не подходит, хотя, когда он просыпается — почти шесть часов спустя, — ему кажется, что его кто-то звал. Он порывисто садится, кресло под ним скрипит.

— Да? — говорит он. — Да? Что такое?

И хотя никого нет, он озирается, как бы ожидая и прислушиваясь, с тем же волевым и уверенным выражением лица. И радость в нем тоже не остыла. «А я надеялся, что прослаюсь и остыну,— думает он и сразу поправляет себя: — То есть нет. Не надеялся, конечно. Я хочу сказать — боялся... И так, я все же сдался,— думает он молча, не шевелясь. Потом потирает руки, сперва — логонько, чуть виновато.— Все же сдался. И я себе позволю. Да. Может быть, и это для меня припасено. И я не буду противиться». И он говорит про себя *Ребенка принял я. В мою честь еще никого не называли. И я ведь знаю случаи, когда благодарная мать называла его в честь доктора, который помогал ей разрешиться. Впрочем, есть Байрон. Право первенства, конечно, за ним. Ей придется рожать еще, и не одного,— он вспоминает молодое сильное тело, даже там, в родовых муках, сиявшее мирным бесстрашием Не одного. Многих. В этом будет ее жизнь, ее судьба. И мирно повинувшись ей, доброе племя заселять будет добрую землю; из крепких этих чресл без спешки и суеты произойдут мать и дочь. Но теперь — порожденные Байроном. Бедный мальчик. Хоть и заставил меня возвращаться пешком.*

Он входит в дом. Бреется, снимает ночную рубашку и надевает ту, что носил вчера, потом — воротничок, батистовый галстук и панаму. Дорога до хибарки занимает меньше времени, чем оттуда домой, хотя идет он лесом, где ходьба тяжелее. «Надо делать это почаще,— думает он, чувствуя перемежающийся свет и жар солнца, жестокий, животворный запах земли и леса, громкую тишину.— От этой привычки тоже нельзя было отказываться. Но, может быть, они теперь обе возобновятся, пусть даже эта неравноценна молитве».

Он выходит из леса на дальний край выгона, который начинается у хибарки. За хибаркой он видит купу деревьев, где стоял сгоревший дом, но черных и немых головок, которые были некогда досками и балками, отсюда не видно. «Несчастливая женщина,— думает он.— Несчастливая, бесплодная женщина. Не дожить всего недели до той поры, когда счастье вернулось в эти места. Когда счастье и жизнь вернулись на эти бесплодные и загубленные земли». И видятся, чудятся ему призраки тучных нив и щедрой, плодоносной черной жизни в этой стороне, грудные крики, плодовые женщины, голые детишки в пыли перед дверьми; и спать — большой дом, шумный, оглашаемый дисканговыми криками потомства. Он подходит к хибарке. Не стучится; уже отворяя дверь, спрашивает веселым, раскатистым голосом:

— Можно доктору войти?

В хибарке только мать и дитя. Она лежит высоко на подушках, ребенок — у груди. Хайтауэр входит в тот миг, когда она прикрывает голую грудь простыней, глядя на дверь без всякой тревоги, но внимательно — и лицо у нее ясно и приветливо, будто она сейчас улыбнется. У него на глазах это выражение гаснет.

— А я думала... — произносит она.

— Вы думали, это кто? — говорит, рокошет он.

Подходит к койке и смотрит на нее, на крохотное сморщенное терракотовое личико ребенка, которое будто подвешено — спящее и лишенное тела — к ее груди. Скромно и безмятежно она подтягивает повыше простыню, а лысый худой мужчина с брюшком стоит над ней, и его ласковое лицо светится торжеством. Она смотрит на ребенка.

— За ним прямо не утонишься. Думаю, уже заснул, кладу его, а он опять кричит, опять подносить надо.

— Нехорошо вам тут оставаться одной,— говорит он. Оглядывается.— А где...

— Она тоже ушла. В город. Она этого не сказала, но я знаю, что туда. Он улизнул, а она, когда проснулась, спросила меня, где он, я сказала — ушел, и она пошла за ним.

— В город? Улизнул? — Потом он тихо произносит: — А-а.

Лицо его сделалось серьезным.

— Она за ним весь день следила. А он за ней. Я видела. Притворялся, будто спит. Она и думала, что спит. Ну и сморило ее после обеда. Прошлую-то ночь совсем не отдыхала, а как пообедала, села на стул и задремала. А он следил за ней, встал потихоньку со своей койки, моргает мне, гримасы строит. Пошел к двери, а сам все моргает через плечо, гримасы строит, и на цыпочках — за порог. Я его не останавливала и ее будить не стала.— Она смотрит на Хайтауэра широко раскрытыми, серьезными глазами.— Боялась. Разговор у него чудной. И смотрит как-то не так. Вроде моргает и гримасы строит не для того, чтобы я ее не будила, а будто показать хочет, что со мной будет, если разбужу. Я и забоялась. Ну и лежала тут с маленьким, а вскорости она сама встрепнулась. Тут я и поняла, что засыпать-то она не хотела. Проснулась она словно уже на ходу, когда к его койке бежала, и трогает ее, словно не верит, что он ушел. Стоит возле койки и по одеялу хлопает, словно ищет, не завалился ли он где под одеялом. А потом на меня посмотрела, раз только. И не моргала, гримас не строила, но лучше бы уж, кажется, моргала. И спросила меня, я сказала, тогда она надела шляпу и ушла.— Она смотрит на Хайтауэра.— И рада я, что ушла. Нехорошо, верю, так говорить после всего, что она для меня сделала. Да ведь...

Хайтауэр стоит над койкой. Он как будто не видит ее. Лицо его очень серьезно; кажется, что оно постарело на десять лет, пока он тут стоял. Или стало выглядеть так, как должно выглядеть, а когда он входил в комнату — было чужим самому себе.

— В город,— говорит он. Тут его глаза оживают, снова начинают видеть.— Что ж. Теперь ничего не поделаешь,— говорит он.— Кроме того, люди в городе... нормальные... найдется же там несколько человек... Почему вы рады, что они ушли?

Она опускает взгляд. Ее рука движется около головы ребенка, не прикасаясь к ней,— жест инстинктивный, ненужный и, по-видимому, неосознанный.

— Она ко мне добра была. Мало сказать, добра. Маленького держит, чтобы я отдохнуть могла. Все время бы его держала, сидя на этом вот стуле... Вы уж меня извините. И сесть-то вас не пригласила. — Она смотрит на него, пока он подтаскивает к койке стул и садится.— ...Сидит так, чтобы его видеть, а он на койке, притворяется, будто спит.— Она внимательно смотрит на Хайтауэра; в глазах ее вопрос.— Все время зовет его Джо. Когда имя у него совсем не Джо. А она все время...— Она следит за лицом Хайтауэра. В ее глазах озадаченность, вопрос, сомнение.— Все время говорит про... Путаает она чего-то. Я и сама порой путаюсь — послушаешь ее... а как не слушать-то...— Ее глаза, ее слова нащупывают что-то, растерянно ищут.

— Путаает?

— Все время говорит про него, как будто его папа — этот... который в тюрьме, этот мистер Кристмас. Она все твердит, и я путаться начинаю, иногда прямо не могу... прямо сама путаюсь и тоже думаю, что папа его — этот мистер... мистер Кристмас...— Она наблюдает за ним; кажется, что она совершает над собой какое-то мучительное усилие.— Знаю же, что не он. Понимаю, что — глупость. Все потому, что она твердит и твердит, а я не совсем, что ли, окрепла и сама начинаю путаться. И страшно...

— Что?

— Не нравится мне, что путаюсь. И боюсь, запутаает она меня совсем — вроде, как говорят, если глаза сведешь к носу, так потом и останешься...— Она смотрит в сторону. Не шевелится. Чувствует, что он наблюдает за ней.

— Вы говорите, ребенка зовут не Джо. А как его зовут?

Она не сразу переводит взгляд на Хайтауэра. Потом поднимает глаза. И отвечает — слишком быстро, слишком легко:

— Я его еще не назвала.

И он понимает — почему. Он будто видит ее впервые с тех пор, как вошел. Впервые замечает, что волосы ее недавно расчесаны и лицо тоже как-то посвежело, и

видит наполовину прикрытые простыней, словно она сунула их туда впопыхах при его появлении, гребень и осколок зеркала.

— Когда я вошел, вы кого-то ждали. Причем — не меня. Кого вы ждали?

Она не отводит взгляда. В лице ее не заметно ни притворства, ни простодушия. Нет в нем также спокойствия и безмятежности.

— Ждала?

— Вы ждали Байрона Банча?

Она по-прежнему не отводит взгляда. Лицо у Хайтауэра серьезное, твердое, ласковое. Но есть в нем та безжалостность, какую ей случилось видеть на лицах хороших людей, ей встречавшихся, — обычно мужчин. Он наклоняется и кладет ладонь на ее руку, которая поддерживает тельце ребенка.

— Байрон хороший человек, — говорит он.

— Да, я это знаю не хуже других. Наверно, даже лучше.

— И вы хорошая женщина. Будете ей. Я не хочу сказать... — быстро поправляется он. И умолкает. — Я не хотел сказать...

— Я понимаю, — говорит она.

— Нет. Не это. Это не важно. Это пока ничего не значит. Все зависит от того, как вы потом этим распорядитесь. С собой. Другими. — Он смотрит на нее; она не отводит взгляда. — Отпустите его. Прогоните от себя. — Они смотрят друг на друга. — Дочь моя, отошлите его. Вы, наверно, почти вдвое его моложе. Но прожили вы вдвое больше него. Он вас никогда не догонит, никогда не сравняется с вами: он потерял слишком много времени. И это — его ничто — также непоправимо, как ваше все. Он так же бессилен вернуться вспять и что-то сделать, как вы — отменить сделанное. У вас мальчик — не от него, от другого мужчины. В его жизнь войдут двое мужчин и только третья часть женщины, а он заслуживает хотя бы того, чтобы в его жизнь, тридцать пять лет не занятую ничем, вторглись — если уж должны вторгнуться — без двух свидетелей. Прогоните его.

— Не мое это дело. Он свободен. Спросите его. Я его никогда не держала.

— В том-то и дело. Вы, вероятно, не удержали бы его, если бы старались. В том-то и дело. Если бы вы умели за это взяться. Впрочем, если бы вы умели, вы не лежали бы тут на койке с грудным ребенком. Так вы не хотите прогнать его? Не хотите сказать ему решительно?

— Больше, чем сказала, я не могу сказать. Я ему пять дней назад сказала «нет».

— «Нет»?

— Он хотел, чтобы мы поженились. Сразу же. А я сказала «нет».

— А сейчас бы вы сказали «нет»?

Она смотрит на него с твердостью.

— Да. И сейчас бы сказала.

Он вздыхает, большой, мешковатый; лицо у него опять усталое, безвольное.

— Я вам верю. Вы будете говорить это, пока не убедитесь... — Он опять смотрит на нее; опять его взгляд внимателен, пристален. — Где он? Байрон.

Она смотрит на него. Немного погодя тихо отвечает:

— Не знаю. — Она смотрит на него; внезапно лицо ее становится пустым, словно его покидает что-то, придававшее ему физическую определенность, твердость. В нем нет и тени притворства, настороженности или опаски. — Он приходил сегодня утром, часов в десять. Не вошел. Подошел к двери, стоит и смотрит на меня. Я ведь его не видела с прошлой ночи, а он мальчика не видел, и я ему говорю: «Зайдите, посмотрите на него»; а он поглядел на меня и говорит все оттуда же, из-за двери: «Я пришел узнать, когда вы хотите с ним увидеться»; я говорю: «С кем?»; а он говорит: «Им, наверно, придется послать с ним помощника шерифа, но я сумею уговорить Кеннеди, чтобы он его отпустил»; я говорю: «Кого?»; он говорит: «Лукаса Берча»; я говорю: «Да»; а он говорит: «Сегодня вечером? Вас устроит?»; и я сказала: «Да», и он ушел. Постоял там, а потом ушел.

Она плачет, и Хайтауэр смотрит на нее с тем отчаянием, которое охватывает мужчину при виде женских слез. Она сидит выпрямившись, держа ребенка у груди, и плачет — не громко и не горько, но с терпеливым и безнадежным смирением, не пряча лица.

— А вы меня пытаете, сказала ли я «нет», а я уже сказала «нет», а вы все пытаете и пытаете, а он уже ушел. И я его больше не увижу.

Он продолжает сидеть, и она наконец опускает голову; тогда он поднимается и, положив руку на ее склоненную голову, думает *Слава Богу, Боже, помоги мне. Слава Богу, Боже, помоги.*

В лесу он набрел на тропинку к фабрике, которую протоптал Кристмас. Он не знал, что она существует, и теперь, поняв, куда она ведет, в ликовании своем воспринимает это как добрый знак. Он верит Лине, но хочет получить подтверждение ее словам — просто ради удовольствия еще раз это услышать. Когда он приходит на фабрику, времени только четыре часа. Он наводит справки в конторе.

— Банч? — переспрашивает счетовод. — Вы его здесь не найдете. Он сегодня утром уволился.

— Знаю, знаю, — говорит Хайтауэр.

— Семь лет работал, даже субботными вечерами, а сегодня утром пришел и сказал, что увольняется. Никаких объяснений. Вечно с ними так, с деревенскими.

— Да, да, — подхватывает Хайтауэр. — Одвако они славные люди. И мужчины славные, и женщины.

Он выходит из конторы. Дорога в город ведет мимо строгального цеха, где работал Байрон. Он знаком с мастером Муни. Остановившись рядом с ним, он говорит:

— Я слышал, Байрон Банч у вас больше не работает?

— Да, — отвечает Муни. — Уволился нынче утром.

Но Хайтауэр не слушает; люди в комбинезонах наблюдают за потрепанным, странно сложенным, малознакомым господином, который разглядывает с восторженным любопытством стены, доски, загадочные механизмы, чье устройство и назначение он не способен понять и даже заучить.

— Если он вам нужен, — продолжает Муни, — я думаю, вы найдете его в городе, в суде.

— В суде?

— Да. Сегодня заседает большой суд присяжных. Срочно созван. Чтобы вывести обвинение убийце.

— Да, да, — говорит Хайтауэр. — Значит, его нет. Так. Славный молодой человек. Всего хорошего, всего хорошего, джентльмены. Всего вам хорошего.

Он идет дальше, и люди в комбинезонах смотрят ему вслед. Руки он сцепил за спиной. Он шагает, спокойно и грустно размышляя: «Бедняга. Бедный малый. Нет и не может быть оправдания человеку, отнимающему у другого жизнь, и меньше всего — должностному лицу, доверенному слуге своих сограждан. И если на это все-народно уполномочивают слугу закона, который знает, что его жертва — называйте эту жертву как угодно — ему зла не причиняла, чего же ждать тогда от обыкновенного человека, который убежден, что его жертва причинила ему зло». Он идет уже по своей улице. Вскоре показывается забор, вывеска; затем среди густой августовской листвы — дом. «Итак, он отбыл, не зайдя ко мне попрощаться. После всего, что он для меня сделал. Принес мне. Да: дал, вернул мне. Можно подумать, что и это было припасено для меня. Но теперь уж, наверно, — все».

Но это не все. Для него припасено кое-что еще.

18

Когда Байрон пришел в город, выяснилось, что он не сможет увидеться с шерифом до полудня: шериф все утро будет на заседании суда.

— Вам придется подождать, — сказали ему.

— Хорошо, — сказал Байрон. — Я умею.

— Что умеете?

Но он не ответил. Выйдя от шерифа, он встал под портиком, обращенным к южной стороне площади. Над узкой, вымощенной плитами галереей поднимались к сводам каменные колонны со следами многих непогод и жующих табак поколений. Под ними

размеренно и неутомимо, с бесцельной сосредоточенностью, напоминая монахов на монастырском дворе, прохаживались (а среди них стояли неподвижно или что-то целили друг другу сквозь зубы сравнительно молодые мужчины, горожане — частью знакомые Байрону конторщики, адвокаты и даже торговцы, вдруг сделавшиеся похожими благодаря одинаковому выражению властности в облике, как у полицейских в штатском, которых не очень заботит, высовывается из-под штатского полицейский или нет) деревенские в комбинезонах и, тихо беседуя между собой о деньгах и урожае, тихо поглядывали наверх, где суд присяжных при закрытых дверях готовился отнять жизнь у человека, которого мало кто из них видел и знал в лицо — за то, что он отнял жизнь у женщины, которую еще того меньше знали и видели. На площади выстроились повозки и запыленные машины, привезшие их в город, а по улицам и магазинам бродили стайками приехавшие с ними жены и дочери — медленно и тоже бесцельно, как скот или облака. Байрон стоял там довольно долго, не шевелясь, ни к чему не прислоняясь, — и хотя он прожил в городе семь лет, имя и лицо этого щуплого человека были знакомы деревенским еще меньше, чем имя и лицо убийцы или убитой.

Но Байрон об этом не думал. Теперь ему было все равно, хотя какую-нибудь неделю назад он чувствовал бы себя по-другому. Тогда он не стоял бы здесь, где всякий может увидеть его и, чего доброго, узнать: *Байрон Банч — пожал, чего не сеял, хлопотал о чужой девке, пока ее милый добывал тысячу долларов. И ничего за это не получил. Байрон Банч — охранял ее доброе имя, когда она выкинула это доброе имя на помойку, помогал родить пригульного ребенка в тишине и покое, взял на себя все расходы, и за это ему позволили послушать гетский крик. Не получил ничего, кроме разрешения привести к ней обратно другого мужчину, когда он выколотит свою тыщу, и Байрон станет не нужен. Байрон Банч.* «Теперь я могу уехать», — подумал он. Он начал глубоко дышать. Он чувствовал, что дышит глубоко, словно каждый раз тело пугалось, что при следующем вдохе оно недоберет воздуха и случится что-то ужасное, и что в любой миг он может взглянуть на свою грудь — дышит ли — и не увидит никакого движения, как в динамитном патроне, когда он только начинает, напрягается для вот Вот ВОТ, а форма, наружность палочки не меняется; что прохожие, глядя на него, не замечают перемены: щуплый человек, на котором не удержишь взгляда, а взглянув — никогда не поверишь, что он мог сделать столько, сколько сделал, и чувствовать столько, сколько чувствовал; который верил, что там, на фабрике, в субботу после отбоя, когда он один, у него не будет случая причинить себе горе.

Он шел среди людей. «Мне надо куда-то уехать», — думал он. Он мог шагать в такт: «Мне надо куда-то уехать». Это поможет ему идти. Он все еще повторял эти слова, когда подошел к пансиону. Его комната выходила на улицу. Еще не осознав, что он смотрит в ту сторону, он уже отвел взгляд. «Еще увижу, как кто-нибудь читает или курит в окне», — подумал он. Он вошел в коридор. После солнечного утра глаза ничего не видели. Он чувствовал запах влажного линолеума, мыла «Все еще понедельник», — подумал он. — Я уж и забыл. Может, это — следующий понедельник. По всему похоже, что так». Он не дал знать о себе голосом. Глаза понемногу привыкли к темноте. Послышались шлепки швабры то ли в конце коридора, то ли на кухне. Затем в прямоугольнике света — задней двери, тоже открытой, — показалась наклоненная голова миссис Бирд, а затем, силуэтом, вся фигура, двигавшаяся по направлению к нему.

— Так, — сказала она, — это мистер Банч. Мистер Байрон Банч.

— Я, — сказал он, думая: «Только толстая женщина, у которой забот в жизни разве что на это ведро наберется, не постарается быть...» Опять он не смог придумать слово, которое Хайтауэр наверняка бы знал и произнес не задумавшись. «Видно, я без него не только сделать ничего не могу — я и думать не могу без его помощи». — Я... — сказал он. И стоял там не в силах даже объяснить, что пришел попрощаться. «Может, и нет, — размышлял он. — Когда человек прожил в комнате семь лет, его не выселяют в один день. Только вряд ли это помещает ей сдать комнату другому». — Я, кажется, задолжал вам за комнату, — сказал он.

Она смотрела на него: строгое располагающее лицо, и нельзя сказать, что недоброжелательное.

— За что задолжали? — удивилась она. — Я думала, вы устроились. Переселились на лето в палатку. — Она смотрела на него. И тут наконец сказала. Она сделала это мягко и деликатно — в меру возможности. — Мне уже заплатили за эту комнату.

— А-а, — сказал он. — Ну да. Понятно. Ну да. — Он спокойно взглянул на чистую, застланную линолеумом лестницу, истертую в числе прочих и его ногами. Три года назад, когда настелили новый линолеум, он первым из жильцов поднялся по ней наверх. — Да, — сказал он. — Тогда мне, пожалуй, надо...

Она ответила и на это, сразу, без недоброежелательства:

— Я уже все сделала. Все, что вы оставили, собрала в ваш чемодан. Он у меня в комнате. Но если хотите, можете сами подняться и посмотреть.

— Нет. Я думаю, вы собрали все до... Ну я, пожалуй...

Она наблюдала за ним.

— Эх вы, мужчины, — сказала она. — Не удивительно, что у женщин не хватает на вас терпения. Даже в шалопутстве меры не знаете. А мера-то, по правде сказать, — наперсток. И думаю, не приспособь вы какую-нибудь женщину себе на подмогу, вас бы всех до единого мальцами десятилетними уволокли бы в рай.

— По-моему, у вас нет причин говорить про нее плохо, — возразил он.

— Пусть так. А на что они? Женщине, чтобы другую бранить, причин не требуется. Спору нет, все эти разговоры по большей части идут от женщин. Но если бы соображения у вас было не как у мужчины, а побольше, вы бы знали: если женщина что и говорит, у ней это ничего не значит. Это мужчины принимают свои разговоры всерьез. И если кто имеет что-нибудь против нее и вас, то вовсе не женщины. Ведь всякой женщине понятно, что нет у ней причин плохо к вам относиться — даже если забыть про ребенка. И не только к вам — пока что к любому другому мужчине. Не с чего ей. Разве вы со священником, да и все остальные мужчины, которые про нее знают, не сделали для нее все, чего она только пожелать могла? С чего бы ей плохо относиться? Скажите на милость.

— Да, — промолвил Байрон. Он уже не смстрел на нее. — Я пришел...

Она ответила и на это, прежде чем он договорил:

— Вы, наверно, скоро от нас уедете. — Она наблюдала за его лицом. — Что они там надумали, нынче утром в суде?

— Не знаю. Они еще не кончили.

— Известное дело. Потратят времени, трудов и денег казенных прорву, чтобы разобраться там, где нам, женщинам, хватило бы десяти минут в субботний вечер. Надо же быть таким дураком. Конечно, в Джефферсоне по нем скучать не будут. Как-нибудь без него проживем. Но надо же быть таким дураком: подумать, будто мужчине от убийства женщины больше проку, чем женщине от убийства мужчины... Другого, наверно, теперь отпустят.

— Да. Наверно.

— А ведь сначала думали, что он ему помогал. И теперь отдадут ему тысячу долларов — показать, что, мол, зла на тебя не держим. А тогда они смогут пожениться. Ведь так примерно, нет?

— Так. — Он чувствовал, что она наблюдает за ним без недоброежелательства.

— Вот я и думаю, что скоро вы от нас уедете. Думаю, как бы сказать, сыты вы Джефферсоном, а?

— Да вроде того. Думаю подаваться...

— Джефферсон, конечно, городок хороший. Но не такой хороший, чтобы вольный человек вроде вас не нашел себе другого, где тоже можно время переводить на баловство и огорчения... А чемодан, если надо, можете оставить здесь, пока не соберетесь.

Он подождал до полудня, а потом еще немного. Подождал, пока шериф, по его представлениям, не закончил обед. И тогда пошел к шерифу домой. Он не стал входить. Он ждал у дверей, пока шериф не вышел — толстый человек с маленькими мудрыми глазками, упрятанными в толстое неподвижное лицо, как две чешуйки слюды. Они пошли рядышком, в тень, под дерево. Скамейки не было; на корточки, вопреки обыкновению (оба выросли в деревне), они тоже не сели. Шериф спокойно выслушал человека — спокойного, невысокого человека, который семь лет был для города не особенно интересной загадкой и семь дней — чуть ли не бельмом на глазу.

— Понятно,— сказал шериф.— Вы считаете, что им пора пожениться.

— Не знаю. Это его дело и ее. Но думаю, надо бы ему пойти ее проведать. По моему — самое время. Вы можете послать с ним помощника. Я ей сказал, что он вечером придет. А что они там решат — это дело его и ее. Не мое.

— Само собой,— сказал шериф.— Не ваше.— Он смотрел на Байрона сбоку.— А вы-то что собираетесь делать, Байрон?

— Не знаю.— Он тихонько возил ногой по земле и наблюдал за ней.— Думаю податься в Мемфис. Года два об этом подумываю. Может, уеду. А чего в этих маленьких городишках?

— Конечно. Мемфис — город неплохой, если любишь городскую жизнь. Опять же семья на вас не висит, тащить за собой некого. Будь я одинокий да лет на десять помоложе, я бы, наверно, так же сделал. Да и устроился бы, глядишь, получше. Надо понимать, вы прямо сейчас собираетесь?

— Наверно, скоро.— Он поднял голову, потом снова опустил. Сказал: — Утром уволился с фабрики.

— Само собой,— сказал шериф.— Я догадываюсь, что вы не успели бы пройти такой конец с двенадцати, а к часу вернуться обратно. Ну, кажется...

Он замолчал. Он знал, что к вечеру присяжные вынесут Кристмасу обвинительный приговор, а Брауна — или Берча — отпустят на все четыре стороны с условием явиться в будущем месяце на суд в качестве свидетеля. Хотя, на худой конец, обойдутся и без него, ибо Кристмас не отпирался, и шериф предполагал, что он признает себя виновным, чтобы остаться в живых. «Да и не вредно будет нагнать на сукина сына страху хоть раз в жизни», — подумал он. И продолжал:

— Ну что ж, это можно устроить. Вы правы, я, конечно, пошлю с ним помощника. Хотя он и не сбежит, пока есть надежда сорвать часть премии. При том, что он не знает, кто его там встретит. Он этого еще не знает.

— Да,— подтвердил Байрон.— Не знает. Не знает, что она в Джефферсоне.

— Ну что ж, так и сделаем — отправим его с помощником. Зачем — не скажем: отправим, и все. А может, сами хотите его проводить?

— Нет,— сказал Байрон.— Нет. Нет.— Но продолжал стоять.

— Так и сделаем. Вас уже, наверно, к тому времени не будет. С помощником его и наладим. В четыре, годится?

— Очень хорошо. Вы ей сделаете одолжение. Большое одолжение.

— А как же. Не я один — многие о ней заботились с тех пор, как она в Джефферсоне. Ну, я с вами не прощаюсь. Думаю, в Джефферсоне вас еще увидим. Не встречал я человека, чтобы пожил здесь, а потом уехал навсегда. Вот разве этот, который в тюрьме. Но он, думаю, признает себя виновным. Чтобы остаться в живых. Хотя все равно уедет из Джефферсона. Несладко сейчас старухе, которая признала в нем внука. Когда я шел домой, старик ее был в городе, кричал и скандалил, людей обзывал трусами за то, что не вытащат его из тюрьмы на расправу.— Он начал пофыркивать.— Лучше бы поостерегся, не то доберется до него Перси Grimm со своим войском.— И сразу посерьезнел.— А ей несладко. Вообще женщинам — Он посмотрел на Байрона сбоку.— Нам тут многим пришлось несладко. А все же возвращайтесь-ка вы поскорее. Может быть, в другой раз Джефферсон обойдется с вами не так плохо.

В четыре часа того же дня, спрятавшись в укромном месте, он видит, как неподалеку останавливается машина и помощник шерифа с человеком, известным под фамилией Браун, выходят из нее и направляются к хибарке. Браун сейчас без наручников, и Байрон видит, как они подходят к двери и помощник вталкивает Брауна в дом. Потом дверь за Брауном закрывается, а помощник садится на ступеньку и достает из кармана кисет. Байрон поднимается на ноги. «Теперь можно идти,— думает он.— Теперь можно». Прятался он в кустах на лужайке, где прежде стоял дом. За кустарником, невидимый ни из хибарки, ни с дороги, привязан мул. К вытертому седлу приторочен сади потрепанный желтый чемодан, не кожаный. Байрон садится на мула и выезжает на дорожку. Он не оглядывается назад.

В мирном, клонящемся полудне тянется вверх по холму мягкая рыжая дорога. «Ну, холм я выдержу,— думает он.— Холм я могу выдержать, человек может». Кру-

гом покой и тишина, обжитое за семь лет. «Похоже, что человек может выдержать почти все. Выдержать даже то, чего он не сделал. Выдержать даже мысль, что есть такое, чего он не в силах выдержать. Выдержать даже то, что ему впору упасть и заплакать, а он себе этого не позволяет. Выдержать — не оглянуться, даже когда знает, что оглядывайся, не оглядывайся, проку все равно не будет».

Склон все подымается; переходит в гребень. Байрон никогда не видел моря и поэтому думает: «Край, а за ним — как будто ничего. Как будто перевалишь через него и дальше поедешь никуда. Где деревья выглядят и зовутся не деревьями, а чем-то другим, и люди выглядят и зовутся не людьми, а чем-то другим. А Байрону Банчу — ему там тоже не надо быть или не быть Байроном Банчем. Байрон Банч со своим мулом не будут ничем, когда понесутся вниз, а потом раскалятся, как преподобный Хайтауэр говорил про камни, что носятся в пространстве, и, раскалясь от быстроты, сторают, и даже пепел ихний не долетает до земли».

Но за гребнем холма вырастает то, чему и полагается там быть: деревья как деревья, страшная и утомительная даль, сквозь которую, гонимый кровью, он должен влачиться во веки веков от одного неизбежного горизонта земли до другого. Исподволь вырастают они, не грозно, не зловеще. То-то и оно. Им нет до него дела. «Не знают и знать не хотят, — думает он. — Как будто говорят: Ну хорошо. Ты говоришь, страгаешь. Хорошо. Но, во-первых, почему тебе верить на слово? А во-вторых, ты только говоришь, что ты Байрон Банч. И в-третьих, ты просто тот, кто называет себя Байроном Банчем сегодня, сейчас, сию минуту... Раз так, — думает он, — чего ради я лишу себя удовольствия оглянуться и не выдержать этого?» Он останавливает мула и поворачивается в седле.

Он не предполагал, что отъехал так далеко и что гребень — на такой вышине. Мелкой чашей, простершись до другой гряды холмов, где раскинулся Джефферсон, лежат под ним некогда обширные владения того, что семьдесят лет назад называлось плантаторским домом. Но теперь плантация раздроблена бестолочью негритянских лагуч, лоскутами огородов и пустырями, изъязвленными эрозией и заросшими дубняком, лавром, хурмой и шиповником. А точно посередке все еще стоит дубовая роща, как стояла, когда строили дом, только дома теперь там нет. Отсюда не видно даже шрамов пожарища; и ни за что бы не угадать, где был дом, если бы не дубы да не развалина конюшня, да не хибарка позади, к которой устремлен его взгляд. Четко, покойно стоит она под послеполуденным солнцем, похожая на игрушку; как игрушечный, сидит на приступке помощник шерифа. Байрон смотрит, и вдруг как по волшебству из-за хибарки появляется мужчина, уже бегущий, выбегающий из задней части хибарки, — а помощник шерифа, ни о чем не подозревая, спокойно сидит перед дверью. Первое мгновение Байрон тоже сидит неподвижно, полуобернувшись в седле, и смотрит, как крохотная фигурка улепетывает по голому склону за хибаркой, к лесу.

И тут его как будто обдает холодным крепким ветром. Ветер свиреп и вместе с тем кроток; как мякину, сор или сухие листья, срывает и уносит он всю страсть и все отчаяние, безнадежность и горькую напрасную игру воображения. И кажется, тот же порыв отшвыривает назад его самого, опять порожного — отвезя от всего, чего в нем не было две недели назад, когда он с ней еще встретился. Желание этой минуты — больше, чем просто желание: это убеждение, спокойное и твердое; еще не успев осознать, что мозг протелеграфировал руке, он свернул с дороги и скачет по гребню, который параллелен пути беглеца, уже скрывшегося в лесу. Он даже не назвал про себя имя этого человека. Он ни на секунду не задумался о том, куда человек бежит и почему. Ему не приходит в голову, что Браун опять удирает, как он сам предсказывал. Если бы он задумался, то решил бы, наверно, что Браун занят — на свой странный манер — каким-то совершенно законным делом, касающимся его и Лины отъезда. Но он совсем об этом не думал; он совсем не думал о Лине; не вспомнил о ней ни на миг, будто отроду не видел ее лица и не слышал имени. Он думает: «Я заботился о его женщине, я помог ей родить его ребенка. И теперь могу сделать для него еще одно дело. Я не могу их поженить, потому что я не священник. И, наверно, не смогу его догнать, потому что он далеко оторвался. И отлупить его, наверно, не смогу, потому что он больше меня. Но могу попытаться. Попытаться я могу».

Когда помощник шерифа зашел за ним в тюрьму, Браун сразу спросил, куда его поведут. В гости, ответил помощник. Браун замер, обернув к нему милостливое, притворно-смелое лицо.

— Не к кому мне в гости ходить. Я тут чужой.

— Ты везде будешь чужой,— сказал помощник.— Даже дома. Пошли.

— Я американский гражданин,— возразил Браун.— У меня тоже есть права, хоть и не ношу жестяной звезды на помочах.

— Ну да,— сказал помощник шерифа.— А чем, по-твоему, я сейчас занимаюсь? Помогаю тебе вступить в свои права.

Браун просиял — его осенило:

— Они что... Они хотят заплатить...

— Премию? Ну да. Я тебя сам сейчас сведу в то место, где ты получишь свою премию, если не раздумал.

Это охладило Брауна. Но он пошел, хотя и приглядывался к помощнику шерифа подозрительно.

— Что это вы всё с вывертом делаете то? — сказал он.— В тюрьме меня держите, пока эти гады стараются меня обскакать.

— Не вылупилось, думаю, еще такого гада, чтобы в чем-нибудь тебя обскакал,— ответил помощник.— Пошли. Нас там ждут.

Они вышли из тюрьмы. На солнце Браун заморгал, озираясь по сторонам, потом дернул головой, по-лошадиному кося через плечо. У обочины ждала машина. Браун посмотрел на нее, а потом на помощника, очень серьезно, очень недоверчиво.

— Куда это мы едем? — спросил он.— С утра вроде мне и пешком недалеко было до суда.

— Уатт дал машину, чтобы легче было премию везти обратно,— пояснил помощник.— Залезай.

Браун хрюкнул.

— Чего это он вдруг захоптал насчет моих удобств? И в машине пожалуйста, и без наручников. И один несчастный охранник, чтобы я не сбежал.

— Я тебе бежать не мешаю,— ответил помощник шерифа. Он замер на миг, еще не тронув машину с места.— Прямо сейчас хочешь?

Браун уставился на него угрюмо, озлобленно, оскорбленно, подозрительно.

— Ясно,— сказал он.— Покупка. Я, значит, сбегу, а он тогда сам халнет тысячу долларов. Сколько из них он тебе обещал?

— Мне? Мы с тобой получим поровну, тютелька в тютельку.

Еще секунду Браун враждебно таранился на помощника. Потом выругался бесильно и зло, неизвестно, в чей адрес.

— Давай, что ли,— сказал он.— Ехать так ехать.

Они поехали на место пожара и убийства. То и дело, почти через равные промежутки, Браун дергал головой вверх и назад, как неседланый мул, бегущий по узкой дороге от автомобиля.

— Мы зачем сюда идем?

— За твоей премией,— отвечал помощник шерифа.

— Где же я ее получу?

— Вон в той хибарке. Там она дожидается.

Браун окинул взглядом черные угли, некогда бывшие домом, хибарку, где он прожил четыре месяца, потрепанную непогодами, беспризорно дремлющую на солнце. Лицо у него было хмурое и настороженное.

— Что-то тут нечисто. Этот Кеннеди... думает — нацепил жестяную бляху, так можно плавать на мои права...

— Шагай,— сказал помощник шерифа.— А не понравится тебе премия, так я тебя жду, отвезу обратно в тюрьму, когда пожелаешь. Когда пожелаешь, в любую минуту.

Он подтолкнул Брауна вперед, распахнул дверь хибарки, втолкнул его внутрь, закрыл за ним дверь и сел на ступеньку.

Браун услышал, как за ним захлопнулась дверь. Он еще двигался вперед по инерции. И вдруг, не успев окинуть комнату быстрым, лихорадочным, всеохватывающим взглядом, которому словно не терпелось обшарить все углы, он стал как вкопанный.

Лине было видно с койки, что белый шрамик возле рта бесследно исчез, словно прихлывувшая крозь сдернула шрам с лица; как белое с веревки. Она не проронила ни звука. Она лежала высоко на подушках, глядя на него трезвым взглядом, в котором не было ничего — ни радости, ни удивления, ни укора, ни любви,— между тем как на его лице, слонно издеваясь над предательским белым шрамиком, сменяли друг друга ошарашенность, возмущение и наконец форменный ужас, а загнанные глаза шныряли по пустой комнате. Ей было видно, как он усилием воли осадил их, словно пару напуганных лошадей, и стал заворачивать, чтобы они встретились с ее глазами.

— Так, так,— сказал он.— Так, так, так. Ты смотри — Лина.

Она видела, как он старается выдержать ее взгляд, удерживает свои глаза, словно лошадей,— понимая, что если они опять понесут, то он пропал, второй раз он их не повернет; не остановит. Она почти видела, как его ум кидается туда и сюда, загнанно, в ужасе, ища, что бы сказать языку, голосу.

— Ей-богу — Лина. Да, брат. Значит, ты получила мое письмо. Я, как приехал, сразу тебе послал, в прошлом месяце, как устроился, думал, потерялось... Этот малый, не знаю, как его звать, он сказал, что возьмет... С виду был ненадежный, да пришлось надеяться, а потом подумал, когда дал ему десять долларов тебе на дорогу...

Его голос замер, только в глазах не унималось отчаяние. И она по-прежнему видела, как мечется, мечется его ум, и без жалости, без всякого чувства наблюдала за ним серьезным, немигающим, невыносимым взглядом, наблюдала, как он тычется, шарахается, юлит, куда наконец остатки гордости — плачевные остатки гордости, усохшей до желания оправдаться,— не покинули его, лишь последнего прикрытия. И тогда она заговорила. Голос ее был тих, спокоен, холоден.

— Поди сюда,— сказала она.— Поди. Я ему не дам укусить тебя.

Он наконец сдвинулся с места, но — на цыпочках. Она заметила это, хотя уже не следила за ним. Она это знала, так же как знала, что сейчас он неуклюже и боязливо, с почтительной робостью подошел к ней и спящему ребенку. Но знала, что робеет он не перед ребенком и не из-за него. Она знала, что в этом смысле он ребенка даже не заметил. И все еще видела, чувствовала, как мечется, мечется его ум *Будет притворяться, что ему не страшно*, думала она. *У него хватит совести соврать, что он не боится, все равно как раньше хватило совести бояться из-за того, что врал.*

— Так, так,— сказал он.— Ну ты смотри, в самом деле ребенок.

— Да,— отозвалась она.— Может, сядешь?

Стул, который придвинул Хайтауэр, все еще стоял возле койки. Браун давно его заметил. *Для меня приготовила*, подумал он. И снова выругался, беззвучно, затравленно, с яростью *Ух, гады. Ух, гады.* Но на лице его, когда он сел, ничего не отражалось.

— Да, брат. Вот мы и опять. Прямо как я задумал. Я бы все уже для тебя приготовил, да вот заматался с делами. Ой, забыл совсем...

Он опять судорожно, по-лошадиному, покосился через плечо. Лина на него не смотрела. Она сказала:

— Тут есть священник. Он меня уже навещал.

— Замечательно,— проговорил он. Голос был громкий, сердечный. Но сердечность казалась такой же недолговечной, как тембр,— прекращалась вместе со звуком слов, не оставляя после себя ничего, даже ясно выраженной мысли, чтобы услышать ухом или принять на веру.— Просто замечательно. Вот только развяжусь с этими делами...

Глядя на нее, он произвел рукой неопределенное обнимающее движение. Лицо у него было пустое и бессмысленное. Глаза смотрели вкрадливо, настороженно, скрытно, а в глубине их таилось все то же отчаяние загнанного животного. Но она на него не глядела.

— Ты на какой теперь работе? На строгальной фабрике?

Он следил за ней.

— Нет. Уволился оттуда.— Его глаза следили за ней. Казалось, глаза — не его и не имеют отношения ни к нему самому, ни к тому, что он делает и говорит.— Батрачить по десять часов в день, как паршивому нигеру. У меня тут накопилось дельце подежней. Не то что это крохоборство — по пятнадцать центов в час. А как закончу, развяжусь там кой с какими мелочами, так мы с тобой сразу и...— Его глаза скрытно,

напряженно, пристально наблюдали сбоку за ее опущенным лицом. Она опять услышала слабый резкий звук, когда он дернул головой назад и вверх. — Ой, забыл совсем...

Она не пошевелилась. Сказала:

— Когда это будет, Лукас? — И услышала, ощутила мертвую тишину, мертвую неподвижность.

— Что когда?

— Сам знаешь. Про что ты говорил. Там, дома. Если бы я одна, все было бы ничего. Я никогда не обижалась. Но теперь другое дело. Теперь я имею право волноваться.

— А-а, это, — сказал он. — Это-то. Это ты не волнуйся. Дай мне только кончить дело, до денег добраться. Они мои законно. Пусть только эти гады попробуют...

Он осекся. Он уже повысил голос, словно забыл, где находится, или думал вслух. Теперь заговорил тише:

— Ты не думай — я все сделаю. Главное, не волнуйся. Я ведь тебя еще ни разу не заставил волноваться. Так ведь? Скажи.

— Да. Я никогда не волновалась. Я знала, что ты меня не подведешь.

— Конечно, знала. А эти гады... эти... — Он поднялся со стула. — Ой, забыл совсем...

Она не посмотрела на него и ничего не сказала, но он продолжал стоять, глядя на нее все тем же загнанным, отчаянным и наглым взглядом. Она как будто удерживала его тут и как будто знала это. И — отпустила его, сознательно, добровольно.

— Так у тебя, наверно, сейчас делов много.

— Честно сказать, да. Столько всякого навалилось, и еще эти гады...

Теперь она смотрела на него. Видела, как он поглядел на окно в задней стене. Потом он оглянулся на закрытую дверь. Потом поглядел на нее, на серьезное ее лицо, в котором либо ничего не отражалось, либо, наоборот, отражалось все — все, что можно знать. Он понизил голос:

— У меня тут враги. Эти люди не хотят мне отдать, чего я заработал. Вот мне и надо...

И опять она точно удерживала его, толкая его и испытывая на ту последнюю ложь, против которой восставали даже его плачевные подонки гордости; удерживала не веревкой, не рогаткой, но чем-то таким, от чего его ложь отлетала легковесно, как сор или листья. Но она не сказала ни слова. Только наблюдала, как он идет на цыпочках к окну и бесшумно открывает его. Потом он оглянулся. Возможно, он считал, что теперь он в безопасности, что сумеет выскочить в окно раньше, чем она дотронется до него рукой. А может быть, заговорили жалкие остатки стыда, как раньше — гордости. Потому что, когда он оглянулся на нее, с него как будто спала на миг защитная шелуха вранья и пустословия.

Он произнес почти шепотом:

— Там на дворе человек. За дверью караулит.

И вылез в окно, без звука, в один прием, как длинная змея. Из-за окна донесся короткий слабый звук — это он бросился бежать. И только тут она вышла из неподвижности — вздохнула тяжело, один раз.

— Теперь мне опять подыматься, — сказала она вслух.

Браун выходит из лесу к железнодорожной полосе отчуждения запыхавшись. Но — не от усталости, хотя за двадцать минут он покрыл почти две мили и дорога была не легкой. Это скорее злобное пыхтение спасающегося бегством зверя; а сейчас, когда он стоит перед пустынным полотном, поглядывая то налево, то направо, он и лицом напоминает зверя, который спасается в одиночку, особняком от собратьев, не желая их помощи, надеясь только на свои мускулы — и, остановившись на миг, чтобы перевести дух, ненавидит каждое дерево, каждую попавшуюся на глаза былинку как заядлого врага, ненавидит саму землю, на которой стоит, сам воздух, которого ему не хватает.

Он вышел на железную дорогу в нескольких сотнях метров от того места, куда метил. Это — вершина подъема, и товарные составы с юга вползают сюда с невероятным трудом, чуть ли не медленнее пешехода. Невдалеке от него двойная блестящая нить колеи будто обрезана ножницами.

Он стоит в лесу перед полосой отчуждения, спрятавшись за редкой изгородью де-

ревьев. Стоит с видом человека, занятого лихорадочными и безнадежными расчетами, словно обдумывая последний отчаянный ход в уже проигранной игре. Стоит еще немного, будто прислушиваясь, потом поворачивается и снова бежит, лесом, вдоль полотна. Кажется, он точно знает, куда ему нужно; вскоре ему попадается тропинка, он сворачивает на нее, по-прежнему бегом, и наконец выскакивает на прогалину, где стоит негритянская лачуга. Он подходит к ней спереди, уже шагом. На крыльце сидит и курит трубку старуха негритянка, голова ее обмотана белой тряпкой. Браун не бежит, но дышит тяжело, часто. Стараясь умирить дыхание, обращается к ней.

— Здорово, бабуся,— говорит он.— Кто тут есть живой?

Старуха вынимает трубку.

— Я есть. А вам кого надобно?

— Записку в город послать. По-быстрому.— Он задерживает дыхание, пока говорит.— Я заплачу. Есть тут кому сбежать?

— Самим-то верней, коли такая спешка.

— Сказано тебе, заплачу! — Повторяет он с каким-то терпеливым остервенением, сдерживая дыхание и голос.— Доллар, если живо отнесет. Есть тут, кто хочет заработать доллар? Ребята есть?

Старуха курит, глядя на него. Глаза на древнем черном непроницаемом лице созерцают его с отрешенностью небожителя, но отнюдь не милостиво.

— Доллар, стало быть?

Он отвечает неопишущим жестом — нетерпения, сдержанной ярости и чего-то, похожего на безнадежность. Он уже готов уйти, но его останавливает голос негритянки:

— Никого тут нет, я одна и ребятишек двое. Да они, небось малы для вас.

Браун оборачивается.

— Чего малы? Всего-то нужно, чтобы по-быстрому записку отнесли к шерифу и...

— К шерифу? Это вы не туда попали. Чтобы мои то шерифам болтались, не допущу. Мой-то нигер до того с шерифом подружился, что погостить у него вздумал. Да так домой и не вернулся. Вам бы еще где поискать.

Но Браун уже уходит. Пока что не бежит. Бежать еще не надумал; сейчас он вообще не способен думать. Бессильная ярость в нем граничит с экстазом. Он будто зачарован дивной, сверхъестественной какой-то безотказностью нечаянных своих провалов. И само то, что он так исправно обеспечен ими, как бы даже возвышает его над ничтожными человеческими желаниями и надеждами, которые ими упраздняются и сводятся на нет. Поэтому негритянке приходится крикнуть дважды, прежде чем он услышит и обернется. Она не сказала ни слова, не пошевелилась: просто окликнула его. Она говорит:

— Вот этот вам отнесет.

Возле крыльца, точно из-под земли выросши, стоит негр — то ли взрослый дурачок, то ли долговязый переросток. Лицо у него черное, застывшее и тоже непроницаемое. Они стоят и глядят друг на друга. Вернее, Браун глядит на негра. Глядит ли негр на него, ему не понять. И это тоже славно и логично и как нельзя кстати: что его последняя надежда и спаситель — скотина, у которой едва ли достанет умственных способностей найти город, не то что нужного человека. Снова Браун делает рукой неопишущий жест. Он рысью бежит назад, к крыльцу, хватаясь за карман рубашки.

— Отнеси записку в город и притащи ответ,— говорит он.— Сумеешь?

Но не ждет, что тот скажет. Вытащив из кармана замусоленную бумажку и огрызок карандаша, он нагибается над краем крыльца и на глазах у старухи старательно и торопливо выводит:

Уату Кенеди пожал100 дайте тому кто его принесет маи Деньги про песью 1000 за преступника Крмсма токо завирните в бумагу оставоc ваш

Он не подписывается. Он хватает записку с крыльца и пожирает ее взглядом, а старуха все смотрит на него. Он пожирает взглядом безобидную грязненькую бумажку и усердные торопливые каракули, в которые ухитрился вложить всю свою душу, а также жизнь. Потом он прищелпывает ее к крыльцу и выводит *не подписываюc сами знаите Кто*, складывает ее и протягивает негру.

— Отдай шерифу. Больше никому. Найдешь его?

— Если шериф его раньше не найдет,— вставляет старуха.— Дайте ему. Сыщете, если тот живой. Бери свой доллар, малый, да ступай.

Негр уже двинулся прочь. Теперь останавливается. Просто стоит, ничего не говоря, ни на кого не глядя. На крыльце сидит негритянка и, покуривая, смотрит сверху на слабое хищное лицо белого: лицо миловидное, как будто даже открытое, но усталостью — уже не просто физической — преображенное в маску затравленной лисы.

— Я думала, вам к спеху,— говорит она.

— Да,— отвечает Браун. Он вынимает из кармана монету.— На. А если за час принесешь мне ответ, получишь еще пять.

— Ступай, нигер,— приказывает старуха.— А то до завтра проканителишься. Вам ответ сюда принести?

Еще мгновение смотрит на нее Браун. Затем осторожность, стыд — все покидает его.

— Нет. Не сюда. Принеси вон на ту горку. Пойдешь по шпалам, я тебе крикну. И буду следить за тобой все время. Учти это. Понял?

— Вы не сомневайтесь.— вмешивается негритянка.— И записку отнесет и ответ вам принесет, если его не задержат. Ступай.

Негр уходит. Но его задерживают — не далее как в полумиле от дома. Это — еще один белый, он ведет мула.

— Где? — произносит Байрон.— Где ты его видел?

— Только что. Вон там вон, дома.

Белый идет дальше, с мулом. Негр смотрит ему вслед. Записку он белому не показал, потому что белый не просил показать записку. Может быть, белый не знал, что у него есть записка, поэтому и не попросил ее показать; может быть, негр так и думает, потому что на лице его изображается невероятная подспудная работа. Затем лицо проясняется. Он кричит. Белый оборачивается, замирает.

— Теперь его там нет! — кричит негр.— Он сказал, буду ждать у путей на горке.

— Благодарю,— говорит белый.

Негр идет своей дорогой.

Браун вернулся на линию. Теперь он не бежал. Он говорил себе: «Не сделает он. Не сумеет. Я же знаю, он его не найдет, не получит их, не принесет сюда». Имен он не называл, не произносил про себя. Теперь ему казалось, что все они — и негр, и шериф, и деньги, все — просто фигурки вроде шахматных, неожиданно и беспричинно передвигаемые туда и сюда Противником, который знает его ходы наперед и произвольно заводит новые правила, причем не для себя, а только для него. Перед концом подъема, когда он свернул с железной дороги и углубился в кусты, отчаяние его уже не было границ. Теперь он шел не спеша, параллельно полотну, строго соблюдая дистанцию, как будто ничего другого в мире, по крайней мере для него, не существовало. Он выбрал место, откуда мог незаметно наблюдать за дорогой, и сел.

«Да я ведь знаю, что он не сделает,— думает он.— Я даже не жду его. Если бы я увидел, что он возвращается с деньгами в руках, я бы все равно не поверил. Он нес бы их не мне. Я бы сам это понял. Я бы знал, что это ошибка. Я бы сказал ему *Ступай себе. Ты ищешь не меня, кого-то другого. Ты ищешь не Лукаса Берча. Нет, брат, Лукас Берч не заслужил этих денег, этой премии. Он ничего ради них не сделал. Ничегошеньки.* Он начинает смеяться; сидит неподвижно на корточках, опустив усталое лицо, и смеется. «Так-то, брат. Лукас Берч хотел одного — справедливости. Справедливости, больше ничего. Пусть он сказал этим гадам, кто убийца и где его искать,— они ведь не захотели. Не захотели, потому что пришлось бы отдать Лукасу Берчу деньги. Справедливости». Затем он говорит вслух, хриплым плачущим голосом:

— Справедливости. Больше ничего. Только своих прав. А эти паразиты с жестянными бляхами... все до одного присягу давали — защищать американских граждан...

Он говорит хрипло, чуть не плача от злобы, отчаяния и усталости:

— Гад буду, от этого прямо большевиком можно сделаться.

Поэтому он не слышит ни звука, пока Байрон не произносит прямо у него за спиной:

— Встань на ноги.

Длится это недолго. Байрон знал, что так и будет. Но он не колебался. Он просто крался вверх по склону, пока не увидел сидящего Брауна; тут он остановился, глядя на согнутую, беззащитную сейчас фигуру. «Ты больше меня,— думал Байрон.— Но мне наплевать. У тебя передо мной все преимущества. Но мне и на это наплевать. Ты дважды за девять месяцев выбросил то, чего у меня не было ни разу за тридцать пять лет. А теперь я знаю, что меня измордуют, но мне наплевать и на это».

Длится это недолго. Браун, развернувшись, обращает себе на пользу даже то, что пойман врасплох. Он не способен поверить, что человек, застигнув врага сидящим, позволит ему встать на ноги — даже если враг слабее его. Сам бы он так не сделал. И что слабый поступил так, как не поступил бы он.— это было хуже, чем оскорбление, это была насмешка. И он дрался с еще большим остервенением, чем если бы Байрон напал на него сзади,— бился со слепой и отчаянной храбростью загнанной в угол крысы.

Длилось это меньше двух минут. Потом Байрон тихо лежал в потоптанном и поломанном подлеске, кровь тихо текла по его лицу, и треск в подлеске слышался все дальше, все тише, тонул в безмолвии. Теперь он один. Он не чувствует особенной боли, но что еще лучше — не чувствует острой нужды куда-то идти или что-то делать. И просто лежит, и кровь сочится потихоньку, и он знает, что немного погодя пора будет вернуться в мир, во время.

Ему неинтересно даже, куда девался Браун. Сейчас ему незачем думать о Брауне. Ум его снова занят неподвижными фигурами, вроде уволенных в отставку игрушек детства, сваленных как попало и тихо пылящихся в забытом чулане,— Браун; Лина Гроув; Хайтауэр; Байрон Банч — мелкие, никогда не жившие вещицы, которыми он играл в детстве, а потом сломал и забыл. Так он и лежит, когда раздастся свисток паровоза у переезда в полумиле от него.

Свисток его пробуждает; вот мир и вот время. Он садится, медленно, неуверенно. «По крайней мере, я ничего не сломал,— думает Байрон.— То есть он у меня ничего не сломал». Уже пора: уже время, и в нем — расстояние, движение. «Да. Надо двигаться. Надо на новое место — поискать, во что бы еще ввязаться». Поезд приближается. Паровоз задышал отрывистой и натужной, как будто почувствовал подъем; наконец Байрон видит дым. Он ищет в кармане платок. Платка нет, поэтому он отрывает от рубапки подол и осторожно прикладывает к лицу, прислушиваясь к коротким отрывистым хлопкам отработанного пара за самым гребнем подъема. Он переходит к краю кустарника, откуда видна клея. Паровоз уже показался и движется на него, выбрасывая отдельные тяжелые клубы черного дыма. Он производит впечатление ужасающей неподвижности. И все-таки — движется, лезет с ужасающим упорством по склону, вползает на гребень. Стоя на опушке леса, с мальчишеским восторгом (а быть может, и завистью), вынесенным из деревенского детства, он следит за тем, как приближается паровоз, трудится, ползет мимо. Проползает; его глаза следят за ним, провожают по очереди вагоны, достигшие гребня, как вдруг, во второй раз за нынешний день, словно по волшебству перед ним возникает бегущий человек.

Даже теперь он не понимает, куда нацелился Браун. Он слишком глубоко погрузился в одиночество и покой, чтобы любопытствовать. Он просто стоит и видит, как Браун бежит к поезду, ссутулясь, воровато хватается за железную лестницу в конце вагона, вспрыгивает и исчезает из виду, точно всосанный пустотой. Поезд набирает скорость; Байрон наблюдает, как приближается вагон, где исчез Браун. Вагон проходит; прицепившись к нему сзади, между ним и следующим вагоном стоит Браун и, вытянув шею, глядяется в кустарник. Они видят друг друга одновременно, два лица, одно — кроткое; невзрачное, в крови, и другое — осунувшееся, затравленное, искаженное беззвучным в грохоте поезда криком, расходятся как бы по несмежным орбитам, минуют друг друга, подобно призракам. Байрон все еще не думает.

— Господи Боже милостивый,— говорит он с детским восторженным изумлением,— до чего же ловко сиганул на поезд. Сразу видно — не впервой.

Он совсем не думает. Как будто движущаяся стена закопченных вагонов — плоть, и за нею — мир, время, надежда невероятная и определенность неоспоримая, ждут, даря ему последние мгновения покоя. Так или иначе, когда проходит последний вагон, уже разогнавшись, мир накатывает на него исполинской волной.

Она слишком стремительна и огромна для мерок времени и расстояния; поэтому той же тропой не вернуться, и он долго ведет мула под уздцы, прежде чем вспоминает, что можно влезть на него и поехать. Он как будто давно и намного опередил себя, давно ждет у хибарки, чтобы догнать себя и войти *И тогда я стану там и...* Он пробует снова *Тогда я стану там и...* Но дальше продвинуться не может. Он уже опять на дороге, навстречу из города едет повозка. Время — около шести. Он все еще не оставляет попыток *Дальше, я чувствую, заколодило, но пускай: когда я открою дверь, и войду, и стану там. И тогда я. Посмотрю на нее. Посмотрю на нее. Посмотрю на нее...* Тут голос повторяет:

— ...видно, катавасия.

— Что? — спрашивает Байрон.

Повозка остановилась. Она, оказывается, около него; мул стоит на месте. Мужчина на сиденье повозки снова говорит глухим обиженным голосом:

— Вот черт, нескладно. Как раз когда мне домой ехать. И так запоздал.

— Катавасия? — переспрашивает Байрон.— Какая катавасия?

Человек разглядывает его.

— Посмотреть на ваше лицо, так подумаешь, что у вас своя была катавасия.

— Упал,— объясняет Байрон.— А что там в городе за катавасия?

— Я думал, вы слышали. С час примерно назад. Нигер этот, Кристмас. Кончили его.

19

В этот понедельник вечером, усевшись за ужин, город удивлялся не тому, как Кристмасу удалось бежать, а почему, вырвавшись на волю, он искал убежища в таком месте, зная, что там его наверняка настигнут, и почему, когда это произошло, он не сдался, но и не оказал сопротивления. Как будто замыслил и рассчитал в подробностях пассивное самоубийство.

Высказывалось множество догадок, объяснений, почему он в конце концов искал спасения в доме Хайтауэра. «Рыбак рыбака»,— утверждали самые прыткие, непосредственные, вспоминая старые сплетни про священника. Другие полагали, что это чистая случайность; третьи доказывали, что он рассудил здраво, ибо никому и в голову не пришло бы искать его у священника, если бы кто-то не заметил, как он пробежал через задний двор на кухню.

У Гэйвина Стивенса, однако, была другая теория. Он — окружной прокурор, выпускник Гарварда и член общества Фи-Бета-Каппа — высокий нескладный мужчина с лохматой седеющей шевелюрой, одет всегда в мятый, просторный темно-серый костюм и неразлучен с кукурузной трубкой. Род его — из старинных в Джефферсоне; его предки владели здесь рабами, а его дед знал (и тоже ненавидел и публично поздравил полковника Сарториса с их смертью) деда и брата мисс Берден. У него спокойная, непринужденная манера разговаривать с деревенскими, с избирателями и присяжными; летом его нередко можно видеть на веранде деревенской лавки среди людей в комбинезонах — он способен просидеть тут на корточках с обеда до вечера, беседуя с ними ни о чем на их наречии.

В этот понедельник вечером с девятичасового поезда сошел профессор Миссисипского университета — одноклассник Стивенса по Гарварду, приехавший на несколько каникулярных дней к приятелю в гости. Стивенса он увидел, как только сошел с поезда. Он решил, что Стивенс встречает его, но оказалось, что Стивенс, наоборот, провожает на поезд странную пожилую чету. Профессор разглядел маленького грязного старика с короткой козлиной бородкой, пребывавшего в каком-то сонном оцепенении, и старуху, должно быть его жену,— приземистое, расплывшееся существо с непропеченным лицом, над которым колыхалось грязное белое перо, в шелковом платье старомодного покроя и царственного угасающего цвета. Профессор приостановился, с любопытством и удивлением наблюдая, как Стивенс вкладывает старухе в руку, точно ребенку, два билета на поезд; подойдя поближе, профессор услышал, как Стивенс, все еще не замечавший его, напутствовал стариков, которых подсаживал в тамбур дежурный. «Да, да,— успокаивал их Стивенс, видимо, подводя итог предыдущему разговору,— завтра

утром его отправят на поезде. Я за этим присмотрю. Вам надо только распорядиться насчет похорон и кладбища. Отвезите дедушку домой и уложите в постель. Я позабочусь о том, чтобы мальчик утром был на поезде».

Потом поезд тронулся, Стивенс обернулся и увидел профессора. Он начал свой рассказ по дороге в город, а кончил, когда они сидели на веранде в доме Стивенсов, и подвел итог: «Кажется, я понимаю, почему он так поступил, почему в конце концов побежал искать спасения в доме Хайтауэра. Я думаю, из-за бабки. Она была у него в камере как раз перед тем, как его увели обратно в суд; она и дед — тот рехнувшийся старичок, который хотел устроить ему самосуд и для этого прибыл сюда из Мотстауна. Не думаю, чтобы старуха хоть сколько-нибудь надеялась спасти его, когда ехала сюда, — всерьез надеялась. По-видимому, она хотела только одного — чтобы он умер «как положено», по ее выражению. Был повешен, как положено, Властью, законом; не сожжен, не искромсан, не затаскан до смерти Толпой. Думаю, она приехала сюда специально, чтобы следить за стариком, чтобы он не оказался той вороной, которая накаркает грозу, — она не спускала с него глаз. То есть она, конечно, не сомневалась, что Кристмас ее внук, понимаете? Она просто не надеялась. Разучилась надеяться. Я представляю себе, что после тридцати лет простоя механизм надежды не запустишь, не стронешь с мертвой точки за одни сутки.

Но, видимо, когда под напором безумия и убежденности старика ей пришлось стронуться с места физически, ее незаметно захватило. Они явились сюда. Приехали ранним поездом, около трех часов ночи, в воскресенье. Она не пыталась увидеться с Кристмасом. Возможно — караулила старика. Впрочем, едва ли поэтому. Думаю, просто что механизм надежды не успел заработать к тому времени. Едва ли он мог заработать до тех пор, пока здесь утром не родился ребенок — буквально у нее на глазах; опять-таки — мальчик. Матери ребенка она раньше не видела, отца не видела вообще и внука своего никогда не видела взрослым; так что для нее этих тридцати лет просто не стало. Они рассеялись как дым, когда закричал этот младенец. Больше не существовали.

Слишком быстро все это на нее навалилось. Слишком много действительности, которой не могли отрицать ее глаза и руки, и слишком много того, что надо принимать на веру, нельзя проверить руками и глазами; слишком много необъяснимого было в руках и перед глазами, и слишком внезапно потребовалось усвоить и принять это без доказательств. После тридцати таких лет она, наверно, очутилась в положении человека, который вдруг угодил из одиночки в комнату, полную незнакомых галдящих людей, и заматалась, ища способа уберечь рассудок — любого логичного образа действий, лишь бы он был в пределах ее возможностей, казался ей более или менее осуществимым. Пока не родился ребенок — что позволило ей отойти, так сказать, в сторонку — она была чем-то вроде куклы с механическим голосом, которую возил за собой на тележке этот Банч и давал ей сигнал, когда нужно говорить — как, например, вчера ночью, когда он повел ее рассказывать свою историю доктору Хайтауэру.

А она, понимаете, все еще шарила. Все еще пыталась найти для ума своего, который не очень-то, видимо, был загружен последние тридцать лет, что-нибудь такое, во что бы он поверил, признал действительным, настоящим. И думаю, что нашла она это именно там, у Хайтауэра: у человека, которому можно было все рассказать, который согласился ее слушать. Очень может быть, что там-то она и высказалась впервые. И очень может быть, что только тут сама впервые поняла, действительно уяснила свою историю целиком и в подлинности, одновременно с Хайтауэром. Поэтому стоит ли удивляться, что она на какое-то время перепугала не только детей, но и родителей — ведь в лачуге последних тридцати лет не существовало: этот ребенок и его отец, которого она никогда не видела, ее внук, которого она не видела с такого же грудного возраста, и его отец, тоже никогда для нее не существовавший, — все перепуталось. И когда надежда наконец ожила в ней — стоит ли удивляться, что она со свойственной этому типу возвышенной и безграничной верой в людей, которые суть добровольные рабы и слуги молитвы, сразу обратилась к священнику.

Вот о чем она говорила сегодня в камере с Кристмасом, после того как старик, улучив минуту, сбежал, а она погналась за ним в город и опять нашла его на углу, где он, совсем уже очумев и осипнув, проповедовал самосуд, рассказывал людям про то, как взял под опеку дьявольское отродье, как вынырнул его для нынешнего дня. А может

быть, она просто шла в это время из хибарки к внуку в тюрьму. Во всяком случае, как только она увидела, что аудиторию речи старика скорее развлекают, чем волнуют, она оставила его и направилась к шерифу. Он только что вернулся с обеда и долго не мог понять, чего она хочет. Она, наверно, показалась ему просто ненормальной — со всей этой историей, в этом своем нелепо-благопристойном воскресном платье и с планами побега на уме. Но в тюрьму он ее пустил — с помощником. Там-то, в камере, она, наверно, и сказала ему про Хайтауэра — что Хайтауэр может его спасти, намерен его спасти.

Я, конечно, не знаю, что она ему там говорила. Вряд ли кто-нибудь сможет воспроизвести эту сцену. И едва ли она сама знала, заранее обдумывала, что ему сказать — ведь все было сказано и записано в ту ночь, когда она родила его мать, хранилось в памяти с незапамятных теперь уже времен, не подверженное забвению: забылись только слова. Может быть, поэтому он и поверил ей сразу, не усомнившись. Точнее — потому что она не раздумывала, как ему сказать и насколько правдоподобным, возможным или невероятным ему это покажется: что где-то, как-то, телом ли своим, присутствием или чем еще, этот старый изгой-священник оградит его — не только от полиции или толпы, но и от самого непоправимого прошлого; от невесть каких преступлений, которые вылепили и закаляли его и в конце концов привели в камеру, где взгляд повсюду натывается на тень грядущего палача.

И он ей поверил. Я думаю, отсюда и взялось у него не столько мужество, сколько пассивное терпение, чтобы углядеть, принять и вынести эту соломинку — чтобы вырваться в наручниках посреди запруженной народом площади и бежать. Но слишком много было набегано, слишком много гналось за ним. Не преследователей — своего: годы, поступки, дела, совершенные и упущенные, гнались за ним по пятам, шаг в шаг, дых в дых, стук в стук сердца, а сердце было одно. И убили его не только эти тридцать лет, которых она не знала, но и все те прошлые и позапрошлые тридцатилетия, которые загрязнили его белую кровь — или его черную кровь, как вам будет угодно. Но сперва, должно быть, он бежал, веря; по крайней мере — надеясь. Только кровь не желала молчать, быть спасенной. Ни та, ни другая не уступали и не дали телу спасти себя. Потому что черная кровь погнала его сперва к негритянской лачуге. А белая кровь выгнала его оттуда, и за пистолет схватилась черная кровь, а выстрелить не дала белой. И это белая кровь толкнула его к священнику, это она, взбунтовавшись в последний раз, толкнула его вопреки рассудку и действительности в объятия химеры, слепой веры во что-то вычитанное в печатном Писании. И тут, мне кажется, белая кровь изменила ему. Всего на секунду, на миг — и черная вскипела в последний раз, заставив его наброситься на человека, в котором он чаял свое спасение. Это черная кровь вынесла его за черту человеческой помощи, вынесла в самозабвенном восторге из черных дебрей, где жизнь кончается раньше, чем остановилось сердце, а смерть — утоление жажды. А потом черная кровь снова его подвела — наверно, как всегда в решительные минуты жизни. Он не убил священника. Он только ударил его пистолетом, пробежал дальше и, скорчившись за столом, в последний раз восстал против черной крови, как восставал против нее тридцать лет. Он скорчился за опрокинутым столом и дал себя расстрелять — держа в руке заряженный пистолет и не выпустив ни одной пули».

В это время в городе жил молодой человек по имени Перси Гримм. Ему было лет двадцать пять, и он был капитаном национальной гвардии. Он родился и прожил в городе всю жизнь, если не считать летних сборов. На европейскую войну он не попал по возрасту, но только в 1921 или 22 году понял, что никогда этого родителям не простит. Его отец, торговец скобяным товаром, не понимал его. Он считал, что парень просто лодырь и вряд ли из него выйдет что-нибудь путное, — между тем как юноша переживал страшную трагедию: он не просто опоздал родиться, он опоздал на такую малость, что ему пришлось из первых рук узнать о том невозвратимом времени, когда ему следовало быть мужчиной, а не ребенком. И теперь, когда воинственные страсти поостыли, а те, кто горячился больше всех, и даже сами герои — те, кто служил и страдал, — стали поглядывать друг на друга косо, ему не с кем было поделиться, некому излить душу. Первая серьезная драка была у него с фронтовиком, который высказался в том смысле, что

если бы он опять попал на войну, то дрался бы за немцев против Франции. Гримм тут же его одернул.

— И против Америки, значит? — сказал он.

— Если у Америки хватит дурасти опять выручать французов, — ответил солдат.

Гримм сразу его ударил; он был мельче солдата, ему еще не исполнилось двадцати. Исход был предreshен; даже Гримм, несомненно, понимал это. Но он держался до тех пор, пока сам солдат не попросил зрителей оттащить мальчишку. И шрамами, полученными в этом бою, он гордился так же, как впоследствии — самим мундиром, звание которого безоглядно сражался.

Спас его новый закон о реорганизации армии. Долгое время он словно плутал в темноте по болоту. И не только не видел впереди дороги — он знал, что ее нет. И тут вдруг перед ним открылась ясная и определенная жизнь. Потерянные годы, когда он не обнаруживал в школе способностей, когда он считался строптивым, лишенным честолюбия лентяем, канули в прошлое, были забыты. Жизнь, открывшаяся его глазам, несложная и бесповоротная, как голый коридор, навсегда избавляла его от необходимости думать и выбирать, и ноша, которую он взял на себя, была блестящей, невесомой и боевой, как латунь его знаков различия: возвышенная и слепая вера в физическую храбрость и беспрекословное повиновение, уверенность в том, что белая раса выше всех остальных рас, а американская раса выше всех белых, а американский мундир превыше всего человечества, и самое большее, чего могут потребовать от него в уплату за это убеждение и эту честь — его собственная жизнь. По всем национальным праздникам, имевшим даже самый легкий военный аромат, он надевал капитанскую форму и являлся в город. И когда он шел среди штатских, сверкая снайперским значком (он был отличный стрелок) и нашивками на погонах, серьезный и подтянутый, на лице его было выражение воинственности и вместе с тем застенчивой мальчишеской гордости, и все, кто видел его, вспоминали ту драку с бывшим солдатом.

Он не состоял в Американском легионе, и это была вина родителей, а не его. Но в ту субботу, когда Кристмаса привезли из Мотстауна, он сразу отправился к командиру поста¹. Его мысль, его слова были до крайности просты и однозначны.

— Мы отвечаем за порядок, — сказал он. — Мы должны интересы закона. Закона и страны. Никто из штатских не вправе приговорить человека к смерти. И проследить за этим должны мы, солдаты Джефферсона.

— Откуда вы знаете, что у кого-то есть на этот счет другие планы? — спросил командир легиона. — Вы слышали такие разговоры?

— Не знаю. Не прислушивался.

Он не врал. Казалось, он слишком мало придает значения разговорам штатских, чтобы еще врать на этот счет.

— Не в этом суть. Суть в том, будем ли мы, солдаты, носившие форму, первыми, кто заявит о своей позиции в этом деле. Покажем ли сразу людям, какова позиция правительства в таких делах. Покажем, что от них даже разговоров не требуется.

Его план был до крайности прост. Сформировать из поста легиона взвод под его началом, учитывая его воинское звание.

— А не захотят, чтоб я ими командовал, — не надо. Пусть скажут, я буду заместителем. Или сержантом, или капралом.

И это были не пустые слова. Он не искал суетной славы. Он был слишком искренен. Настолько искренен, настолько лишен юмора, что командир легиона воздержался от насмешливого отказа, присившегося на язык.

— Я все-таки не вижу в этом необходимости. А если бы она и была, мы все равно обязаны действовать как гражданские лица. Я не могу использовать пост таким образом. В конце концов, мы уже не солдаты. А если бы я и мог, я едва ли бы захотел.

Гримм посмотрел на него, но не с гневом, а скорее как на букашку.

— А ведь вы когда-то носили форму, — произнес он как-то даже терпеливо. И добавил: — Надеюсь, вы своей властью не воспрепятствуете мне поговорить с ними? Как с частными лицами?

¹ Американский легион (основан в 1919 году) — организация ветеранов мировой войны. Пост — местное подразделение легиона.

— Нет. Да и не в моей это власти. Но учтите — только как с частными лицами. На меня вы не должны ссылаться.

И тут Гримм сказал ему, что он о нем думает.

— А я и не собирался,— ответил он. И ушел.

Это было в субботу, часа в четыре. До конца дня он обходил магазины и конторы, где работали члены легиона, и к наступлению темноты ему удалось разжечь достаточно народу, чтобы набралось на хороший взвод. Он был сдержан, но неутомим и напорист; заразительно, по-пророчески одержим. Однако его добровольцы сходились с командиром поста в одном: официально легион должен быть ни при чем — и таким образом, без всякого сознательного намерения Гримм достиг первоначальной цели: теперь он мог быть командиром. Он собрал их перед самым ужином, разбил на отделения, назначил офицеров и штаб; у молодых, не побывавших во Франции, начал просыпаться должный боевой задор. Он обратился к ним с краткой сухой речью:

— ...порядок... правосудие свершится... пусть люди видят, что мы носили американскую форму... И еще одно.— Тут он на минуту снизошел до фамильярности: командир полка, знающий своих людей по именам: — Это вам решать, ребята. Я сделаю, как вы скажете. Я думаю, было бы неплохо, если бы я ходил в форме, пока все не кончится. Пусть видят, что дядя Сэм не только душою с нами.

— Но его с нами нет,— живо возразил один из них; он был из той же породы, что и командир поста, который, кстати говоря, отсутствовал.— Правительства это дело пока не касается. Это может не понравиться шерифу. Это дело Джефферсона, а не Вашингтона.

— Сделайте так, чтобы понравилось,— сказал Гримм.— Чему служит ваш легион, как не защите Америки и американцев?

— Нет,— отвечал тот.— По-моему, нам лучше не устраивать из этого парада. Все, что надо, мы можем сделать и так. Даже лучше. Правильно, ребята?

— Хорошо,— согласился Гримм.— Будь по-вашему. Но каждому из вас понадобится пистолет. Осмотр стрелкового оружия — здесь через час. Всем явиться сюда.

— А что скажет Кеннеди насчет пистолетов? — спросил кто-то.

— Об этом позабочусь я,— сказал Гримм.— Явиться сюда с личным оружием ровно через час.

Он разрешил им разойтись. Он прошел через тихую площадь к кабинету шерифа. Шериф дома, сказали ему.

— Дома? — повторил он.— Сейчас? Что он может делать сейчас дома?

— Кушает, наверно. Такому большому мужчине надо кушать несколько раз в день.

— Дома,— повторил Гримм. В глазах его не было гнева; они смотрели так же холодно и бесстрашно, как перед тем на командира легиона.— Кушает.

Он вышел быстрым шагом. Он снова пересек площадь, тихую пустую площадь этого мирного городка в мирном округе, чьи жители мирно усаживались ужинать. Он отправился к шерифу домой. Шериф сразу сказал «нет».

— Чтобы пятнадцать — двадцать человек толклись на площади с пистолетами в карманах? Нет, нет. Не годится. Мне это не подходит. Не годится. Позволь уж мне тут распоряжаться.

Гримм еще секунду смотрел на шерифа. Потом он повернулся и быстрым шагом пошел прочь.

— Ладно,— сказал он.— Как хотите. Я вам не буду мешать, но и вы мне не мешайте.

В голосе его не было угрозы. Он звучал слишком сухо, слишком категорично, слишком бесстрашно. Гримм быстро удалялся. Шериф смотрел ему вслед; потом окликнул. Гримм обернулся.

— И свой оставь дома,— сказал шериф.— Слышишь?

Гримм не ответил. Пошел дальше. Шериф, нахмурясь, смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду.

Вечером, после обеда, шериф опять пошел в город, чего не делал уже много лет — разве только по какому-нибудь срочному, неотложному делу. Перед тюрьмой его встретил наряд гриммовских людей, в суде — другой, третий патрулировал близлежащие

улицы. Шерифу сказали, что остальные, смена, собрались в хлопковой конторе, где служит Гримм: там у них караулка, штаб. Шериф застал Гримма на улице за проверкой караулов.

— Поди-ка сюда, парень,— сказал шериф.

Гримм остановился. Но не подошел; шериф сам двинулся к нему. Толстой рукой похлопал его по заднему карману.

— Я же тебе сказал, оставь его дома.

Гримм не отвечал. Он хладнокровно глядел на шерифа. Шериф вздохнул.

— Ну что ж, раз ты упрямисься, придется назначить тебя специальным помощником. Но пистолет свой и показывать не смей, пока я тебе не скажу. Слышишь?

— Ну да,— сказал Гримм.— Конечно, вы не хотите, чтобы я вытаскивал пистолет, пока не будет надобности.

— Я говорю: пока я тебе не скажу.

— Ну да,— сразу ответил Гримм, бесстрастно и терпеливо.— А я что говорю? Не беспокойтесь. Я буду на месте.

Позже, когда город угомонился на ночь, когда опустел кинотеатр и позакрывались одна за другой аптеки, взвод Гримма начал расходиться. Он не возражал, он холодно наблюдал за ними; они конфузились, чувствовали себя неловко. Опять, сам того не ведая, он получил козырь. Сегодняшняя неловкость, чувство, что им далеко до его холодного рвения, заставит их завтра вернуться — хотя бы для того, чтобы доказать ему. Некоторые остались — все равно выходной; кто-то где-то раздобыл еще несколько стульев, и сели играть в покер. Игра шла всю ночь, хотя время от времени Гримм (сам он не играл и заместителю своему — единственному, кто тоже имел звание, соответствующее офицерскому, — не позволил) высылал наряд патрулировать площадь. Позже к ним присоединился дежурный из полиции, но и он не принял участия в игре.

Воскресенье прошло тихо. Весь день потихоньку играли в покер, изредка отрываясь для патрульных вылазок; тихо звонили церковные колокола, и прихожане собирались чинными, по-летнему пестрыми группами. На площади уже знали, что завтра собирается большой суд присяжных. Сам звук этих слов, наводивший на мысли о чем-то тайном и неотвратимом, о всевидящем и недреманном оке, которое скрытно следит за делами людскими, убеждал подчиненных Гримма в непритворности затеянного представления. Так неожиданно и прихотливо податлива бывает человеческая душа, что город, сам того не понимая, вдруг признал Гримма, стал взирать на него с уважением, пожалуй, даже с некоторым трепетом и изрядной долей веры, словно его предвидение, патриотизм, гордость за свой город и выпавшую им роль оказались живее и вернее, чем у них. Его люди, во всяком случае, признали это и усвоили; после бессонной ночи, тревоги, выходного дня, жертвенного отречения от собственной воли они были взвинчены до того, что, наверно, пошли бы ради него на смерть, если бы представлялся случай. Теперь их озаряли отблески мрачного, вселяющего трепет света, почти столь же явственные, как хаки, в котором их желал бы видеть, хотел увидеть Гримм — словно всякий раз, вернувшись в караулку, они заново облачались в картинные, величаво-суровые лоскутья его видений.

Так прошла вся воскресная ночь. Игра в покер продолжалась. Предосторожности, скрытность, окружавшие ее, были отброшены. Теперь все делалось без стеснения, с безоблачной уверенностью, доходящей до бравады: ночью, когда на лестнице раздались шаги полицейского и кто-то из них сказал: «Берегись, военная полиция», они перекинулись твердыми, ясными, полными бесшабашной удали взглядами, и еще кто-то громко предложил: «Спустим гада с лестницы», а третий сложил губы и произвел допотопный звук. Так что наутро, когда стали подъезжать первые повозки и машины из деревень, взвод был опять сплочен. И теперь у них была форма. Их лица. В большинстве это были люди одного возраста, поколения, жизненного опыта. Но родило их не только это. Глубокой и мрачной серьезностью веяло от них, когда они стояли в людском круговороте, серьезные, суровые, неприступные, и хмурыми пустыми глазами глядели на толпу, которая текла мимо и, что-то чувствуя, ощущая в них, но не понимая, гладела, замедляла ход, так что они все время были в кольце лиц, замороженных, бессмысленных и неподвижных, как коровьи морды, надвигавшихся и уплывавших, чтобы смениться новыми. И все утро гудели, замирали голоса, тихо спрашивали, отвечали: «Вон идет. Вон тот,

молодой, с автоматическим пистолетом. Он у них командир. Уполномоченный офицер от губернатора. Он тут всем распоряжается. От шерифа сегодня ничего не зависит».

Позже, когда все было кончено, Гримм сказал шерифу:

— Что бы вам меня послушаться. Я бы вывел его из камеры под охраной целого отделения — так нет, надо было отправлять его через всю площадь с одним помощником, и даже наручниками к нему не примкнуть, да еще в такой толчее, где этот раззява Бьюфорд все равно бы побоялся стрелять, даже если бы умел с двух шагов попасть в ворота.

— Откуда же я знал, что он вздумает бежать, да еще прямо здесь? — ответил шериф. — Ведь Стивенс сказал мне, он хочет признать себя виновным, чтобы получить пожизненное.

Но было уже поздно. Все уже было кончено. Произошло это в центре площади, на полпути от тротуара к зданию суда, посреди толпы, густой, как в ярмарочный день, но Гримм узнал о побеге только тогда, когда услышал, как помощник шерифа дважды выстрелил в воздух. Он сразу понял, в чем дело, хотя сам находился в здании суда. Он отреагировал четко и мгновенно. Уже побежав на выстрелы, он крикнул через плечо тому, кто последние двое суток неотступно таскался за ним в качестве не то адъютанта, не то ординарца:

— Включи пожарную сирену!

— Пожарную сирену? — переспросил тот. — Зачем?

— Включи пожарную сирену! — крикнул через плечо Гримм. — Не важно, что они подумают. Лишь бы знали, что... — Он не закончил — исчез.

Он бежал среди бегущих, настигая и обгоняя их, потому что у него была цель, а у них не было, они просто бежали — и черный тупой громадный пистолет разваливал перед ним толпу, как пług. Они глядели на его строгое, напряженное молодое лицо, обернув к нему белые лица, зияющие круглыми зубастыми дырами, и тянулся за ним долгий шелестящий звук, похожий на вздох: «...туда... побежал в ту сторону...» Но Гримм уже видел помощника шерифа — тот бежал, подняв пистолет. Гримм кинул взгляд по сторонам и ринулся дальше; в гущу людей, сквозь которую, по-видимому, пришлось прокладывать себе путь помощнику шерифа с заключенным, всегдашний долгопятый паренек в форме телеграфиста вел свой велосипед за рога, как послушную корову. Гримм сунул пистолет в кобуру, отшвырнул мальчишку в сторону и вскочил на велосипед — все это, ни на секунду не прервав движения.

На велосипеде не было ни звонка, ни рожка. Но люди как-то чувствовали приближение Гримма и расступались; и здесь, казалось, ему прокладывала путь убежденность, слепая и безоблачная вера в непогрешимость и правоту своих действий. Догнав бегущего помощника шерифа, он притормозил. Помощник повернул к нему потное лицо с разинутым от бега и крика ртом.

— Он свернул! — завопил помощник. — В проулок за...

— Знаю, — сказал Гримм. — Он в наручниках?

— Да! — ответил тот.

Велосипед рванулся вперед.

«Значит, быстро бежать он не может, — думал Гримм — Скоро должен залечь. Хотя бы убраться с открытого места». Гримм стремительно повернул в проулок. Он проходил между двумя домами, по одной стороне тянулся гесовый забор. Тут вперые загудела сирена; протяжный вопль ее медленно нарастал и наконец словно взвился за пределы слуха — беззвучной дрожью, доступной лишь осязанию. Гримм несся вперед, и мысль его работала быстро, логично, с каким-то яростным и сдержанным восторгом. «Первым делом ему надо скрыться из виду», — думал он, оглядываясь по сторонам. По одну сторону пространство просматривалось, по другую стоял забор выше человеческого роста. Он неожиданно заканчивался воротами, за которыми был луг, а еще дальше — глубокий ров, городская граница. Макушки высоких деревьев, росших на дне, едва виднелись над землей. Во рву мог укрыться и развернуться полк. «Эх», — произнес он вслух. Не остановившись и не сбавив хода, он повернул и погнался по проулку обратно, на улицу, которую только что покинул. Вой сирены теперь замирал, падал, снова обращаясь в звук, и, вылетев по дуге на улицу, Гримм увидел на миг бегущих людей и мчащийся в его сторону автомобиль. Хотя он крутил педали изо всех

сил, машина поравнялась с ним, люди высунулись, прокричали ему прямо в застывшее, устремленное вперед лицо. «Влезайте сюда! — крикнули они. — Сюда!» Он не ответил. Не взглянул на них. Машина пронеслась мимо, сбавляя ход; теперь он опять обогнал ее, стремительно плавно и беззвучно; машина опять прибавила скорость и обогнала его; сидки, высунувшись, глядели вперед. Он тоже ехал быстро, беззвучно, со стремительной легкостью призрака, неумолимо и неуклонно, как колесница Джаггернаута или Судьба. Позади снова заходила сирена. Когда люди в машине опять оглянулись, его уже не было.

На полном ходу он свернул в другой проулок. Его спокойное окаменевшее лицо все еще светилось радостью исполненного желания, угрюмым лихим весельем. Этот проулок был ухабистее первого и длиннее. Вылетев по нему на голый бугор, Гримм соскочил с велосипеда, который еще катился, заваливаясь набок, и глазам его открылся весь зев лощины на краю города, лишь в нескольких местах заслоненный негритянскими лачугами, торчавшими над самым краем. Гримм застыл — недвижный, одинокий и злобещий, как пограничный столб. Сзади, в городе, снова начал затихать вопль сирены.

Затем он увидел Кристмаса. Увидел вдали маленькую фигурку, которая вылезла из рва с сомкнутыми руками. Солнце отразилось от наручников беглеца — его руки вдруг сверкнули Гримму в глаза, как сигнал гелиографа, и ему почудилось, что даже отсюда слышно тяжелое, загнанное дыхание человека, который и сейчас не был свободен. Затем крохотная фигурка опять побежала и скрылась за ближайшей негритянской лачугой.

Гримм тоже побежал. Побежал стремительно, но в этом не было заметно ни спешки, ни усилий. Не было в нем и мстительности, бешенства, возмущения. Кристмас сам это увидел. Потому что был такой миг, когда они почти столкнулись лицом к лицу. Это случилось, когда Гримм на бегу повернул за угол лачуги. В тот же миг как по волшебству из заднего ее окна выпрыгнул Кристмас, и скованные руки засверкали над его голозой, словно в огне. Мгновение они глядели друг на друга: один — еще приседая после прыжка, другой — на бегу, и тут же Гримма по инерции вынесло за угол. Но за это мгновение он заметил, что в руках у Кристмаса тяжелый никелированный пистолет. Гримм круто повернулся и уже вытаскивая свой автоматический, кинулся обратно за угол.

Мысль работала быстро, спокойно, с той же тихой радостью: «У него два выхода. Либо снова кинуться в ров, либо бегать от меня вокруг дома, пока один из нас не схватит пулю. А ров — с его стороны дома». Он отреагировал мгновенно. С предельной быстротой он устремился обратно за угол, откуда только что выскочил. Он сделал это так, словно был заговорен от пули, или охраняем провидением, или знал, что Кристмас не будет ждать его там с пистолетом. Не останавливаясь, он обогнул следующий угол.

Теперь он был над рвом. Он резко остановился, замер. Над тупой холодной загогулиной пистолета лицо его излучало безмятежный неземной свет, как лица ангелов на церковных витражах. Он замер лишь на миг и тут же снова рванулся с места, с той же поджарой стремительностью, слепо послушный какому-то Игроку, двигавшему его по Доске. Он бежал ко рву. Он бросился вниз по заросшей кустами круче, но тут же повернулся, цепляясь руками за что попало. Теперь он увидел, что между землей и полом лачуги — полуметровый просвет. Раньше впопыхах он этого не замечал. Он понял, что дал Кристмасу фору. Что Кристмас все время следил за его ногами из-под дома. «Ты подумай», — сказал он.

Его порядком протасило по склону, прежде чем он сумел остановиться и снова полез наверх. Казалось, он неумолим, сделан не из плоти и крови — как будто Игрок, двигавший его, словно пешку, все время вливал в него новые силы. Без задержки, на том же усилии, которое вынесло его из рва, он уже бежал дальше. Он выбежал из-за лачуги вовремя: успел увидеть, как метрах в трехстах от него Кристмас перепрыгнул через изгородь. Гримм не выстрелил, потому что Кристмас устремился через маленький сад прямо к дому. На бегу он увидел, как Кристмас вскопчил на заднее крыльцо и скрылся за дверью. «Ага, — сказал Гримм. — К священнику. К Хайтауэру».

Он не замедлил шагов, но, оставляя дом в стороне, побежал к улице. Машина, которая обогнала его и потеряла, теперь вернулась и была там, где ей полагалось быть, где ей предписал быть Игрок. Не дожидаясь его сигнала, она затормозила, и из нее вылезли трое. Гримм, не говоря ни слова, повернулся и побежал через садик в дом, где жил в одиночестве опозоренный священник, и те трое влетели за ним следом в переднюю и остановились, принеся с собой в затхлый келейный сумрак сверкание свирепого летнего солнца.

Она объяла их, вселилась в них — его бесстыдная свирепость. Осененные ею, бесплотно повисшие в воздухе лица, словно из-под нимбов вперились в окровавленное лицо Хайтауэра, когда они наклонились и стали поднимать его с того места в передней, где на него налетел Кристмас, где поднятые вооруженные скованные руки беглеца, сверкнув огнем, как перуны в руках разъяренного мстительного бога, вершащего суд, обрушились на его голову. Преследователи поддерживали старика.

— В какой комнате? — сказал Гримм, тряся его. — Старик, в какой он комнате?

— Джентльмены! — сказал Хайтауэр. А потом: — Люди, люди!

— Старик, в какой он комнате? — гаркнул Гримм.

Преследователи поддерживали старика; в сумраке прихожей, после солнечного света, он с его лысым черепом и большим белым лицом, залитым кровью, тоже был ужасен.

— Люди! — закричал он. — Послушайте меня! Он был здесь той ночью. В ночь убийства он был со мной. Клянусь богом...

— Черт возьми! — закричал Гримм, и голос его был чист и гневен, как голос молодого жреца. — Неужели все священники и старые девы в Джефферсоне стали подстилкой для этой желтопузой сволочи! — Он отшвырнул старика и кинулся дальше.

Казалось, он только и ждал, когда Игрок опять сделает им ход — и с той же безотказной уверенностью побежал прямо на кухню, к двери, открыв огонь чуть ли не раньше, чем увидел опрокинутый набок стол, за которым скорчился в углу комнаты беглец, и на ребре стола — жарко сверкавшие руки. Гримм выпустил в стол весь магазин; потом оказалось, что все пять пробоин можно прикрыть сложенным носовым платком.

Но Игрок еще не кончил. Когда остальные вбежали на кухню, они увидели, что стол отброшен в сторону, а Гримм склонился над телом. Когда они подошли посмотреть, чем он занят, они увидели, что человек еще не умер, а когда увидели, что делает Гримм, один из них издал придушенный крик, попятился к стене и его стало рвать. Затем Гримм отскочил и отшвырнул за спину окровавленный мясницкий нож.

— Теперь ты даже в аду не будешь приставать к белым женщинам! — сказал он.

Но человек на полу не пошевелился. Он тихо лежал, в открытых глазах его выражалось только то, что он в сознании, и лишь на губах затаилась какая-то тень. Долго смотрел он на них мирным бездонным невыносимым взглядом. Затем его лицо и тело словно осели, сломались внутри, а из брюк, расплосованных в паху и бедрах, как вздох облегчения, вырвалась отворенная черная кровь. Она вырвалась из его бледного тела, как снап искр из поднявшейся в небо ракеты; в черном этом взрыве человек словно взмыл, чтобы вечно реять в их памяти. В какие бы мирные долины ни прибежала их жизнь, к каким бы тихим берегам ни прибила старость, какие бы прошлые беды и новые надежды ни пришлось читать им в зеркальных обликах своих детей — этого лица им не забыть. Оно пребудет с ними — задумчивое, покойное, стойкое лицо, не тускнеющее с годами и не очень даже грозное, но само по себе безмятежное, торжествующее само по себе. Снова из города, чуть приглушенный стенами, долетел вопль сирены, взвился в невероятном крещендо и пропал за гранью слуха.

Уже угасает прощально медный закатный свет; уже пустынна и готова за низкими кленами и низкой вывеской улица, обрамленная окном кабинета, как сцена.

Он помнит, как в молодости, когда он приехал в Джефферсон из семинарии, этот закатный медный свет казался почти слышимым, будто замирающий желтый обвал труб, замирающий в тишине и ожидании, откуда вскоре возникнут о ни. И не успева-

ли еще смолкнуть трубы, а ему уже чудилось в воздухе зарождение грома — пока не громче шепота, слушка.

Но он никому об этом не рассказывал. Даже ей. Даже ей в те дни, когда ночами они любили друг друга и стыда, отчуждения еще не было, и она знала, еще не успела забыть в отчуждении, тоске, а затем и безнадежности, почему он сидит перед этим окном, дожидаясь ночи, мгновения, когда ночь наступит. Даже ей, женщине. Этой женщине. Женщине (не семинарии, как прежде верилось): Страдательному и Безличному, сотворенному Богом, чтобы принять и хранить не только семя его тела, но и — духа, которое есть истина или настолько близко к истине, насколько он осмелится подойти.

В семье он был единственным ребенком. Когда он родился, отцу пошел шестой десяток, а мать уже двадцать лет тяжело болела. Со временем в нем укоренилось убеждение, что причиной этому — пища, которой ей пришлось довольствоваться в последний год Гражданской войны. Возможно, это и было причиной. Отец его не имел рабов, хотя был сыном человека, который в свое время владел рабами. Он тоже мог бы их иметь. Но хотя он родился, вырос и жил в тот век и в том краю, где иметь рабов было дешевле, чем не иметь, он не желал ни есть пищи, выращенной и приготовленной черными рабами, ни спать на постеленных ими простынях. Поэтому в войну, когда его не было дома, жена обходилась таким огородом, какой могла возделывать сама или со случайной помощью соседей. А принимать от них помощь муж не разрешал ей по той причине, что она не могла ответить им услугой на услугу.

— Бог подаст, — говорил он.

— Что подаст? Одуванчики и репы?

— Тогда Он даст нам желудок, чтобы переварить их.

Он был проповедником. По воскресеньям он спозаранку уезжал из дома, но только через год отцу (это было до женитьбы сына), который был на хорошем счету в англиканской общине, хотя ни разу на памяти сына не переступил порога церкви, стало известно, куда он отлучается. Выяснилось, что сын — ему только что исполнился двадцать один год — каждое воскресенье ездит за шестнадцать миль служить в захолустной пресвитерианской моделине. Отец посмеялся. Сын слушал этот смех, как слушал бы брань или крики: равнодушно, с холодной почтительностью, без возражений. В следующее воскресенье он опять поехал к своей пастве.

Когда началась война, сын не пошел из нее в числе первых. Но и не оказался в числе последних. Он пробыл в армии четыре года, хотя из мушкета не стрелял и вместо мундира носил темный сюртук, который приобрел на свадьбу, а потом надевал, отправляясь на проповедь. В нем он и вернулся в 65-м году, но с того дня, когда перед дверьми остановилась повозка и двое мужчин подняли его, внесли в дом и уложили на кровать, он больше не надевал сюртука. Жена спрятала его в сундук на чердаке. В сундуке он пролежал двадцать пять лет — до того дня, когда сын сына вынул его оттуда и расправил сукно, аккуратно сложенное руками, которых уже не было на свете.

Он вспоминает этот сюртук сейчас, сидя у темного окна в тихом кабинете и дожидаясь, когда отойдут сумерки, наступит ночь и загремят копыта. Медный свет уже потух; мир парит в зеленом затишьи, окраской и плотностью напоминающем свет, пропущенный сквозь цветное стекло. Скоро пора будет сказать *Теперь скоро. Скоро.* «Мне тогда было восемь лет, — думает он. — Шел дождь». Ему кажется, что он и сейчас слышит запах дождя, октябрьской земли в ее печальной сырости и сундука, зевнувшего затхло, когда он поднял крышку. Затем — аккуратно сложенный сюртук. Сначала он не понимал, что это: с такой силой всколыхнулось воспоминание о руках покойной матери, трогавших эту ткань. Затем сюртук развернулся, медленно обвисая. Ему, ребенку, он показался невысказанно огромным, сшитым на великана; словно только оттого, что его носила одна из них, самому сукну сообщились свойства исполинских и героических теней, маячивших среди дыма, грома и порванных знамен, которые завладели его сном и явью.

Сюртук был почти неизвестен из-за заплат. Заплаты кожаные, грубо нашитые мужчиной, заплаты из конфедератского серого сукна, выгоревшего до цвета прошлогодних листьев, и одна, от которой захолонуло сердце: синяя, темно-синяя — из мундира Сое-

диненных Штатов. При виде этой заплаты, немного и безмянного лоскута, мальчик, рожденный осенью материнской и отцовской жизни, ребенок, чей организм уже нуждался в неуспяной заботе швейцарских часов, тихо ликовал и ужасался, а потом хворал.

Вечером, за ужином, он не мог есть. Его отец, которому уже было под шестьдесят, поднимал голову и, встретив взгляд сына, видел в нем благоговение, ужас и что-то еще. Тогда он говорил: «Что с тобой стряслось?» А ребенок не мог ответить, не мог говорить, глядел на отца, и на детском его лице было такое выражение, как будто он глядит в преисподнюю. Ночью он не мог уснуть. Оцепенелый, лежал он в своей темной постели и даже не дрожал, а его единственный живой родственник, отец, с которым мальчика разделяло такое расстояние во времени, что его нельзя было измерить даже десятилетиями,— такое, что оно лишило их даже внешнего сходства,— спал, отгороженный от него стенами, полами, потолками. На другой день ребенок снова мучился кишечными спазмами. Но он не говорил, в чем дело,— даже негритянке, которая вела хозяйство и была ему и матерью и нянькой. Постепенно силы к нему возвращались. И тогда он опять пробирался на чердак, открывал сундук, вынимал отцовскую одежду, и, с ужасом и ликованием, со сладкой жутью трогая синюю заплату, спрашивал себя, убил ли отец того, из чьего мундира вырезана синяя заплата, и, еще больше ужасаясь, думал, до чего сильны и постоянны в нем жажда и боязнь узнать это. Однако на следующий же день, узнав, что отец поехал навестить одного из своих деревенских пациентов и едва ли вернется засветло, он шел на кухню и говорил негритянке: «Расскажи мне опять про деда. Сколько он убил северян?» И про это он слушал без страха. И даже без ликования — с гордостью.

Для сына же этот дед был бельмом на глазу. Сын ни за что бы так не сказал и не подумал; ни тому, ни другому и в голову не пришло бы пожелать себе другого отца или другого сына. Отношения у них были ровные: с сыновней стороны — бесстрастная, сухая, механическая почтительность, с отцовской — живой, открытый, грубовато-добродушный юмор, которому скорее недоставало остроумия, чем последовательности. Жизнь в их двухэтажном городском доме текла мирно, хотя в один прекрасный день сын раз и навсегда отказался есть пищу, приготовленную рабыней, которая растила его с пеленок. К неопишуемому возмущению негритянки, он сам стряпал на кухне, сам подавал себе на стол и ел, сидя напротив отца, который неукоснительно и церемонно поднимал за его здоровье стакан кукурузного виски; сын и виски в рот не брал, ни разу в жизни не притронулся.

В день свадьбы сына отец уступил ему дом. Когда молодожены приехали, он уже стоял на крыльце с ключами от дома. Он был в плаще и шляпе. Рядом лежали его вещи, а позади стояли двое его рабов: стряпуха-негритянка и его «малый», человек старше его годами и без единого волоса на голове, стряпухин муж. Отец не был плантатором, он был юристом, обучившись юриспруденции примерно так, как потом сын — медицине, — «навалясь да черту помолясь», по его выражению. Он уже купил себе домик в двух милях от города, у крыльца его дожидались дрожки, запряженные в седномастную пару, и пока его сын и сноха, которую он видел в первый раз, шли от ворот к дому, он стоял на крыльце, расставив ноги и сдвинув на затылок шляпу, — крепкий, грубоватый, красноносый мужчина с усами разбойничьего атамана. Он наклонился и поцеловал сноху, дохнув табаком и виски.

— По-моему, вы будете подходящей женой, — сказал он. Взгляд у него был грубоватый и дерзкий, но добрый. — Да и нужно-то нашему благочестивцу немного — лишь бы альтом умела петь пресвитерианские гимны, которые самому Господу на музыку не положить.

Он уехал на украшенных кистями дрожках вместе со своим имуществом — одеждой, большой оплетенной бутылкой, рабами. Рабыня-стряпуха не осталась даже, чтобы приготовить новобрачным первый обед. Ей не предложили, она не отказывалась. Отец при жизни в этом доме больше не появился. Ему были бы рады. И он и сын это понимали, хотя никогда не обсуждали вслух. А сноха — дочь благовоспитанных и многодетных родителей, которые не преуспели в жизни, а в церкви, видимо, нашли замену тому, чего не хватало на столе, — любила его и опасливо, втихомолку им восхищалась: его ухарством, его грубоватой бесхитростной приверженностью нехитрым

законам чести. Однако слухи о его проделках до них доходили: о том, как на другое лето после переезда за город он вмешался в затянувшееся радение, устроенное в соседней роще, и превратил его в неделю любительских конно-спортивных состязаний, между тем как тощие и неистовые деревенские проповедники перед редющей паствой призывали с сельского амвона проклятья на отпетую голову. Почему он не навещает сына и сноху, он объяснил как будто бы откровенно: «Вам будет скучно со мной, мне будет скучно с вами. И кто его знает — неровен час, соблазнит меня малый. Соблазнит старика — раем». Но причина была другая. Сын знал, что другая; хотя он первым восстал бы против такого поклепа, если бы услышал его из чужих уст, сам-то он знал, что у старика есть и чуткость и щепетильность.

Сын стал аболиционистом чуть ли не раньше, чем настроения эти, облекшись в слово, просочились с Севера. Впрочем, узнав, что республиканцы придумали для этого название, он стал называть себя совсем по-другому, ни на йоту не отступив при этом от своих убеждений и повадок. Хотя ему еще не исполнилось тридцати, он отличался спартанской, не по годам, умеренностью, как это часто бывает с отпрысками не слишком привередливых данников Случая и бутылки. Поэтому, может быть, он и ребенок завел только после войны, с которой вернулся другим человеком, «проветрившись», как сказал бы его покойный отец, от своей святости. Хотя за эти четыре года он ни разу не выстрелил из ружья, служба его не ограничивалась молитвами и проповедями перед войском по воскресным утрам. Когда он вернулся домой и, оправившись после ранения, стал практиковать как хирург и фармацевт, он делал лишь то, в чем напрактиковался на телах равно друзей и врагов, помогая врачам на фронте. Из всех поступков сына этот, пожалуй, отец одобрил бы больше всего: что сын обучился профессии на теле захватчика и разорителя родной земли.

«Но святость — неподходящее для него слово, — думает, в свою очередь, сын сын, сидя у темного окна, за которым смолкли трубы и мир парит в зеленом затишье. — Дед первым ополчился бы на того, кто охарактеризовал бы отца таким словом». Нет, это был своего рода возврат к тем суровым и не таким уж давним и забытым временам, когда человек в этой стране не настолько располагал собой и временем, чтобы расточать их зря, а ту малость, которой располагал, должен был защищать и охранять не только от природы, но и от людей, рассчитывая лишь на собственную стойкость и зная, что не будет вознагражден за нее — по крайней мере, при своей жизни — покоем и досугом. Вот откуда шло у него осуждение рабства и собственного отца, кошуника и здоровяка. А то, что в войне за идею он деятельно участвовал на стороне людей, чьи принципы были противны его принципам, и не видел, не мог увидеть тут никакого противоречия, ясно показывало, что в нем совмещались два отдельных и цельных человека, один из которых жил по ясным законам — в мире, где не было места действительности.

Но другая его часть, жившая в действительном мире, заравствовала не хуже других и даже лучше многих. Он жил по своим принципам в мирное время, и когда началась война, не расстался с ними, жил по ним и там; когда надо было совершать богослужение мирным воскресным днем в тихой роще, он совершал его, ничем особенным не оснащенный, кроме собственной воли, убеждений и того, чему он научился по ходу дела; когда надо было спасать из-под обстрела раненых и лечить их без нужных инструментов, он спасал и лечил, опять-таки ничем не оснащенный, кроме собственной силы, смелости и того, чему он научился по ходу дела. А когда война была проиграна и другие вернулись домой, упрямо оборотив взор на то, что отказывались признать погибшим, он смотрел вперед и пытался извлечь из поражения хоть что-нибудь, применяя на практике вынесенный из него опыт. Он стал врачом. Одним из первых его пациентов была жена. Возможно, он спас ей жизнь. По крайней мере — дал возможность произвести на свет новую, хотя когда родился сын, ей было за сорок, а ему пятьдесят. Сын этот вырос и возмужал среди призраков и бок о бок с духом

Призраками были его отец, его мать и старая негритянка. Отец, который был священником без церкви и солдатом без врага, после поражения объединил то и другое и стал врачом, хирургом. Как будто те самые холодные и непоколебимые устои, которые позволили ему, так сказать, с честью продержаться между порохом и елеем, не были подорваны и опрокинуты, а облеклись мудростью. словно в орудийном дыму,

как в видении, ему открылось, что наложение рук надо понимать буквально. Словно в проповеди Христа ему открылось вдруг, что тот, у кого лишь дух нуждается в исцелении, немногого стоит, не заслуживает спасения. Это был один призрак. Вторым была мать, чей образ в его воспоминаниях с начала и до конца — истаявшее лицо, огромные глаза, россыпь темных волос на подушке и голубые неподвижные, похожие на мощи, руки. Если бы в день ее смерти ему сказали, что он ее видел не только лежащей, он бы не поверил. Позже он вспоминал и другое — он вспоминал, как она ходила по дому, занималась хозяйством. Но в восемь, в девять и в десять лет она представлялась ему безногой — истаявшим лицом и глазами, которые с каждым днем становились все больше и больше, словно готовясь охватить все видимое, все живое одним угасающим взглядом, полным страдания, безысходности и предчувствия смерти, — да так, что если бы это наконец случилось, он бы услышал: это был бы звук, вроде крика. Перед ее смертью он уже чувствовал их сквозь все стены. Они были домом; он жил в них, в этом темном всеобъемлющем стойком отсвете угасающей жизни. Оба, и он и она, жили в них, как два слабых зверька в норе, в пещерке, где время от времени появлялся отец — человек для них чужой, посторонний, почти опасный: так быстро здоровье телесное изменяет и преобразует дух. Он был не просто чужой: он был враг. От него пахло по-другому. Он говорил другим голосом, чуть ли не другими словами; словно обитал в другом окружении, другом мире; присевший возле кровати ребенок чувствовал, как пышет здоровьем и безотчетным презрением мужчина, который был так же бессилен и подавлен, как они.

Третий призрак была негритянка, рабыня, уехавшая на дрожках в то утро, когда молодые пришли домой. Она уехала рабыней; рабыней и вернулась в 66-м году, только пешком — громадная женщина, на чьем лице запечатлелись одновременно гневливость и спокойствие: маска черной трагедии между эпизодами. После смерти хозяина и до тех пор, пока она не уверилась наконец, что не увидит больше ни его, ни мужа — «малого», который пошел с хозяином на войну и тоже не вернулся, — она отказывалась покинуть загородный дом хозяина, оставленный на ее попечение. Сын явился туда после смерти отца, чтобы закрыть дом и забрать отцовское имущество, и предложил ее обеспечить. Она отказалась. Выехать тоже отказалась. Она развела небольшой огород и жила одна, ждала возвращения мужа, отказываясь верить слухам о его смерти. Это был только слух, неясный: будто бы после того, как хозяин погиб в налете ван-дорновской конницы на склады Гранта в Джефферсоне, негр был безутешен. Однажды ночью он исчез с бивака. Вскоре пошла молва о полоумном негре, который попадаетея конфедератским пикетам на самой линии фронта и каждый раз несет окопелцицу насчет пропавшего хозяина — якобы северяне держат его в плену, чтобы получить выкуп. Он ни на секунду не соглашался поверить, что хозяина убили «Нет, сар, — говорил он. — Массу Гейла не могли. Ни за что. Они бы побоялись убить Хайтауэра. Побоялись бы. Они его где-то спрятали, хотят вытянуть из него, где мы с ним спрятали хозяйкин кофейник и золотой поднос. Вот чего им надо». Каждый раз ему удавалось сбежать. Но однажды с федеральных позиций дошел рассказ о том, как негр напал на офицера северян с лопатой и офицер, защищая свою жизнь, вынужден был его застрелить.

Негритянка долго в это не верила. «С такого дурака станется, — говорила она. — Да ведь дурак-то такой, что янки от своего не отличит — кого лопатой дзынуть». Она твердила это больше года. Потом в один прекрасный день она появилась в доме сына — в том доме, который покинула десять лет назад и ни разу не навещала; свое имущество она несла в платке. Она вошла в дом и сказала:

— Вот я. Хватит у вас дров ужин приготовить?

— Вы тепер вольный человек, — сказал ей сын.

— Вольный? — повторила негритянка. Она говорила со спокойным печальным презрением. — Вольный? Что в этой воле толку — что массу Гейла через нее убили, а Помит через нее таким дураком сделался, каким его сам Господь не мог сделать? Воля? Вы мне про эту волю не говорите.

То был третий призрак. С этим призраком ребенок («И сам тогда — ничуть не лучше призрака», — думает сейчас этот ребенок перед гаснущим окном) разговаривал о духе. Говорили без усталости: ребенок — увлеченно, с полувосторгом-полуужасом, а ста-

руха — с задумчивой и яростной скорбью и гордостью. Но ребенку это казалось просто тихим содроганием восторга. Он не видел ничего ужасного в том, что дед его, как ему говорили, «убивал людей сотнями», или в том, что негр Помп погиб, пытаясь убить человека. Ничего жуткого — потому что они были только духами, никогда не виданными во плоти, героическими, простыми и пылкими; отец же, которого он знал и боялся, — призраком, который никогда не умрет. «Поэтому, — думает он, — не удивительно, что я перепрыгнул через поколение. Не удивительно, что у меня не было отца и что я уже умер однажды ночью, за двадцать лет до того, как появился на свет. И что единственное для меня спасение — вернуться умирать туда, где моя жизнь прекратилась раньше, чем началась».

Поступив в семинарию, он часто думал о том, как расскажет это им, старшим, возвышенным и освященным людям, решавшим судьбы церкви, которой он добровольно себя отдал. Как он пойдет к ним и скажет: «Слушайте. Господь должен призвать меня в Джефферсон, потому что там кончилась моя жизнь, была остановлена пулей, в седле, на скаку, ночью на джефферсонской улице, за двадцать лет до того, как зачалась». Первое время он думал, что сможет это сказать. Верил, что они поймут. Ведь он пришел к ним, избрал церковную стезю — ради этой цели. Но этим вера его не исчерпывалась. Он верил и в церковь, во все, что от нее ветвилось и ею пробуждалось. Верил со спокойной радостью, что если есть на свете убежище, то это церковь; что если правда может жить нагой, без стыда и боязни, то — в семинарии. Когда он верил, что обрел призвание, его будущая жизнь представлялась ему незыблемой, во всех отношениях совершенной и невозмутимой, подобно чистой классической вазе, такая жизнь, где дух может родиться сызнова, укрытый от житейских бурь, и так же умереть — в покое, под далекий шум бессильного ветра, избавясь лишь от горсти истлевшего праха. Вот что значило слово «семинария»: тихие и надежные стены, где стесненный, покровами озабоченный дух вновь обучится безмятежности, чтобы без ужаса и тревоги созерцать свою наготу.

«Но в мире много есть того, что нашей правде и не снилось», — мысленно перефразирует он, не насмешливо, не шутливо, однако и не без насмешки, не без шутливости — спокойно. В ступающемся сумраке его забинтованная голова как будто растет, становясь все призрачней. «Не снилось», — повторяет он про себя и думает: для того, наверно, и дана человеку изобретательность, чтобы в переломные минуты он мог измыслить образы и звуки, которые оградят его от правды. В одной ошибке ему, по крайней мере, не пришлось раскаиваться — он не открылся старшим. Не проучившись и года, он понял, какая это будет глупость. Больше того, хуже того: поняв это, он не потерял, а, наоборот, приобрел что-то, от чего-то спасся. И это приобретение окрасило сам лик и характер любви.

Она была дочерью одного из священников, преподавателей колледжа. И тоже — единственным ребенком, как он. Он сразу поверил, что она красавица, потому что слышал о ней еще до того, как ее увидел, а увидев — не разглядел за тем лицом, которое создал в своем воображении. Он не верил, чтобы она, прожив здесь всю жизнь, могла не быть прекрасной. Он разглядел ее лицо только через три года. К тому времени уже два года существовало дупло, где они оставляли друг другу записки. Если он и задумывался об этом, то думал, что идея возникла у них одновременно — не важно, кто первым на нее наткнулся, ее высказал. Но на самом деле идея шла не от нее и не от него, а от книги. Лица же ее он не видел вовсе. Не видел маленького овала, слишком резко сужавшегося к подбородку и омраченного недовольством (она была на год, два или три старше его, но он этого не знал и не узнал никогда). Не видел, что три года ее глаза наблюдают за ним, лихорадочно что-то рассчитывая, как глаза почти отчаявшегося игрока.

И вот однажды ночью он увидел ее, взглянул на нее. Неожиданно и грубо она заговорила о женитьбе. Без всяких предисловий, ни с того ни с сего. Они никогда не касались этой темы. Женитьба ему и в голову не приходила — даже само слово. Он допускал брак, потому что большинство преподавателей были женаты. Но для него это было не освященной и живой физической близостью мужчины и женщины, а мертвым отношением, перенесенным на живых и существующим вместе с ними: как две тени, скованные тенью цепи. Он к этому привык: он рядом с духом вырос. И вот однажды вечером она заговорила — неожиданно, грубо. Когда он понял наконец, что она

подразумевает под избавлением от своей нынешней жизни, он не удивился. Он был слишком простодушен.

— Избавиться? — сказал он. — От чего избавиться?

— От этого! — сказала она.

Впервые он увидел ее лицо как живое лицо, как маску, за которой таились жажда и ненависть: искаженное, незрячее, ошалелое от страсти. Не глупое; просто незрячее, отчаянное.

— От всего! Всего! Всего!

Он не удивился. Он сразу поверил, что она права, а сам он не понимал этого по наивности. Он сразу поверил, что его представления о семинарии с самого начала были ложными. Не совсем ложными, но ошибочными, неточными. Возможно, он и сам уже в них сомневался, только до сих пор этого не сознавал. Возможно, поэтому он и не сказал старшим, почему должен поехать в Джефферсон. Ей он еще год назад сказал, почему хочет, должен туда поехать и что намерен объяснить это им; она смотрела на него лихорадочным взглядом, которого он еще не замечал.

— По-твоему, — сказал он, — они меня не пустят? Не направят туда? Не сочтут это достаточным основанием?

— Конечно, нет, — ответила она.

— Но почему? Ведь это правда. Пусть глупая. Но правда. А для чего же церковь, как не для помощи тем, кто глуп, но хочет правды? Почему бы им меня не пустить?

— Будь я на их месте, я бы сама тебя не пустила, если бы ты привел такой довод.

— Да, — сказал он. — Понимаю.

Но по существу он не понимал, хотя верил, что она права, а он мог ошибаться. Поэтому через год, когда она вдруг заговорила с ним о женитьбе и избавлении в одних и тех же словах, он не удивился, не был уязвлен. Он лишь подумал спокойно: «Так вот она, любовь. Понимаю. Я и на этот счет ошибался», — думая, как думал прежде и будет думать опять, как случается думать каждому человеку; до чего ложной оказывается самая глубокая книга, если ее приложить к жизни.

Он полностью переменялся. Они решили пожениться. Теперь он понимал, что с самого начала видел в ее глазах этот лихорадочный расчет. «Пожалуй, они правы, помещая любовь в книги, — споксйно думал он. — Пожалуй, только там ей и место».

В глазах ее еще было лихорадочное выражение, но теперь, когда планы распределились и день был назначен, оно смягчилось, возобладали расчет. Теперь речь шла о том, как получить вызов в Джефферсон. «Надо взяться за дело немедленно», — сказала она. Он ответил ей, что взялся за дело в четырехлетнем возрасте; возможно, это была просто шутка, легкомыслие. Она отмела ее со страстным нетерпением, которому юмор чужд, пропустила мимо ушей и заговорила, словно сама с собой, о людях, которых надо будет повидать, уместить или припутнуть, разворачивая перед ним целую кампанию интриг и унижений. Он слушал. Даже слабая улыбка — легкомысленная, насмешливая, а может быть, обескураженная — не сошла с его лица.

Он вставлял в ее рассуждения: «Да. Да. Ясно. Понимаю», — как будто говоря *Да. Понимаю. Теперь понимаю. Так это и делают, так и добиваются. Таковы правила. Теперь я понимаю.*

Когда демагогия, унижения, мелкая ложь разбежались по церковной иерархии кругами новой мелкой лжи, а затем и угроз в форме запросов и советов, и вызов в Джефферсон был получен, он поначалу забыл, каким путем его добился. Не вспоминал, откуда не обосновался в Джефферсоне — и уж, во всяком случае, на последнем этапе путешествия, когда поезд мчал его к цели жизни, по местам, схожим с теми, где он родился. Но выглядели они совсем по другому, хотя он знал, что разница — не по ту, а по эту сторону вагонного окна, к которому он почти прильнул лицом, как ребенок; да и у жены, сидевшей прздаи, было написано на лице, кроме обычной жажды и отчаяния, еще и что-то вроде интереса. Они были женаты меньше полугода. Поженились сразу после того, как он окончил семинарию. С тех пор он ни разу не видел на ее лице ничем не прикрытого отчаяния. Но ни разу не видел и страсти. И опять он думал, спокойно, без особого удивления и, пожалуй, даже без обиды *Понимаю. Вот он каков. Брак. Да. Теперь я понимаю.*

Поезд мчался. Подавшись к окну, он глядел на убегавший назад ландшафт и горюл оживленным, по-детски счастливым голосом:

— Я давно бы мог поехать в Джефферсон, когда угодно. Но не поехал. Я мог поехать когда угодно. Ты знаешь, есть разница между несчастным случаем в мирной жизни и на войне. Несчастный случай на войне? Ах, это было просто отчаяния. Горстка солдат (он не был офицером: это, кажется, единственное, в чем сходились папа и старуха Цинтия: что дед не носил сабли, не размахивал ею, когда скакал впереди) с жестоким мальчишеским легкомыслием затеяла такую лихую проделку, какой даже от них не ожидали войска, дравшиеся с ними четыре года. Проехать сотню миль по местам, где в каждой роще и деревеньке стоят биваками северяне, и ворваться в гарнизонный город... я знаю саму улицу, по которой они въехали и выехали обратно. Я никогда ее не видел, но точно знаю, как она будет выглядеть. Я точно знаю, как будет выглядеть на этой улице дом, который мы купим и в котором будем жить. Не сразу, конечно. Сначала нам придется пожить в приходском доме. Но скоро — как только удастся... Выглянем в окно и увидим эту улицу и, может быть, даже следы подков или саих людей очертания в воздухе — ведь воздух остался прежний, даже если исчезла та пыль, та грязь... Голодные, худые, с криками поджигают склады запасов, тщательно подготовленных для целой кампании, и уносятся. Никакого грабежа: не берут даже обуви и табаку. Я тебе говорю, эти люди не искали добычи и славы: это были просто мальчишки, подхваченные колоссальной волной отчаянного житья. Мальчишки. Вот ведь что. Вот что прекрасно. Слушай. Попытайся себе представить. В этом — чудесный образ вечной юности и чистой страсти, которая создает героев. Которая выводит деяния героев на самую грань вероятного — и не удивительно поэтому, что их деяния должны вспыхивать время от времени, как пламя выстрелов в порохом дым, что сама их физическая кончина становится тысячеустой молвой, прежде чем они испустят последний вздох — дабы парадоксальная правда не опорочила самое себя. Вот что мне рассказывала Цинтия. И я верю. Я знаю. Это слишком прекрасно, чтобы усомниться. Слишком прекрасно, слишком просто, чтобы это мог выдумать белый. Это мог бы выдумать негр. И если Цинтия выдумала, я все равно верю. Потому что даже факт не устоит перед этим. Не знаю, заблудился эскадрон деда или нет. Думаю, что нет. Думаю, они сделали это нарочно, как мальчишки, которые подожгли сарай врага и бегут, не прихватив даже щепки с крыши, засова с двери, и вдруг останавливаются, чтобы украсть несколько яблок у соседа, друга. Не забудь, они были голодные. Они три года голодали. Может быть, они к этому притерпелись. Во всяком случае, они только что предали огню тонны провианта, амуниции, табака и спиртного, не взяв ничего, хотя приказа не грабить не было, и повернули восвояси; а фоном, задником — смятение и пламя, само небо, наверно, было охвачено огнем. Это прямо видишь, слышишь: гвалт, выстрелы, крики торжества и ужаса, топот копыт, деревья дыбятся в красном зареве, словно тоже застыв от ужаса, острые фронтоны домов — как зазубренный край рвущейся земли. А потом — место тесное: ощущаешь, слышишь во тьме, как осаживают разгоряченных лошадей, лягз оружия, громкий шепот, тяжелое дыхание, голоса еще звенят торжеством; позади проносятся вскачь остальные войска, горны трубят им сбор. Надо ощутить, услышать это, тогда увидишь. Увидишь до того, как треснет выстрел, короткую красную вспышку и в ней — расширенные глаза, раздутые ноздри, закинутые морды потных лошадей, отблески на металле, худые белые лица живых пугал, позабывших, когда они ели досыта; возможно, некоторые уже спешились, возможно, кто-то уже влез в курятник. Все это ты видишь до того, как раздастся выстрел охотничьего ружья, — и опять чернота. Всего один выстрел. «И ему, конечно, надо было угодить под пулю, — говорила Цинтия. — Кур воровал. Взрослый человек, сына оженил, пошел на войну северян убивать, а самого убили в курятнике, с пучком перьев в руке». Кур воровал.

Голос у него был высокий, по-детски восторженный. Жена уже схватила его за локоть *Тсссс! Тсссс! На тебя смотрят!* Но он ее как будто не слышал. Его глаза, худое нездоровое лицо, казалось, излучали какой-то свет.

— Вот именно. Они не знали, кто стрелял. Так и не узнали. Они не пытались выяснить. Это могла быть женщина, и вполне вероятно — жена конфедератского солдата. Мне хочется так думать. Это чудесно. Каждый солдат может быть убит в пулю

сражения — оружием, одобренным повелителями и законодателями войны. Или — женщиной в спальне. Но не из охотничьего ружья, не из дробовика, в курятнике. Так стоит ли удивляться, что этот мир населен преимущественно мертвыми? Конечно, когда Бог глядит на их потомство, Ему не претит делиться Своим с нами.

— Тише! Тссс! На нас смотрят!

Поезд уже вкатывался в город; за окном проплывали убогие предместья. Он все еще глядел туда — худой, слегка неопрятный человек, чье лицо еще хранило непопукнейший отблеск его призвания, назначения, — и тихо огораживая, окружая, остерегая нетерпеливое сердце, тихо думал, что рай несомненно должен быть схож видом и цветом с той деревушкой, пригорком, домом, о которых верующий говорит: это мое родное. Поезд остановился: медленно по коридору, задерживаясь, чтобы еще и еще раз взглянуть в окно, и — вниз по ступенькам, навстречу степенным, важным, рассудительным лицам: шушуканье, обрывки фраз, голоса — любезные, но пока не выносящие суждения, еще не потеплевшие и (скажем прямо) готовые осуждать. «Я признал это, — размышляет он. — Должно быть, я пошел на это. Но ничего больше, наверное, не сделал, да прости меня Бог». Земля почти совсем потонула во мгле. Ночь уже почти наступила. Забинтованная голова его перед открытым окном лишена полноты, плотности; неподвижная, она словно парит над двумя бледными кляксами рук, покоящихся на подоконнике. Он высовывается наружу. Он уже ощущает, как соприкоснутся сейчас два мгновения: одно, в котором — итог его жизни, обновлявшейся всякий раз на грани между тьмой и сумерками, и то остановившееся мгновение, из которого должно возникнуть с к о р о. Когда он был моложе, когда его сеть была еще слишком тонка, чтобы он мог ждать, он, случалось, обманывал себя в эту секунду и верил, что слышит их, хотя знал, что еще не пора.

«Быть может, я больше ничего и не делал в жизни, больше ничего не сделал», — думает он, думая о лицах: лицах стариков, конечно, не доверяющих его юности и ревнующих церковь, которую они отдавали в его руки почти так же, как отец выдает дочь; лицах, изборожденных простою совокупностью разочарований и сомнений, так часто представляющих собою обратную сторону картины почтенных, но еще бодрых лет, сторону, между прочим, на которую модель картины — ее владлец вынужден смотреть, не может не смотреть. «Они свое сделали; они играли по правилам, — думает он. — Это я не справился, я преступил. Быть может, это — величайший грех; да, быть может, — нравственный грех». Мысль катится тихо, спокойно, плавно, выливаясь в спокойные образы, в которых нет ни назойливости, ни укора, ни особого раскаяния. Он видит себя смутной тенью среди теней — парадоксальной, в ложном своем оптимизме и эгоизме уверовавшей, будто в той части Церкви, которая больше всех заблуждается, истребляя мечту, — среди слепых страстей, воздетых рук и громких голосов он обретает то, чего не нашел в неотмирном апофеозе Церкви на земле. И кажется ему, что он понимал это всегда: что разрушают Церковь не те, кто в ней и наобум ищет чего-то вовне, и не те, кто вовне и наобум ищет чего-то в ней, но профессионалы, которые управляют ею, которые вынули колокола из ее звонниц. Ему видятся эти колокольни, бесчисленные, разбросанные в беспорядке, символически пустые, унылые, устремленные к небу не со страстью, не с восторгом, но клятвенно, угрожающе, обреченно. И церкви земли видятся ему как крепостной вал, как усаженная мертвыми острыми кольями средневековая баррикада: против истины и против мира в человеческой жизни; которая состоит в том, чтобы грешить и быть прощенным.

«И я это принял, — думает он. — Я не противился. Нет, я поступил хуже: я служил ей. Служил, используя ее для того, чтобы потворствовать своему желанию. Я приехал сюда, где меня ждали лица, на которых была написана растерянность, жажда и рвение, — ждали, чтобы поверить; я их не видел. Где поднятые руки тянулись к тому, что они надеялись от меня получить; я их не видел. Я приехал сюда с одним обязательством, быть может, первейшим обязательством мужчины, которое я добровольно взял на себя перед Богом; это обязательство и забота так мало значили для меня, что я даже не подозревал, что связан ими. И если я так с ней обошелся, тогда чего мне было ждать? Чего мне было ждать, кроме позора и отчаяния, и мог ли Господь не отвернуться от меня со стыдом? Быть может, в тот момент, когда я открыл ей не только всю силу своей жажды, но и то, что она никогда,

никогда не поможет мне ее утолить,— быть может, в этот момент я стал ее соблазнителем и ее убийцей, орудием и виновником ее позора и смерти. Должны же быть в конце концов такие случаи, когда человек не может взвалить всю вину и ответственность на Бога. Должны быть». Мысль начинает замедляться. Она замедляется, как колесо, въехавшее в песок, когда оси, колеснице, движущей ее силе сопротивление еще не передалось.

Он словно видит себя среди лиц, всегда среди лиц, в кольце, в окружении, как будто видит себя на кафедре из задних рядов церкви, или как Зудто он — рыба в аквариуме. Больше того: лица кажутся ему зеркалами, в которых он видит себя. Он знает их все; он может прочесть в них свои поступки. В них отражается балаганная фигура — вроде скомороха, слегка ошалелого, шарлатана, который проповедует нечто худшее чем ересь: с полным пренебрежением к тем, чьи подмостки он захватил, вместо распятого воплощения жалости и любви подсовывает — развязного удальца, головореза, убитого из дробовика в мирном курятнике в минуту отдыха от привычных трудов — убийства. Колесо мысли замедляется; до оси это уже дошло, но самой колеснице еще неизвестно.

Он видит, как на окруживших его лицах отражаются удивление, замешательство, потом гнев, потом страх, будто они заглянули за нелепое его скоморошество и увидели взирающий на него, а самому ему невидимый, последний и надмирный Лик, холодный и ужасный в Своем бесстрастном всеведении. И он знает, что они видят больше этого: видят, как обязательство, оказавшееся ему не по плечу, превращено в его наказание; теперь ему кажется, что он сам разговаривает с этим Ликом: «Наверно, я взял на себя больше, чем мог выполнить. Но разве это преступление? Должен ли я быть наказан за это? Должен ли отвечать за то, что было мне не по силам?» А Лик: «Ты принял ее не для того, чтобы выполнить обещание. Ты взял ее из корысти. Как средство быть вызванным в Джефферсон; не для Моих целей, для своих собственных».

«Это правда? — думает он. — Неужели и вправду так было?» Опять видит себя в ту пору, когда открылся позор. Он вспоминает то, что было почувствовано раньше, чем родилось, — то, что он прятал от собственного сознания. Видит, как пытался откупиться словно подачкой — собственной выдержкой, стойкостью и достоинством, деля вид, будто слагает с себя сан по-мученически, хотя в эту самую минуту сердце прыгало от радости отречения, которую выдавало лицо, когда он, загородившись псалтырем, считал себя в безопасности, а фотограф подловил его сбоку.

Он словно наблюдает за собой: как внимательно, терпеливо и ловко разыгрывает он свои карты, делая вид, будто безропотно смиряется с тем, чего на самом деле желал еще до поступления на семинарию, хотя не признается себе в этом желании даже теперь. И все бросает, бросает подачки, как гнилые яблоки перед гуртом свиней: делится с мемфисской исправительной колонией скудными доходами с отцовского капитала; позволяет себя травить, позволяет вытащить себя ночью из постели, уволочь в лес и бить палками, и не стыдятся, убажывая свое сладострастно-терпеливое это мученика, колет городу глаза своей миной, видом, своим Доколе, о, Господи? и только дома, за дверью, сладострастно ликуя, снимает личину Ах. С этим покончено. Это позади. Это куплено и оплачено.

«Но я тогда был молод, — думает он. — Мне тоже приходилось делать не то, что я мог, а то, что умел». Теперь мысль движется чересчур тяжело, ему полагалось бы это понять и почувствовать. Но колесница все еще не ведает, к чему приближается. «И в конце концов я же расплатился. Я купил этот дух, хотя заплатил за него своей жизнью. А кто смеет мне запретить? Человек имеет право губить себя, коль скоро не вредит другим, коль скоро живет собой и сам по себе...» Он вдруг останавливается. Замирает, перестает дышать от испуга, близкого к настоящему ужасу. Теперь он сознает, что попал в песок; поняв это, он чувствует, как весь собирается внутри, словно для неимоверного усилия. Продвижение — все еще продвижение, но теперь новое неотлично от только что пройденного: преодоленные яды песка, налипшие на колеса, сыпаются с сухим шорохом, который еще раньше должен был бы послужить ему сигналом: «...открыл же не свою жажду, свое «я»... Орудие, принесшее ей позор и отчаяние...», и хотя он даже не подумал этого, фраза возникает в черепной коробке целиком, позади глаз Я не хочу так думать. Я не должен так думать. Я не смею так думать. Он сидит в окне, наклонив-

шись над своими неподвижными ладонями, и начинает обливаться потом; пот выступает, как кровь, льется. Увявшее в песке колесо мысли выворачивается из этого мгновения, с медленной неумолимостью средневекового орудия пытки вздевая на себе выкрученные и раздробленные сочленения его духа, его жизни: «Если это так, если я — орудие, принесшее ей отчаяние и смерть, значит, я орудие кого-то другого. А я знаю, что пятьдесят лет я не был даже прахом: я был единственным мгновением темноты, в которой проскакал конь и грянул выстрел. И если я — свой дед в мгновение его смерти, тогда моя жена, жена его внука... растлитель и убийца жены моего внука, раз я не позволял внуку ни жить, ни умереть...»

Колесо, освободившись, словно срывается вперед с протяжным, похожим на вздох звуком. Он сидит неподвижно, в холодном поту; пот течет и течет. Колесо продолжает вертеться. Теперь оно катится быстро и плавно, потому что освободилось от груза, от колесницы, от оси, от всего. В зыбком затишье августа, куда сейчас вступит ночь, оно одевается, обволакивается слабым свечением, похожим на ореол. Ореол полон лиц. Лица не отмечены страданием, не отмечены ничем — ни ужасом, ни болью, ни даже укORIZATION. Они покойны, словно обрели избавление через апофеоз; среди них и его лицо. В сущности, они все немного похожи — смесь всех лиц, которые ему когда-либо приходилось видеть. Но он отличает их друг от друга. Лицо жены; прихожан, которые отвергли его, которые с нетерпением и готовностью встречали его в тот день на станции; Байрона Банча; роженицы и — человека, которого звали Кристмас. Только это лицо неясно. Оно вырисовывается туманнее всех остальных — словно в мирных уже судорогах более позднего и нерасторжимого слияния. Затем он понимает, что это — два лица, которые как будто стремятся (но он знает, что стремятся или желают не сами по себе, а из-за движения и желания самого колеса) освободиться друг от друга, растаять и соединиться вновь. Но теперь он увидел — лицо другое, не Кристмаса. «Да ведь это... — думает он. — Я его видел недавно... Да ведь это... тот юноша. С черным пистолетом, как он называется... автоматическим. Тот, который... на кухне, где... убил, который стрелял...» И тут ему кажется, что какой-то последний адский поток внутри него прорвался и хлынул вон. Он будто наблюдает его, чувствуя, как сам отделяется от земли, становится все легче, легче, опустошается, плавает. «Я умираю, — думает он. — Надо молиться. Надо попробовать». Но не молится. Не пробует. «Когда все небо, вся высь полна напрасных, не услышанных криков всех живых, что жили на земле — и до сих пор вопиют, как заблудившиеся дети, среди холодных и ужасных звезд... Я желал такой малости. Я просил такой малости. Казалось бы...» Колесо вращается. Оно вертится стремительно, пропадая, не двигаясь с места, словно раскрученное этим последним потоком, который вырвался из него, опустошив его тело, — и теперь, сделавшись легче забытого листа, ничтожнее плавучего сора, опропанное и застывшее, оно сникало в окне, опустив на подоконник, лишенный плотности, руки, лишенные веса: настала пора для «Пора».

Они словно только и дожидались, когда он соберется с силами, чтобы вздохнуть, когда соберет последние остатки чести, гордости и жизни, чтобы подтвердить свое торжество и желание. Он слышит, как над сердцем нарастает гром, дробный и несчетный. Как протяжный вздох ветра в древесных кронах, начинается этот гром, а затем вылетают они, теперь — на облаке призрачной пыли. Пронесются мимо, подавшись вперед в седлах, потрясая оружием, а над ними на жадно склоненных пиках трепещут ленты; бурля, с беззвучным гамом, они прокатываются мимо, как вал, чей гребень усажен оскаленными лошадиными мордами и грозным оружием людей, словно выброшенные жерлом взорвавшегося мира. Они пронесются мимо и пропадают; пыль взвивается к небу, всасываясь в темноту, тая в ночи, которая уже наступила. Но он все сидит в окне, прикинув огромной и плоской головой в повязке к двум пятнам рук на подоконнике, и, кажется, все еще слышит их: дикое ление горнов, лягз сабель и замирающий гром копыт.

В восточной части штата живет человек, который занимается починкой и перепродажей мебели; недавно он ездил в Теннесси за старой мебелью, купленной по переписке. Поехал он на своем грузовике, и поскольку машина (это фургон с дверью в задней стенке) еще только обкатывалась, он не хотел ее гнать быстрее пятнадцати миль в

час, и, чтобы не тратиться на гостиницы, взял с собой снаряжение для ночевки на открытом воздухе. Возвратившись домой, он рассказал жене об одном приключении, на его взгляд достаточно забавном, чтобы о нем стоило рассказать. Возможно, он нашел это приключение интересным и решил, что сможет рассказать о нем интересно потому, что они с женой люди еще не старые, и вдобавок он отсутствовал дома (благодаря весьма умеренной скорости, которой счел нужным себя ограничить) больше недели. Речь шла о двух людях, пассажирах, которых он подобрал по дороге; он называет город в Миссисипи, недалеко от границы с Теннесси:

«Решил заправиться, подъезжаю к станции и вижу, стоит на углу такая молоденькая, приятная с виду женщина — как будто ждет, чтобы кто-нибудь из проезжих предложил ее подвезти. Что-то в руках держит. Я сперва не заметил, что это такое, и парня не заметил, который с ней был, покуда он не подошел и не заговорил со мной. Сперва я решил, что не заметил его потому, что он стоял отдельно. А потом вижу — это такой человек, что если он один на дне пустого бассейна будет сидеть, его и то не сразу заметишь. Подходит он, а я ему с места в карьер говорю:

— Если вам в Мемфис нужно, то я не туда. Я еду через Джексон, Теннесси.

А он говорит:

— Прекрасно. Это бы нас устроило. Вы бы нас очень выручили.

Я говорю:

— А куда вы все-таки едете?

А он поглядел на меня — вроде хочет быстренько что-нибудь выдумать, но, видно, врать не привык и знает, что вряд ли ему поверят.

— Наверно, просто осматриваетесь? — говорю.

— Да, — говорит. — Вот именно. Просто путешествуем. Куда бы вы нас ни подвезли, все равно вы нас очень выручите.

Ну я и сказал ему, чтобы залезали.

— Надеюсь, вы меня не убьете и не ограбите.

Он пошел и привел ее. Тут я увидел, что на руках у нее ребенок, махонький, году нет. Он хотел было посадить ее в кузов, а я говорю:

— Один из вас может сесть с кабину.

Они поговорили немного, потом она залезла в кабину, а он пошел на заправочную станцию, вынес картонный чемодан — знаешь, такой, под кожу, — засунул в кузов и сам влез. И поехали — она в кабине, с ребенком на руках, и то и дело назад поглядывает: не выпал ли он там или еще чего.

Сперва я думал, они женаты. Да, в общем, и не думал ничего, только подивился, как это такая молодая статная девушка — и вдруг с ним сошлась. Ничего плохого в нем не было. Парень вроде хороший, работник, видно, — из тех, которые подолгу на месте держатся и прибавки не просят, покуда им разрешают работать. Вот такой примерно парень. Такой, что, кроме как на работе, он всегда где-то сбоку припека. Я себе представить не мог, чтобы кто-нибудь, какая-нибудь женщина запомнила, как спала с ним, — не говоря уж о том, чтобы такое доказательство на руках имела.

И не стыдно тебе? спрашивает его жена. *Говорить также женщине.* Они беседуют в темноте.

Я что-то не вижу, чтобы ты покраснела, говорит он. И продолжает:

«Я вообще об этом не думал, пока мы не остановились на ночевку. Она сидела со мной в кабине — ну, разговорились, как водится, и немного погоды узнаю, что пришли они из Алабамы. Она все говорила: «Мы пришли», и я, конечно, думал, что она — про того, который в кузове едет. И говорит, что они уже почти два месяца в дороге.

— Вашему мальцу, — говорю, — нет двух месяцев. Если я в цветах разбираюсь.

А она отвечает, что он родился три недели назад в Джефферсоне, и я говорю:

— А-а, где нигера линчевали. Это, наверно, при вас еще было.

И тут она прикусила язык. Как будто он не велел ей про это разговаривать. Я понял, что он. Ну, едем дальше, а как смеркаться стало, я говорю:

— Скоро будет город. Я в городе ночевать не останусь. Но если вы хотите завтра со мной ехать, я заеду за вами в гостиницу часов в шесть.

А она сидит тихо, как будто ждет, что он скажет, и он немного погоды говорит:

— Я думаю — на что вам гостиница, когда в машине дом.

Я промолчал, а уже в город въезжаем, и он спрашивает:

— А этот городок порядочный или так себе?

— Не знаю,— говорю.— Но думаю, пансиончик какой-нибудь здесь найдется.

А он говорит:

— Интересно, нет ли тут лагеря для туристов?

Я молчу, и он объясняет:

— Чтобы палатку снять. Гостиницы эти дорогие — особенно если людям ехать далеко.

А куда едут, так и не говорят. Как будто сами не знают, а так, смотрят, куда им удастся заехать. Но я еще этого не понимал. А вот что он от меня услышать хочет, понял — и что сам он у меня об этом не попросит. Как будто, если Бог положил мне сказать это, я скажу, а если Бог положил ему пойти в гостиницу и заплатить, может, целых три доллара за номер, он пойдет и заплатит. И я говорю:

— Что ж, ночь теплая. Если вы не боитесь москитов и на голых досках в машине спать...

А он говорит:

— Конечно. Это будет прекрасно. Это было бы очень прекрасно, если бы вы ей разрешили.

Тут я заметил, что он сказал ей. И начинаю замечать, что он какой-то чудной, напряженный, что ли. Такой у него вид, будто сам себя накрутить хочет на какое-то дело, которое сделать охота, но боязно. И боится вроде не того, что ему худо будет, а вроде — само дело такое, что он бы скорее умер, чем на него решился, если бы всех остальных путей не перепробовал и в отчаяние не впал. А я еще ничего не знаю. Никак в толк не возьму, что у них там за история. И если бы не ночевка с этими приключениями, я, думаю, так бы и расстался с ними в Джексоне, ничего не узнавши.

А что он сделать-то хотел? говорит жена.

Подожди, дойдет черед и до этого. Может, я тебе даже покажу. Он продолжает:

«Остановились мы у магазина. Я еще затормозить не успел, а он уже спрыгнул. Как будто боялся, что я его обгоню, а сам сияет прямо — как мальчишка, когда ему пообещаешь что-то сделать и он торопится что-то сделать для тебя, пока ты не передумал. Рысцой забежал в магазин и возвращается со свертками, выше головы нагрузился — и я про себя говорю: «Э, брат. Ты, я вижу, совсем решил поселиться в машине и хозяйством обзавестись». Поехали дальше и скоро нашли подходящее место; я съехал с дороги, под деревья, а он выскакивает, бежит к дверце и помогает ей слезть, да так, как будто они с мальцом стеклянные. А лицо у самого все такое же, как будто он уже почти решился — не знаю, на что он там решился с отчаяния, — если только я или она чем-нибудь раньше не помешаем и если она по его лицу не поймет, что он с отчаяния на что-то решился. А на что — я и тогда еще не знал».

А на что все-таки? говорит жена.

Я же тебе только что показал. Пора, что ли, второй раз показывать?

Я, пожалуй, обойдусь. Но все-таки не понимаю, что тут смешного. И как он умудрился столько трудов и времени на это потратить?

А потому что они были не женаты, говорит муж. И ребенок-то был не его. Только я этого не знал. Я это только ночью понял, когда услышал их разговор у костра — они, наверно, думали, я не слышу. Это еще до того, как он совсем отчаялся. Но и тогда, думаю, отчаяния уже хватало. Просто решил попробовать последний раз. Он продолжает:

«И вот, значит, бегаем он туда-сюда, ночлег устраивает, за все хватается, а с чего начать, не знает, — такая суматоха, что прямо на нервы действует. Велел ему дров для костра притащить, а сам взял свои одеяла и постелил в машине. И уже зло берет, что с ними связался и что спать теперь придется прямо на земле, ногами к костру, без всякой подстилки. Так что вел себя, наверно, грубовато, ворчал; хожу, все налаживаю, а она сидит спиной к дереву, ребенка под шалью ужином кормит и все твердит, как ей совестно, что из-за нее такие неудобства, и хочет ночевать, сидя у костра, — она, мол, ни капельки не устала, целый день только ехала и ничего не делала. Потом он вернулся и волочит столько дров, что хватило бы быка жарить; она ему что-то сказала, и

он пошел, вынес из машины чемодан и достает оттуда одеяло. И началась у нас петрушка. Как у этой пары из комиксов, у этих двух французов, которые все кланяются и расшаркиваются, друг друга вперед пропускают — вот и мы так, делали вид, будто для того из дому уехали, чтобы дорваться на земле поспать, и каждый норовит разлечься побыстрей да поосновательней. У меня так и просилось на язык: «Ну ладно. Если хочешь спать на земле — валяй. Лично мне это нужно, знаешь как?» Но все-таки, можно сказать, моя взяла. Вернее — наша взяла. Кончилось тем, что он постелил их одеяло в машине — как будто мы с самого начала не знали, что так и будет, а мое мы расстелили у костра. Он-то, по крайней мере, думаю, с самого начала знал, что так и будет. Если они действительно из самой Алабамы шли, как он говорил. Иначе зачем он столько дров натащил, если всего-то надо было кофе сварить да подогреть консервы. Потом мы поели, а потом я все узнал».

Что узнал — что он сделать хотел?

Нет пока еще. Вижу, у нее терпения было побольше, чем у тебя. Он продолжает: «Значит, поели мы, и улегся я на одеяло. Устал; вытянуться было приятно. И подслушивать их или там делать вид, что сплю, я не собирался. А потом, они же сами попросили их подвезти, я их к себе в машину не заманивал. И если им захотелось говорить при чужом, не отойдя в сторонку, — это их дело. Так мне и пришлось узнать, что они за кем-то охотятся — не то ловят его, не то ищут. Вернее сказать — она. И тут я говорю про себя: «А-а. Вот вам еще одна девица, которая решила в субботу ночью узнать то, про что мама, воскресенья дождавшись, у священника спрашивала». Имени его они не называли. И не знали, куда он от них сбежал. И я так понял, что если бы они знали, куда он направился, то его бы вины тут не было — этого, который бежал. Это я быстро понял. И вот слышу, он ей толкует, что они так могут ездить из штата в штат, пересаживаться с грузовика на грузовик до конца дней и следов его не найдут, а она сидит себе с ребенком на бревне и слушает — тихо и вежливо, как каменная, и, видно, уговорить ее или расшевелить — примерно так же просто. «Да, брат, — говорю я себе, — что она в голове, в кабине ехала, а ты в кузове сидел, на улицу сзади ноги свесив, — так порядок этот, видно, не сегодня у вас заведен». Но ничего, конечно, не сказал. Лежу, а они разговаривают, вернее, он разговаривает, негромко. И о женитьбе даже не упоминает. Но говорил-то он, конечно, о ней самой, а она себе слушает спокойно, как будто слышала уже не раз, и знает, что ей даже утруждать не надо отвечать ему «да» или «нет». И улыбается потихоньку. Только он этого не видел.

Потом он как будто сдался. Встал с бревна и ушел. Но лицо его я видел, когда он повернулся, — и понял, что сдаваться он даже не думает. Он просто сделал последнюю попытку и теперь до такого отчаяния себя накрутил, что готов был всем рискнуть. Так и хотелось ему сказать, что сейчас он решился на то, что надо было первым делом сделать. Но, видно, у него были свои резоны. В общем, ушел в темноту, а она на месте сидит, лицо опустила и все еще потихоньку улыбается. И вслед ему даже не поглядела. Наверно, поняла, что ему хочется одному побыть и накрутить себя на то, что она ему, может, с самого начала советовала, только не словами — даме это, ясное дело, неудобно; даже такой даме, у которой семья завелась в субботу ночью.

Но скорее дело было и не в этом. А может, ей место или время показалось неподходящим, не говоря уже о зрителях. Словом, встала она немного погодя, посмотрела на меня — я, конечно, не шевелился — и влезла в машину, а немного погодя слышу, все там затихло — значит, спать улеглась. А я лежу — сна уже ни в одном глазу — и довольно эдак долго. Но чувствую, он где-то близко — ждет, наверно, когда костер потухнет или когда я усну покрепче. И точно, только костер потух, слышу — подходит, тихо, как мышь, стал надо мной, смотрит сверху и слушает. Я — ни звука; не помню, может, всхрипнул ради него разок-другой. Короче говоря, направляется к машине, да так, как будто по яйцам ступает, а я лежу, смотрю на него и думаю про себя: «Эх, брат, если бы ты сделал это прошлой ночью, ты бы ночевал сегодня на шестьдесят миль южнее. А если бы — позапрошлой ночью, я бы вас и вовсе не повстречал». И тут я немного забеспокоился. Не оттого забеспокоился, что он с ней может что-то сделать, чего она не захочет. По правде говоря, болел-то я за мужичонку. То-то и оно. Я не знал, как мне поступить, когда она закричит. Я знал, что она закричит, а если я вскочу и побегу к машине, это его спугнет, а если не побегу, он со-

образит, что я не спал и следил за ним все время, и это его еще скорей спугнет. Только зря я беспокоился. Я мог бы это сразу понять, как только их увидел».

Я чувствую, ты и так не беспокоился, потому что знал уже, как она поведет себя в таком случае, говорит жена.

Точно, соглашается муж. Я не хотел, чтобы ты сама про это догадалась. Да-а. Я глум, что на этот раз хорошо запутал следы.

Ну, рассказывай. Что вышло?

А что может выйти с такой здоровой, рослой девушкой, когда ее не предупредили, что это всего-навсего он, а несчастный мужичонка и без того уже расплакаться готов, все равно как второй ребеночек? Он продолжает:

«Никакого крика не было, ничего. Я только видел, как он влез потихоньку в кузов и пропал, потом — наверно, до пятнадцати можно было медленно досчитать — ничего, потом слышу, такой вроде возглас удивленный — проснулась, значит, но только удивилась и недовольна слегка, но не испугалась нисколько — и негромко так говорит:

— Ай-ай-ай, мистер Банч. Как вам не совестно. Так ведь можно и ребенка разбудить.

И сам он из задней двери появился. Не быстро и совсем даже не своим ходом. Плюнь мне в глаза, если мне не показалось, что она подняла его и спустила обратно на землю, как этого ребеночка, если бы ему было ну так лет шесть,— и говорит:

— Подите ляжьте, поспите. Завтра нам опять ехать.

А мне прямо глядеть на него стыдно — не дай бог узнает, что хоть одна живая душа видела или слышала, какая у него вышла осечка. Плюнь мне в глаза, если мне вместе с ним не хотелось провалиться сквозь землю. Правда, я к ней ближе был. А он стоит там, как она его поставила. Костер уж совсем догорел, и я его еле вижу. Но знаю, как я бы там стоял и чувствовал себя на его месте. Голову бы опустил, как будто судья сейчас скажет: «Уведите его и поскорее повесьте». Но лежу — и ни звука, и чуть погода слышу, он уходит. Слышу, кусты затрещали, как будто бросился напролом, чертя голову. Потом рассвело, а его все нету.

Ну, я ничего не сказал. Что тут скажешь? Я все-таки надеялся, что он объявится — стыдно или не стыдно, но из кустов выйдет. Развел я костер, начал завтрак готовить и немного погода слышу, вылезает из грузовика она. Я не оглядываюсь. Но слышу, стоит так, как будто озирается, как будто угадать хочет по костру или по одеялу моему, тут он или нет. Я — ни слова, и она — ни слова. Пора уже вроде собираться и ехать. Но, думаю, не бросать же ее посреди дороги. И еще думаю — услышала бы моя жена, что я развезжаю с хорошенькой деревенской девушкой и младенцем трех недель от роду — пускай она и говорит, что мужа разыскивает. Или теперь уже — обоих мужей. Поели мы, значит, и я говорю:

— Ну, путь у меня не близкий — надо собираться.

А она ни слова не говорит. Я на нее поглядел и вижу, лицо у нее спокойное, как ни в чем не бывало. Плюнь мне в глаза, если она хотя бы удивилась или чего-нибудь. Ну и положеньце. Что с ней прикажешь делать — а она уже и вещи собрала, и кузов веткой вымела, и уж чемодан этот картонный там, и у задней стенки одеяло сложено в виде подушки; и я говорю про себя: «Не удивительно, что ты обходишься. Когда они от тебя сбегают, ты просто подбираешь что от них осталось и идешь дальше».

Она говорит:

— Я, пожалуй, тут поеду, сзади.

— Малышу,— говорю,— будет тряско.

— А я его на руках подержу,— отвечает.

— Как хотите,— я говорю.

И поехали, я из окошка высунулся, назад смотрю — все надеюсь, что он появится, пока мы за поворот не выехали. Нет как нет. Рассказывают про одного, которого поймали на вокзале с чужим ребенком. А у меня мало того что ребенок чужой — еще и женщина, и в каждой машине, которая догоняет, мерещится свора мужей и жен, уж не говоря про шерифов. Мы уже подъезжали к границе Теннесси, и я решил — либо я этот новый мотор запорю, либо доберусь-таки до большого города, где найдется дамское благотворительное общество, чтобы ее туда сдать. А сам нет-нет да и оглянусь назад — вдруг он бежит за нами; а она сидит спокойненько, как в церкви, и ребенка

держит таким манером, чтобы он и кушать мог и на ухабах не подскакивал. Нет, с ними тягаться бесполезно».

Он лежит в постели и смеется: «Да, брат. Плюнь мне в глаза, если кто-то с ними может потягаться».

А что потом? Что она потом сделала?

А ничего. Сидит, и едет, и смотрит так, словно землю первый раз в жизни видит — дорогу, деревья, столбы телефонные. Она его и не видела, пока он к задней двери не подошел. Да ей и незачем было. Только ждать — и больше ничего. И она это знала.

Его?

Ну да. Стоял на обочине, когда мы выехали за поворот. Стыдно не стыдно — а стоит побитый, но упрямый — и спокойный притом, как будто накрутил и довел себя до последнего, последнее средство испробовал и знает теперь, что говорить себя больше не придется. Он продолжает:

«На меня он и не посмотрел. Я только затормозил, а он уже — бегом к задней двери, где она сидит. Обошел кузов и стал там, а она даже не удивилась.

— Я слишком далеко зашел,— он говорит.— И провалиться мне на этом месте, если я теперь отступлюсь.

А она смотрит на него, словно с самого начала знала, как он себя поведет, когда он сам об этом еще и не думал — и как бы он себя ни повел, всерьез это принимать не надо.

— А никто вам и не велел отступаться,— она говорит».

Он смеется, лежа в постели, смеется долго. «Да, брат. С женщиной тягаться бесполезно. Ведь знаешь, что я думаю? Я думаю, она просто каталась. По-моему, у ней и в мыслях не было догонять того, кого они искали. И никогда она, по-моему, догонять не собиралась — только ему еще не сказала. Я думаю, она это первый раз в жизни так далеко от дома ушла, чтоб засветло не успеть вернуться. И благополучно в такую даль забралась, а люди ей помогают. Вот она, я думаю, и решила еще немного покататься, белый свет посмотреть — знала, видно, что как осядет теперь, так уж — на всю жизнь. Вот что я думаю. Сидит себе сзади, и он там при ней, и малыш — он даже кушать не перестал, все десять миль так и завтракал, чем тебе не вагон-ресторан? — а сама на дорожку глядит, любитесь, как столбы да изгороди назад бегут, словно это — цирковой парад. Немного погодя я говорю:

— А вот вам и Солсбери.

А она говорит:

— Что?

— Солсбери,— говорю,— Теннесси.

Оглянулся и на лицо ее посмотрел, а она уже как будто приготовилась и ждет, когда ее удивят, и знает, что удивление будет приятное. И видно, так оно и случилось, как она ждала, и ей это подошло. Потому что она говорит:

— Ну и ну. Носит же человека по свету. Двух месяцев нет, как мы из Алабамы вышли, а уже — Теннесси».

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВСЕВОЛОД ОВЧИННИКОВ



ВЕТКА САКУРЫ

Прошло четыре с половиной года с тех пор, как «Новый мир» опубликовал мою работу «Ветка сакуры». Тема ее, обозначенная в подзаголовке,— попытка рассказать о том, что за люди японцы,— разумеется, неисчерпаема. Сдавая в редакцию журнальный вариант, дополняя его потом для отдельного издания, я чувствовал, что сумел выразить, изложить далеко не все, что узнал об этом народе за шесть с лишним лет журналистской работы в Токио. Две новые поездки в Японию в 70-х годах умножили число дополнительно задуманных глав. Теперь они написаны.

Один японец сравнил свою страну со стволом бамбука, окованным сталью и возвращенным в пластик.

Это точный образ. Заезжему иностранцу прежде всего действительно бросается в глаза экзотическая обертка. Сквозь гляцевитую пленку кое-где проглядывает сталь современной индустриальной Японии. Легко подметить новые черты на лице этой страны. Но куда труднее добраться до скрытого от посторонних глаз бамбукового ствола, почувствовать его упругость.

Японию в наши дни часто сравнивают с бамбуком, имея прежде всего в виду быстроту ее роста. Будет ли этот бамбуковый ствол и дальше расти, как до сих пор? Или он надломится под собственной тяжестью? Или же превратится в некий гибрид бамбука и секвойи, которая столь же отличается долголетием, как бамбук — быстротой роста?

Описания современной Японии, вырвавшейся в первую тройку индустриальных держав мира, обычно сопровождаются выразительными столбцами цифр. Однако, как признают сами авторы, любая статистика, касающаяся этой страны, быстро устаревает.

Создать портрет, отражающий внутреннюю сущность человека, неизмеримо труднее, чем сделать фотографию. Для этого нужно разобраться в характере персонажа, что называется, заглянуть ему в душу. Нечто подобное можно сказать и о портрете страны. Попытаться понять и объяснить страну через ее народ — путь нелегкий, но заманчивый.

Каждый день несет в себе что-то новое — тем более в такой стремительно меняющейся стране, как Япония. Но подобно тому, как постоянный приток новых слов в японском языке укладывается в устойчивые рамки грамматического строя, японский образ жизни тоже имеет как бы свою грамматику, свои сложившиеся нормы, которые меняются под напором новых явлений весьма незначительно.

Иногда говорят, что японцев трудно понять. В действительности же, если овладеть «грамматикой» их отношений, если знать их язык и обычаи, их образ мыслей и нормы поведения, японцы — весьма легко предсказуемые люди. Каждый из них в отдельности, пожалуй, даже больше похож на остальных японцев, чем такое сходство можно обнаружить у других народов.

В определенных ситуациях они ведут себя определенным образом, прибегают в разговорах к определенным выражениям. И хотя со стороны они выглядят людьми недостаточно прямыми, у них есть средства выразить то, что они чувствуют, друг другу.

Черты национального характера заслуживают изучения не только ради познавательного, так сказать, этнографического интереса. Знание этих особенностей помогает глубже вникать в суть современных проблем, лучше понимать подоплеку явлений и процессов, механику взаимодействия общественных и политических сил.

Словом, поняв, что за люди японцы, легче понять, что за страна Япония.

Многие американцы или европейцы видят в Японии первую действительно американизированную или европеизированную страну Азии. Отмечая перемены, происшедшие в Японии за последнее столетие, многие на Западе считают, что и сами японцы переменялись настолько, что стали похожими на американцев или европейцев, оставаясь японцами и азиатами лишь вследствие географической случайности.

Этот образ, однако, является иллюзией, отражением поверхностных явлений японской жизни. Сущность же ее проистекает из взглядов, обычаев, привычек, установлений, которые глубоко коренятся в японской культуре и истории. Сердцевина японской традиции по-прежнему оказывает направляющее воздействие на повседневную жизнь японцев, на политику страны. И сердцевина эта мало затронута внешними воздействиями. Западное влияние изменило лицо Японии, но не проникло в умы и души японцев.

Мы, иностранцы, предпочитаем замечать у японцев те внешние черты, которые нам знакомы. Приезжая в Японию, мы ищем глазами привычные предметы, чтобы с их помощью ориентироваться в новом, непривычном окружении. При виде неоновых реклам мы замечаем буквы, а не иероглифы. Мы прежде всего видим бейсбол, но не сумо; виски, но не саке; мини-юбки, но не кимоно; рукопожатия, но не поклоны. Мы чувствуем себя привычнее с людьми, которые пользуются такими же вещами, как и мы. Нам кажется, что и сами эти люди схожи с нами.

Западная печать мало сделала для того, чтобы исправить эту искаженную картину. Да и сами японцы лишь способствовали подобной иллюзии насчет своей страны. Тема модернизации, индустриализации, американизации и европеизации долгое время была излюбленной в Японии.

Ричард Халлоран, «Япония: образ и действительность» (Нью-Йорк, 1969).

Тридцать лет изучения Японии, ее народа, языка, культуры все явственнее раскрывают мне черты общности и преемственности, лежащие под всем тем, что перемещивается и меняется. Конечно, было бы наивно отрицать внешний хаос, бросающийся в глаза: внутренние сотрясения, резкие сдвиги, внезапные скачки кровяного давления. Но глубоко подо всем этим обнаруживается нечто монолитное, подобное опорной раме, скрепляющей воедино части сложной машины. Эта рама принимает на себя удары, встряски, толчки и даже превращает их в импульсы дальнейшего движения.

Фоско Марини, «Япония: черты преемственности» (Рим, 1971).

По свету ходит картина Японии: мужчины и женщины в кимоно церемонно кланяются друг другу в тени пагод. Обольстительные гейши играют на древних струнных инструментах, прерываясь лишь для того, чтобы блеснуть изысканным остроумием. Маленькие застенчивые люди спешат с чайной церемонии на аранжировку цветов, в то время как на заднем плане обиженные самураи совершают над собой хакари...

Стереотипы живучи, и на то есть свои причины. В конце концов, американские бизнесмены действительно разъезжают в распластанных лимузинах, курят огромные сигары, то и дело вступают в револьверные перестрелки с гангстерами и исчезают на просторах Дальнего Запада. А разве мало англичан, которые носят котелки биржевых брокеров и складные зонтики, чопорных, тактичных, невозмутимых, которые выходят из своих «роллс-ройсов», чтобы играть в крикет или строить планы восстановления империи, в то время как их дамы в огромных шляпах, украшенных безвкусными цветами, ведут жаркие дебаты, требуя восстановления смертной казни через повешение или протестуя против плохого обращения с английскими собаками в Японии?

Эти картины, возможно, карикатурны. Но беда карикатур состоит в том, что они напоминают оригинал гораздо больше, чем нам (если мы являемся оригиналом) хотелось бы признать. К тому же людям вообще свойственно тяготение к стереотипам, как

ко всему привычному, устоявшемуся, непреходящему. Поэтому мы подсознательно противимся всему, что расходится с японским стереотипом. Мы отрицаем превращение Японии в перворазрядную индустриальную державу. То же самое, кстати, присуще и японцам. Они все еще привержены к своим кимоно, все еще продолжают кланяться с изысканной вежливостью, перед тем как заключить многомиллионную сделку на покупку электронно-вычислительных машин или на строительство завода-автомата, и, как в прежние времена, идут в ресторан с гейшами, чтобы подписать такую сделку.

Джордж Майкс, «Страна восходящей иены» (Лондон, 1970).

Стойкость идеологических координат, в которые после «революции Мэйдзи» (1868 года.— В. О.) был вписан капитализм, а после военного разгрома Японии в 1945 году — так называемая «демократизация», паразитична. В эти координаты всажены сейчас и небывалое развитие индустрии, и немалые успехи науки и техники, и рост экономической мощи страны... Но координаты стоят.

Пусть молодежь вихляется в дансингах, пусть звенят в барах и в кафе игральные машины, пусть даже боевые выступления рабочего класса становятся все более заметными на фоне «промышленного чуда» — какие-то силы поддерживают «особость» японского мира, как некое гравитационное поле, где любой предмет всегда будет готов соскользнуть к тому центру тяжести, который создавался в течение веков и который поставался дьявольски хитрыми властителями в их интересах.

Борис Агапов, «Воспоминания о Японии. 1945—1946 годы» («Москва», 1974, № 1).

ЧУВСТВО ПРИЧАСТНОСТИ

Когда начинаешь знакомиться с Японией, с ее искусством, философией, может сложиться представление о японцах как о любителях одиночества. Именно к такому выводу толкает, например, присущая им созерцательность, желание быть, наедине с природой.

Хочется, однако, подчеркнуть другое. Вряд ли японцы действительно любят одиночество, скорее наоборот. Они любят быть на людях, любят думать и действовать сообща, а не в одиночку.

Напомним, что по нормам японской морали угроза отчуждения считается высшей мерой наказания тому, кто противопоставляет себя другим. Не отсюда ли появилась у японцев боязнь одиночества вообще?

В японских народных песнях часто звучит слово «сабисий», в котором совмещаются понятия «одинокий» и «грустный, печальный». Японцам действительно присуща обостренная боязнь одиночества, боязнь хотя бы на время перестать быть частью какой-то группы, перестать ощущать свою принадлежность к какому-то кругу людей.

Хорошо знакомую международным туристским фирмам склонность японцев путешествовать «повзводно» можно было бы объяснить многими причинами: и плохим знанием иностранных языков, и опасением попасть в затруднительное положение из-за разницы в нравах и обычаях.

Но достаточно побывать в Стране восходящего солнца, чтобы убедиться: японцы не только за границей, но и у себя дома любят шествовать большой толпой за флажком экскурсовода.

Даже владельцы собственных автомашин часто предпочитают семейному выезду за город коллективную экскурсию, организованную фирмой, где они работают, или каким-нибудь обществом, в котором они состоят. Длинной очередью они взбираются на какую-нибудь вершину, делают групповые снимки на память, а на обратном пути, как послушные школьники, хором поют песни, держа в руках размноженные листочки со словами.

Про японцев можно сказать, что их больше, чем самостоятельность, радует чувство причастности — то самое чувство, которое испытывает человек, поющий в хоре или шагающий в стрю.

Это в какой-то мере относится и к народным праздникам, связанным с явлениями природы. Подчас людей больше всего волнует даже не то, что сакура наконец расцвела

или что листья кленов побагровели. Смысл праздников состоит в самом поводе веселиться вместе с множеством людей, в возможности разделять общую радость.

Итак, японцам отнюдь не присуща склонность к индивидуализму. Но и коллективизм чужд их традиционной морали, которая проводит в обществе четкие разграничительные линии. Тех, кто находится за такой чертой, за пределами замкнутой группы или общины, как бы не замечают. Характерно, что у японцев нет традиций благотворительности, как на Западе; нет обычаев добровольной помощи бедным, как, скажем, в Индии. Особый случай — какое-то стихийное бедствие, когда содействие пострадавшим приобретает общинный характер.

Хотя японская мораль заставляет человека загораживать свои чувства от внешнего мира, японец не любит оставаться один за закрытой дверью. До недавнего времени большинство японских домов не запиралось, а в японской гостинице не существовало такого понятия, как ключ от комнаты, потому что раздвижные перегородки, как и окна, в принципе не должны иметь запоров. Остановившаяся в отеле западного типа, японец часто держит дверь своего номера открытой..

Сельский подросток, приехавший работать в Токио, не имеет представления об одиночестве его сверстника, скажем, в Лондоне, где можно годами снимать комнату и не знать, кто живет за стеной. Японец скорее всего поселится с кем-нибудь вместе, и даже если он будет спать за перегородкой, ему будет слышен каждый вздох, каждое движение соседей. Люди, с которыми он окажется под одной крышей, тут же станут считать его членом воображаемой семьи. Его будут спрашивать, куда и зачем он уходит, когда вернется. Адресованные ему письма будут вместе читать и обсуждать.

Японцы любят действовать скопом. При красном свете светофора никто не станет переходить улицу, даже если она совершенно пуста. Но стоит вам первому нарушить правило и шагнуть на проезжую часть, как следом тут же двинется целая толпа.

После 1 сентября пляжи на Токийском заливе разом пустеют. Считается, что сезон окончен, хотя по погоде купаться можно до глубокой осени. Наша семья иногда выезжала к морю по воскресеньям вплоть до конца октября. И всякий раз, как только мы входили в воду, следом устремлялись многочисленные любители плавания из числа местных жителей. Японец не прочь поступить вопреки установлению — лишь бы инициативу при этом проявил кто-то другой.

Привычка мыслить и действовать сообща, ощущать себя частью группы, колесиком некоего механизма наделяет японца чувством уверенности за счет утраты чувства самостоятельности.

Если задуматься, какими чертами, какими человеческими качествами пришлось пожертвовать японцам ради их образа жизни, прежде всего, пожалуй, нужно назвать непринужденность и непосредственность. Японцам действительно не хватает непринужденности, ибо традиционная мораль постоянно принуждает их к чему-то. Строгая субординация, которая всегда напоминает человеку о подобающем месте, требует постоянно блюсти дистанцию в жизненном строю; предписанная учтивость, которая скрывает живое общение, искренний обмен мыслями и чувствами — все это обрекает японцев на известную замкнутость и в то же время рождает у них боязнь оставаться наедине с собой, стремление избегать того, что они называют словом «сабисий».

Но при всем том, что японцы любят быть на людях, они не умеют, вернее не могут, легко сходиться с людьми. Круг друзей, которых человек обретает на протяжении своей жизни, весьма ограничен. Это, как правило, бывшие одноклассники по школе или университету, а также сослуживцы одного с ним ранга. Если товарищество сверстников за ученической скамьей можно назвать горизонтальными отношениями, то в дальнейшем у человека остаются лишь гораздо более строгие вертикальные отношения между старшими и младшими, вышестоящими и нижестоящими. Так строятся отношения и внутри семьи, и внутри фирмы, и внутри политической партии.

Дружеские связи между людьми разного возраста и разного общественного положения очень редки. Привычные нам слова «заходите как-нибудь в гости» редко можно услышать в Японии, где даже семейные встречи носят характер официальных церемоний.

Часто отмечают, что личные отношения, личные связи играют в деловой и политической жизни Японии более важную роль, чем на Западе. Возможно, это так. Но правомерно ли называть такие связи личными, если каждый их участник представляет не столько себя, сколько стоящую за ним группу? Пожалуй, даже понятие дружбы носит в Японии скорее групповой, чем личный характер.

Разумеется, склонность думать и действовать сообща подавляет в японцах личную инициативу. Она ведет к тому, что личная ответственность чаще всего подменяется групповой, подобно тому как множество юношей выдерживают на своих плечах вес ритуального паланкина «микоси» на народных праздниках.

Японский образ жизни оставляет мало места для индивидуализма. Но в наш век коллективные, общинные формы человеческого существования все чаще преобладают. Привычка всегда находиться буквально локоть к локтю с другими людьми, традиционный быт, почти исключаящий само понятие частной жизни,— все это помогает японцам приспособляться к тем современным условиям, которые на Западе порой приводят людей на грань психического расстройства.

Можно ли столь же пылко влюбиться в народ Японии, как легко влюбиться в эту страну? Вопрос спорный. Их сдержанность и самообладание: их чуткость к грузам при поразительном безразличии к незнакомцам; их культ долга, самодисциплины, самопожертвования наряду с недостатком непосредственности — при всех этих чертах японцы — люди, достойные скорее уважения, чем любви.

Фрэнсис Кинг, «Япония и ее обитатели» (Лондон, 1970).

Японцу свойственно всегда думать о себе как о члене какой-то группы, получать удовлетворение от группового достижения групповых целей. В японских традициях, и, как ни поразительно, вплоть до наших дней, одним из худших грехов считается всякая попытка игнорировать или отвергать групповые мнения, решения, запреты, нормы поведения — или вообще проявлять какой-то индивидуализм.

Герман Кан, «Рождение японского сверхгосударства: вызов и ответ» (Нью-Йорк, 1970).

Япония — страна групп. На этих перенаселенных островах группы образуются, наверное, по необходимости. Уединение в нашем понимании здесь недостижимо. Вы не можете иметь свою отдельную комнату. А если у вас, на удивление, окажется такая комната, вся семья тем не менее слышит через бумажные перегородки каждый ваш шаг, каждый вздох. Японская жизнь исключает не только уединение, но даже стремление к уединению. Уединение приравнивается к одиночеству, а одиночество для японца — это нечто ужасное. Групповщина в Японии — такое же типичное явление, как индивидуализм в Англии.

Джордж Майкс, «Страна восходящей нены» (Лондон, 1970).

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ

— Вы знаете этого человека? Кто он такой?

— Он из фирмы «Мацусита», начальник цеха.

Подобные вопросы мне доводилось задавать японцам множество раз, и в ответ неизменно называлось место работы, затем должность, ранг. Причем ни разу я не слышал, чтобы о ком-то сказали: он хирург или технолог, строитель или искусствовед.

Привычка судить о человеке прежде всего до его принадлежности к определенной группе отражает самую характерную черту общественных отношений в Японии. Образно говоря, главной координатой, по которой привыкли ориентироваться японцы, является место, а не свойство.

Именно принадлежность к той или иной группе, будь то семья или община, государственное учреждение или коммерческая фирма, школа в искусстве или религиозная

секта, служит первоосновой для характеристики человека, а вовсе не его профессия и даже не его личные способности или заслуги.

Шофер грузовика, развозящего бумажные рулоны, скажет, что он работает в газете «Асахи». Всемирно известный специалист по ядерной физике отрекомендуется профессором Киотского университета. И дело тут не в тщеславии первого или скромности второго — так принято.

Японцу свойственно всегда ощущать себя членом семьи, частью группы, подчинять свои поступки общему мнению этой группы, вести себя соответственно своему положению в ней.

Патриархальная семья («из»), основанная на совместном проживании и труде нескольких поколений одного рода, оказалась в Японии очень устойчивой и способствовала закреплению сословного характера общественных отношений. Неделимость имущества, которое по праву первородства целиком переходило старшему сыну, а при отсутствии мужского наследника — усыновленному зятю, умножала власть главы семьи, делала осью семейных отношений вертикальный стержень отец — сын («оя — ко»).

Первоначально слово «из» означало крестьянский двор, то есть не только ячейку общества, но и низовую единицу производственной деятельности.

Человеческие взаимоотношения внутри такой группы, объединенной совместным трудом, обретают в Японии более важную роль, чем другие виды отношений, в том числе и узы родства. Зять или невестка становятся в семье более близкими людьми, чем замужняя дочь, живущая под другой крышей. Выходят за рамки родственных отношений и общинные связи, основанные на взаимопомощи при проведении полевых работ. Именно об этом говорится в японских народных пословицах: «Ближний сосед важнее дальнего родственника», «Без двоюродных братьев прожить можно, без односельчан — нельзя».

Дело в том, что не столько узы родства, сколько долг признательности образует стержень «оя — ко», на котором держится вертикальная структура японской семьи и других образованных по ее образцу социальных групп. Именно безоговорочная преданность, основанная на долге признательности, делает столь прочной ось «оя — ко» — отношения отца и сына, учителя и ученика, покровителя и подопечного.

По сравнению с другими азиатскими странами, например с Индией, жизненный путь японца, даже во времена жестких сословных разграничений, в меньшей степени предопределялся его происхождением. Принято считать, что будущее человека зависит не столько от родства, сколько от того, с кем его столкнет судьба между пятнадцатью и двадцатью пятью годами, в пору вступления на самостоятельный путь, в ответственный период, по японским представлениям, период, когда каждый человек обретает «оя» — учителя, покровителя, как бы приемного отца — уже не в семье, а в избранной им сфере деятельности.

Если сельский подросток идет в учение к кузнецу, именно этот человек на всю жизнь становится его покровителем; именно он, а не отец сватает ему невесту и восседает на самом почетном месте на его свадьбе. Если юношу берут на завод по рекомендации земляка его родителей, этот поручитель впредь может всегда рассчитывать на безоговорочную верность своего «ко», как того требует долг признательности.

Личные отношения, сложившиеся в начале жизненного пути, японцы ценят выше других и считают, что они сохраняют силу навсегда.

Стойкость вертикальных связей «оя — ко», в которые так или иначе втянуто большинство японцев независимо от возраста и положения, во-первых, порождает неистребимую семейственность и групповщину, а во-вторых, ведет к созданию независимых однородных групп в каждой области деятельности. Депутат парламента верен прежде всего главе своей фракции, а не руководителю партии. Японские коммерческие корпорации, литературные течения, гангстерские кланы в равной мере основаны на безоговорочной преданности членов группы своему покровителю.

Заметим, однако, что в отличие, скажем, от индийских каст или от гильдий в средневековой Европе замкнутые группы в Японии складываются на основе не горизонтальных, а вертикальных связей, не из однородных, а из разнородных элементов.

Японский профессор стоит ближе к своим ассистентам и студентам, чем к другим профессорам того же университета или своим коллегам по специальности.

В отличие от кастовой структуры, где членов группы объединяет и социальное положение и характер деятельности, внутренняя композиция японской группы разнородна. Она напоминает скорее корабельный экипаж, который нужно укомплектовать людьми всех нужных специальностей, чтобы успешно состязаться с другими кораблями.

Соперничество однородных групп в любой области, разумеется, усугубляет замкнутость каждой из них. Но в то же время, как ни парадоксально, порождает и тягу вступить в некое отраслевое объединение с конкурентами на основе определенной иерархической очередности.

Япония — страна ассоциаций, члены которых не только соперничают, но и сотрудничают, сочетают конкуренцию между собой со взаимной информацией, с умением сообща отстаивать отраслевые интересы от нажима извне. Существуют ассоциации промышленников; металлургов, судостроителей, энергетиков; ассоциации университетов, кинокомпаний и органов местного самоуправления; ассоциации парикмахеров, борцов сумо и преподавателей чайной церемонии. Причем в каждом подобном объединении, как правило, есть то ли «большая тройка», то ли «большая четверка», то ли «большая пятерка», которая держит главенствующие позиции в данной области и, стало быть, делает там погоду.

Японцы придают большое значение понятию «перворазрядный». Эту высшую категорию отделяет от всех последующих очень значительный, как бы качественный разрыв. Есть перворазрядные фирмы, перворазрядные университеты, перворазрядные рестораны. Существует неофициальная градация даже среди правительственных учреждений. Министерство финансов и министерство иностранных дел относят, например, к числу перворазрядных, в то время как министерство просвещения котируется куда скромнее.

При поступлении на работу выпускник перворазрядного университета имеет в Японии неоспоримое, общепризнанное преимущество перед другими обладателями дипломов о высшем образовании.

Принадлежность к перворазрядной фирме означает не только более высокую зарплату, но и соответствующий социальный престиж, что, помимо моральных преимуществ, порой несет и материальные. Рядовому служащему концерна «Мицуи» охотнее предоставят кредит на покупку дома, чем мелкому предпринимателю, пусть даже с более высокими доходами.

В обществе людей одинакового положения или ранга — скажем, газетных репортеров, страховых агентов, служащих бензоколонок, директоров компаний — представитель перворазрядной фирмы негласно, но бесспорно будет считаться старшим.

Японские учреждения и корпорации, вырвавшиеся в число перворазрядных, тоже, разумеется, соперничают между собой. Но примечательно, что, добываясь абсолютного первенства, они не стремятся выделиться среди конкурентов какой-то характерной чертой, каким-то специфическим направлением развития, обрести в чем-то свой собственный профиль.

Вместо этого Японии присуща такая своеобразная тенденция, как уподобление однородных групп друг другу. Все они стремятся имитировать структуру группы, стоящей рангом выше, дублировать каждый вид ее деятельности.

Типичный пример — японская печать. Каждая общенациональная газета стремится удовлетворить интересы всех категорий читателей. Ответить на вопрос, чем отличаются по своему профилю и политическому направлению газеты «Асахи», «Майнити» и «Иомиури», так же трудно, как определить разницу в характере деятельности универмагов «Мицукоси», «Даймару», «Мацудзакая».

Столь же схожи между собой ведущие японские университеты и монополистические концерны. Тем и другим одинаково присуще стремление быть в своей области «государством в государстве», ни в чем не зависеть от конкурентов, ни в чем не уступать им.

Раз создан новый университет — пусть будет полный набор факультетов (хотя большинству вузов это явно не под силу). Раз концерн «Мицуи» построил в Токио

первое высотное здание, его соперник «Сумитомо» вскоре же возвел в другой части города небоскреб с еще большим числом этажей. А концерн «Мицубиси» превзошел конкурентов тем, что уплатил за участок для своего высотного здания в центре столицы совершенно баснословную цену: по три миллиона иен за квадратный метр!

Стремление японцев к четко обозначенной иерархии проявляется повсеместно: это заметно как между соперничающими группами, так и внутри каждой из них. Главенствующая роль вертикальных связей «оя — ко» ведет к тому, что даже среди людей, занимающих одинаковое или сходное положение, обнаруживается тяга к разграничению рангов.

Для рабочего у станка рангом служит возраст, точнее говоря — стаж. Ранг служащего определяется прежде всего образованием, а во-вторых, опять-таки числом проработанных лет. Для профессора университета критерием подобающего места среди коллег будет дата его официального назначения на кафедру.

Меня особенно поражало, что четкое сознание своего ранга присуще людям не только в общественной, политической или деловой жизни — словом, в сфере официальных отношений. Оно дает себя знать и среди творческой интеллигенции, где, казалось бы, сам характер деятельности должен выдвигать во главу угла личные таланты и заслуги. У писателей, артистов, художников бытует понятие «предшественник», то есть человек, которого надлежит почитать уже за то, что он раньше начал подобную же карьеру, раньше вступил в литературу, на сцену, дебютировал в живописи или архитектуре.

Вертикальные связи главенствуют над горизонтальными в каждом виде искусства. В икэбана и чайной церемонии, в каллиграфии и театре теней — всюду существуют соперничающие школы, каждая из которых имеет подчиненные себе ветви. В Японии не сыщешь учителя, который взялся бы преподавать приемы разных школ икэбана, не увидишь спектакля кабуки, в котором участвовали бы актеры из разных кланов. «Как нельзя иметь двух отцов, так нельзя служить двум хозяевам» — гласит японская пословица.

Итак, градация по рангам устанавливается чаще всего на основе старшинства. На взгляд японцев, такая система более проста и стабильна, чем учет личных заслуг, — она не нуждается в последующей корректировке. Считается, что форма отношений, однажды сложившихся между людьми, не должна меняться на протяжении их жизни. Если ректор университета имеет в числе подчиненных своего бывшего профессора, он будет почтительно именовать его учителем.

Поскольку всякая группа в японском обществе основывается на жесткой иерархии, карьеру в ней лучше всего начинать с самой низшей ступеньки. Чужаку, вздумавшему проникнуть сразу на средний, а тем более на верхний этаж, значило бы оказаться инородным телом среди прочных вертикальных связей, установившихся между людьми раньше.

В таких условиях японцу выгоднее всю жизнь оставаться там, где он начал свой трудовой путь, шаг за шагом передвигаться со ступеньки на ступеньку по мере естественного обновления коллектива и вместе со стажем накапливать определенный общественный капитал, который, разумеется, при перемене места работы нельзя унести с собой.

Именно в специфике общественных групп, основанных на вертикальных связях, коренится присущая Японии система пожизненного найма, о которой пойдет речь ниже.

Умом и сердцем японцы любят смешиваться с толпой, в то время как нам, американцам, больше нравятся люди, которые выделяются из толпы. Они руководствуются правилами поведения а не моральными нормами. Они терпимы к шуму и толпам, потому что привыкли отождествлять себя с группой. Они предпочитают сурового хозяина, который вмешивается в их личные дела, равнодушному боссу, думающему лишь о своем бизнесе. Им не хватает моральной смелости и гражданственности. Они лучше состояются как группа, чем как личности. Их пленяет ранг и все, что с ним связано. Они тяготеют к предсказуемому будущему и в тревоге отшатываются от неожиданного.

Джэк Суорд, «Еще раз о японцах» (Токно, 1971).

НАНЯТЫ ПОЖИЗНЕННО

...Четыреста человек сидят в актовом зале. В напряженной тишине звучит приветственная речь заведующего отделом кадров, для особой торжественности облаченного во фрак.

— Добро пожаловать в «Хитати»! — провозглашает он. — Деятельность нашей фирмы охватывает всю Японию. Ее продукцию можно увидеть во всем мире. Запомните наш девиз: «Преданность, сотрудничество, усердие». Слово «преданность» означает, что каждому из вас надлежит считать служение фирме смыслом своей жизни. Слово «сотрудничество» означает, что вам следует осознать себя членами одной семьи, думать и действовать сообща, ничем не пытаться выделяться среди других. Слово «усердие» означает, что вы должны целиком отдавать себя фирме, не думая о вознаграждении...

После этого приветствия из первого ряда встает юноша и, развернув длинный белый свиток, декламирует ответную речь от имени новичков. Затем все снимаются на память. Таков этот незабываемый день — более важный, чем свадьба, день, когда каждый из этих юношей как бы сочетается супружескими узами с фирмой, которой впредь должен быть верен всю жизнь...

Так описывает корреспондент французской газеты «Фигаро» церемонию ежегодного набора рабочей силы в Японии.

Каждую весну на пороге апреля, едва состоятся выпуски в полных и неполных средних школах (после девяти и двенадцати лет обучения), выпуски в институтах и университетах, по всей стране в крупных и мелких фирмах, в частных корпорациях и государственных учреждениях проходят такие церемонии, напоминающие приведение к военной присяге новобранцев очередного призыва.

Вся молодежь, пополняющая в данном году ресурсы рабочей силы, выплескивается на рынок труда одновременно и тут же им поглощается. Японские фирмы принимают этих новичков не для заполнения каких-то конкретных вакансий, а как бы впрок, по такому же принципу, как армия ежегодно пополняется призывниками, которых еще предстоит обучать и распределять по частям и подразделениям. Даже если в данный момент фирма не нуждается в пополнении из-за спада производства, она все равно вынуждена набирать людей, так как иначе ей потом целый год не найти рабочих рук.

Эти своеобразные черты связаны с бытующей в Японии системой пожизненного найма.

Японский труженик приходит к нанимателю, чтобы установить с ним отношения, очень похожие на пожизненный брачный контракт. Важность подобного шага в человеческой судьбе действительно сравнима только со свадьбой, с выбором спутника жизни, ибо сменить работу значит для японца примерно то же, что сменить жену.

При первом, и нередко единственном, найме на работу японец думает не столько о зарплате, сколько о положении и престиже фирмы, с которой он связывает судьбу. Ведь угол жизненной орбиты человека определяется в японских условиях прежде всего тем, с какой точки он ее начнет.

Параллель между системой пожизненного найма и супружескими узами — не только литературный образ, выразительная метафора. Японские капиталисты действительно имитируют на предприятиях дух и традиции патриархальной семьи («иэ»), воссоздают атмосферу семейных отношений, стержнем которых служит долг признательности («оя — ко»).

Наем по рекомендации, который до сих пор преобладает в трудовых отношениях, в основе своей подобен брачному контракту между двумя «иэ», где одна сторона соглашается принять в состав семьи нового человека, полностью берет на себя заботу о нем, а другая поручается за его качества. Рекомендующий, в роли которого чаще всего выступает сотрудник той же фирмы, становится покровителем новичка и одновременно берет на себя перед нанимателем моральную ответственность за его поведение.

Нетрудно видеть, что, поощряя наем по рекомендации, японские капиталисты спекулируют на живучести таких моральных обязательств, как долг признательности.

Оговоримся сразу, что система пожизненного найма существует лишь на крупных предприятиях, то есть охватывает примерно треть рабочих и служащих страны. Но само ее существование свидетельствует, что наряду с погоней за всем ультрасовременным в области техники и технологии японские предприниматели в то же время старательно сохраняют феодальные пережитки в области производственных отношений.

На предприятиях тщательно и продуманно культивируется дух патриархальной общины. Сама система заработной платы и продвижения по службе построена так, чтобы накрепко связать судьбу человека с будущим фирмы.

Буфером, который принимает на себя удары в случае кризиса, служат временные и поденные рабочие. Эта категория трудящихся образует в Японии как бы другую, низшую касту. Никто не гарантирует этим людям стабильной занятости — их нанимают и рассчитывают когда угодно. Им не дают надбавок за стаж, их стараются не допускать в профсоюз. Существование «людей второго сорта» помогает администрации поддерживать антагонизм между постоянными и внештатными рабочими.

Система пожизненного найма, по существу, лишает японского труженика возможности сменить работу, чтобы получить более высокую зарплату. На человека, который начал свой трудовой путь не в данном коллективе, а где-то еще, смотрят косо, с недоверием. Недаром переход с одного места на другое на канцелярском языке издавна обозначается термином «запятнать послужной список».

Система пожизненного найма, практика набора рабочей силы привели к тому, что в Японии нет свободного рынка труда в полном смысле этого слова. Поскольку классификация рабочих рук происходит в основном внутри фирм, трудящимся нелегко узнать, где именно требуется рабочая сила их квалификации. К тому же у рабочего класса Японии еще весьма слабы связи по профессиям.

Система пожизненного найма вынуждает японца мириться с тем, что первые пятнадцать — двадцать лет трудовой деятельности ему явно недоплачивают. При этом его пытаются убедить, что у молодого человека, дескать, и потребностей меньше. Зато, мол, потом, когда деньги будут ему гораздо нужнее, в течение последних десяти — пятнадцати лет стажа, зарплата его будет превышать фактическую производительность.

При такой системе зарплаты японским предпринимателям выгодно, чтобы большую часть персонала составляла молодежь, к чему они и стремятся, навязывая людям пожилого возраста своим субподрядчикам. К тому же армия наемного труда в Японии на две пятых состоит из женщин. Зарплата этих 40 процентов рабочей силы всегда остается в нижней части шкалы, ибо женщины, как правило, состоят в штатах предприятий лишь до замужества. Если они спустя несколько лет и возвращаются на производство, то их берут лишь на временную или почасовую работу.

С другой стороны, наниматель может не тревожиться, что ценных для фирмы специалистов переманят конкуренты. Американский делец, рассчитывавший, что в Японии он сможет нажиться на более дешевой, чем в США, рабочей силе, вдруг обнаруживает, что люди не хотят переходить к нему даже на удвоенную зарплату, ибо он не может обеспечить им то, что дает японская фирма, то есть гарантию пожизненной занятости, ежегодное повышение зарплаты за стаж.

О недостатках системы пожизненного найма много говорят и пишут, хотя, пожалуй, больше за пределами Японии, чем в ней самой. Самую резкую критику мне доводилось слышать от американцев, которые называют эту систему «логически непостижимым, экономическим абсурдным пережитком».

Когда американцы знакомятся с особенностями трудовых отношений в Японии, их поражает почти полное отсутствие сдельной оплаты труда и учета личных заслуг при продвижении по службе и еще больше — отсутствие распространенной в США практики увольнять часть рабочей силы при спадах производства.

В Соединенных Штатах, недоумеваяще разводят руками американские бизнесмены, даже процветающие фирмы вряд ли могли бы позволить себе такую роскошь, как гарантию пожизненного найма большинству своего персонала независимо от уровня деловой активности. К тому же, добавляют они, вряд ли рационально, экономически целесообразно сковывать естественную подвижность рабочей силы, поскольку конъюнктура в различных отраслях меняется в разное время.

Что же заставляет японских предпринимателей придерживаться традиций, которые мешают фирме привлекать специалистов со стороны и избавляться от ненужных работников, от традиций, которые ставят превыше всего стаж и тем самым сдерживают выдвижение способных людей?

Система пожизненного найма действительно выглядит закостенелым пережитком феодальной патриархальщины. Но как ни парадоксально, японский капитал сумел использовать ее для того, чтобы ускорить модернизацию промышленности страны.

Система эта ставит в преимущественное положение новые, быстро растущие отрасли. Ведь заново созданная фирма целиком укомплектовывается молодежью, что на первое время сокращает издержки в оплате труда. (Характерно, что в более молодых отраслях японской индустрии, скажем в автомобилестроении, средний уровень зарплаты, как и средний возраст персонала, ниже, чем в других сходных, но ранее возникших отраслях — например, в судостроении.)

Во-вторых, благодаря системе пожизненного найма японские предприниматели не жалеют средств на повышение квалификации своих рабочих, на обучение их многим смежным профессиям, будучи уверены, что плодами этих затрат воспользуется сама фирма.

В-третьих, именно вследствие системы пожизненного найма японские труженики не привыкли видеть в технических новшествах угрозу остаться без работы. (Возможно, именно поэтому всякий случай осуществить какую-либо «рационализацию», ущемляющую интересы трудящихся, как это было, например, в угольной промышленности или на государственных железных дорогах, встречает особенно бурные протесты.)

Далее, рабочая сила в Японии действительно менее подвижна, чем в США, в смысле перемещения ее между компаниями. Зато, как мне довелось убедиться в США, американские фирмы уступают японским в смысле внутренней подвижности персонала. Японские профсоюзы в отличие от американских объединяют трудящихся не по профессиям, а по предприятиям. Это позволяет администрации маневрировать рабочей силой без каких-либо ограничений, в то время как в США профсоюз сварщиков, например, не разрешил бы использовать этих людей на каких-то других работах.

Гибкое использование рабочих рук, обладающих разносторонней квалификацией, помогает крупным фирмам сносить перепады экономической конъюнктуры. Порой удивляешься: отчего японские предприниматели избегают полной специализации производства, предпочитают заниматься «всем понемногу»? Зачем, скажем, судостроительному концерну иметь также производственные мощности, выпускающие оборудование для заводов химических удобрений? А дело в том, что в эти цехи легко перебросить людей с верфей, если на суда не поступит заказов.

Наконец, система пожизненного найма сводит к минимуму текучесть рабочей силы. Она способствует сохранению на предприятиях не только духа патриархальной семейственности, выгодного нанимателю, но и атмосферы терпимости, взаимной доброжелательности. Я часто слышал от японцев, что на сослуживцев надо смотреть как на родственников собственной жены: нравятся они или нет — никуда от них не денешься. А раз суждено оставаться в одном коллективе всю трудовую жизнь, нельзя забывать, что испортить отношения с человеком легче, чем снова их наладить.

В последнее время некоторые крупные монополии вроде металлургического концерна «Син Нихон сэйтэцу» пробуют экспериментально вводить сдельную оплату труда, принудительную переаттестацию персонала по эффективности и другие новшества. Японские профсоюзы относятся к таким действиям настороженно. Хотя внешне это и выглядит парадоксальным, они выступают против огульной ломки докапиталистических пережитков в системе трудовых отношений, против поспешной перекройки ее на американский манер. Они считают, что, если уж радикально обновлять систему трудовых отношений, нужно одновременно менять в Японии и многое другое, прежде всего систему социального обеспечения. Профсоюзы понимают, что, если сразу отказаться от системы пожизненного найма в пользу свободного рынка рабочей силы, если отменить существующую практику надбавки за выслугу лет в условиях неконтролируемого роста цен, монополии могут обратить эти новшества опять-таки к своей выгоде.

Капиталистические отношения в Японии не заменили собой глухих сословных перегородок, веками создававшихся феодализмом, а как бы наложились на них. Дух патриархальной семьи («изэ») глубоко укоренился в социальной психологии японского народа. Культивируя внутри фирм такие черты, как замкнутость, иерархичность, подчинение личности влиянию группы, предприниматели стремятся сохранять сословную раздробленность японского пролетариата, мешать выявлению классовых противоречий труда и капитала.

Стойкость общинного духа позволяет японским предпринимателям апеллировать к таким моральным нормам, сложившимся в недрах «изэ», как верность и усердие. Причем верность, за которой стоит долг признательности, и усердие, за которым стоит долг чести, требующий быть достойным подобающего места.— это две добродетели, которые в представлении японцев не требуют вознаграждения. Чем меньше человек требует взамен своей верности и усердия, тем он больше достоин похвалы.

Маскируя подлинную сущность капиталистической эксплуатации, правящие классы Японии умело используют своеобразные черты социальной психологии японцев, спекулируют на живучести их национальных традиций, моральных устоев.

Специфический характер контроля над персоналом в японских фирмах определяется прежде всего «системой пожизненного найма», в соответствии с которой фирма нанимает работника сразу на весь срок его производственной деятельности... и ставит размер его вознаграждения в прямую зависимость от продолжительности непрерывного стажа. Стабилизируя на длительный период времени положение работника, фирма рассматривает заручиться его преданностью...

Воспроизведение в цехе, в конторе семейных отношений, увязывание благосостояния работника с благосостоянием фирмы порождают у наемного персонала как конформистские настроения, так и творческую инициативу. Главным результатом этого является повышение производительности труда. Но это результат опосредствованный. Он складывается из множества разнообразных моментов, которые нельзя не признать следствием культивируемого чувства преданности своему предприятию. Мы имеем в виду не только отсутствие в Японии социально-экономических проблем текучести кадров и нарушений трудовой дисциплины, но и то обстоятельство, что в имитированной семейной атмосфере открывается достаточный простор для эксплуатации таких национальных черт японцев, как трудолюбие, прилежание, аккуратность, амбициозность в лучшем смысле этого слова, стремление к совершенству, особая гордость за наилучшим образом выполненную работу.

В. Б. Рамзес, «Проблемы контроля над персоналом в японских фирмах» («Япония. 1972». Ежегодник. М. 1973).

Одна из причин быстрого роста производительности труда в Японии состоит в том, что профсоюзы не противятся внедрению новой техники. Когда какая-нибудь профессия устаревает, компания обеспечивает рабочим переквалификацию без потери заработка. Японские предприниматели могут легко переводить людей с одной работы на другую и вкладывать крупные суммы в их переподготовку, не тревожась, что их переманят конкурирующие фирмы. В результате рабочие в большей степени связаны с компанией, чем с какой-то определенной профессией, что наглядно проявляется в структуре японских профсоюзов.

Журнал «Тайм» (США, 1971).

По нормам японской морали, нанятый обязан заботиться о своих подчиненных, но вправе беспощадно выжимать соки из так называемых временных рабочих или субподрядчиков — тех, кто находится за штатом предприятия, то есть как бы за пределами патриархальной семьи.

Жан Франсуа Делассю, «Японцы: критическая оценка характера и культуры народа» (Париж, 1970).

«УТЕСЫ» И «ПЕСЧИНКИ»

Знаменитый Сад камней в Киото чаще всего служит авторам книг о Японии отправной точкой для рассуждений о философии «дзэн», о ее влиянии на жизнь японцев. Пользуясь наглядностью этого уже изрядно примелькавшегося образа, хотел бы применить его в совсем иной плоскости.

Сад камней, на мой взгляд, может символизировать собой своеобразие экономической структуры Японии, где утесы монополистического капитала, глыбы крупных заводов с ультрасовременной организацией производства и управления возвышаются над морем песчинок — бесчисленных мелких и мельчайших предприятий, основанных подчас на ручном труде надомников.

Двойственность экономической структуры — характерная черта Японии. Констатировать такую бесспорную истину просто. Труднее разобраться: каковы последствия своеобразного соседства «утесов» и «песчинок»?

Что это — исчезающий пережиток прошлого, помеха для более быстрой и полной модернизации японской индустрии? Или это одна из национальных особенностей, которая (как, скажем, остатки феодальной патриархальщины в производственных отношениях) выгодна монополиям, помогает им выжимать больше прибыли из труда рабочих и легче побеждать конкурентов на мировом рынке?

Зарубежные экономисты отмечают, что даже после стремительного рывка вперед, который Япония совершила с середины 50-х годов, удельный вес мелких и средних предприятий в ее экономике остается значительно более высоким, чем в других развитых странах. Хотя модернизация старых и рождение новых отраслей ведет к концентрации производства, две трети японских рабочих до сих пор трудятся на мелких и средних предприятиях.

50 с лишним миллионов человек, составляющих рабочую силу Японии, для наглядности можно округленно поделить на пять примерно равных частей. Лишь первая из них, то есть 10 с лишним миллионов человек, занятых на крупных предприятиях, в полной мере может быть отнесена к категории современного промышленного пролетариата. Вторая часть трудится на средних предприятиях (до 300 рабочих на каждом), третья — на мелких предприятиях (до 30 рабочих), четвертую часть составляют люди, занятые в семейном производстве (кустари и мелкие торговцы), наконец, пятую — земледельцы и рыбаки.

Мелкие и средние предприятия дают почти половину промышленной продукции страны. Да, да! Почти половина того, что производит Япония, в том числе около трети ее экспорта, создается не на конвейерах современных заводов, а в мелких мастерских, где недостатки оборудования зачастую компенсируются интенсивностью труда. Причем они вовсе не ограничиваются выпуском потребительских или так называемых фольклорных товаров, то есть изделий народных промыслов и ремесел, переведенных на поток.

Мелкие и средние предприятия вносят свой вклад почти во все отрасли японской промышленности, участвуют в выпуске даже сложных видов продукции вплоть до автомобилей, цветных телевизоров и электронно-вычислительных машин.

Возникает вопрос: как могут мелкие предприятия соседствовать и — тем более — состязаться с крупными? Разве не обречены они на неминуемую гибель в конкурентной борьбе, где, как говорится в японской пословице, «рыбы проглатывают креветок, а киты проглатывают рыб»?

Японские газеты из года в год пишут о банкротстве сотен мелких компаний, а также о все новых слияниях крупных фирм в еще более мощные корпорации. На основе подобных сообщений был бы правомерен вывод, что слой «песчинок» интенсивно размывается и что «утесы» монополий вот-вот сомкнутся краями, образовав однородный фундамент японского капитализма.

Однако вопреки многочисленным предсказаниям этого не происходит. Слой «песчинок» хоть частично и размывается, но не исчезает, разве что кое-где превращается в гравий. В чем же причина? Не в том ли, что каменные глыбы чувствуют себя устойчивее на такой подушке?

Заинтересованность крупных корпораций в существовании мелких и средних предприятий — одна из главных причин жизнеспособности «песчинок».

Для Японии двух последних десятилетий знаменательно не размывание мелкого предпринимательства; а его подключение к производственному механизму монополий (то есть интеграция) через систему многостепенных подрядов. Система же эта, в свою очередь, с поразительной точностью имитирует устои японской патриархальной семьи («иэ»), основанной на беспрекословном подчинении отцу или покровителю (вертикальный стержень «оя — ко»).

Своеобразие японской экономики в том и состоит, что ее двойственная структура позволяет монополиям сочетать преимущества крупного современного производства с дешевизной рабочей силы на средних и мелких предприятиях, поставляющих наименее сложные, но зато наиболее трудоемкие детали и узлы. Нещадная эксплуатация целой цепочки субподрядчиков вплоть до кустарей и надомников позволяет снижать себестоимость конечной продукции, сходящей с конвейеров крупных ультрасовременных заводов.

Мы привыкли говорить: стихия мелкотоварного производства. Но далеко не всякий мелкий производитель в Японии выглядит таким кустарем-одиночкой, который сшил пару ботинок и раздумывает: кому бы их продать? Его рабочие руки часто вписаны в целую систему связей: он где-то получает в кредит инструмент, материал и обычно туда же поставляет свои изделия.

Вспоминаются внутренние районы Японии, некогда славившиеся шелководством. После войны они обезлюдели. Тутовые плантации пришли в упадок. В горных селениях остались одни старики и старухи.

Но вот поездил по этим местам и воочию убедился, что монополистический капитал нашел способ использовать даже и весьма слабосильные рабочие руки. Агенты крупных птицефабрик предлагают престарелым крестьянам брать для выращивания цыплят. Все необходимое для этого оборудование поставляется в кредит. Рабочие монтируют на усадьбах стандартные клетки с отделениями по числу птиц, кормушки, желоба для поения. Специальные грузовички-фургоны развозят из инкубатора цыплят. Ферма на 100—200 птиц не требует большого ухода, тем более что бумажные пакеты с комбинированными кормами также регулярно доставляются с фабрики.

С подобными примерами мне доводилось сталкиваться в Японии часто. В местах, прославленных своим фарфором, где-нибудь в Кутани или Сацума, у гончарной печи рядом с вазами классических форм в глаза вдруг бросались какие-то предметы явно индустриального назначения — изоляторы, изготовленные по заказу крупной электротехнической компании.

Какой бы характер ни имели подобные связи, цель их состоит в том, чтобы мелкий производитель продавал свою рабочую силу, так сказать, на дому, в кругу собственной семьи.

Практика субподрядов существует и в других странах. В Швейцарии, например, в заводских условиях ведется главным образом сборка часов, а изготовление большинства деталей рассредоточено по селениям и отдельным семьям. Однако швейцарский часовщик-надомник может брать заказы то у фирмы «Омега», то у фирмы «Ролекс», то еще у какой-нибудь другой. Так же обстоит дело и с производством автомобильных деталей в Соединенных Штатах. Их выпускают мелкие предприятия и поставляют на свободный рынок, где покупателем каждой партии может оказаться любой концерн.

В Японии дело обстоит иначе. Если какой-то субподрядчик делает рессоры или бамперы для концерна «Тоёта», он редко решится взять заказ у концерна «Ниссан». Японская деловая этика требует верности однажды установленным связям, даже если субподрядчик несет из-за этого ущерб. Сложная пирамида многостепенных подрядов подперта все тем же вездесущим в Японии вертикальным стержнем «оя — ко» (покровитель — подопечный).

Возьмем для примера концерн «Тоёта», крупнейший в японском автомобилестроении. Ядро его состоит из головной компании и 12 примыкающих к ней фирм. Их заводы представляют собой вполне современные предприятия не только по уровню производства, но и по условиям труда. Рабочие получают там относительно высокую для Японии зарплату.

Но далеко не они одни участвуют в создании каждой сходящей с конвейера автомашины. До 40 процентов вложенного в нее труда выполняется где-то за заводской оградой.

Помимо конвейерной сборки, головные предприятия концерна занимаются в основном исследовательскими работами, проектированием новых моделей, совершенствованием техники и технологии, планированием производства и распределением заказов. Что же касается выпуска деталей и узлов, то он почти целиком перелagается на субподрядчиков (исключая лишь такие изделия, как кузова, требующие сложного кузнечно-прессового оборудования).

Многоступенчатая система подрядов строится так, чтобы самые примитивные и в то же время самые трудоемкие и неблагодарные операции выполнялись в нижних ярусах. При отборе субподрядчиков существует беспощадный критерий: заказ получает тот, кто готов поставлять детали по более низкой цене. А уж как выкручивается этот мелкий предприниматель, работают ли у него люди по 12 или по 14 часов, никого не интересует.

Соблюдать сроки и качество поставок — это для мелкого предпринимателя вопрос жизни и смерти. Удалось заручиться благосклонностью свыше — значит, можно рассчитывать на новые заказы, а то и на кредит в трудный момент. С верхних этажей концерна в нижние происходит перемещение устаревшего оборудования, а параллельно и стареющего персонала. Начальник цеха с головного завода после пятидесяти лет может быть рекомендован в состав правления дочерней фирмы. И там будут рады принять его, чтобы подкрепить «родственные отношения».

Соседство «утесов» и «песчинок», точнее говоря, их своеобразная взаимозависимость и взаимодействие, показывает, что излюбленной формой предпринимательства в Японии стал концерн, позволяющий объединить в производственные комплексы множество предприятий без прямого поглощения их.

Структуру такого концерна японские дельцы любят сравнивать с очертаниями горы Фудзи. Сверкающая снежная шапка — головная монополистическая фирма — опирается на расширяющееся к низу основание из средних, мелких, мельчайших предприятий, а в последнем слое — кустарей-надомников.

Как-то будучи в Нагоя, я решил проделать весь этот путь. И убедился, что ультра-современная Япония кончается не так уж далеко от вершины — пожалуй, там же, где проходит по Фудзи граница снегов в период цветения сакуры. А ниже, на добрые две трети пути до подножья, попадаешь как бы в иной мир, в другой век. Люди там не знают, что такое восьмичасовой рабочий день, выходные каждую неделю, что такое охрана труда, техника безопасности, что такое коллективный договор профсоюза с предпринимателем, потому что на малом предприятии и профсоюза-то, как правило, нет. Труженикам то и дело приходится переходить с места на место. Никто не гарантирует им стабильную занятость: практика пожизненного найма туда не доходит. Вернее сказать, система эта может существовать у вершины горы именно благодаря тому, что действие ее не распространяется вплоть до подножья.

Японские фирмы могут обходиться без увольнений персонала при спадах конъюнктуры именно потому, что двойственная структура экономики позволяет им привлекать к косвенному участию в производстве целую пирамиду субподрядчиков, не включая их, однако, в штат своей фирмы.

Когда конъюнктура благоприятна, связи со средними и мелкими предприятиями приносят крупным компаниям дополнительные прибыли, позволяют им наживаться на дешевизне рабочей силы, снижать издержки производства. Зато при кризисных толчках именно мелкие и средние предприятия, именно слой «песчинок» служит тем буфером, который принимает на себя удар и позволяет «утесам» монополистического капитала сохранять устойчивость.

Крупной японской компании выгодно иметь много субподрядчиков, но нет расчета «проглатывать» их. На то есть несколько причин. Ведь чем меньше людей имеет капиталист непосредственно в штате своей фирмы, тем легче ему сопротивляться нажиму профсоюза, тем ограниченнее результаты борьбы трудящихся за свои права.

В начале 60-х годов зарплата на средних и мелких предприятиях (где занято более 20 миллионов человек из 30 с лишним миллионов работающих по найму) была вдвое

ниже, чем на крупных. К середине 70-х годов она составила 60—70 процентов. Но разрыв все еще бросается в глаза, и он несомненно помогает капиталистам тормозить общее повышение заработной платы в Японии до уровня других развитых капиталистических стран.

Напрашивается вывод, что существование множества средних и мелких предприятий оказалось в специфических условиях Японии не помехой для модернизации индустрии, а одной из скрытых пружин этого процесса.

Устремившиеся вывесь «утесы» во многом обязаны своим величием соседству «песчинок».

Успех японского капитализма частично основывается на использовании архаизмов японского общества.

Ю. Брошьё, «Японское экономическое чудо» (Париж, 1965).

Большинство японских рабочих заняты на мелких предприятиях, которые едва сводят концы с концами и целиком зависят от крупных корпораций.

Японские автомашины привлекательны для покупателей своими ценами. А цены эти стали возможны благодаря множеству мелких субподрядных мастерских — грязных, плохо оборудованных, прячущихся где-то в закоулках и тупиках трущоб или предместий, но в то же время вовсе неподалеку от конвейеров крупных современных заводов. Эти мелкие предприятия вынуждены поставлять свою продукцию по самым низким ценам, проявляя притом всяческую услужливость и верноподданническую преданность крупным фирмам, лишиться заказов от которых значит для них погибнуть. Мелчайшие признаки спада несут этим остаткам XIX века угрозу банкротства.

Но мелкие предприниматели и те, кто у них трудится, еще не самое дно. На еще более низкой ступени находятся временные и поденные рабочие, а также полтора миллиона надомников.

Жан-Франсуа Делассю, «Японцы: критическая оценка характера и культуры народа» (Париж, 1970).

ДАВКА У ЭСКАЛАТОРА

Когда японский универмаг объявляет большую сезонную распродажу, толпа покупателей собирается перед ним еще до открытия. Едва распахиваются стеклянные двери, как люди, толкая друг друга, устремляются к эскалаторам. У входа на каждый из них, а особенно на тот, что поднимает на верхний этаж, происходит ожесточенная давка. Задние нещадно напирают на передних, все теснятся как одержимые, расталкивают друг друга.

Но это яростное соперничество кончается на первой же ступеньке эскалатора. Азарт рукопашной схватки разом сменяется философской созерцательностью. Неподвижные фигуры с безразличными лицами уплывают вверх. И лишь неприязненное удивление вызывает у японцев нетерпеливец, вздумавший идти, а тем более бежать по эскалатору, который и так, без лишних усилий доставит на нужный этаж.

Для японского образа жизни давка у эскалатора — очень характерная, можно сказать, символическая сцена. Чуть ли не с детских лет японец пробивается сквозь толпу, ведет отчаянную схватку со своими сверстниками, которая обрывается, едва ему удалось шагнуть на первую ступень своей карьеры. Весь последующий жизненный путь японцы уподобляют эскалатору, то есть равномерному подъему, при котором каждый остается на своей ступеньке и сохраняет подобающее ему место.

При системе пожизненного найма у работающих вместе людей скорость продвижения по службе почти одинакова — ведь она определяется прежде всего выслугой лет. Поэтому карьера японца в огромной степени предопределяется уровнем образования, с которым он вступает на трудовой путь.

Молодежь с неполным средним, со средним или с высшим образованием оказывается как бы перед различными эскалаторами, которые движутся с неодинаковой скоростью и поднимают на разные этажи. Возможность выбиться в люди в какой бы то ни было области находится в прямой зависимости от уровня образования, получен-

ного до выхода на рынок труда. Люди с разным образованием выносятся японской системой найма на совершенно разные жизненные орбиты.

Университетский диплом в Японии еще больше, чем в других капиталистических странах, олицетворяет собой ключ к успешной карьере. Причем огромное значение придается тому, где именно получил человек высшее образование, какой университет он окончил. Резкая грань между средним и высшим образованием дополняется, стало быть, неофициальной, но общепризнанной градацией между однородными учебными заведениями. Надпись на обложке диплома подчас важнее оценок, проставленных на его внутренних листах.

Перворазрядные коммерческие фирмы и государственные учреждения предпочитают пополнять свой персонал выпускниками перворазрядных университетов, которые, как уже говорилось, пользуются в Японии неоспоримым преимуществом перед обладателями других дипломов.

Руководящий состав ведущих министерств и корпораций почти на две трети состоит из выпускников Токийского университета. В деловом мире много людей, кончивших университет Кэйо, среди политических деятелей — воспитанников университета Васэда.

Ранг учебного заведения предопределяет угол восхождения человека по служебной лестнице, уровень его личных связей на всю остальную жизнь. Многие японцы предпочитают сдавать экзамены, скажем, в Токийский университет по три, пять, семь лет подряд, чем идти во второразрядный вуз, так как после него они оказались бы на эскалаторе, который вовсе не доходит до верхних этажей.

Все это порождает жесточайшую конкуренцию среди поступающих. Существует пословица: «Будешь спать четыре часа — попадешь, будешь спать шесть часов — провалишься».

Причем экзаменационная горячка носит в Японии затяжной, как бы хронический характер. Некоторые преимущества при поступлении в Токийский университет дают перворазрядные средние школы. Чтобы попасть в них, тоже нужно пройти трудный конкурс. Есть даже привилегированные детские сады, открывающие путь в перворазрядные начальные школы. Таким образом, японец чуть ли не с шести лет вступает в полосу так называемого экзаменационного ада.

Конечно, состоятельные родители имеют несравненно больше возможностей хорошо подготовить своих детей к экзаменам. Но если сын президента фирмы не сумел обзавестись дипломом одного из ведущих университетов, он вряд ли сможет рассчитывать на отцовский пост и всегда вынужден будет довольствоваться второстепенными ролями.

С другой стороны, выходцу из небогатой семьи конкурсный отбор представляет — хотя бы теоретически — единственный в жизни шанс улучшить свое общественное положение, как говорят японцы, «сравняться с теми, кто стоит ступенькой выше».

Поэтому неистовое стремление японской молодежи во что бы то ни стало пробиться сквозь давку у эскалатора подкрепляется готовностью родителей идти во имя этого на любые материальные жертвы. Ведь от образования, с которыми их сын вступит в жизнь, зависит не только угол его продвижения по службе, кривая роста его зарплаты, но и подобающее место следующего поколения семьи в общественной иерархии.

Огромных затрат требует не только подготовка к вступительным экзаменам, но и само обучение. За последние двадцать лет плата за него в частных вузах возросла в 10 раз. Те немногие, кому посчастливилось попасть в государственные вузы, платят меньше. Но быть принятым значит получить право посещать лекции и сдавать экзамены. А уж где жить, на что питаться — студент должен заботиться сам.

Высшее образование в Японии стоит дорого. И хотя цена его продолжает расти, тяга к университетскому диплому не ослабевает. Про Японию правомерно сказать, что этой стране присуща такая своеобразная черта, как финансирование высшего образования самим народом, простыми семьями, которые вкладывают в него значительную часть своих средств. Почти целиком за счет этих трудовых сбережений, а не за счет государственного бюджета существуют частные японские университеты, где обучается три четверти студентов.

При традиционной системе найма, существующей в Японии, способности человека непосредственно и прямо переводятся на термины его образовательного уровня. Решающими критериями здесь является как продолжительность, так и качество образования. При таких стандартах человек, окончивший лишь среднюю школу, независимо от его способностей и опыта, не может конкурировать с выпускником университета при найме на работу или продвижении по служебной лестнице. От трех — пяти лет на ранней стадии жизни японца зависит очень многое. Общество в целом считает образование главной меркой способностей человека, и на то, что человек сделал после учебного заведения, обращается не так уж много внимания. Подобное отношение выросло на той же почве, что и система продвижения по старшинству. Квалификация человека по его образованию очень очевидна и бесспорна, в то время как о его личном опыте и заслугах трудно судить по общепринятым и общепризнанным стандартам.

Тиэ Наканэ, «Японское общество» (Токио, 1970).

Среди крупных государств мира лишь Советский Союз и Соединенные Штаты соперничают с Японией по проценту населения, имеющего среднее и высшее образование. Во всяком случае, на уровне средней школы японцам удалось достичь массовости американского образования в сочетании с качеством европейского.

Герман Кан, «Рождение японского сверхгосударства: вызов и ответ» (Нью-Йорк, 1970).

Итак, чем выше этаж, до которого способен поднимать тот или иной эскалатор, тем труднее к нему пробиться. Но если, растолкав соперников и протиснувшись сквозь давку, японец шагнул на первую ступеньку, азарт гонки тут же покидает его. Зачем бежать вверх по движущейся лестнице, если она в положенное время сама доставит на должную высоту? Напористость, жажда опередить других становятся тут не только излишни, но и нежелательны. Всякая суэта может лишь затруднить плавный ход эскалатора, который в представлении японцев сочетает поступательность движения со стабильностью иерархии.

Люди одного возраста, ровесники, знающие друг друга со студенческой скамьи, по существу, поднимаются по лестнице своей карьеры плечом к плечу. Узнав, когда и какое учебное заведение человек кончал, где он работает, японец легко определяет и его нынешнее служебное положение, и его зарплату, и его перспективы.

В крупных частных корпорациях и государственных учреждениях часто создаются клубы одногодков, то есть людей, принятых на работу одновременно. Все они ревниво следят за «равнением в шеренге». Выдвижение одних дает основание другим претендовать на то же самое. Возможности для этого, однако, сужаются с каждой ступенью. И как только кто-то из данного поколения получает ранг заместителя министра или члена совета директоров, всем его ровесникам по неписаной традиции надлежит подавать в отставку.

Как правило, это происходит в возрасте пятидесяти пяти лет. Но отставка высокопоставленных сотрудников чаще всего означает не уход на покой, а «парашютирование» на другую должность.

Государственные служащие «парашютируются» в частные корпорации, связанные по роду своей деятельности с данным министерством. Такая практика укрепляет узы между правительственным аппаратом и деловым миром. Крупные фирмы стремятся заинтересовать чиновников, с которыми они имеют дело, перспективой получения теплых местечек на склоне лет (обычно это посты консультантов с огромными окладами и с необременительными обязанностями «поддерживать контакт» с бывшими коллегами в министерстве).

Частные компании «парашютируют» своих отставников в дочерние фирмы, причем обе стороны видят в этом выгоду для себя.

Важные социальные последствия имеет присущее японцам стремление чуть ли не до конца дней поддерживать связи со своими бывшими одноклассниками по школе или

вузу. По воскресным дням в любом популярном ресторане красуются объявления инициативных групп о банкетах бывших соучеников такого-то выпуска.

Бывших однокурсников объединяют отнюдь не только воспоминания о студенческих временах. Даже те из них, которые, по японским представлениям, начали карьеру наиболее удачно, то есть попали в «перворазрядные» министерства, заинтересованы общаться со своими сверстниками в частных корпорациях и в парламенте, по возможности оказывать им услуги. Ведь государственная служба ценится не только сама по себе, но и как удобный трамплин для прыжка («парашютирования») на командные высоты в деловом и политическом мире.

Личные отношения, основанные на личном знакомстве, вообще играют у японцев не менее важную роль, чем официальные связи. Не раз убеждался: если чиновнику из министерства финансов нужно решить какой-то вопрос в министерстве иностранных дел, он перво-наперво обратится в чужом ведомстве к кому-то из своих знакомых (пусть даже вовсе не имеющему отношения к подобным проблемам), чтобы через него быть представленным нужному лицу. Такая личная рекомендация служит своего рода привязкой к уже существующим отношениям.

Вспомним, что «эскалаторная» система продвижения по старшинству практически исключает возможности для какой-то экстраординарной, головокружительной карьеры. Так что каждое поколение бывших одноклассников достигает ведущих постов в государственном аппарате, деловом мире или политической жизни примерно в одно и то же время, имея за плечами двадцать пять — тридцать лет личного знакомства и связей. Здесь, несомненно, коренится одна из причин взаимного доверия и тесного взаимодействия трех полюсов японской элиты — чиновников, дельцов и политиков.

При всех противоречиях, неизбежно возникающих в Японии между ними, характерно, что эти три силы взаимодействуют друг с другом, как пружины некоего единого механизма. По выражению историка Титоси Янаги, японская политика — это спектакль, который сообща ставят дельцы, политики и чиновники. Организованный бизнес дает сюжет пьесы и средства на его постановку. Партия парламентского большинства разрабатывает сценарий и подбирает актеров. Государственному аппарату остается роль режиссера-постановщика и администратора.

Между исследователями Японии существует согласие насчет того, что страна эта сообщи управляется организованным бизнесом, правительством партии большинства и административной бюрократией. Нет согласия насчет того, какая из этих трех групп наиболее влиятельна. Политики считают, что государством управляют чиновники. По мнению дельцов, курс страны определяют партийные вожаки. Чиновники убеждены, что организованный бизнес, действуя через правящую партию, контролирует политику страны.

Относительно экономических проблем легко прийти к выводу, что верховным правителем является организованный бизнес. Власть государственного аппарата над организованным бизнесом проявляется в регулировании деловой активности, в предоставлении лицензий, правительственных займов, субсидий. Правящая партия не может противостать силе организованного бизнеса, однако бывают случаи, когда она добивается своего через государственный аппарат.

Титоси Янага, «Большой бизнес в японской политике»
(Иельский университет, 1969).

Десять заповедей для тех, кто ведет дела в Японии:

1. Всегда старайтесь быть официально рекомендованным тому лицу или фирме, с которой вы хотите иметь дело. Причем рекомендующий вас человек должен занимать по крайней мере столь же высокое положение, как и лицо, с которым вы хотите познакомиться. Имейте в виду также, что вы становитесь перед рекомендателем в долгу, который в свое время надо будет оплатить.

2. Стремитесь придавать деловым отношениям личный характер. В этом смысле японцы напоминают того жителя Техаса, который не доверял никому, с кем еще вме-

сте не напивался. Если президент японской фирмы повеет вас по вечерним заведени-ям, вы впоследствии обнаружите, что его подпись на счете бара имеет для ваших гальнейших общих дел более важное значение, чем его подпись на контракте.

3. Никогда не нарушайте внешнюю гармонию. Японцы считают, что сохранить гармонию важнее, чем доказать правоту или получить выгоду.

4. Никогда не ставьте японца в положение, которое вынудило бы его «потерять лицо», то есть признать ошибку или некомпетентность в своей области. Японские фирмы увольняют неспособных сотрудников не чаще, чем родители отрекаются от неполноценных детей.

5. Тому, как вы ведете дела, в Японии придется не меньше значения, чем их результатам. А иногда и больше.

6. Не взывайте к логике. В Японии эмоциональные соображения более важны.

7. Не проявляйте повышенного интереса к денежной стороне дел. Поручайте торговаться о ценах посредникам и подчиненным.

8. Имейте в виду, что понятие «время — деньги» в Японии хождения не имеет.

9. Учитывайте склонность японцев выражаться неопределенно.

10. Помните, что японцы избегают самостоятельных шагов. В то время как нам нравятся люди, которые справляются с делом сами, без оглядки на советы других, японцы смотрят на это иначе. Их идеал — анонимное общее мнение.

Джэк Суорд, «Еще раз о японцах» (Токио, 1971).

ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ

Уже отмеченная склонность японцев мыслить и действовать сообща проявляется в сложившейся у них практике принятия решений. Решения в Японии обычно представляют собой не результат чьей-то личной инициативы, а итог согласования мнений всех заинтересованных лиц — как бы общий знаменатель, найденный на основе взаимных уступок. При этом, по нормам японской деловой этики, главной добродетелью обладает не тот, кто твердо стоит на своем (пусть даже будучи правым), а тот, кто проявляет готовность к компромиссу ради общего согласия.

Начнем с того, что японцы предпочитают по возможности откладывать принятие решений. Им присуще стремление как можно дольше не замечать, игнорировать все то, что нарушает сложившийся порядок вещей, что требует вмешательства, применения каких-то мер.

Японцы считают естественным затягивать принятие некоторых решений до тех пор, пока в них вообще отпадает необходимость. Но здесь же коренятся причины другой важной национальной черты: Япония порой бывает страной непредсказуемых перемен, внезапных крутых поворотов, совершаемых после продолжительного промедления.

Итак, решения в Японии принимаются, как правило, не отдельными лицами, а группами. Они крайне редко являются результатом личной инициативы, равно как и чьей-то личной ответственности.

Бесполезно просить президента фирмы лично вмешаться в какой-то вопрос и безотлагательно принять какие-то радикальные меры. Даже будучи вправе сделать это, он предпочтет, во-первых, ознакомиться с соображениями своих непосредственных подчиненных, а во-вторых, постарается найти для высказанных ими различных мнений некий общий знаменатель.

Японцы ищут решения, которые обобщали бы взгляды всех заинтересованных сторон, каждая из которых обладает чем-то вроде права вето. Если, несмотря на продолжительные дискуссии и компромиссные предложения, кто-то все-таки выступает против данной инициативы, вопрос вообще не решается, а откладывается.

Когда проблема становится безотлагательной, нижестоящие звенья аппарата прежде всего смотрят, как поступали в подобных случаях прежде, и с учетом изменившейся обстановки готовят возможные варианты решения.

Процесс согласования мнений начинается в наиболее заинтересованной группе, а затем проходит по расширяющейся спирали смежных групп. Лишь после кропотливой подготовки вопрос выносится на обсуждение руководства.

Характерно, что и на высшем уровне проявляется стремление избегать категорических суждений, слов «да» или «нет», «за» или «против». Как правило, ни один из участников такой дискуссии не станет сразу целиком излагать свое мнение, тем более предлагать что-то конкретное. Обычно он выскажет сначала лишь небольшую, наиболее бесспорную часть того, что думает по данному вопросу; образно говоря, сделает лишь небольшой осторожный шаг вперед и тут же оглянется на остальных.

Японец независимо от занимаемого поста остерегается противопоставлять себя другим, оказаться в изоляции, довести дело до открытого столкновения противоположных взглядов. Поэтому дискуссия обычно тянется долго, пока каждый ее участник постепенно, шаг за шагом, не изложит свою позицию, по ходу видоизменяя ее с учетом мнений других участников обсуждения.

Если руководитель чувствует, что на каком-то этапе появилась возможность договориться о приемлемом для всех решении, он обобщает высказанные взгляды и спрашивает, все ли согласны с таким вариантом. Если же оказывается, что взаимное согласие маловероятно, руководитель, как правило, не настаивает на принятии решения и не выносит вопрос на голосование, даже если возражающие составляют меньшинство. Вместо этого он обычно предлагает изучить проблему глубже, дать время, чтобы обсудить спорные моменты в неофициальной обстановке.

Связанные жесткими правилами поведения и нормами «подобающего места», японцы вообще предпочитают решать наиболее сложные вопросы, преодолевать наиболее острые разногласия не на заседаниях, а за выпивкой, когда алкоголь помогает на время сбрасывать оковы этикета. Огромные расходы японских фирм на «представительские цели», а попросту говоря, на попойки в барах и кабаре или в ресторанах с гейшами, мотивируются тем, что именно подобные заведения служат наиболее подходящим местом для согласования противоречивых мнений.

Сблизить точки зрения спорящих нередко помогает посредник, который берет на себя эту роль тоже сугубо по-японски. Взяться за посредничество по официальной просьбе значило бы в случае неудачи «потерять лицо». Поэтому дело обычно ограничивается лишь намеком, что существуют такие-то разногласия, которые хочется, но не удается преодолеть.

Поняв суть дела, будущий посредник так же осторожно прощупывает готовность другой стороны говорить с ним о возникшем затруднении. Если желание искать компромисс оказалось обоюдным, посредник начинает курсировать между спорящими. А поскольку каждая из сторон всякий раз вносит коррективы в свою позицию с учетом уступок другой стороны, наступает момент, когда посредник как бы от своего имени предлагает участникам спора взаимоприемлемое решение.

Для японской практики деловых отношений характерно, что сторона, вынужденная пойти на наибольшие уступки, нередко получает преимущество при решении какого-то другого вопроса, подчас совершенно не связанного с первым, или же получает заверения, что если подобный же спор возникнет в будущем, решение будет принято в ее пользу. Готовность к компромиссу считается добродетелью, которая должна быть вознаграждена.

Важно иметь в виду, однако, что компромисс в представлении японцев — это зеркало момента. Подобно тому как их мораль делит поступки не на хорошие и дурные, а на подобающие и неподобающие, японцы считают само собой разумеющимся, что соглашение имеет силу лишь до тех пор, пока сохраняются условия, в которых оно было достигнуто. Там, где американец скажет: «Раз возник спор, обратимся к тексту соглашения и посмотрим, что там записано», японец будет доказывать, что, если обстановка изменилась, должна быть пересмотрена и прежняя договоренность.

Японцам до сих пор, в общем-то, чужда практика решать вопросы голосованием. Применяется этот метод сравнительно редко — например, в таких заимствованных на Западе учреждениях, как парламент. Но даже в отношении парламентских решений японская пресса часто применяет термин «тирания большинства», считая, что перевес

в количестве голосов еще не дает повода игнорировать возражения какой-то части депутатов.

Демократический подход к проблеме в представлении японцев состоит в том, чтобы искать ее решение путем кропотливого согласования мнений с учетом позиции меньшинства, а также взглядов тех, кто стоит в иерархии ступенькой ниже.

Руководитель в Японии чаще выступает не как инициатор каких-то идей, а как арбитр, которому подчиненные представляют на выбор возможные варианты решения. Конечно, он вправе изменять предложенные снизу варианты, но вряд ли станет отвергать их все целиком.

Громоздкость японской системы принятия решений в какой-то степени компенсируется на стадии их осуществления.

Процесс согласования мнений дает исполнителям на всех уровнях ощущение своей причастности к общему решению, четкое представление, почему и зачем оно было принято и какие подводные камни могут помешать проведению его в жизнь.

Когда японским служащим нужно принять решение, они первым делом оглядываются на прецедент и, обсудив курс действий на этой основе, выносят его на одобрение вышестоящих. Японцы, таким образом, привыкли плыть по течению, мыслить и действовать сообща. То, что выглядит решением, по существу является анонимным согласием поступать как прежде. Японцы в основе своей консервативны и редко прибегают к поспешным действиям. Им свойственно нежелание брать на себя ответственность за какое-то решение, если только можно этого избежать.

Итиро Кавасаки, «Япония без маски» (Токно, 1969).

НА СПИНЕ ДРАКОНА

Японцам приходится жить словно на вздрагивающей спине, которую выставил из пучины океанской дракон. Вулканические извержения и подземные толчки для них не редкая трагическая случайность, а скорее нечто неизбежное, как жара летом или холод зимой.

Япония — это страна, где природа и человек состязаются в неистовстве. Здесь постоянно дает о себе знать необузданность стихийных сил. Но здесь же на каждом шагу видишь следы упорнейшего человеческого труда.

Японская природа не только жестока, но и скупа. Пять шестых территории страны составляют крутые горные склоны. И лишь одна шестая остается человеку — тут и поля, возделанные словно клумбы, и города, и заводы. Япония столь же гориста, что и Швейцария, но ее равнинная часть заселена при этом в пять раз плотнее.

Есть меткое сравнение: если американцы измеряют эффективность во времени, то японцы — в пространстве. В стране вулканов и землетрясений, в стране, где слишком много гор, но слишком мало дела для горняков, природные возможности служат скорее контрастом тому, что создает человеческий труд.

Ведь Япония, которая по выплавке стали опередила США и вплотную приблизилась к СССР, которая по выпуску автомашин уступает лишь Соединенным Штатам, которая спускает на воду половину всех строящихся в мире судов, создала свой промышленный потенциал почти целиком на привозных ресурсах.

Смотришь из окна экспресса на скопления заводских корпусов, на городские улицы, забитые потоками машин, толпами людей, и с трудом доходишь до сознания, что весь металл, из которого созданы каркасы цехов и небоскребов, станки и автомобили, — что весь этот металл привезен в виде руды из других стран. Нефть, которая приводит в движение моторы автомашин, турбины электростанций, дает жизнь индустрии, доставлена гигантскими танкерами из-за морей. Даже каждый грамм хлопка или шерсти в одежде людей тоже откуда-то привезен.

Япония вынуждена ввозить 80 процентов необходимого ей промышленного сырья и 20 процентов продовольствия. Чтобы существовать в подобных условиях, стране приходится быть гигантским обрабатывающим заводом и одновременно экспортно-импортной фирмой. Как можно дешевле приобрести сырье и, обогатив его вложенным

трудом, как можно выгоднее сбыть в виде готовой продукции — такова стратегия японских предпринимателей.

Вот уже в течение двух десятилетий Япония опережает по темпам развития все другие капиталистические страны. Ее валовой национальный продукт (ВНП) возрос с 10 миллиардов долларов в 1950 году почти до 200 миллиардов долларов в 1970 году, то есть за двадцать лет увеличился в 20 раз.

В 50-х и 60-х годах Япония расширяла свое промышленное производство в среднем на 15 процентов ежегодно. Это в 2 раза превысило западноевропейский и в два с половиной раза — американский темп прироста.

Особенно драматичным в этой гонке был этап 60-х годов, когда Япония последовательно опередила Францию, Англию, ФРГ и вырвалась в первую тройку ведущих индустриальных держав мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Советскому Союзу.

На рубеж 70-х годов Япония вышла, производя почти вдвое больше продукции, чем Англия, примерно столько же, сколько ФРГ и Франция, вместе взятые, и достигнув одной пятой объема производства в Соединенных Штатах.

Какие же причины позволили Японии совершить такой рывок? Какие факторы послужили здесь скрытыми пружинами?

Самое распространенное объяснение: высокая степень эксплуатации, дешевизна рабочей силы в Японии. Это безусловно главная причина. Но было бы упрощением считать ее единственной, сводить все лишь к ней. Ведь тогда закономерно рождался бы вопрос: почему подобная же степень эксплуатации, дешевизна рабочих рук не привели к аналогичным результатам во многих других странах Азии, Африки, Латинской Америки?

Нередко слышишь также: все дело в том, что японцы усердны как труженики и воздержанны как потребители.

Пожалуй, вернее было бы сказать, что в Японии уровень производства повышается гораздо круче, чем уровень потребления, производительность труда растет несравненно быстрее, чем зарплата. Японский рабочий получает намного меньше американского даже там, где трудится эффективнее его.

Такое объяснение выглядит более полным, но и его нельзя считать исчерпывающим.

Понять причины сделанного Японией рывка, оценить его скрытые пружины можно лишь исходя из целой совокупности факторов, а не из какого-то одного в отдельности. Только анализируя сочетание и взаимодействие многих факторов: внутренних и внешних, политических и экономических, исторических и национально-психологических, — можно получить достаточно полный ответ.

Часто спрашивают: как удалось Японии так быстро вырваться после войны в первую тройку индустриальных держав —

несмотря на огромные разрушения от американских бомбардировок;

несмотря на то, что страна подверглась оккупации;

несмотря на то, что колонии были отобраны, а своих природных ресурсов на островах практически нет?

Пародируя стиль загадок-парадоксов, излюбленных буддийской сектой «дзэн», можно сказать, что каждый из этих вопросов превращается в ответ, если слово «несмотря» заменить в нем на «благодаря».

— Из-за того, что Англию бомбили немецкие «Юнкерсы — восемьдесят восемь», а Японию — американские сверхкрепости «Б — двадцать девять», англичанам после войны пришлось заниматься восстановлением устаревших предприятий, а мы сразу же взялись строить новые, по самым современным проектам, — говорил мне один из ведущих японских промышленников.

Заново построить завод на пустом месте легче, чем восстанавливать старый. Если, конечно, располагать деньгами. Но прежде чем пояснить, откуда взялись эти деньги в разрушенной, поверженной стране, хочется отметить еще одно обстоятельство.

Когда японцы говорят, что война хоть и принесла разрушения, но зато расчистила место, эту фразу можно понимать и в широком смысле. С разгромом японского милитаризма были разбиты многие оковы, сдерживавшие развитие производительных сил.

После капитуляции в стране была проведена аграрная реформа, которая практически ликвидировала помещичье землевладение. Вступило в действие новое трудовое законодательство, было вновь узаконено существование профсоюзов.

Особый вопрос — почему американские оккупационные власти пошли на подобные меры. Они хотели, во-первых, уничтожить социальную опору милитаристских кругов в лице помещичьего класса, а во-вторых, лишить японских промышленников такого важного козыря, как дешевизна рабочей силы. Воссоздавая в Японии профсоюзы, американцы радели о своих интересах в конкурентной борьбе.

Тем не менее реформы первых послевоенных лет изменили социально-экономическую и политическую обстановку в стране, привели к некоторому росту доходов трудящихся, оживили и расширили внутренний рынок.

Но вот оккупированная Япония, на которую американцы сначала смотрели как на поверженного тихоокеанского соперника, стала играть в политике США совсем иную роль: она оказалась ближней тыловой базой в тех войнах, которые американский империализм развязал в Азии — сначала в Корее, а затем во Вьетнаме.

Через пять лет после капитуляции еще лежавшая в руинах Япония вдруг стала прифронтовой полосой корейской войны. Американцам надо было срочно организовать снабжение войск, ремонт боевой техники. Тут-то и пролился над Японией золотой дождь интендантских заказов. Два с лишним миллиарда долларов было впрыснуто в организм частного предпринимательства. Такая инъекция послужила изначальным толчком послевоенной деловой активности. Без нее потребовалось бы, наверно, целое десятилетие, чтобы сдвинуть с места парализованную разрухой японскую экономику.

Как известно, вооруженные силы США остались в Японии и после формального прекращения оккупационного режима — на основании «договора безопасности». Причем японский монополистический капитал сумел с выгодой для себя использовать положение, в котором оказалась страна. Из-за военного присутствия США Япония смогла тратить на оборону значительно меньше средств, чем другие развитые страны Запада.

Военные расходы Японии, которые в 30—40-х годах поглощали примерно 9 процентов ее валового национального продукта, составляют ныне около одного процента ВВП. Это в 4—6 раз меньше, чем тратят ФРГ, Франция, Англия, и в 10 раз меньше, чем США.

Разумеется, когда валовой национальный продукт Японии достиг в 1970 году почти 200 миллиардов, а к 1973-му — 300 миллиардов долларов, даже процент его составляет гигантскую сумму. Этих 2—3 миллиардов долларов достаточно для создания более мощного военного потенциала, чем имела в свое время милитаристская Япония. Миролюбивая общественность правомерно бьет тревогу по поводу ежегодного увеличения военных ассигнований. Однако даже при том, что в абсолютном исчислении расходы на оборону растут, они не служат для японской экономики столь тяжелым бременем, которое могло бы замедлить темпы ее развития.

Потерпев военное поражение, Япония лишилась своих колоний, возможности эксплуатировать недра захваченных земель, рабский труд корейских и китайских рабочих. Кое-кто считал, что экономика бывшей метрополии окажется нежизнеспособной. Но подобные прогнозы не сбылись.

Когда деньги, нажитые на корейской войне, воскресили деловую активность, за умелыми рабочими руками дело не стало. На родину вернулись люди, накопившие управленческий опыт после захвата Кореи, Маньчжурии, Тайваня. Многие отрасли, работавшие на военные нужды, например мегаллургия, судостроение, оптика, сохранили костяк опытных специалистов. Наряду с высоким общеобразовательным уровнем молодежи в целом все это обеспечило промышленности достаточный приток квалифицированных кадров.

Что же касается отсутствия собственного сырья, то, по мнению японских предпринимателей, на каком-то этапе это даже помогло стране совершить стремительный рывок вперед. Япония, считают они, смогла сосредоточить все силы на создании самых новых и перспективных отраслей индустрии именно потому, что у нее не висели ги-

рями на ногах добывающие отрасли — наименее рентабельные, наиболее трудоемкие и капиталоемкие.

Избавив себя от обременительных расходов на модернизацию рудников, шахт, железнодорожных перевозок, японские монополии сделали ставку на морской транспорт, на те новые возможности, что открылись с созданием судов-гигантов и механизацией погрузочно-разгрузочных работ.

Бедная полезными ископаемыми, Япония богата... побережьем. Это оказалось огромным преимуществом для страны в условиях удешевления морских перевозок. На каждый квадратный километр японской территории приходится 72 метра побережья, вдвое больше, чем в другой островной стране — Англии, и в 12 раз больше, чем в США.

Извилистая береговая линия Японских островов благоприятствует тому, чтобы почти каждое промышленное предприятие, перерабатывающее импортное сырье в экспортную продукцию, имело собственный порт.

Если старые металлургические заводы строились вблизи угольных шахт Кюсю или Хоккайдо, то теперь они создаются «на воде». С одной стороны насыпного участка оборудуется приемный порт, где руда, уголь и другое сырье прямо с судов поступают в обработку. А на противоположной стороне отвоеванной у моря территории создается отгрузочный порт, откуда отправляется готовая продукция.

Став продолжением цехов, порты сократили до минимума нужду в железнодорожных перевозках. Япония сейчас почти не знает товарных поездов. Подсчитано, что доставить тонну коксующегося угля морем из Австралии в Японию дешевле, чем по железной дороге из Ура в Лотарингию.

Словом, пользуясь преимуществом морских перевозок, японские фирмы предпочитают покупать сырье в наименее обработанном виде, чтобы максимально обогащать его человеческим трудом, то есть тем видом ресурсов, которым страна наделена в достатке.

На каком-то этапе отсутствие собственной добывающей промышленности, возможно, облегчило Японии задачу сравняться с западными соперниками и даже перегнать их. Однако обострение конкурентной борьбы на мировом рынке, особенно в области энергетических ресурсов, все чаще напоминает об уязвимости японской экономики, ее зависимости от зарубежных источников сырья и энергии.

Тем не менее разгон был взят. В гонку со своими западными соперниками Япония вступила налегке.

Если бы средоточия мировой промышленности размещались в соответствии с логическим выбором, кто отвел бы для одного из крупнейших среди них эту далекую, бедную страну, отрезанную от всего света морями и океанами, еще более обделенную природой, чем Англия, и притом гораздо более населенную?

Вот уже много лет западные экономисты изучают причины успеха Японии и выдвигают различные, подчас весьма интересные взгляды относительно капиталовложений, промышленной структуры, рабочей силы, зарплат и так далее. Мне кажется, что в этих объяснениях отсутствует один фактор, которым обычно пренебрегают, возможно, потому, что он не поддается статистическому анализу. А между тем он и есть главный фактор, главное объяснение: это сами люди.

Люди, то есть японцы — их способности, поведение, образ мыслей. Речь идет не о горстке руководителей — имя им легион. Успех Японии — заслуга бесчисленной массы японских тружеников, которые, помимо других достоинств и недостатков, обладают стремлением делать свое дело на совесть.

Робер Гийен, «Япония: третья великая держава» (Париж, 1969).

Японская земля сделана крестьянами, как атоллы сделаны кораллами. Все дворцы Японии и все картины, все фарфоры и лаки, все стихи и все кабуки — на их скелетиках.

Борис Агапов, «Воспоминания о Японии. 1945—1946 годы» («Москва», 1974, № 1).

Заработная плата в Японии составляет четвертую или пятую часть того, что получают рабочие в Европе, и если принять во внимание, что Япония по отношению к Азии то же, что Англия по отношению к Европе, и что она соединена с различными гаванями азиатских стран собственными пароходными путями; что расстояние этих стран от Японии в три или пять раз меньше, чем расстояние между ними и Европой, что составляет большую экономию в перевозке и страховке; если мы примем все это во внимание, то нам станет понятным развитие Японии как промышленной страны и переполнение азиатских рынков японскими изделиями и товарами.

Эрнест фон Гессе-Вартег, «Япония и японцы» (Берлин, 1904).

Пока западные экономисты пишут монографии о выплавке стали в 1870 году или об экономических системах 1780 года, японские исследователи занимаются структурой промышленности в 1980 году. Интерес к прошлому, даже к вчерашнему дню, минимален. Все взоры устремлены вперед, к 2000 году.

Х. Хедберг, «Японский вызов» (Стокгольм, 1970).

«ВЕЛОСИПЕДНАЯ ЭКОНОМИКА»

Японцы усердны как труженики и воздержанны как потребители...

Возвращаясь к этой фразе, заметим, что за соотношением потребления и накопления действительно кроется одна из главных пружин совершенного Японией рывка.

С середины 50-х годов — то есть уже два десятилетия — доля накопления в валовом национальном продукте Японии держится на уровне 30—35 процентов (в то время как в других развитых капиталистических странах она составляет 17—20 процентов).

Каковы же источники ускоренного накопления капитала в Японии? Как, за счет чего удается японским предпринимателям из года в год выделять примерно вдвое больше средств на обновление оборудования и расширение производства, чем их американским и западноевропейским конкурентам? Вот ключ к пониманию движущих сил экономического бума.

Важнейший фактор — более низкий, чем в других капиталистических странах, уровень личного потребления (причем такое сопоставление до некоторой степени касается и обеспеченных слоев).

Японский монополистический капитал сумел добиться максимальной мобилизации внутренних ресурсов, занижая долю потребления и завышая долю накопления. Он опирается при этом на многие местные особенности. Тут и двойственность экономической структуры, своеобразное соседство «утесов» и «песчинок»; тут и система пожизненного найма, при которой труженику вбивают в голову, что его личное благополучие зависит от процветания фирмы; тут, наконец, и устой традиционной морали, возводящей в добродетель умеренность, воздержание, готовность довольствоваться малым.

Для Японии характерна более высокая степень эксплуатации наемного труда, чем в других странах капитала. Лишь с конца 60-х годов зарплата японских трудящихся стала расти быстрее и разрыв со странами Запада стал постепенно сокращаться. Если, к примеру, зарплата рабочих в обрабатывающей промышленности Японии в середине 60-х годов была в 7 раз ниже, чем в США, в 3 раза ниже, чем в Англии, почти вдвое ниже, чем в ФРГ, и на четверть ниже, чем во Франции, то к началу 70-х годов она достигла трети американской, двух третей английской или западногерманской и примерно сравнялась с французской. Однако производительность труда в Японии росла все эти годы быстрее, чем зарплата.

Токийские дельцы любят втолковывать своим зарубежным гостям, что разговоры о дешевизне рабочей силы в Японии стали анахронизмом. И все-таки труд в Японии донныне дешев — дешев в сопоставлении с его качеством, эффективностью.

По данным Генерального совета профсоюза Японии, автомобильная компания «Ниссан» тратит на заработную плату около 7 процентов того, что получает от продажи автомашин, в то время как ее итальянский конкурент «Фиат» — почти 32 процента. Металлургический концерн «Син Нихон сэйтэцу» платит рабочим и служащим 15 процентов того, что получает за сталь, тогда как американский концерн «Юнайтед стейтс

стиль» — более 42 процентов. Аналогичные цифры для японской электротехнической фирмы «Хитати» — 14 процентов, а для сходной по профилю западногерманской корпорации «Сименс» — более 41 процента.

Все эти примеры можно свести к одному: сопоставить расходы на оплату труда со стоимостью реализованной продукции. В Японии этот показатель в 2—3 раза ниже, чем в других развитых капиталистических странах (32 процента в США, 27 — в Англии, 26 — во Франции, 23 — в ФРГ против 11 процентов в Японии).

Япония присуща еще одна весьма своеобразная черта: низкому уровню личного потребления в этой стране сопутствует весьма высокий уровень личных сбережений.

Японцев отнюдь не назовешь людьми скаредными, прижимистыми, мелочно-расчетливыми. На взгляд американцев, они даже легкомысленно относятся к деньгам.

Тем не менее японцы откладывают на будущее около 20 процентов текущих доходов. Это в 2—3 раза превышает долю сбережений в ФРГ, Франции, Англии, США.

Быть столь рачительными сберегателями японцев вынуждает сама жизнь. Деньги, прежде всего, необходимо откладывать на старость из-за японской системы социального обеспечения, вернее сказать, из-за отсутствия таковой. Ведь уходя в отставку в пятьдесят пять лет, японский труженик обычно получает не пенсию, а единовременное пособие — по месячному окладу за каждый проработанный год. Этого, конечно, недостаточно, чтобы прожить остаток лет.

Приходится также откладывать деньги на образование детей, поскольку оно, как уже говорилось, во-первых, очень дорого, а во-вторых, имеет решающее значение для их жизненной карьеры.

Традиция заботиться о сбережениях порождена и многими другими причинами: это дороговизна медицинской помощи; быстрый рост квартирной платы, а также цен на землю; это обычай тратить непомерные суммы на свадьбы и похороны; постоянная угроза стихийных бедствий. Словом, целый ряд социально-экономических и национально-психологических факторов вынуждает японских тружеников откладывать в форме сбережений в среднем пятую часть своих доходов.

С другой стороны, быть сберегателями японцам помогают некоторые местные особенности оплаты труда. По существующей традиции наниматели несколько занижают ежемесячные выплаты с таким расчетом, чтобы труженик в течение года получил не 12, а 15 окладов. Два из них выдаются в форме наградных перед Новым годом, а еще один в середине лета. Часть этих денег семьи используют для каких-то сезонных покупок, но от половины до двух третей обычно оставляют на черный день.

В отличие от американцев, которые предпочитают приобретать ценные бумаги и быть мелкими акционерами, японцы обычно держат свои сбережения в форме вкладов. Средства эти, таким образом, остаются в обороте и широко используются для кредитования японской экономики.

Причем частные коммерческие банки, куда стекается основная масса личных сбережений, могут значительно дальновиднее, чем мелкие акционеры, учитывать общую конъюнктуру, а стало быть, использовать эти средства с наибольшей эффективностью.

Итак, японские труженики подталкивают машину частного предпринимательства, во-первых, тем, что в сравнении со своей производительностью мало получают, а во-вторых, тем, что не тратят, а оставляют в банковском обороте пятую часть своих и без того заниженных доходов.

А японские предприниматели? Проявляют ли они такую же склонность ограничить себя, откладывать на завтрашний день деньги, которые пригодились бы и сегодня? Совсем наоборот. Им присуща диаметрально противоположная черта: готовность постоянно быть по уши в долгах.

Впрочем, сказать «по уши», пожалуй, даже недостаточно. Долги японских фирм обычно в 4—5 раз превышают размер их капитала. Причем речь идет не о каких-то мелких предприятиях, находящихся на грани банкротства. Подобная степень задолженности присуща как «песчинкам», так и «утесам». Президент крупнейшей в стране корпорации «Син Нихон сэйтоцу» господин Нагано, что называется, сразил наповал читателей американского журнала «Тайм», заявив в интервью, что долги его металлурги-

ческого концерна соответствуют долгам четырех аналогичных американских корпораций.

На долю собственных средств приходится обычно лишь 20—30 процентов капитала японской фирмы, а остальные 70—80 процентов составляют банковские кредиты.

Но ведь в Соединенных Штатах и Западной Европе нормальной считается как раз обратная пропорция. Может ли японская корпорация сохранять устойчивость, если ее финансовая структура подобна перевернутой пирамиде?

— Может, — отвечают японские дельцы, — если ее, как велосипед, хорошенько разогнать.

Действительно, такая финансовая акробатика предполагает высокие скорости — без них она просто невысказима. Получая банковские ссуды под весьма большие проценты (обычно из расчета 9—10 процентов в год), японский предприниматель вынужден делать ставку не просто на высокие, а и на стремительные темпы роста производства, искать самые радикальные пути повышения производительности труда, вновь и вновь переоснащать цехи, даже если ради этого приходится еще глубже залезать в долги.

У промышленных корпораций вошло в практику ежегодно обновлять значительную часть оборудования. Средний возраст станков в обрабатывающей промышленности Японии не превышает пяти лет. Прежде всего благодаря этому на внутреннем рынке страны постоянно поддерживается производственный спрос, а во-вторых, при столь активном обновлении технической базы заметно повышается эффективность производства.

Таким образом, японская промышленность втянута в нескончаемую гонку. Японцы иронически прозвали такую экономику «велосипедной»: чтобы сохранять устойчивое равновесие, нужно мчаться вперед.

В сравнении со сложившимися на Западе нормами тактика японских промышленников выглядит смелой, дерзкой, рискованной. Причем подобные же качества можно в полной мере отнести и к японским банкирам. Они без колебаний предоставляют новые ссуды, не дожидаясь полного возмещения старых. Передача займы до 95 процентов вкладов не редкое явление для японских коммерческих банков. А ведь в других странах такую практику сочли бы авантюристической и даже невысказимой.

Долги, в 4—5 раз превышающие капитал фирмы, обрекли бы западного промышленника — да и его банкира — на бессонные ночи. В Японии же именно такая задолженность и перезадолженность, на которую соглашаются обе стороны, помогает индустрии быстро расти и модернизироваться.

Чем же объяснить такую смелость, такую рискованную практику финансирования японских предприятий? В действительности смелость эта выглядит вовсе уж не такой безрассудной, если учесть, что финансовую акробатику частного бизнеса в Японии страхует, поддерживает и направляет буржуазное государство.

Именно зависимость японских предпринимателей от банков помогает правительственным органам регулировать направления и темпы развития экономики. Огромная и постоянная задолженность японских фирм — это как раз те вожжи, с помощью которых правительство способно управлять частным бизнесом.

Поскольку капиталы фирм более чем на три четверти состоят из банковских кредитов, уровень деловой активности легче поддается регулированию. Понижая или повышая размер ссудного процента, то есть делая кредиты то доступнее, то недоступнее, центральный банк Японии как бы нажимает на разные педали экономической машины страны, то ускоряя, то тормозя ее движение.

Своей финансовой политикой правительство направляет поток средств из менее перспективных звеньев хозяйства в более перспективные, содействует тому, чтобы выпуск новой продукции быстрее сосредоточивался в руках фирм, имеющих наименьшие издержки. Новые отрасли индустрии рождаются под покровительством государства, которое оказывает им кредитные льготы, налоговые скидки и, пока они не окрепнут, оберегает их от зарубежных конкурентов.

Взаимное доверие, основанное на системе многолетних личных связей, помогает правительственным чиновникам и частным предпринимателям действовать в тесном контакте. В результате государственно-монополистическое регулирование экономики

осуществляется в Японии, пожалуй, более эффективно, разносторонне и — с точки зрения интересов монополий — более рационально, чем в каком-либо другом капиталистическом государстве. Именно в этом смысле некоторые исследователи уподобляют Страну восходящего солнца гигантской компании-конгломерату — акционерному обществу «Япония инкорпорейтед».

Перечисляя источники ускоренного накопления капитала в Японии, мы отмечали, во-первых, низкий уровень личного потребления при высокой доле личных сбережений. (Добавим, что в силу ряда особенностей японского образа жизни размеры паразитического потребления в социальной верхушке общества заметно скромнее, чем в США и Западной Европе.) Мы говорили также о высокой доле заемного капитала, о готовности японских предпринимателей глубоко залезать в долги ради повышения уровня производства, об активной роли государственно-монополистического регулирования.

Но есть еще одно обстоятельство — сравнительно низкий уровень правительственных расходов.

В отличие от других развитых капиталистических стран государственные затраты в Японии вплоть до начала 70-х годов росли медленнее, чем валовой национальный продукт (в 1970 году они составили 12 процентов ВВП — вдвое меньше, чем в США, и в полтора раза меньше, чем в Англии и ФРГ).

Прежде всего здесь, конечно, сказывается то обстоятельство, что в течение всех послевоенных лет Япония тратит на военные нужды менее одного процента ВВП. Во-вторых, что уже отнюдь нельзя назвать положительным фактором, в государственном бюджете Японии очень низка доля расходов на социальные нужды (около 6 процентов ВВП). За последние два десятилетия главной заботой правительства было помочь монополиям ускоренно наращивать производственные мощности в ущерб благосостоянию народа. Ниже мы подробнее поговорим о том, сколь дорогой ценой пришлось расплачиваться стране за лозунг «ВВП — превыше всего».

Наконец, последнее обстоятельство — это сравнительно невысокие расходы на содержание государственного аппарата. Помимо низкой зарплаты, отражающей уровень эксплуатации наемного труда в стране, сказывается и то, что общее количество служащих государственных учреждений жестко ограничено законом.

Отметим еще одну примечательную черту Страны восходящего солнца. Широкий импорт зарубежной технической мысли, на которую сделали ставку японские предприниматели, не сопровождали столь же широким притоком прямых иностранных капиталовложений. Японцы охотно занимали за рубежом деньги под большие проценты, они не жалели средств на покупку лицензий и патентов, но всячески противились появлению на японской земле предприятий, где хозяйничали бы иностранцы. Прямые частные капиталовложения США в Японии к началу 70-х годов едва достигли 2 миллиардов долларов (в то время как, например, в Канаде они перевалили за 20 миллиардов).

К началу 70-х годов Япония стала одним из ведущих экспортеров мира. Однако считать, что экономическое развитие Японии опирается прежде всего на внешнюю торговлю, было бы неверно. Главный двигатель ее экономической машины находится внутри страны. Ведь доля японского экспорта в валовом национальном продукте составляет менее 10 процентов. Более низкую экспортную квоту среди развитых капиталистических стран имеют только Соединенные Штаты, в то время как во Франции она составляет 11 процентов, в Англии — 15, в ФРГ — 24, в Голландии — 34 процента.

Стало быть, даже при очевидной зависимости страны от внешней торговли главную роль в развитии японской экономики все-таки играет внутренний рынок.

Японских экономических воротил отделяет от рабочих и служащих не такая большая финансовая пропасть, как в Западной Германии и других развитых промышленных странах. Япония не знает такого выставленного напоказ богатства, как, например, в ФРГ, — шикарных вилл, яхт, верховых лошадей.

Среди факторов, способствовавших успеху Японии, можно назвать следующие: отсутствие обременительных расходов на вооружение, поскольку США обеспечивают внешний периметр обороны, обученная, дисциплинированная рабочая сила, способность к усвоению лучшего из перенятых технических навыков. Но есть и другой важный момент. Хотя у себя на родине японцы яростно конкурируют друг с другом, за границей они выступают сплоченно. Они действуют смело и уверенно, потому что знают, что за их спиной стоит не только их компания, но и все японские фирмы, банки и правительственные чиновники. Следовательно, японская компания более конкурентоспособна, чем ее иностранные соперники, как бы велики они ни были.

Журнал «Ю. С. Ньюс энд уорлд рипорт» (США, 1970).

Японцы, в общем-то, тепло относятся к американцам, которые приезжают в их страну или живут там. Они только хотят, чтобы американцы и в личном и в официальном плане придавали бы Японии такое же значение, какое у них придают Америке. Японцы часто говорят, что эти два народа смотрят друг на друга с противоположных концов телескопа. Американцы выглядят преувеличенно большими в глазах японцев, японцы же преуменьшены в глазах американцев. В целом чувства, которые питают японцы к американцам, можно назвать смесью любви и ненависти. С одной стороны, японцы хотят быть с американцами равными партнерами в мировых делах. С другой стороны, им хочется, чтобы американцы убралась восвояси и оставили их в покое, чтобы можно было блюсти свои национальные интересы так, как им больше нравится.

Ричард Халлоран, «Япония: образ и действительность» (Нью-Йорк, 1969).

Будущее Японии не лишено опасностей. Не таят ли в себе угрозу для японской экономики ее явно уязвимые места? Не слишком ли сильно управляющие подталкивают страну вперед? Не переоценивают ли они ее возможностей, как в свое время генералы, и не приведут ли ее к краху? Уже встают и становятся все более серьезными проблемы сегодняшнего дня. Даже если экономическая машина будет работать нормально, не окажется ли японское общество, поколебленное и разобщенное побочными последствиями научно-технической революции, перед кризисом, который поставит под сомнение экономический успех?

Япония является страной сюрпризов. Она часто подтверждала это своей историей вплоть до самого недавнего времени. Случается, что после продолжительного движения в одном направлении она внезапно меняет курс. Это страна неожиданных взрывов, и неизвестно, где следует искать им объяснение: то ли в окружающей природе — землетрясениях, вулканах, тайфунах, то ли в философии этого народа, буддизме или синто. За безмолвным долготерпением вдруг следует внезапная резкая вспышка, которая в корне меняет все.

Сколь прочной проявит себя японская демократия, если она окажется под серьезной угрозой? Полностью ли излечились японцы от соблазнов тоталитарного равенства и тоталитарной дисциплины? Будут ли эти неистовые, одержимые люди всегда благоумными в международных делах?

Робер Гийен, «Япония: третья великая держава» (Париж, 1969).

ПРОГРЕСС ЗА СЧЕТ ГАРМОНИИ ⁶

Авторы «Одноэтажной Америки» называли когда-то Соединенные Штаты богатырем с маленькой головой, подчеркивая, что стремительному экономическому росту там сопутствовало обеднение духовной жизни страны. Про Японию этого сказать нельзя. Бурная модернизация не снизила роли духовных ценностей в жизни японского народа.

Японию точнее было бы сравнить с человеком, который чрезмерно увлекся наращиванием мускулов в ущерб сердцу, кровеносным сосудам, печени и почкам.

— Главная внутренняя проблема современной Японии — это перекосы, допущенные в развитии страны. Наши предприниматели радели лишь о расширении производственных мощностей, гипнотизировали себя цифрами роста валового национального продукта. И вот теперь все болезненнее сказывается отставание тылов, нездоровая

концентрация индустрии и населения в отдельных районах, загрязнение природной среды промышленными отходами...

Можно подумать, что приведенные выше слова принадлежат радикально мыслящему публицисту, склонному к хлесткой фразе. Отнюдь нет. Они высказаны официальным лицом, имеющим прямое служебное отношение к данной проблеме. На «перекосях» в развитии страны посетовал в беседе со мной заместитель премьер-министра господин Мики, будучи главой Управления по охране природной среды (сам факт, что в Японии пришлось создать такое ведомство, говорит о многом).

Площадь Японии не так уж мала — триста семьдесят тысяч квадратных километров. Это полторы Англии. Однако японская земля на пять шестых состоит из почти непригодных для освоения горных склонов.

Плотность населения в Японии лишь немногим больше, чем в Германии или Англии, и меньше, чем в Бельгии или Голландии. Теснота здесь бросается в глаза прежде всего потому, что половина населения страны сгрудилась на полутора процентах ее территории.

Когда едешь из Токио в Осаку на машине, новая автострада огибают территорию бывшей всемирной выставки «Экспо-70». Смотришь на башню солнца, на рукотворное небо, возведенное архитектором Тангэ над площадью фестивалей, и вспоминаешь девиз «Прогресс и гармония для человечества», под которым страны мира старались показать здесь свой сегодняшний день и заглянуть в завтрашний.

Нельзя не задуматься над словами этого девиза применительно к самой Японии. Вырваться в первую тройку мировых индустриальных держав, уступая лишь Соединенным Штатам и Советскому Союзу, — это, конечно, поразительный прогресс. Однако поставить рядом слово «гармония» можно лишь со знаком минус. Это прогресс за счет гармонии.

Японские дельцы умеют куда щедрее, чем их западные соперники, вкладывать все новые и новые средства в обновление техники и технологии. Зато они до неразумности скупы в затратах на все то, что обслуживает производство и самого труженика. Рывок индустрии к переднему краю научно-технического прогресса совершен на фоне и во многом за счет отставания транспортной сети, коммунального хозяйства, жилищного строительства. Достаточно вспомнить, что расходы на социальные нужды составляют в Японии лишь около 6 процентов ВВП, то есть они вдвое ниже, чем в других развитых капиталистических странах.

С территорией «Экспо-70», именованной «городом будущего», почти соседствует поселок Амагасаки. Здесь воочию видишь отрицательные последствия «перекося», навязанных стране монополистическим капиталом. Амагасаки — это чудовищная теснота. Именно в таких местах в Тихоокеанском промышленном поясе, на пяти тысячах квадратных километров вынуждены жить и трудиться 50 миллионов человек. Это место, где земля оседает, потому что для промышленных нужд из почвы выкачано слишком много грунтовых вод. Наконец, это воздух, отравленный дымами тысяч труб, родивший новую болезнь — «астму Амагасаки».

К числу стихийных бедствий, издавна угрожающих Японии, добавилось еще одно, порожденное стихией капиталистического хозяйства. Новоиспеченное слово «когай» (его употребляют вместо громоздкого термина «загрязнение природной среды промышленными отходами») стало в Японии 70-х годов таким же ходовым, как в 60-х годах было слово «ВВП» или как в 30—40-х годах слово «бусидо» (самурайский кодекс воинской чести).

Последствия нездоровой концентрации промышленности, бесконтрольного роста городов стали в наши дни общемировой проблемой. Но чтобы представить себе, насколько страдает от этого Япония, недостаточно лишь сопоставить с ведущими индустриальными странами объем ее валового национального продукта как основного показателя экономической активности.

Чтобы понять остроту проблемы «когай» для японцев, справедливо считает шведский журналист Хакан Хедберг, нужно посмотреть, какой размер ВВП приходится на каждый квадратный километр, причем не всей территории страны, а той ее части, которая пригодна для освоения человеком.

По расчетам Хедберга, к началу 70-х годов на каждом квадратном километре японских равнин производилось в 3 раза больше продукции, чем в Англии, в 6 раз больше, чем во Франции, и в 9 раз больше, чем в Соединенных Штатах.

Как же заставить частные фирмы размещать производственные мощности, думая не только о барышах, но и об условиях жизни людей? Как заставить промышленников тратить больше денег на оборудование, которое защищало бы воздух и воду от загрязнения?

Даже при сравнительной эффективности государственного регулирования в Японии обуздать такое стихийное бедствие, каким стала для страны проблема «когай», дело непосильное.

Чтобы разрядить атмосферу, предпринимаются попытки хотя бы частично отвести это бедствие от японских берегов, как бы экспортировать «когай» за границу, в другие государства. С начала 70-х годов японские корпорации все чаще размещают новые производственные мощности — особенно если они занимают много земли, потребляют много энергии и сильно загрязняют окружающую среду — не в самой Японии, а в развивающихся странах.

Примером может служить крупный комплекс по переработке железной руды, построенный на Филиппинах компанией «Кавасаки сэйтэцу». Японские судостроители трудятся над проектами гигантских танкеров, которые одновременно были бы плавучими нефтеперегонными заводами. Они делали бы свое дело на долгом пути от Персидского залива, оставляя дым и чад на океанских просторах, вместо того чтобы окуривать японское небо.

Мы отмечали, что Японии приходится быть гигантским перерабатывающим заводом и одновременно экспортно-импортной фирмой. Теперь курс взят на то, чтобы Япония все больше становилась главным сборочным цехом, куда бы поступали полуфабрикаты и детали из цехов-филиалов, расположенных в менее развитых азиатских странах. Нетрудно видеть, что монополии хотели бы распространить выгодное им сочетание «утесов» и «песчинок» за пределы японских рубежей.

В самой же Японии главные усилия направлены на то, чтобы обеспечить преимущественное развитие наукоемких производств. В японской Швейцарии — среди горных кряжей, окружающих озеро Сува, — сосредоточились предприятия, которые ведут счет сырью не в тоннах, а в граммах.

Казалось бы, бурное индустриальное развитие двух последних десятилетий должно было привести к более равномерному размещению производительных сил, к освоению необжитых мест. Однако происходит обратное. Там, где людей много, население растет быстрее всего. Там, где их мало, оно уменьшается.

Обостряющаяся перенаселенность Тихоокеанского индустриального пояса порождает и диаметрально противоположную беду: глубинные районы, на которые приходится две пятых сельскохозяйственных ресурсов страны, все больше страдают от недонаселенности. На 40 процентах территории Японии осталось менее 10 процентов ее населения.

Казалось бы, что человек, ставший теперь куда более сильным в своем противостоянии с природой, человек, которому нынче по плечу срывать целые горы и отвоевывать у моря полосы суши, способен далеко превзойти своих предков в освоении родной земли.

Однако хотя в стране имеется лишь 6 миллионов гектаров пашни, то есть примерно по гектару на двор, японское крестьянство почти не осваивает новых земель. Посевные площади сокращаются. И не только из-за того, что их съедает бесконтрольный рост городов и промышленное строительство. Даже освоенные земли, даже поля, которые возделывались многими поколениями, все чаще оказываются заброшенными, ибо их некому обрабатывать. Бросается в глаза, что больше половины японских земледельцев составляют сейчас люди старше шестидесяти лет. 5 крестьянских дворов из 6 не могут прокормиться со своего задела и вынуждены искать заработок на стороне. Если же взять японское крестьянство в целом, то земледелие дает нынче меньше половины его доходов.

Глубинная часть префектур Киото, Окаяма, Хиросима. Живописный край лесистых гор и возделанных долин. Сама природа, сам образ жизни олицетворяли тут искон-

ную Японию. После страшной поры на поливных рисовых полях мужчины уходили в горы выжигать уголь, женщины выращивали тутовый шелкопряд.

Эта часть страны, обращенная к Японскому морю, называется Сан-ин («В тени от гор»). Сейчас такое название трактуется уже отнюдь не как поэтическая метафора, а как образ края, оказавшегося в тени экономической, в тени социальной. За последнее десятилетие здесь обезлюдели, словно вымерли после какой-то неведомой эпидемии, целые волости.

Ездить проселочными дорогами и дивишься: до чего красиво стоят эти покинутые села! Добротные, просторные дома под островерхими камышовыми крышами хранят подлинные черты национального зодчества. Усадьбы кажутся обитаемыми. Мандариновые деревья усыпаны оранжевыми плодами. На огородных грядках что-то зеленеет. Зайдешь в дом — по стенам аккуратно развешан инвентарь, на полках старинная домашняя утварь, возле очага запасен хворост. Все оставлено, словно хозяевам пришлось внезапно спастись бегством.

— Когда село опустеет больше чем наполовину, — говорит староста, — обычно уже некому продать ни дом, ни землю, ни имущество. Вот и бросают все как есть.

Действительно, процесс этот подобен образованию оврагов: начинается исподволь, а приводит к катастрофическим оползням, которые ничем не остановишь. Сначала из села исчезает молодежь. Даже девушки, которые уезжают на фабрики заработать себе на приданое, вопреки традициям не возвращаются в родные места играть свадьбы.

Все реже появляются с отхожих промыслов мужчины. Приходит в упадок система поливного земледелия. Созданные трудом многих поколений уступчатые террасы рисовых полей требуют постоянного ухода, причем не только за самими посевами, но за всем сложным комплексом оросительных и паводкозащитных сооружений.

Органам местного самоуправления не под силу поддерживать в порядке дороги, мосты, содержать врачей, учителей. Даже сельские пожарные дружины приходится, как в годы войны, формировать из пожилых крестьянок.

Когда в селе на полсотни дворов остается 5—6 семей, даже тем, кому некуда уходить, жить на прежнем месте становится нелегко.

Когда ходишь по безмолвному «поселку призраков» среди покинутых крестьянских усадеб, когда видишь поросшие сорняками, занесенные песком рисовые поля, трудно совместить это с укоренившимся представлением о Японии как о перенаселенной стране, где вроде бы ни один клочок земли не пропадает зря. Но обезлюдившие сельские районы — такая же горькая реальность современной Японии, как скудность половины населения страны на полтора процентах ее территории.

Первая из семнадцати заповедей Сётоку — одного из наиболее почитаемых в Японии государственных деятелей древности, чей портрет красуется сейчас на денежных знаках, — гласит: «Гармония превыше всего». Социальные последствия девиза «ВВП — превыше всего» свидетельствуют о том, что гармония в развитии страны оказалась погранной ради близорукой корысти монополий.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

КРИВАЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

США

P. Novick, «The National and Jewish Question in the Light of Reality». New York, 1971.

П. Новик., «Национальный и еврейский вопрос в свете реальности». Нью-Йорк, 1971.

★

Наиболее ловкие идейные враги Советского Союза, понимая обреченность прямой антисоветской пропаганды, все чаще рядятся в тогу «марксизма», пытаются замаскировать свою империалистическую сущность. К числу подобных «теоретиков» с полным правом можно отнести главного редактора американской газеты «Морнинг фрайхат» Поля Новика, пытающегося якобы решать «еврейский вопрос» с марксистских позиций. Его выступления последнего времени основываются на выпущенной им в 1971 году книге «Национальный и еврейский вопрос в свете реальности» и повторяют ее «постулаты». Разберемся, что же из себя представляет сей труд.

Немного истории.

Сионизм как идеология, система организации и политическая практика крупной еврейской буржуазии далеко не случайно взял на вооружение один из догматов иудаизма, согласно которому евреи независимо от того, где они живут, к какому слою населения принадлежат, составляют «одно тело и одну душу». Догмат лег в основу созданной сионистами теории о так называемой всемирной еврейской нации. И эта теория стала одной из идеологических основ современной деятельности международного сионистского концерна, который протянул щупальца практически во все страны капиталистического мира, где существуют еврейские общины, а также пытается оказывать свое влияние на евреев — граждан СССР и других социалистических государств.

Ловко жонглируя фразами из Библия, сионисты обозначают древнееврейским словом «израэл» и государство Израиль и всех евреев, живущих не только в Израиле, но и за его пределами. На этой основе были созданы концепция «всемирной экстерриториальной еврейской нации» и близкая к ней «теория» «дуалистического патриотизма» евреев, их «двойного гражданства».

Суть этих «теорий» сводится в основном к тому, что еврей, где бы он ни жил, прежде всего гражданин Израиля, то есть подданный международной сионистской корпорации, а уже потом гражданин «страны изгнания».

Бен Гурион следующим образом сформулировал обязанности евреев по отношению к Израилю, в котором сионизм стал политической системой: «Израиль является частью мирового еврейства. Все евреи в мире должны обеспечивать ресурсы и средства, которые необходимы для создания государства Израиль и развития его территории. Общность судьбы и цели объединяет государство Израиль и еврейский народ, их связывают неразрывно узы жизни и смерти».

Хотят этого «все евреи» или нет, разделяют они сионистские взгляды или выступают против них, сионисты в своих призывах и воззваниях вовсе не учитывают. Там фигурирует только слово «должны».

Разоблачая сионистов, израильские коммунисты в резолюции XVI съезда КПИ «Еврейский вопрос и сионизм в наши дни» писали: «Марксисты всегда отвергали как реакционную, не имеющую ничего общего с реальностью сионистскую теорию о существовании якобы «всемирной еврейской нации», о том, будто евреи во всем мире,

живущие в разных странах и при разных режимах, представляют единую нацию, несмотря на то, что не имеют экономической общности, общей территории, культуры, общего языка и общих обычаев, то есть всех тех характеристик, что типичны для нации».

Даже с точки зрения современных буржуазных антропологов, современные евреи — это скорее множество этнических групп, объединяемых под одним именем (китайские, марокканские, европейские, бухарские, дагестанские, грузинские евреи, караймы, евреи-негры, евреи-индусы и т. д.). Они не представляют даже общей этнической единицы. Не случайно попытки сионистов представить современных жителей Израиля в виде единой нации натолкнулись на непреодолимые трудности. Пока рано говорить об израильско-еврейской нации в полном смысле слова: она только формируется. Евреи различных этнических групп резко враждебно относятся друг к другу. Так, евреи-сабра (уроженцы Израиля) враждуют с евреями-ашкенази — выходцами из Европы, Америки и Австралии. И те и другие, в свою очередь, ни в грош не ставят евреев-сефардов, выходцев из арабских стран и стран Магриба. И наконец, на самой нижней ступени находятся «черные евреи» — выходцы из Индии и чикагской иудейской еврейско-негритянской общины, которые стали в последнее время селиться в Израиле.

Было бы полбеды, если бы споры вокруг несуществующей «всемирной еврейской нации» ограничивались лишь таким соперничеством, как в Израиле. Дело обстоит куда серьезнее.

Предельно несостоятельная в научном отношении теория о «всемирной еврейской нации» понадобилась сионистам в первую очередь для установления контроля крупной еврейской буржуазии, а следовательно, и крупного монополистического капитала других стран (с которым издавна были тесно связаны Ротшильды, Лебы, Куны, Гинцбург и иже с ними) над массами еврейских трудящихся. И не в какой-либо отдельной стране, а во всем мире. Одновременно сионисты пытаются воздействовать на нееврейское население капиталистических стран. Облачаясь в тогу «выразителей интересов всех евреев», спекулируя на страданиях еврейских бедняков от погромщиков, они добиваются влияния и сочувствия людей, весьма далеких от сионизма.

Теория «всемирной еврейской нации» подверглась резкой критике марксистов еще в начале нынешнего века. В. И. Ленин всегда резко выступал против искусственного обособления евреев. Эту идею отстаивали сионисты и Бунд, который плелся в хвосте у сионистов, пытаясь оторвать евреев-трудящихся от борьбы их братьев по классу других национальностей. В. И. Ленин определял сионистскую идеологию как «совершенно ложную и реакционную по своей сущности»¹. Российские социал-демократы вели упорную пропагандистскую работу среди трудового еврейского населения России, разъясняя им вред и пагубность для дела трудящихся сионистских идей. В этой связи вспоминается знаменитая листовка Екатеринославского комитета РСДРП «К еврейским рабочим г. Екатеринослава», датированная 1902 годом. В листовке, о которой очень высоко отзывался В. И. Ленин (см. Полное собрание сочинений, т. 7, стр. 113), говорилось:

«Евреи-рабочие! Не правы ли социалисты, когда они смеются над сионистской сказкой об общности интересов еврейского народа? Не правы ли социалисты, говоря: нет единого еврейского народа, а есть как бы два еврейских народа. С одной стороны — «народ» евреев-предпринимателей, эксплуататоров чужого и большей частью еврейского же труда, а с другой стороны — рабочий еврейский народ. Интересы же еврейского рабочего народа, еврейской трудящейся массы одинаковы с интересами всех нееврейских трудящихся масс...

Только сионисты, умышленно извращая всю прошлую, всю теперешнюю историю человечества, могут повторять взятые напрокат у антисемитов слова о том, что антисемитизм существовал и будет существовать вечно. Это утверждать могут, конечно, только такие невежественные люди, которые не доискиваются причин антисемитизма, которые не хотят или не могут понять, что с изменением общественных условий эти причины должны исчезнуть, а вместе с ними и антисемитизм»².

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 72.

² «Листовки революционных социал-демократических организаций Украины. 1896—1904 гг.». Киев. 1963, стр. 293.

Идеологи сионизма пытались всячески затушевать именно классовую суть и сионизма и антисемитизма. Так, например, один из лидеров сионистов в предреволюционной России, Жаботинский, писал: «Движение возрождения еврейского народа (т. е. сионизм.— В. Б.) не будет считаться с классовыми воззрениями». Для затушевывания сущности сионизма теория «всемирной еврейской нации» имела, по мнению сионистов, первостепенное значение. Не случайно с «разъяснениями» по этой части выступали Т. Герцль, Хаим Вейцман, Н. Соколов, Б. Борохов и другие³. Герцль, например, утверждал, что «нация — это исторически сложившаяся группа людей, обладающая отличительными чертами общности, сохраняющаяся как единое целое благодаря наличию врага. Если к вышесказанному прибавить еще и слово «еврейская», — писал он, — вы поймете, что я имею в виду, когда говорю о нации „еврейской“»⁴. Под «врагом» Герцль и его современные последователи подразумевали антисемитизм, который они считали и считают «вечным».

Вейцман, Борохов, Брандис и К^о выделяли в качестве неперменного отличительного качества «еврейской нации» специфическое историческое прошлое, «своеобразный образ мышления»⁵. Характерно, что уже в те времена вопрос о нации сбил с толку иных социал-демократов из числа евреев, которые трактовали его практически с сионистских позиций. Так, австрийский социал-демократ Шпрингер считал, что «нация — это союз одинаково мыслящих и одинаково говорящих личностей... культурная общность группы современных людей, не связанная с „землей“»⁶.

В том же году в России была опубликована книга еще одного теоретика из австрийских социал-демократов, Отто Бауэра, который писал: «Что такое нация?.. Есть ли это общность языка, которая объединяет людей в нацию? Но англичане и ирландцы.. говорят на одном языке, не представляя собой, однако, единого народа; евреи вовсе не имеют общего языка и составляют тем не менее нацию»⁷.

Бауэр, так же как современные сионисты, утверждал, что «нация есть относительная общность характера». Под «национальным характером» он подразумевал «сумму признаков, отличающих людей одной от людей другой национальности... комплекс физических и духовных качеств, который отличает одну нацию от другой». В свою очередь, по Бауэру, «характер людей ничем иным не определяется, как их судьбой», а нация «есть не что иное, как общность судьбы». Свое «теоретизирование» Бауэр заканчивает выводом, почти тождественным формулировке Герцля: «Нация — это вся совокупность людей, связанных в общность характера на почве общности судьбы»⁸. Эта позиция практически ничем не отличается от нынешних проповедей сионистских лидеров.

Так, например, Наум Гольдман, возглавлявший долгое время и Всемирный еврейский конгресс и Всемирную сионистскую организацию, говорил: «Еврейский народ — это уникальное историческое явление. Это одновременно нация, религиозное целое, раса и носитель специфической цивилизации. Ни одна нееврейская концепция нации, народа и религии неспособна четко изъяснить уникальное историческое явление — еврейский народ (марксистам, конечно, по убеждению Гольдмана, в этом деле и вовсе не разобраться.— В. Б.) ...мы являемся всемирной нацией, связанной прочными узами с Израилем, представляя собой самое непостижимое общество в истории человечества...».

Сионизм — идеология липкая, как смоляной бычок. Вскоре после израильской агрессии против арабских стран в июне 1967 года международному коммунистическо-

³ Теодор Герцль — выходец из семьи венгерских евреев, начинал свою карьеру в качестве журналиста. Основатель Всемирной сионистской организации (1897). Автор ряда книг по идеологии и практике сионизма, которые до сих пор находятся на вооружении международного сионистского концерна. Бэр Борохов и Наум Соколов — выходцы из России, проповедники так называемого социалистического сионизма бундовского типа. Х. Вейцман — один из первых руководителей Всемирной сионистской организации.

⁴ L. Stein. Zionism. London. 1925, p. 77.

⁵ N. Sokolow. History of Zionism. vol. I, p. 89.

⁶ Р. Шпрингер. Национальная проблема. С.-Петербург. Издательство «Общественная польза». 1909, стр. 43.

⁷ О. Бауэр. Национальный вопрос и социал-демократия. С.-Петербург. Издательство «Серп». 1909, стр. 1—2.

⁸ Там же, стр. 6, 2, 24—25, 139.

му и рабочему движению пришлось столкнуться с деятельностью в тех или иных партиях отдельных лиц или группок, как правило состоящих из граждан еврейского происхождения, проповедовавших просионистские взгляды, защищавших захватническую политику Израиля. Наиболее типична в этом плане раскольническая группа МАКИ во главе с Микунисом и Снэ, отколовшаяся от компартии Израиля.

Трансформация «коммунистов» вроде Снэ (ныне покойного) и Микуниса в сионистов произошла точно по той же известной марксистам схеме, по которой скатился на путь предательства рабочего класса Бунд, откровенно названный Жаботинским всего лишь «эпизодом сионизма».

Современные последователи бундовцев, во-первых, выступают с сионистским тезисом о существовании «всемирной еврейской нации» и, во-вторых, обрушивают проклятия на головы тех, кто поддерживает марксистский тезис о добровольной ассимиляции как об одном из путей разрешения так называемого еврейского вопроса. Наиболее полное выражение подобных «теоретических» упражнений в духе современного сионизма мы находим в упомянутой уже книге П. Новика «Национальный и еврейский вопрос в свете реальности».

Ее автор не раз подвергался критике американских коммунистов за откровенно просионистские высказывания.

Сионистская пропаганда сразу же взяла эту книгу на вооружение. И не случайно. Сейчас международный сионизм и его пособники «слева» вроде Новика всячески пытаются оклеветать национальную политику КПСС, надеясь осложнить советско-американские отношения, сорвать разрядку международной напряженности. Они публикуют обширные исследования о жизни русских евреев».

Новика сионисты приветствуют потому, что он полностью разделяет широко пропагандируемый сионистами тезис: «существует еврейский народ, который живет в различных странах, в общинах, которые поддерживают заинтересованность друг в друге», «еврейский народ по всему миру» «соединился, с тем чтобы помочь сформировать поднимаящуюся нацию в Израиле».

«Такова реальность,— специально подчеркивает Новик.— Такова чувствительность еврейского индивидуума, каждого из нас: даже если здесь и там кое-кто пытается оставаться индифферентным. Положение евреев в капиталистических, равно как и в социалистических, странах заботит нас всех. Одних в большей степени, других в меньшей, но гораздо больше, чем это волнует неевреев».

Итак, мы имеем дело с весьма недвусмысленно перефразированной концепцией «всемирной еврейской нации». Далеко ли это от утверждения Голды Меир о том, что «Израиль — родина всех евреев», к которому они якобы должны стремиться если не для постоянного поселения, то, по крайней мере, для постоянной ему помощи? Такие претензии приводят, как мы знаем, к тому, что израильский кнессет принимает законы, согласно которым еврей, живущий в любой стране, автоматически получает израильское гражданство, стоит ему только подать прошение об эмиграции в Израиль. Этой сомнительной «заботой» о евреях сионисты пытаются оправдать свои непрекращающиеся антисоветские провокации. В международном праве такого рода действия классифицируются не иначе как вмешательство во внутренние дела других государств.

Нова ли «концепция» господина Новика? Нет. Новик полностью соглашается с определением «еврейского народа», данным ренегатом Снэ, пытавшимся утверждать, что «еврейский народ — это исторически образовавшаяся община людей различных классов, которая сформировалась путем различных объединяющих факторов — этногенетических, религиозных и национальных» (вспомните Бауэра!). Подписываясь под заявлением господина Снэ, Новик тем самым и на себя берет ответственность за проповеди ренегата о классовом мире между еврейской буржуазией и еврейскими тружениками. Именно эта мысль заключена в формулировке Снэ, который принимает концепцию, высказанную еще Жаботинским.

Называя «догматиками» всех, кто не разделяет его сионистских убеждений, Новик клеветает на компартию Израиля во главе с товарищем Меиром Вильнером. Новика не устраивает позиция КПИ, которая клеймит идею «всемирной еврейской нации» как реакционную, не имеющую ничего общего с реальностью. Не устраивает его, что КПИ выступает против бундовско-сионистского тезиса о «классовом сотрудниче-

стве» евреев — буржуа и пролетариев. И разгневанный г-н Новик «путает» «догматизм» с подлинным марксизмом так же, как его идеологические предшественники из Бунда, которых резко критиковал В. И. Ленин.

Сионистскую теорию о «вреде» ассимиляции Новик пытается оправдать ссылками на то, что В. И. Ленин призывал марксистов отстаивать равноправие наций и языков, бороться со всяким национальным гнетом и неравноправием. При этом г-н Новик, конечно, «забывает», что тех «якобы марксистов», которые, ратуя за «равноправие наций», ругают марксистов-интернационалистов за «ассимиляторство», В. И. Ленин называл не иначе как «националистическими мещанами»⁹.

Грубым извращением исторической правды являются и спекулятивные выкладки Новика при анализе позиции Ленина в вопросе о еврейском национализме после революции. Эта позиция особенно ярко проявилась в отношении нашей партии к Бунду. Как известно, Бунд поддерживал Временное правительство, выступал на стороне оголтелых врагов советской власти. В 1920 году, когда стало ясно, что контрреволюция в России потерпела полный провал, что советская власть прочна, бундовцы решили вновь примазаться к РКП(б). Но даже объявив о своем отказе от антикоммунизма, они попытались оставить за собой право «в РКП(б) быть автономной фракцией еврейского пролетариата». Политбюро ЦК РКП(б), обсудив вопрос о Бунде 6 мая 1920 года, поручило своим представителям принять делегатов Бунда и выслушать их предложения. РКП(б) не приняла никакой «автономии» Бунда, не признала за ним мнимого права представлять «всех еврейских рабочих». XIII конференция Бунда в 1921 году приняла резолюцию о самороспуске, и часть бундовцев вошла в РКП(б) на общих основаниях¹⁰.

Такова правда истории, которую, исходя из нынешних потребностей международного сионизма, всячески пытаются замазать «якобы марксисты» наших дней из сионистского лагеря. Любопытно, что с теми же фальшивками выступил во время антисоветской конференции сионистов в Брюсселе Бен Гурион, попытавшийся изобразить борьбу нашей партии против антисемитизма в первые годы советской власти чуть ли не как «доказательство» борьбы В. И. Ленина против ассимиляции евреев¹¹.

В. И. Ленин, как мы знаем, был решительно против насильственной ассимиляции и не раз подчеркивал, что процессы межнационального сближения и слияния наций являются естественными и достигаются исключительно свободным, братским союзом рабочих и трудящихся масс всех наций.

Следуя этим указаниям В. И. Ленина, наша партия, Советское правительство создали все условия для расцвета национальной культуры всех народов, национальностей и этнических групп нашей страны. Был, в частности, предпринят ряд шагов для того, чтобы дать возможность еврейскому населению посещать школы, где преподавание велось на идише, издавать на идише книги и журналы. Однако, по мере того как евреи после отмены пресловутой «черты оседлости» покидали свои местечки, переселялись в города всех районов страны, все более сливаясь с другими народами и национальностями СССР, потребность в еврейских школах отпадала. Даже в Еврейской автономной области, где имеется еврейский театр, выходит газета «Биробиджанер штерн» на идише, дети евреев и их родители сами поставили вопрос о совместном обучении евреев и русских.

Весьма характерны и результаты последней переписи населения в СССР. Согласно сообщению ЦСУ, в СССР насчитывается 2 миллиона 151 тысяча евреев (в 1959-м — 2 миллиона 268 тысяч). Из них идиш считают родным только 17,7 процента (в 1959 году — 21,5 процента). Если учесть, что при переписи опрашиваемые сами (необязательно по паспорту) указывали свою национальность, станет ясно, сколь органичным является процесс ассимиляции среди евреев СССР. В массе своей советские граждане еврейской национальности не желают знать никакой другой родины, кроме Советского Союза, не хотят иметь ничего общего с капиталистическим Израилем вопреки утверждениям сионистов и г-на Новика.

Даже такой сионистский ультра, как М. Кахане, предводитель «Лиги защиты евреев», признает этот факт, когда пишет в своем сочинении «Никогда вновь!»: «Если бы

⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 24, стр. 125.

¹⁰ См. там же, т. 54, стр. 712—713, примечания.

¹¹ «La Libre Belgique», 23 февраля 1971 года.

завтра всем евреям Советского Союза предложили свободный выезд в Израиль, большинство их осталось бы в СССР». Это-то и бесит сионистов всех мастей от откровенных фашистов до умеренных «либералов». Точно так же, как Новик, они кричат о «насильственной ассимиляции в СССР», ратуют за возвращение евреев к убогому духовному миру средневековых гетто, к тому религиозно-сионистскому маразму, который насаждается в Израиле раввинами и лидерами сионистских партий. В этом сионисты видят единственно возможный для себя путь установления власти над евреями, живущими вне Израиля. За эту власть они готовы заплатить любую, пусть даже самую страшную цену. «Сейчас мы живем в период», — говорил президент Всемирного еврейского конгресса Наум Гольдман еще в 1964 году, — когда очень большой части нашего народа, особенно нашему молодому поколению, угрожает незаметный процесс эрозии, распада, отсутствия опасностей, которые помогли бы укрепить еврейское сознание и показать, почему евреи должны оставаться евреями. Если не остановить этот процесс (в частности, ассимиляции. — В. Б.) и не дать ему обратный ход, он угрожает сохранению еврейской нации больше, чем преследования, инквизиция, погромы и массовое истребление евреев в прошлом».

Уже по этому циничному высказыванию Гольдмана, не говоря об известных нам фактах позорного сотрудничества сионистов с гитлеровцами, ясно, что не ассимиляция, не советская власть угрожает евреям, а международный сионизм, готовый пойти на поощрение самых зверских проявлений антисемитизма в целях сохранения обособленности евреев.

Объективно смыкаясь с идеологами и практиками сионизма, Новик и ему подобные «марксисты» приходят через свои «теоретические» упражнения к поддержке сионистских догм и к одобрению позорной милитаристской, экспансионистской политики правящих кругов Израиля. Вместе с сионистами они способствуют и раздуванию антисоветчины в США и других странах. Такова кривая предательства, закономерно приводящая ренегатов и ревизионистов в лагерь реакции, в лагерь международного сионизма.

И отнюдь не случайно, что первым камнем, на котором «спотыкаются» сионисты типа Новика, рядящиеся в тогу марксизма, становится именно теория о так называемой всемирной еврейской нации. Борьба с этой «теорией» должна быть в наши дни столь же острой и бескомпромиссной, как и в те времена, когда сионизм делал только первые шаги. Ибо сегодня, как и тогда, сионизм выступает в рядах наиболее реакционных сил современности в качестве одной из ударных когорт антикоммунистического воинства. Время лишь более выпукло показало реакционную суть сионизма, в доверии которому в наши дни отказывают в первую очередь именно евреи и в капиталистических и в социалистических странах.

Владимир БОЛЬШАКОВ.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

И. БРАЙНИН



БЕСТУЖЕВКИ*

— **И**З ад чем я сейчас работаю?—повторила вопрос академик, Герой Социалистического Труда Пелагея Яковлевна Кочина...— Продолжаю исследования математической теории о движениях подземных вод, связанной с орошением, и больше времени, чем прежде, уделяю вопросам истории математики и механики.

— Завершаю работу над повестью «Весной сорок пятого»,— сказала в ответ на тот же вопрос писательница Анна Караваева.

«Продолжаю работать в Ташкентском государственном университете, заведуя кафедрой дарвинизма, генетики и морфологии»,— сообщила из Ташкента член-корреспондент Академии наук Узбекской ССР Илария Алексеевна Райкова.

С доктором геолого-минералогических наук Ириной Дмитриевной Борнеман-Старынкевич мы встретились в научно-исследовательском институте; она оценивала поступившие в комиссию по новым минералам статьи и проверяла формулы новых минералов (1 февраля в «Правде» было сообщено, что один из новых минералов в честь И. Д. Борнеман-Старынкевич получил название борнеманит).

— Недавно сдала в Лениздат рукопись новой книги о рабочем движении в Петербурге,— сказала доктор исторических наук Эсфирь Абрамовна Корольчук. У нее около 70 научных публикаций, и в том числе исключительная по своей сложности работа по расшифровке писем, написанных В. И. Лениным в тюрьме в 1896 году.

Из Ленинграда сообщили, что доктор филологических наук Мария Лазаревна Тронская и доктор химических наук Татьяна Алексеевна Фаворская работают профессорами-консультантами в ЛГУ, а кандидат физико-математических наук Наталия Сергеевна Яхонтова, чьим именем названа планета № 1653, продолжает теоретические работы в области малых планет.

...Они — бестужевки. Младшей из них семьдесят пять лет, старшей — восемьдесят четыре.

Почти сто лет назад произошло выдающееся событие. 20 сентября 1878 года в столице России открылся женский университет, и первые 800 счастливиц переступили его порог. Этим университетом были Петербургские высшие женские курсы, которые по имени их директора-учредителя профессора русской истории К. Н. Бестужева-Рюмина стали называть Бестужевскими...

10-я линия Васильевского острова, дом 33. На фасаде здания мемориальная доска:

* В публикации использованы документы, выявленные автором в Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС, в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, в Центральном и Ленинградском государственных исторических архивах.

**ЗДЕСЬ С 1885 г. ПО 1918 г. ПОМЕЩАЛИСЬ
ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ (БЕСТУЖЕВСКИЕ) КУРСЫ,
НА КОТОРЫХ УЧИЛИСЬ:**

Н. К. КРУПСКАЯ, А. И. УЛЬЯНОВА, О. И. УЛЬЯНОВА,
К. Н. САМОЙЛОВА, П. Ф. КУДЕЛИ, Л. А. ФОТЪЕВА
И ДРУГИЕ ВИДНЫЕ УЧАСТНИЦЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

Только в 1885 году Курсы получили собственный дом, а первые семь лет помещения для лекций и семинарских занятий приходилось арендовать. Но главное — Курсы были! Многолетняя борьба неутомимых деятельниц женского движения Н. В. Стасовой, В. П. Тарновской, М. В. Трубниковой, А. П. Философовой, О. А. Мордвиновой, Е. И. Конради и других завершилась большой победой. Лишенные права наравне с мужчинами поступать в университеты, женщины добились наконец открытия для них Высших курсов с двумя отделениями: историко-филологическим и физико-математическим с университетской программой обучения! У колыбели Курсов стояли Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, А. Н. Бекетов, И. М. Сеченов, А. С. Фаминцын и другие выдающиеся ученые.

Царское правительство противилось открытию в Петербурге Высших женских курсов. И если оно все-таки дало разрешение на их учреждение, то лишь под воздействием многочисленных и настойчивых требований женщин, поддержанных профессорами Петербургского университета, и из опасения, что усилившийся отъезд женщин за границу для получения высшего образования чреват опасными последствиями, ибо многие из них вращались там в революционной среде.

Реакционная пресса обрушивала на Курсы потоки грязи и клеветы. Курсисток обвиняли в «разрушении семьи», «безнравственности», «оскорблении религии» и даже — в «потере женственности». «Разочарованные, желчно и злобно смотрящие на общество и семью, они будут не жить, а вянуть», — предвещала 26 июня 1879 года газета «Голос». Особенно изощрялся в клевете на слушательниц, требуя закрытия Курсов, архиреакционный еженедельник «Гражданин». Но, несмотря на все, Курсы держались...

Сорок лет существовал женский университет. Однако он не продержался бы и сорока дней, если бы прогрессивная русская интеллигенция не создала специальное общество, целью которого стало поддержание этого частного учебного заведения денежными средствами.

«...Мы, нижеподписавшиеся, желаем учредить Общество доставления средств Высшим женским курсам, учреждаемым ныне в г. С.-Петербурге профессором Бестужевым-Рюминим, — писали министру внутренних дел 3 июня 1878 года Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, В. П. Тарновская и другие (под документом 22 подписи). — Вследствие чего и прилагая при сем проект устава, мы покорно просим Ваше высокопревосходительство сделать зависящее от Вас распоряжение об утверждении означенного устава».

Утверждение последовало 4 октября 1878 года. Прогрессивно мыслящие ученые, литераторы, артисты, художники, чиновники, военные, общественные деятели горячо поддерживали женщин в их стремлении к высшему образованию. Число членов Общества росло из года в год. Поначалу их было 89, на седьмом году существования Курсов — тысяча, а еще через несколько лет — полторы тысячи. В разное время членами Общества состояли Ф. М. Достоевский, И. Е. Репин, С. В. Ковалевская, А. И. Куинджи, П. С. Стасова, И. К. Айвазовский, В. А. Гиляровский, прогрессивная общественная деятельница А. М. Калмыкова, пользовавшаяся большим доверием В. И. Ленина, и другие.

В кассу Общества поступали не только членские взносы, но и многочисленные пожертвования. К ним добавлялась выручка от литературных вечеров, лотерей, базаров... Все это вместе с платой слушательниц за обучение дало возможность комитету Общества не только арендовать помещения для занятий, оборудовать лаборатории, оплачивать труд профессоров и обслуживающего персонала, но и построить здания учебных корпусов и общежитие.

В тяжелые времена первыми на помощь курсисткам приходили их учителя: они читали лекции бесплатно. Некоторые видные ученые, предлагая свои услуги Курсам, сразу же уведомляли, что будут преподавать безвозмездно.

«...Я желал бы и считал бы весьма полезным для слушательниц открыть с сентября с. г. при Высших женских курсах в С.-Петербурге чтение общего курса почвоведения,— писал директору Курсов 25 апреля 1896 года известный естествоиспытатель В. В. Докучаев,— по две лекции в неделю для слушательниц 3 и 4 курсов (одновременно) — без всякого вознаграждения...»

Подобные прошения встречаются в архивных папках нередко.

Со всех концов России приезжали в Петербург на Высшие курсы одаренные и энергичные девушки, отдававшие себе отчет в том, что им предстоит преодолеть немалые трудности и лишения. Они знали также, что никаких дополнительных прав, кроме тех, что получены после окончания среднего учебного заведения, Курсы не дают. Не забота о личном благополучии влекла их сюда, а жажда знаний и благородное стремление нести эти знания людям. Не довольствуясь учебной программой, слушательницы просили о большем. Так, в 1903 году 215 курсисток обратились в совет профессоров с письмом, в котором, в частности, просили учредить кафедру юридических наук. В 1904 году слушательницы вновь напомнили о своем интересе к правовым дисциплинам. Их просьбу поддержал комитет Общества для доставления средств Курсам, и в 1906 году на Бестужевских курсах был открыт третий факультет — юридический.

Заканчивая Курсы, многие бестужевки по велению долга отправлялись в отдаленные губернии России, чтобы учить детей и взрослых, отдавать свои знания тем, кто больше всего в них нуждался. Другие продолжали начатую в учебном заведении исследовательскую работу. Вскоре пошла молва о первых женщинах — агрономах, математиках, астрономах, юристах...

В начале этой статьи названы академик П. Я. Кочина, член-корреспондент Академии наук Узбекской ССР И. А. Райкова и некоторые другие... Четыре бестужевки — О. А. Добиаш-Рождественская, Е. С. Истрина, Н. В. Пигулевская и К. В. Тревер — стали членами-корреспондентами Академии наук СССР, 54 — докторами наук, 125 — кандидатами наук (и это по далеко не полному данным, ибо собирали их через сорок — сорок пять лет после закрытия Курсов и не все нужные материалы удалось найти); выпускницы Бестужевских курсов составили огромную армию учительниц, среди которых значительное число заслуженных; немало в их числе также библиографов, деятельниц литературы и искусства...

Неоценим вклад, внесенный бестужевками в просвещение, в развитие науки и культуры в нашей стране!

О Бестужевских курсах как учебном заведении некоторые публикации имеются... Слабее, к сожалению, освещена другая глава истории этого женского университета: его роль в формировании мировоззрения слушательниц, приобщении их к общественной жизни¹. Вот почему хотелось бы именно на этой стороне дела остановиться несколько подробнее, используя выявленные недавно в архивах новые документы.

17 марта 1886 года министр внутренних дел направил министру просвещения извлечение из доклада департамента полиции о Бестужевских курсах. «Без преувеличения можно сказать,— читаем в этом докладе,— что за последние пять лет не было ни одной более или менее крупной революционной организации, в которую не входили бы слушательницы Бестужевских курсов в значительном числе. Начиная с общества «Земля и воля» и кончая последними попытками организации и сплочения кружков в С.-Петербурге, бестужевки участвовали в каждом революционном предприятии; они встречаются в делах о польских социально-революционных гминах (волостях.— *Ред.*) и позднее — о «Пролетариате»; в Красном Кресте «Народной воли»; в литературных кружках — Кривенко и других; в организациях Веры Фигнер, Германа

¹ Единственным обстоятельным исследованием этого вопроса является статья С. И. Стриевской «Участие бестужевки в революционном движении», помещенная в выпущенном издательством Ленинградского университета в 1973 году сборнике «Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 1878—1918».

Лопатина... Приблизительно 140 слушательниц Курсов за последние пять лет принадлежали к различным революционным кружкам...»

В докладе сообщается далее, что из числа слушательниц, перебивавших на Курсах за последние пять лет, 12 процентов оказались политически неблагонадежными; усвоившими «разрушительные учения».

Напомним, что доклад написан в 1886 году. Еще не было в Петербурге «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», к следствию по делу которого привлекалось более 30 бестужевок, еще не было знаменитой Ветровской демонстрации 1897 года (о которой будет упомянуто ниже), бурных студенческих волнений 1899 года и начала нового века, не было 1905 года и революционных событий последующих лет.

После сообщения департамента полиции министерство просвещения усилило репрессии в отношении бестужевок. То и дело следовали приказы о санкциях. Вот только два распоряжения из множества: в связи с демонстрацией по случаю двадцать пятой годовщины со дня смерти Н. А. Добролюбова исключить 14 слушательниц (следует список); за «дерзкое сопротивление полиции» во время похорон литератора Н. В. Шелгунова отчислить с Курсов 7 слушательниц (следует список) «без права поступления в другие учебные заведения, с воспрещением им какой-либо педагогической деятельности».

Слушательницы Бестужевских курсов не только живо откликались на важнейшие события общественной жизни, но в ряде случаев сами были инициаторами студенческих волнений. Так, по их призыву 4 марта 1897 года была устроена знаменитая Ветровская демонстрация, о которой 9 марта 1897 года Л. Н. Толстой писал известному юристу А. Ф. Кони: «Дорогой Анатолий Федорович. Вчера вечером сын мой рассказал мне про страшную историю, случившуюся в Петропавловской крепости, и про демонстрацию в Казанском соборе... Лишившая себя жизни девушка Ветрова мне знакома и была у меня в Ясной Поляне...»².

Слушательницу Бестужевских курсов Марию Федосеевну Ветрову арестовали по делу подпольной лахтинской типографии, в которой, в частности, была напечатана и брошюра Ленина «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Около месяца Ветрову держали в Доме предварительного заключения. Как признавал директор департамента полиции, ей грозила высылка на родину, не более того. И вдруг девушку бросают в одиночную камеру Петропавловской крепости. Зачем? Чтобы подвергнуть нравственной пытке, пытке страхом, и заставить выдать товарищей. Доведенная до отчаяния, Мария Ветрова облила себя керосином из горючей лампы и поднесла к платью огонь... Через четыре дня от сильных ожогов она скончалась. В ночь на 13 февраля чины полиции тайком похоронили Ветрову. Но еще две недели принимались для нее книги как для живой. Лишь 1 марта весть о трагедии проникла сквозь толстые стены крепости. На Курсах состоялась сходка...

К ранее опубликованным сведениям о Ветровской демонстрации добавим небезыңтересные детали, содержащиеся в перехваченном охранкой письме студента Петербургского университета Павла Пересветова своему брату в Херсон 15 марта 1897 года. К письму приложена листовка, в которой говорится:

«Студенты и курсистки всех учебных заведений, узнав о мученической кончине Ветровой, решили отслужить панихиду, чтобы почтить память усопшей и объявить всем о возмутительном деле. 4 марта в 12 часов дня в Казанском соборе собралось тысяч 5 студентов, курсисток и посторонней публики. Но правительство не желало, чтобы посредством панихиды народ узнал, что в застенках до смерти замучивают людей. Палачом и мучителем прослыть никому не приятно. Панихида была запрещена. Студенты долго и чинно стояли в соборе, ожидая священника, но он убежал через задние двери. Тогда студенты сами пропели «Вечную память» и двинулись из собора. На площади конные жандармы и городовые рассеяли часть толпы, а другую часть оцепили. Эта часть, подняв высоко над головою венки с надписями «Мученице» и «Незабвенному, безвременно погибшему товарищу», отправилась спокойно по Казанской улице со стройным пением «Вечная память». А кругом шли городовые и ехали жандармы, как будто печальная процессия была шайкою разбойников».

² Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. 1954, т. 70, стр. 50.

Городовые и жандармы не просто двигались рядом с демонстрантами: они направляли их, куда было приказано — в Казанскую полицейскую часть...

Ветровская демонстрация в столице нашла отклик повсеместно. Демонстрации состоялись в Москве, Киеве и в других городах. День памяти Ветровой отмечался и в последующие годы. В ленинской биохронике за январь 1903 года читаем: «Ленин редактирует корреспонденцию из Цюриха в редакцию «Искры» за подписью «Бродяга» о студенческой демонстрации в Харькове в связи с самоубийством М. Ф. Ветровой в 1897 году, пишет заголовок „Страничка воспоминаний“»³.

Второй случай, когда бестужевки стали инициаторами студенческих волнений, относится к 1904 году. Их ошеломила такая фраза во «всепоподданнейшем адресе», с которым группа профессоров обратилась к царю в связи с началом русско-японской войны: «Повергая к твоим стопам, государь, наши вернопоподданнические чувства, почитаем за особое счастье засвидетельствовать, что такими же чувствами одушевлены и наши ученицы». Возмущала бесцеремонность, с какой авторы адреса посмели заявлять о чувствах слушательниц, не спросив у них, каковы эти чувства на самом деле. Сообщение же газет о том, что царь «соизволил собственноручно начертать» на адресе благодарность слушательницам, только подлило масла в огонь. Экстренная сходка курсисток постановила:

«Выразить глубокое негодование и порицание Совету профессоров Высших женских курсов за то, что они оказали неуважение к элементарным правам личности, включив имя курсисток в составленный Советом профессоров адрес, не имея на то никаких полномочий со стороны слушательниц и заведомо зная, что слушательницы не имеют возможности гласно опровергнуть такое самовольное распоряжение именем их корпорации».

По распоряжению министра просвещения 20 наиболее активных участниц сходки и депутатов, которым было поручено вслух прочитать в аудиториях текст порицания, отчислили с Курсов. Начальство надеялось, что это заставит остальных притихнуть. Но бестужевки не сдавались. Некоторое представление о накале обстановки и стойкости курсисток дает такая сценка, происшедшая перед началом лекции профессора Введенского и описанная в донесении помощника начальника петербургской охранки:

«Одна из курсисток, фамилия коей пока не выяснена, вынул из кармана письменно изложенное порицание, начала читать его вслух; Введенский вырвал из ее рук порицание и порвал; тогда курсистка достала из кармана другой экземпляр порицания и стала продолжать чтение его по второму экземпляру; когда Введенский изорвал и второй экземпляр, курсистка достала третий и продолжала чтение по нему, и только после изорвания третьего ей пришлось окончить чтение порицания наизусть».

За четыре дня — с 3 по 6 апреля 1904 года — 195 слушательниц возвратили по почте присланные им приглашения на экзамены. На оборотной стороне многих приглашений надписи: «Протестую против исключения товарищей, считаю невозможным держать экзамены»; «Требую возвращения исключенных, в противном случае разделяю их участь». К 19 апреля с Курсов были «уволены навсегда» 269 слушательниц. В последующие дни исключение продолжалось.

Бурным, как и повсюду, был на Бестужевских курсах 1905 год. Занятия прекратились. Многие слушательницы разъехались по домам. Оставшиеся в Петербурге оказались в самой гуще борьбы.

В октябре 1905 года Ленин писал в «Пролетарии», что «радикальное студенчество, принявшее и в Петербурге и в Москве лозунги революционной социал-демократии, является авангардом всех демократических сил...»⁴. А либеральных буржуа, закрывших Московский университет, чтобы не дать трибуну для народных революционных собраний, Ленин назвал предателями⁵. Был закрыт ряд высших учебных заведений и в Петербурге. Директор Высших женских курсов В. А. Фаусек отказался выполнить приказ о закрытии Курсов, тогда их закрыли силой: выставили у дверей полицейский наряд.

³ «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника», т. 1, стр. 430.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 351.

⁵ Там же, стр. 378.

В архиве сохранилась резолюция сходки курсисток, в которой говорится:

«Обсудив положение высших учебных заведений, закрытых правительством в целях самозащиты в борьбе с революционным народом, общая сходка Высших женских курсов еще раз подчеркивает свою точку зрения по вопросу о значении высших учебных заведений в революционной борьбе. Высшие учебные заведения в целях революционной тактики должны быть открыты; во дни политической забастовки всецело предоставлены в распоряжение революционного народа, которому теперь более чем когда-либо необходимо стоять на страже своих интересов, на которые правительство продолжает посягать, выпустив 17 октября манифест с обещаниями, направив черную сотню на революционный народ, вводя военное положение не только в отдельные города, но и в целый край, приговаривая к смертной казни борцов за свободу....

Требуем полной амнистии пострадавших за политические, религиозные убеждения и аграрные беспорядки; возвращения эмигрантов; отмены военного положения в Польше и во всех городах России; автономии Польши; отмены военно-полевых судов вообще, и в частности в Кронштадте; возвращения Маньчжурской армии; суда над губернаторами, допустившими погромы».

Лишь осенью 1906 года возобновились занятия. Но уже через месяц новый взрыв: забастовка в знак протеста против расстрела по приговору кронштадтского военно-полевого суда курсисток Мамаевой и Венедиктовой, выполнявших задание «объединенного комитета Кронштадтской военно-революционной организации».

Их расстреляли 14 октября 1906 года в Кронштадте на форте № 6.

Три жертвы: Ветрова, Мамаева, Венедиктова. Через полтора года последует еще один страшный удар: за участие в подготовке покушения на министра юстиции Щегловитова царские палачи повесят бестужевку Лидию Стуре и Анну Шулятикову. А в 1918 году героически погибли от рук белогвардейцев большевички-бестужевки Татьяна Боголепова и Александра Лихачева.

Это лишь известные жертвы... Но были и безвестные. А сколько бестужевок прошли в годы царизма через тюрьмы и ссылки! Сколько их исключили с Курсов и выслали из Петербурга как политически неблагонадежных!

Тут уместно вернуться к мемориальной доске, текст которой приведен в начале статьи. В надписи после того, как названы имена некоторых женщин, учившихся на Бестужевских курсах, сказано: «...и другие видные участницы революционного движения в России». Кто же именно? Это С. П. Невзорова-Шестернина, которую в 1894 году по различным партийным делам часто посещал Ленин; З. П. Невзорова-Кржижановская и Д. В. Ванеева (Труховская), чьи подписи вместе с подписью Ленина стоят под написанным им известным «Протестом российских социал-демократов»; О. К. Григорьева (Витмер), в квартире которой неоднократно происходили нелегальные заседания Центрального и Петроградского комитетов РСДРП и где Ленин скрывался от агентов охранки; Ф. М. Кнуньянц-Ризель, которая еще до поступления на учебу познакомилась с царской тюрьмой, а на Курсах руководила социал-демократическими кружками; Е. Г. Смиттен, которая по заданиям Е. Д. Стасовой и Р. С. Землячки подыскивала квартиры для большевистских явок и хранения нелегальной литературы, вела пропаганду среди рабочих; Л. Р. Шаповалова, которая за участие в студенческом движении дважды исключалась с Курсов, затем уехала в Париж, познакомилась там в феврале 1903 года с Лениным и, как позднее писала в своей биографии, «им была введена в клуб парижской организации „Искры“»; это также большевички В. Ф. Алексеева, Е. Н. Ванеева (Лосева), А. Г. Кравченко, В. Н. Лапина, Н. М. Москвина, С. М. Познер, А. В. Савельева (Гусарова), К. Н. Самойлова (Громова), Е. К. Соколовская, С. И. Стриевская, О. И. Чачина, Е. Ф. Шиллер (Пономарева) и другие. Именно они и их боевые подруги создавали на Бестужевских курсах ту атмосферу демократизма, непримиримости к злу и насилию, неколебимую решимость в отстаивании своих принципов, которая дала повод высокопоставленным чинам полиции утверждать, что слово «бестужевка» суть синоним слова «революционерка».

После революционных событий 1905—1907 годов полицейские власти усилили «предупредительные меры». Однако воспрепятствовать проникновению на Курсы «опасных элементов» им не удалось. Об этом свидетельствует, в частности, донесение

пристава о том, что 9 августа 1908 года в коридоре третьего этажа между полом и дном большой витрины, в которой помещались кости скелетов, обнаружено «три пакета, в каждом из которых было по две бомбы».

30 ноября 1910 года в здание Бестужевских курсов ворвался отряд полиции; это произошло во время сходки в актовом зале. «Наряды городовых, вооруженных ружьями с прикнутыми штыками,— писал директор Курсов начальству,—...принялись очищать зал силой, оттесняя слушательниц к обоим выходам из зала». В письме далее говорится, что слушательница Елизавета Таль «пришла в состоянии аффекта и отнеслась неуважительно к одному из полицейских офицеров», за что была арестована. Санкции против бестужевок усиливались. В дни волнений случалось, что у каждой аудитории стояли по два полицейских. Но никакие меры не могли заставить молчать тех, кто считал нужным выразить свое отношение к происходившим в стране событиям.

21 апреля 1912 года директор Курсов сообщил попечителю учебного округа о «неразрешенном собрании слушательниц» по поводу Ленских событий. Как явствует из сообщения, постановлено объявить на вторник, 24 апреля, забастовку протеста; собрание закончилось пением «Вы жертвою пали» (об этой сходке сообщалось в первом номере «Правды»).

Через день после забастовки бестужевки вновь собрались на сходку. На этот раз они протестовали против произвола царских властей в отношении одного из своих любимых профессоров, Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ. «Сходка,— говорится в резолюции,—...высказывает свое негодование правительству и тем темным силам, которые стремятся задушить всякое проявление свободного слова и свободной жизни».

А вот строки из документа, подписанного начальником столичной охраны:

21 октября 1914 года — «распространение листов, исходящих от левых слушательниц Бестужевских курсов, порицающих коленапреклоненные манифестации студенчества»;

7 ноября 1914 года — в связи с четвертой годовщиной со дня смерти Л. Н. Толстого на Бестужевских курсах «волнения, сопровождавшиеся пением «Вечной памяти», литературное утро и сбор денег в пользу заключенных»;

12 ноября 1914 года — в связи с арестом большевиков — депутатов Думы на Бестужевских курсах «волнения, летучая сходка с вынесением резолюции протеста и объявлением однодневной забастовки»;

7 февраля 1915 года — «на Бестужевских курсах распространялись воззвания, исходящие от Коалиционного комитета Высших женских курсов,— «К товарищам», призывающие к выступлениям 10 февраля в защиту поправленного народного права, к революционной борьбе и требующие политической амнистии»;

10 февраля 1915 года — в связи с судом над большевиками — депутатами Думы «на Бестужевских курсах волнения, сопровождавшиеся летучей сходкой с вынесением резолюции протеста и объявлением двухдневной забастовки».

Социал-демократическая фракция Курсов вела в те дни антивоенную пропаганду и в стенах учебного заведения и на предприятиях. В ночь на 27 марта 1915 года почти все члены фракции были арестованы. Но и после этого антивоенная пропаганда не прекратилась. А в 1916 году большевистское влияние на Курсах, осуществлявшееся через Объединенный комитет социал-демократических фракций высших учебных заведений (созданный Петроградским комитетом партии), усилилось.

Чем объяснить, что Бестужевские курсы стали школой гражданственности, приобщения слушательниц к активной политической жизни? Разумеется, немалое значение имел социальный состав Курсов. Все больше попадало туда представительниц средних слоев общества (ибо не «знатность» была основным критерием при зачислении на Курсы, а окончание гимназии с золотой медалью). Так, в 1886 году в числе слушательниц значилось: дочерей дворян — 13 процентов, дочерей чиновников — 42 процента, выходцев из «податного сословия» — 22 процента (остальные — дочери купцов и лиц духовного звания). В 1905 году в списках слушательниц значились: 404 — из «городских сословий», 81 крестьянка и 21 дочь «нижних военных чинов».

Многие поступали на Курсы не сразу после окончания гимназии, а проработав

несколько лет школьными или домашними учительницами. Столкнувшись с противоречиями жизни, некоторые из них искали объяснений в запрещенной литературе и в нелегальных кружках.

Десятки курсисток преподавали в воскресных рабочих школах. Постоянное общение с рабочими, ознакомление с тяжелыми условиями их труда вызывало у бестужевок сочувствие к борьбе трудящихся и стремление участвовать в ней.

В 1909 году на Бестужевских курсах проводилось статистическое исследование, в ходе которого наряду с другими предлагался такой вопрос: «Кто из социологов оказал наибольшее влияние на Ваше мировоззрение?» И 18 процентов курсисток ответили: «Карл Маркс». 18 процентов в среднем. На старших курсах такой ответ дали 26 процентов слушательниц! Очевидно, немалая доля «вины» за такой ответ ложится на революционерок-бестужевок — и названных и не упомянутых в этой статье: они пропагандировали на Курсах идеи Маркса, программу социал-демократической рабочей партии.

Благотворное влияние на курсисток оказывали многочисленные общественные организации и кружки (легальные и нелегальные), в которых они проходили школу общественной жизни и революционной борьбы: землячества, касса взаимопомощи, бюро труда, совет старост (позднее — центральный орган), «Красный крест» и многие другие.

Но были на Курсах и так называемые академистки, которые считали, что студенчество не должно вмешиваться в политические дела. «Наше дело наука, и только наука», — говорили они. «Мы тоже за науку», — отвечали им активные участницы студенческих волнений. «Наука должна помочь нам разобраться в противоречиях, которые ставит нам жизнь», — писали они в одной листовке, — мы не хотим прятать ее по лабораториям и учебным кабинетам». «Академисток» оказывалось всегда меньшинство. Основная же масса курсисток шла за теми, кто призывал жить одними интересами с борющимися за свободу народом.

Здесь приведены далеко не все выявленные в архивах документы, но и они дают достаточное представление об общественном лице большинства бестужевок. Им были свойственны непримиримость к несправедливости, злу, насилию, благородное стремление отдавать свои знания делу просвещения народа, всегда, до последней возможности приносить пользу людям. Для этих женщин высокой культуры и исключительного трудолюбия как бы не существует общепринятого понятия о пенсионном возрасте. Я не назвал многих, кто и сейчас, спустя пятьдесят пять — шестьдесят лет после окончания Курсов (в 1918 году Бестужевские курсы слились с Петроградским университетом), продолжает трудиться (в штате и вне штата).

При обращении слушательниц друг к другу на Бестужевских курсах было принято говорить «товарищ». И слову этому придавался большой смысл: товарищ по идеям, товарищ по борьбе.

Высокоразвитое чувство товарищества, воспитанное у бестужевок на Курсах и пронесенное ими через всю жизнь, проявляется, в частности, в том, что и по сей день существуют объединения бестужевок в Ленинграде (председатель комитета К. П. Язева) и в Москве (председатель бюро О. В. Чулкова). Не может не вызывать восхищения их совместная работа над воссозданием истории Бестужевских курсов (они авторы четырех книг о своем женском университете), их дружба и взаимопомощь.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 70-летию со дня рождения Николая Островского

ПОДВИГ ПИСАТЕЛЯ

Николаю Алексеевичу Островскому 16 сентября исполнилось бы семьдесят лет.

Мужественный человек, убежденный коммунист, он прожил короткую, но яркую жизнь, которая служила и служит примером для людей разных поколений, разных стран планеты. Его любят, им гордятся, к нему обращаются в трудные минуты, на него хотят быть похожими...

Об этом рассказывают в материалах, публикуемых ниже, писатели Вадим Кожевников и Дмитро Павлычко, студентка Московского литературного института имени Горького Валентина Юсоев, югославская писательница Мира Алечкович.

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ

★

Открытие

Каждый художник измеряется тем открытием, которое он совершает. Пропорция здесь простая и очевидная: чем значительнее открытие, тем больше художник. Цель искусства — постижение человека в его единстве с обществом. И существенное знание о человеческом обществе не может быть сезонным, кратковременным, оно непременно несет в себе элемент обобщения, нечто характерное для продолжительнейшего периода истории. Художественное познание — это движение во времени, и со временем, и впереди времени. Оно вечно молодое, непреходяще актуально. Великое искусство заключает в себе дух обновления. Сама действительность нашего времени подтвердила: знаменитая книга Николая Островского пронизана этим духом.

Мы помним речь Л. И. Брежнева на XVII съезде комсомола, его призыв к молодежи отдать свой труд делу созидания коммунизма на ударных стройках страны. И мы могли видеть: спустя лишь несколько дней появи-

лись репортажи о поезде № 14; комсомольские первопроходцы двинулись по дороге к океану. Молодежь наших дней так быстро отозвалась на эти призывы потому, что в ней сильна жажда героического — она живет по тем же нравственным законам, что и поколение Островского. Я вовсе не хочу затушевывать различий, того нового, что принесло новое время. Я пока хочу сделать акцент на главном: Николай Островский в конкретном и близком ему открыл необыкновенно характерное, долгоживущее, можно сказать — вечное. Его писательский дар выразился в том, что, будучи участником событий относительно короткого исторического периода с его специфическим обликом, неповторимыми условиями производства и бытия, он сумел приникнуть к глубинным законам бытия. Книга его вошла в наше сегодня как остросовременная. Войдет и в будущее.

«Как закалялась сталь» — произведение «о времени и о себе». В высшей степени при-

мечательно, что личность Павла Корчагина не является «приложением» к картине эпохи. Это личность яркая, самобытная, ее не спутаешь ни с какой другой. Переживания ее неотделимы от страстей времени. В книге Островского познание времени органически связано с самопознанием героя. Но это самопознание имеет свои особенности. Оно далеко от самоцельной рефлексии, от беспоконного самокопания. Это величайшей напряженности духовный труд, вызванный объективными условиями, общественной борьбой. Это яркая духовная деятельность в трагической ситуации.

Нелишне будет напомнить крылатые слова Вс. Вишневского об «оптимистической трагедии». Но «оптимистическая» не значит «смягченная». Особенно ясно это становится, когда вспоминаешь о судьбе героя Николая Островского. Резкими, беспощадно правдивыми красками написана эта судьба. Смерть — высшая точка трагического. Смерть не уходит со страниц книги Островского, безжалостно, непрерывно пытается жизнь Корчагина, проверяя на прочность. И разве он не устает? Разве он не страдает? Разве тело его железное? Нет, он и устает и страдает. По всем деталям образ героя книги трагедийен, но эта трагедийность не вызывает жалости, чувства скорби, а вызывает изумление и восхищение богатством человеческой личности, ее неисчерпаемостью. Трагические обстоятельства побеждаются духовным подвигом героя.

Вероятно, Островский, как любой другой автор, мог бы подчиниться страданиям, которые так долго испытывал, мог бы невольно трансформировать их в литературу. Он имел на это право! Он не воспользовался этим правом.

Хорошо известно, каким жадным, ненасытным читателем во время болезни был Островский. Он яростно штудировал классику. Но вычеркнул из списка своей библиотеки имя Достоевского. Я уверен, здесь сработал инстинкт души. Внутренний мир писателя должен был оставаться целостным, нерасщепленным, монолитным, сцементированным одной идеей — идеей служения коммунизму.

Островский умел оставаться бойцом и в моменты тяжелых приступов болезни, и тогда он не давал недугу власти над волей. Передавая жизненный опыт своему герою, и в его душе не оставляя слабости перед страданием. Физическая немощь Корчагина — несокрушимый постамент его вели-

кому духу. Тема смерти, страданий развевается в книге «Как закалялась сталь» как тема превосходства человеческой личности над теми обстоятельствами, с которыми она вступает в борьбу.

Именно такое открытие трагического имеет мировое значение и рождено художником Островским и эпохой, рыцарем которой он был. Это открытие обладает мощной силой, оно перешагивает через свое время в грядущие времена, воздействует на сознание людей. Так духовный опыт одной эпохи становится достоянием другой, так приумножается философское, нравственное, эстетическое богатство общества. Это не преувеличение: книга Николая Островского оказалась могучее воздействие и на литературу и на многие другие сферы нашей жизни.

В чем преемственность художественного опыта Островского? Как редактор журнала и секретарь ССП, которому поручена работа с молодыми, я могу наблюдать, насколько мощно и разнообразно разветвилась традиция, идущая от Островского, в советской литературе. Есть писатели (например, Н. Бирюков, В. Титов), которые в чем-то повторили судьбу Островского. Их жизнь — это подвиг, и творчество — подвиг. Однако традицию невозможно свести к такому или к любому другому прямому следованию образцу. Чтобы пояснить свою мысль, проведу параллель, которая может на первый взгляд показаться далекой, но мне представляется довольно точной. Я имею в виду Рембрандта и его школу.

Искусствоведы часто допытываются: принадлежит тот или иной живописец к ученикам великого мастера, есть ли сходство в цвете, в колорите, в способах изображения человеческой руки и пр.? Но не в этом ведь главное. Можно великолепно усвоить технологию работы Рембрандта и быть вместе с тем бесконечно далеким от него. Главное в другом — в способе раскрытия личности. Выше в том, что художник умел передавать самое существенное в человеке. Мы, зрители, смотрим на его картины и видим не «способы», которыми он пользовался. Мы охвачены ощущением неповторимой человеческой личности, мы воспринимаем словно бы «экстракт» человеческого характера. В этом сила Рембрандта и лучших его последователей.

Когда читаешь Николая Островского, возникает примерно такое же ощущение — он умеет обнажать в своем герое самое глав-

ное, глубинное. Он показывает, как под давлением необычайно трудных обстоятельств личность отбрасывает от себя второстепенное, как высветляется сущность, как человек становится в подлинном смысле этого слова человеком. Вот в чем важнейшее художественное наследие, которое оставил Николай Островский советской литературе.

В этой связи можно вспомнить о книгах, посвященных подвигу, свершенному нашим народом в годы Великой Отечественной войны, вспомнить о целой плеяде талантливейших художников, своеобразных и внешне трудно сравнимых с Островским. Согласно классификации, удобной для литературоведов, тут вряд ли можно говорить о преемственности. Но я против классификаций, которые игнорируют подчас своеобразие художника. Писатели, отдавшие перо героической теме, ставили своего героя перед лицом «крайних обстоятельств», перед лицом смерти, и он держался достойно, проявлял в себе самое лучшее. В «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого «технология» свершения подвига иная, нежели у Корчагина, но разве это мешает понять, насколько близки герои в определяющем, в самой основе?

Дело, однако, не может быть сведено к «предельной» ситуации как неперемennomu условию продолжения традиции Островского. Подвиг — вершина, к которой человек идет годы, иногда всю жизнь. Но раскрывается он и в коллизиях, лишенных трагического накала, а подчас и в довольно обыденных. Но и тут человек может проявить то высокое, что ему присуще. И в такой ситуации он может дать больше, чем, казалось бы, возможно. Книги, в которых так показывается человек, несомненно, продолжают традицию Островского.

Советская литература всегда была сильна тем влиянием, которое она оказывала на сознание читателя. Мера ее воздействия на действительность — мера ее значения. Творчество Николая Островского в этом отношении в высшей степени показательно. Принцип жизни его героя — «дать больше, чем это, казалось бы, возможно» — нравственный закон нашего бытия. Среди тех, кто сегодня едет на БАМ, на другие ударные стройки — читатели Островского, жажду-

щие повторить подвиг его поколения. Но подвиг повторяется и в таких условиях, когда нет прямого выхода для романтического умонастроения.

Сейчас созданы индустриальные гиганты, специфика производства на которых существенно отличается от характера труда в годы первых пятилеток. Средний возраст работника на таких гигантах тридцать — тридцать пять лет, и он обладает высоким уровнем профессиональной подготовки. Однако профессионализмом дело не исчерпывается. И тут — огромные возможности самоотдачи, возможности проявить в себе нечто большее, чем это предписывает «нормативный долг».

А социалистическое соревнование? Измеряется оно отнюдь не только тоннами, количеством и качеством продукции, но и моральным содержанием, которое с его помощью раскрывается в людях. Участник соревнования овладел профессией и вышел на первое место. Теперь у него возникает потребность поднять за собой других. Это акт бескорыстия. Человек не ищет выгоды для себя, как не думали о том, что дрова попадут в их квартиры, строители узкоколейки, герои книги «Как закалялась сталь».

Книга Николая Островского вошла в мировую литературу, и популярность ее огромна. В странах, вступивших на путь коренных социальных преобразований, молодежь жаждет сомкнуть свой жизненный опыт с художественным опытом Островского непосредственно. Именем его назывались батальоны, строительные отряды. На Кубе, в Анголе, Вьетнаме слово «корчагинцы» стало характеристикой тех поколений, которые выступили за освобождение своих стран. В Мали я познакомился с группой железнодорожников. Там, где кончалась железнодорожная ветка, висел портрет Островского. В Болгарии, в городе Сливен, был проведен карнавал героев советской литературы. По улице шел отряд бойцов в одежде времен гражданской войны. Возглавлял отряд юноша — Николай Островский. Все это, естественно, лишь очень немногие свидетельства того воистину глобального воздействия, которое оказывает книга «Как закалялась сталь» на современную действительность, влияния тех идей, которым Николай Островский отдал свою жизнь.

ДМИТРО ПАВЛЫЧКО,
лауреат премии имени Николая Островского



По праву учителя

В историю советской литературы Николай Островский вошел как талантливый писатель и человек величайшего героизма, воплотивший в себе ярко и зримо образ настоящего коммуниста.

Сколько поколений нашей молодежи воспитывалось и мужало, читая книги Островского, напряженно раздумывая над его короткой, но такой богатой событиями биографией.

В разное время мне приходилось обращаться к творчеству писателя. И каждый раз я испытывал удивление и восхищение перед этим мужественным и талантливым человеком.

...Ноги отказались служить. Угрожала полная неподвижность. Зловещим, холодным бессилием наполнилось тело война. Обступила тьма. И только яростно защищалось сердце, в котором было столько любви к жизни, что ее хватило бы на сотни человеческих душ...

Николай Островский — солдат не в переносном смысле слова. Он сражался до конца. И потому сумел перебороть недуги, а вместе с ними и смерть. Он обязан был вырваться — и он вырвался из тьмы и неподвижности. Ему помогало то, что он всегда искал смысл жизни в деянии добра, в борьбе за торжество справедливости на земле. Добро же и справедливость он связывал с идеями коммунизма.

Островский черпал силы в заорыве духовном, в служении своему классу, своей Коммунистической партии.

Подвиг Николая Островского иногда объясняют одним лишь энтузиазмом. Захотел, мол, возвратиться большевик из тыла на фронт, в Действующую армию — и возвратился. Несмотря на тяжелые болезни, стал писателем... Осмелимся утверждать, что Николай Островский стал бы писателем непременно. Литературное призвание, конечно же, было у него, но только никак не могло поспеть за будущим писателем — так стремительно и быстро шел он дорогой своей жизни.

Островский не впал в отчаяние и не ушел в себя. В этом его подвиг.

И своему раскрывшемуся таланту он не сказал: «Ты пришел слишком поздно!» И в этом его подвиг.

Он приступил к литературной работе с одержимостью фанатика, памятуя, что осталось мало времени, чтобы хоть немного постичь то, что Иван Франко назвал в известном стихотворении «неисчерпаемым творческим ремеслом». И в этом тоже его подвиг.

Перед тем как взяться за перо, он всерьез занялся самообразованием. Три года (1927—1930) он беспрестанно читает, стремясь овладеть сокровищами мировой литературы и приоткрыть для себя секреты писательского умения. Он не полагался на энтузиазм и сам вспоминал позднее, что без этой большой и глубокой подготовки писать было бы невозможно.

«Когда я работал по десять часов в сутки, я еще чувствовал свою болезнь, — замечает Николай Островский, — но когда я стал работать по восемнадцать часов, у меня не хватило времени для болезни. Как жаль, что я не додумался до этого раньше».

Радость творчества преодолела в его душе боль личной трагедии. Она передается нам по высшим законам искусства: как волнуется автор, когда пишет, так волнуется и читатель, читая.

В самом деле, оптимизм Островского в поистине трагической ситуации, которую трудно даже представить себе в полной мере, буквально ошеломляет. «То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно. Это чушь! Я совершенно здоровый парень. То, что у меня не двигаются ноги и я ни черта не вижу, — сплошное недоразумение, идиотская шутка, сатанинская! Если мне сейчас дать хоть одну ногу и один глаз, я буду такой же скаженный, как любой из вас, дерущихся на всех участках нашей стройки», — писал он своему другу в 1930 году.

Оптимизм — наиболее характерная приме-

та творчества Островского-писателя, безусловно воспринятая им от своей эпохи. Его собственное вдохновение сливается с вдохновением истории, которая в то время, когда он писал и накапливал материал для будущего творчества, находилась в состоянии особой приподнятости. Его романы «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» словно дышат горячим воздухом революции. Черты и приметы времени, в котором жил Николай Островский, четко проступают в его книгах, несущих в себе все признаки переломного периода.

Островскому трудно было писать, еще труднее внутренне поверить в значимость своей литературной работы. Потому-то он искал людей, которые сказали бы ему правду о его творчестве. Потому-то и просил писателей направить огонь критики на его сочинения. Он старался совершенствовать свое мастерство и боялся неискренности в отношении к нему как к писателю. Вот, например, как он пишет об этом Михаилу Шолохову: «Знаешь, Миша, лицу честного товарища, который бы покрыл прямо в лицо. Наша братия, писатели, разучилась говорить по душам, а друзья боятся «обидеть». И это нехорошо. Хвалить — это только портить человека. Даже крепкую натуру можно сбить с пути истинного, захваливая до бесчувствия. Настоящие друзья должны говорить правду, как бы ни была остра, и писать надо больше о недостатках, чем о хорошем. — за хорошее народ ругать не будет».

Эту цитату я привел не только для того, чтобы показать, как понимал литературную критику Николай Островский. Хотелось напомнить слова Островского еще и потому, что и сегодня, увы, не редко сталкиваемся с отсутствием должной требовательности в литературной критике, с боязнью обидеть, с желанием перехвалить. Это относится не только к литературным критикам, но и ко всем нам, писателям...

«Меня часто спрашивают, как я стал писателем. Этого я не знаю. Но как я стал большевиком, это я хорошо знаю», — говорил Николай Островский. Главная заслуга писателя, на мой взгляд, состоит в том, что он показал, как становится большевиком Павлик Корчагин — молодой участник революции 1917 года. Писатель остался в сознании нашего народа как создатель образа Павла Корчагина и как его прототип.

Вот уже почти сорок лет Корчагин служит высшим примером мужества для нашей

молодежи, учителем и воспитателем комсомола. За что мы любим Корчагина? Ответить на этот вопрос нелегко. Так же, как нелегко объяснить, за что ты любишь любимую. Ведь простой перечень добродетелей просто примитивен и ничего не выражает...

Николай Островский — писатель, у которого очень сильны классовые чувства. Он передал их и своим героям: братьям Корчагиным, Жухраю, Андрею Птахе. Однако герои Островского начинают активно протестовать, когда к ним подходят исключительно с социологическими мерками.

Мы так часто говорим о боевом духе Корчагина — только о нем, — что недавний телевизионный фильм справедливо заставил нас вспомнить о сложности и многогранности характера Корчагина. О том, как часто ему приходилось переживать боль и муку разочарований, и восторженное изумление перед женской красотой, и минуты, когда от обиды глаза застилали слезы.

Он был не в меру вспыльчив и вынужден был даже предстать перед партийным судом — помните? — за удар табуреткой, который пришелся мещанину Файло прямехонько по голове. Мы почти забыли, что Корчагину выпадали минуты, когда он решительно не знал, как жить дальше... Островский не хотел, чтобы его герой казался безупречным и всесильным. Он хотел показать крепкого, мужественного, но живого человека во всей нелегкой сложности его положения. Попробуйте, скажем, мысленно добавить к образу Корчагина такие черточки, как мягкая уступчивость и подчеркнутая корректность в общении, — и все полетит кувырком: вместо живого Корчагина вы увидите бледное подобие характера, в который трудно поверить и который невозможно полюбить.

Павел Корчагин — сын рабочего класса. Его убежденность в правоте пролетарской революции, верность этой революции увлекают читателя, вызывают в нем такие же чувства убежденности и верности. В нем бьет колоссальная энергия, вызванная к жизни конфликтом пролетариев и эксплуататоров, он глубоко симпатичный человек, со своими слабостями и достоинствами. Вместе с тем это исключительный человек, который мужественностью, умом, волей выделяется среди любимых героев молодежи настолько, что может быть без преувеличения назван властителем дум юношества нашего времени, международным комсомольским вожаком.

Николай Островский не раз подчеркивал, что писатель — это учитель. «А учить может только тот, кто знает больше тех, кого он учит...» Сам Островский принадлежал к учителям, которые знают больше своих учеников, и еще к тем, кто живет в полном согласии с наукой, какую проповедует.

Николай Островский оставил нам завет, в котором призывает высоко дорожить своей жизнью, а именно — не запятнать ее бесцельностью, не позволять брать верх прихоти, случаю, капризу. Мало кто так умел использовать свое время, как Остров-

ский. Тридцать два года жизни он вынужден был день за днем отвоевывать то у нужды, то у войны, то у болезней. И при этом достиг цели, о какой могут только мечтать многие литераторы, — стал поистине народным писателем.

Гордясь мировой славой Николая Островского, нашего земляка, крупнейшего мастера слова, не забудем и о его учительских советах.

Перевел с украинского
Г. ГРИГОРЬЕВ.

Киев.

В. ЮСОВА



Школа ответственности

Я учусь в Литинституте. Руководитель семинара иногда говорит нам: «Я не учу вас быть писателями. Этому вы научитесь сами, если сумеете научиться».

Как — «научиться»?

Возле станции Дорохово, как и везде под Москвой, много старых окопов. Человек не воевавший, не солдат, не сразу угадывает закономерность и линию в их прерывистом расположении.

Если окоп глубокий, можно прыгнуть вниз и примериться: так он стоял, так стрелял, так — упершись носком сапога в это вот углубление — выбросил тело наверх и побежал неровно к тому небольшому леску.

Отсюда, из глубины, как из другого времени, все кажется нам иным.

Меняется точка зрения.

Появляется точность в движениях и чувство личной ответственности и за этот лесок, и за дачную местность Дорохово, и за этот кусок земли, который мы вдруг называем неожиданно строго — «сектор обстрела».

Дачная местность перестает быть дачной, если видеть ее из окопа.

Мир становится не таким, если взглянуть на него так, как глядел Островский.

Николай Алексеевич Островский был рабочим и был военным. И только потом, потеряв зрение и подвижность, перенесши все боли и муки, какие только в силах представить себе человек, стал писателем.

У него была особая точка зрения на мир. Он помнил, как выглядит мир из окопа.

Иногда у ребят спрашивают: «Ты хочешь быть похожим на Павку Корчагина?» И чаще всего на такой вопрос не дают ответа. Дети, как бы доверчиво ни относились они к жизни и литературе, знают точно, что им это не дано. Не дано им скакать на коне, громить и рубить врага или спасать Жужряя.

Им это не дано. Нельзя прокрутить по второму разу историю.

Точно так же ни одному литератору, старому ли, молодому, опытному, начинающему, одаренному и не очень, не дано быть ни в чем похожим на Николая Островского.

Нельзя повторить судьбу. Ситуацию — можно.

Нельзя повторить индивидуальность.

Николай Островский был человеком ярчайшей индивидуальности.

Он был удивительно, страстно талантлив. Это особенно понимаешь, когда читаешь письма его к товарищам, к родным. Вот он пишет, как каждого, кто приходит навестить его, он заставляет читать себе вслух. Вот с чувством потери и горя пишет, что не в силах он одолеть комвуз — велика нагрузка. Вот он просит и требует у своих товарищей критики, критики, критики на свою только что напечатанную книгу. Он учится с жадностью и со страстью. Так учиться может только удивительно одаренный человек. И когда ставишь их рядом, его боль и его талант, его жажду знания, понимаешь — талант сильнее страдания.

Таланту нельзя научиться. Он или есть, или нет.

Но трудную школу Островского проходит каждый причастный к литературе человек, любой литератор.

Книги Островского не могут научить литератора писать, они не учебник литературного мастерства. Язык, стиль — все в книгах Островского принадлежит времени. Они такие, какое было время. Это были первые книги. Трудные. И даже не очень умелые. Островский был честный и смелый человек. Он знал все это. Он говорил, что книга могла быть лучше, должна бы быть лучше, если бы не труднейшие условия работы и нехватка времени.

Ему не хватало времени. Дней. Часов. Минут. Он мерил жизнь свою по секундам. Не потому, что мало уже оставалось жить, а потому, что много осталось сказать.

Ощущение личной ответственности за судьбу мира в равной мере свойственно, может быть, и хорошему командиру и настоящему художнику.

Николай Островский был комиссаром батальона ВВО «Берездов» и членом Союза писателей.

Ему еще нужно было передать свой опыт бойца тем, кому придется победить в решающей схватке с фашизмом.

Островский писал «Рожденные бурей» как антифашистский роман. Он хотел объяснить мальчикам и девочкам, ворошиловским стрелкам, умеющим бегать и прыгать, ловким, смелым, уверенным, что стрельба и сила — это еще не все. Нужно еще понимать, что враг не знает пощады. И что схватка действительно будет смертельной, что бесконечно жаль их, молодых, здоровых и прекрасных, потерять в этой схватке, но это — нужно.

Он торопился объяснить им смысл жизни, высокий смысл, понятый им так рано и так трагично.

Островский был человеком жестким. Не жестоким, а жестким. Есть такие фигуры в геометрии, они так и называются — жесткие. Их можно сломать, уничтожить. Но изменить, придать им иное значение — нельзя. У Островского был такой жесткий характер, жесткая конструкция. Он не изменился для нас со временем. Многое изменилось. А Островского мы понимаем и знаем таким же. Не потому, что он рано умер, не потому, что не успел увидеть многого. Просто он жил для цели. Цель была неизменяемая, так же, как он сам, неподвластная времени.

Он говорил: «Мечта о мировой революции — глубочайшая моя мечта».

Он сказал это где-то в октябре 1936 года.

И еще он рассказывал о себе: «Когда мне очень тяжело, появляется потребность в фантастике... Последние дни я уношусь в Испанию. Я представляю себя там на площади могучим оратором, способным своим словом увлечь всех за собой. Мы организуем наступление, громим врага, сбрасываем его в море... Или вижу себя рядовым испанских войск... Вчера я проснулся ночью, не спал часа полтора и строил планы, как взять Дредноут у мятежников».

Сейчас мы читаем газеты с болью. Островский страдал за Испанию и в мечтах дрался за нее. История не повторяется. Но Чили, трагедия Чили — это боль не меньшая, чем испанская боль. Не знаю, не могу предположить, что так это и останется трагедией и болью. Не могу предположить, что лица людей счастливые, песни их, стих, работа их счастливая и молодая, их высокое благородство — все убито. Не могу, и никто не может, как не мог Николай Островский за несколько месяцев до конца предположить поражение испанской республики.

Островский — писатель современный.

Нет ничего бедней книги, написанной на один только сегодняшний день. Книга должна быть рассчитана на большее, на новое время и новое понимание.

Островский писал для своего поколения, для тех, кто моложе его, для детей двенадцати, десяти лет. Он писал для будущего. Он мыслил крупными категориями. Он понимал необходимость для них, для всех, своего личного опыта, потому что он был неотделим от опыта времени. Он понимал незаменимость свою, свою нужность. Это бывает не часто.

Мы — другие. Другие по времени, по характеру. Мы — послевоенное поколение, думающее и пишущее, как говорил Эренбург, «словами теми, что нам продиктовало время». Что-то утратили мы, что-то приобрели. Говорят, что мы знаем больше, смелее и обширнее мыслим. Но этому опыту, этому особому, прицельному, напряженному взгляду на мир, какой был у поколения Островского, этому чувству ответственности и за судьбу страны и за судьбу каждого человека надо учиться. Это не познается через книгу, через строку. Это приходит с жизнью, как пришло к Николаю Островскому.

Человек, в котором есть убежденность в

собственной необходимости, незаменимости, нужности, человек, наделенный чувством личной ответственности за все, что делается на свете, человек с обостренным чувством времени, живущий так, словно он может не успеть все сказать, для чего он родился, жил, работал, что он любит и что ненавидит,— такой человек должен быть художником. Он им не может не быть.

Вот всему этому — ощущению нужности

творчества, острому чувству времени, чувству личной ответственности — учит школа Островского.

Он говорил: «Человек делается человеком, если он собран вокруг какой-либо настоящей цели. Тогда он живет не по частям... а целым».

Это хорошие слова. Они подтверждены жизнью, и в полезности и абсолютной честности их не приходится сомневаться.

МИРА АЛЕЧКОВИЧ

★

Вместе с нами боролся Корчагин

Для нас, жителей Югославии, Николай Островский — исключительный, необыкновенный писатель, ибо редко встретишь книгу, которая, подобно роману «Как закалялась сталь», оказала бы столь сильное влияние на воспитание молодежи накануне и в ходе нашей революции, в период народно-освободительной борьбы югославских народов. Вероятнее всего, ее можно сравнить только с книгой «Мать» Максима Горького.

Помню, как весной 1941 года в моей школе впервые появилась книга Островского, хотя ее нелегальное издание в расширенном виде было распространено среди наших старших товарищей — рабочих и студентов — еще раньше. Книгу принес руководитель школьной молодежной (комсомольской) организации СКОЮ¹, тесно связанной с Коммунистической партией Югославии. Мне к тому времени уже посчастливилось познакомиться с героями произведения Островского, но я бесконечно обрадовалась, что и мои подруги прочитают эту удивительную революционную поэму.

Друг моего дяди врач Теодор Бороцки — подпольщик, секретарь профсоюзной организации работников здравоохранения — дал мне переплетенную книгу «Как закалялась сталь» с оговоркой, что первую ее часть я могу получить лишь на день, а вторую на ночь, возвратив уже прочитанное. В то время в квартире моей матери размещался местный комитет Белградской орга-

низации Коммунистической партии Югославии, и поэтому мне рекомендовали читать книгу где-нибудь подальше от дома. Я решила пойти к нашим друзьям, крестьянам, державшим на рынке небольшую лавку молочных продуктов, так как торговцы ни у кого не вызывали особых подозрений, к тому же их собственный домик находился в предместьях Белграда. Они несколько удивились моему намерению остаться у них на ночь, однако ответили мне отдельную комнатку. К счастью, весь день они пробыли в своей лавке, а я, как бы загорая, устроилась на крыше строения и залпом прочитала первую половину книги. Глаза без усталости бегали по страницам, одна мысль сменяла другую, сильно билось сердце — я быстро возвратила прочитанное и взяла продолжение. На мою беду, хозяева долго не отпускали меня, занимая разговорами. Прошел вечер, а книга оставалась нетронутой. С трудом я дождалась, когда все улягутся и заснут, чтобы снова зажечь свет и раскрыть книгу.

Утро встретило меня бодрствующей — книга была прочитана, а я на всю свою жизнь приобрела боевого друга и товарища, Павку Корчагина.

Так Островский входил в нашу жизнь, в юность моего поколения, тех шестнадцатилетних и семнадцатилетних юношей и девушек или более старших по возрасту товарищей, кто отозвался на призыв нашей революции.

Помню июльский день, когда был брошен клич к восстанию, когда КПЮ призвала народы Югославии к вооруженной борьбе. Мы, члены организации СКОЮ, объе-

¹ Союз коммунистической молодежи Югославии.

дичились в группы, чтобы решить, как действовать дальше: кто останется в городе на подпольной и легальной работе, кто вступит в партизанские отряды. Почти все рвались в отряды. А когда речь заходила об именах для подпольщиков, все старались назвать себя именем одного из героев романа «Как закалялась сталь». Один за другим рождались наши Корчагины, Вали, Риты, и все мы с гордостью носили их имена.

Только в Сербии в огне освободительной борьбы я встретила трех Корчагиных — в Топлице, Расине, Поморавье. Это были юноши, наиболее сознательные и самые храбрые молодые коммунисты. Никто не мог взять такое имя по своей воле, оно присваивалось товарищами по совместной борьбе на фронте или в подполье и считалось своего рода наградой, особой честью.

Недавно на одном из торжеств я неожиданно встретила Мирославу Попович, награжденную медалью за участие в партизанской борьбе с фашизмом. Она знала обо мне, я слыхала о ней, однако до этого мы ни разу не встречались. Как и я, Мирослава семнадцатилетней девушкой ушла из города Ниш в партизанский отряд. Разговор зашел об организации СКОЮ, действовавшей в этом городе, о концлагере, созданном там немцами, об Островском и его романе «Как закалялась сталь». С чувством любви и грусти Мирослава вспоминала о своей партизанской подруге Ане Стойкович. Отличаясь исключительной памятью, Ана от слова до слова выучила целые главы романа о Корчагине, и когда нельзя было достать книгу, она страница за страницей воспроизводила ее в памяти на молодежных собраниях. Ана была схвачена после собрания, где она читала главы «Как закалялась сталь», и 9 января 1942 года расстреляна.

Одна из нишских девушек, прочитавших книгу Островского, получила подпольную кличку Валя. Ее нельзя было назвать красивой, но она пользовалась репутацией замечательного товарища, человека благородной души, напоминавшего друзьям героиню Островского. Валя также попала в руки полиции: она вела политическую работу на одном из заводов. Полиция схватила всех участников кружка, никто не хотел назвать ее имени, но одна из арестованных проговорила: главный их связной — Валя.

Валю расстреляли, до конца отождествив с героиней романа Островского: так и до наших дней она живет в памяти людей.

Мирка Савич, также член СКОЮ, носила

имя Тоня. Эту подпольную кличку она сохраняла на протяжении всей войны, а учительницу Зорицу из города Лесковаца называли Ритой, по имени героини книги — Риты Устинович.

Ясно помню собрание партизанской десятки в Белграде, когда Эмилия Якшич предложила выбрать для себя партизанские имена. Она хотела стать Валей или Ритой, теперь уже не помню, но ее желанию не суждено было осуществиться — в Белградской организации СКОЮ уже были своя Валя и своя Рита. Эмилия получила партизанское имя Мара. Она открылась мне, что это ее очень опечалило, но не подавала виду. Даже и такой славный человек и борец, каким была она, преданный коммунист и нежная девушка с длинными светлыми косами, не всегда мог назваться именем героя романа Островского.

Сменяются поколения, погибли на войне или расстреляны врагами многие Корчагины, Риты, Вали, Тони, а произведение Островского продолжает жить в душах тех, кто вновь появляется на свет, кто обрел для себя новый мир. Македонский писатель Томе Саздовский-Мали получил партизанское прозвище Мали, ибо был самым молодым в своей бригаде, хотя и горел неодолимым желанием называться Корчагиным. И по сей день он не может забыть, как жаждал получить это имя.

Македонский писатель нового поколения Григор Поповский прочитал роман Островского намного позднее нас, уже после войны, но и он говорит, что эта книга — книга его юности, хотя во время войны был еще ребенком. Из произведения Островского он узнал об Октябрьской революции, о тех идеалах, которые нас вдохновляли.

Подросла моя дочь и сама смогла прочитать роман «Как закалялась сталь». Вместе со своими друзьями она восхищалась им, писала о нем в школе, задумывалась над образом Корчагина, представляла себя на его месте. Ныне книга Островского стала учебным пособием в школах всех наших республик. В этом году ее читали двое моих младших детей — четырнадцатилетние близнецы, завершающие восьмилетнюю школу. Мне казалось, что, может быть, еще рано знакомить их с романом. Но они вместе с другими учащимися своего класса быстро и с увлечением прочли роман: Павел Корчагин оказался близким и им.

Было бы несправедливо не сказать о первом переводчике романа «Как закалялась

сталь» докторе Драгутине Костице-Гуте. Он перевел эту книгу для своих товарищей-коммунистов в самый канун второй мировой войны. Вместе с братом доктор занимал небольшую квартирку. Брат работал токарем. На заработок брата и самого переводчика книга «Как закалялась сталь» впервые увидела свет в 1941 году, незадолго до начала войны.

Драгутин Костиц-Гута родился в Македонии, в селе Ратеве, гимназико окончил в городе Пироте, где вступил в ряды СКОЮ. В 1929 году он был арестован вместе с видными югославскими революционерами Огнем Прицем, Отокарером Кершовани, Иваном Милутиновичем и приговорен на год к каторжным работам. Перед самой войной, когда над Югославией нависла угроза фашизма, Драгутин Костиц, наделенный безошибочным чутьем революционера, выбирает для перевода именно эту книгу. Нельзя не вспомнить, что это был период, когда прогрессивная книга не могла появиться легальным путем, поэтому «Как закалялась сталь» печаталась в подпольной типографии; несброшюрованную, без переплета, книгу делили на две, три, даже на пять частей. Хранили же мы роман в переплетах стихов Гёте, в немецких хрестоматиях и в других подобных изданиях.

Молодые люди носили в себе образ Павки Корчагина, находясь в самых трудных условиях — в концлагерях, в партизанских отрядах и в частях нашей освободительной армии. В тяжкие минуты они спрашивали себя: выдержу ли я, как Павка Корчагин? как поступил бы на моем месте Корчагин?..

Подобные вопросы волновали, конечно, и переводчика книги Драгутина Костица, партизана, вступившего в отряд во время его формирования в городе Валево. Немцы в это время предпринимают первое крупное наступление на Ужице, нашу Ужицкую республику — свободную территорию западной

Сербии, единственный свободный район в оккупированной Европе 1941 года. Обороняя Ужице, символ нашей республики, Драгутин Костиц был ранен. У горы Медведник его схватили враги и расстреляли 18 марта 1942 года близ города Шапац..

После освобождения Югославии роман «Как закалялась сталь» пережил много изданий во всех наших республиках. Вполне понятно, что это не единственное произведение Островского, переведенное у нас. Нашим читателям весьма близка книга «Рожденные бурей», о которой я ничего не сказала.

Может быть, Островский потому близок молодежи, что обладает особым качеством, давно замеченным французским писателем Роменом Ролланом: «Пламя борьбы и энергии бушевало в Островском; пламя, которое росло и поднималось по мере того, как ночь и смерть сжимали вокруг него свое кольцо».

И наконец, на славном пути этой удивительной книги, которая из года в год завоевывает все новые сердца, чтобы остаться в них, мне как писателю своей страны и как сподвижнику молодежного движения — участнику революции, хочется сказать, что Островский вдохновлял нашу революционную молодежь, что его произведения воспитывали наши юные поколения и что среди нас живет духовный отец многих наших Корчагиных. Поэтому нынешние югославские юноши и девушки глубоко осознают его значение, говоря: «Павка — пример стойкости, воли и любви к родине».

Что может быть ценнее для произведения писателя, чем сознание того, что ему неподвластно время, что оно продолжает жить в сердцах молодых, отзываясь заново в новых поколениях.

*Перевел с сербскохорватского
И. ХАРИТОНОВ.*

Белград.



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Александр Крон. Испытание штормами.— **Л. Воронин.** «Малый эпос» Николая Ушакова.— **В. Фролов.** Образный мир классической пьесы.

ПОЛИТИКА И НАУКА

П. Жилин. Первые дни войны.— **Клара Брюханова.** Выдающийся революционер-ленинец.— **А. Пархоменко.** Наука управления наукой.— **А. Формозов.** Древнейшее прошлое Европы.

Литература и искусство

ИСПЫТАНИЕ ШТОРМАМИ

Владимир Жуков. Хроника парохода «Гюго». Роман. М. «Молодая гвардия». 1974. 368 стр.

Название художественного произведения не вывеска. Как правило, оно ключ.

Роман Владимира Жукова озаглавлен скромно и в то же время интригующе: «Хроника парохода «Гюго». Где же плавает (или плавал) пароход, носящий имя великого французского романтика? И если роман, то почему «хроника»?

«Виктор Гюго» — океанский сухогруз типа «либерти» американской постройки, совершавший в годы войны рейсы между нашими дальневосточными портами и Северной Америкой, возивший продовольствие и снаряжение, поставляемые по ленд-лизу. Команда советская. Капитан парохода Полетаев, старший помощник Реут, боцман Стрельчук — опытные моряки; команда пестрого состава, много пришедших людей. Здесь и комсомольский активист из глубинки Саша Маторин, и демобилизованный после ранения морской пехотинец Андрей Щербина, и недоучившаяся ленинградская студентка Алевтина Алферова, и вчерашний школьник, сын погибшего на фронте московского журналиста Сергей Левашов. Почему именно «Гюго»? Вероятно, ни пароходство, давшее новое имя одному из

десятка «либерти», ни матросы, закрашивавшие прежнее, американское название, не вкладывали в это глубинного смысла. Он пришел позже.

На второй вопрос ответить сложнее. Хроника парохода, иными словами — бортовой журнал? И впрямь первые страницы потрясающе начинают — начинается книга с нарочито делового, очень профессионального описания как самого парохода, так и поставленных перед ним задач. Но уже в середине главы читатель знакомится с двумя членами экипажа «Гюго» — электриком Огородовым и третьим помощником капитана Тягиным, намечаются характеры, возникает живой диалог — все признаки прозрачной реалистической прозы. А в следующей главе, имеющей подзаголовок «Левашов», появляется второй рассказчик, повествующий о тех же людях и событиях от первого лица. Сам по себе прием не нов, новизна в том, как он использован. Два голоса, автора и Левашова, чередуются не сливаясь, но дополняя и поддерживая друг друга: спокойный голос зрелого человека, нашего современника — голос писателя, и звонкий, мальчишеский, взволнованный голос Сергея

Левашова, в котором также угадываются интонации автора, каким он мог быть лет тридцать назад. Мне трудно судить, насколько роман Жукова автобиографичен, но вряд ли эту книгу мог написать человек, не ходивший морскими дорогами, не обстрелянный, не бывший свидетелем и участником событий, в чем-то сходных с описанными. Для того, чтоб определить место движущегося корабля, одного пеленга недостаточно, нужен второй; «левашовские» главы и дают этот второй пеленг; более субъективные по тону, в соединении с подчеркнута объективной манерой глав «от автора» они придают изображаемому стереоскопическую глубину, вносят лирическую исповедническую ноту. И все же роман назван хроникой не зря — автор строит сюжет, повинувшись хронологии событий: рейс за рейсом, происшествие за происшествием. А происшествий, причем чрезвычайных, здесь немало: и налет вражеской авиации, и свирепый шторм, разламывающий судно пополам, и пропажа двух матросов в иностранном порту... Да, это хроника, но хроника коллектива, трудолюбивой, отважной команды «Гюго». Символична в этом смысле глава, где команда искалеченного штормом парохода переселяется на новый пароход, как две капли воды похожий на прежний и носящий то же имя. Сменилась оболочка, но жив коллектив и его неукротимый дух.

«Хронике...» Жукова дает право называться романом углубленный интерес автора к психологии людей, к непростой, зачастую парадоксальной логике их поведения. Чем дальше вчитываешься в хронику, тем несомненнее становится, что это именно роман, в чем-то даже традиционный, один из вариантов того, что в литературоведении называется «романом воспитания». И хотя в центре романа закономерно находится юный Левашов, рядом с ним «трудом и боем поверяют душу» и другие, более зрелые люди. Испытания не только закаляют их волю, но будят и оттачивают мысль.

Океанское судно, тем более в военное время, немислимо без твердой дисциплины, но «Гюго» все же не военный корабль, служебные отношения на нем не так жестко регламентированы, субординация проще, конфликты обнаженнее. Не ладят между собой капитан «Гюго» Полетаев и старпом Реут — отличный моряк, но человек сухой, беспощадный к себе и к людям.

То и дело возникают трения между палубной командой и боцманом Стрельчуком. Трудные — у каждого по-своему — характеры у Щербины и Маторина. При более пристальном рассмотрении читатель различит и чуждых духу коллектива людей — таков опытный, бывалый, но одержимый тайной страстью к накопительству матрос Жогов и лукавый демагог предсудкома Измайлов, для которого кратковременное пребывание Левашова на борту иностранного катера уже достаточный повод для подозрений. Наиболее полно, в движении, в развитии, обрисованы в романе характеры Левашова и Али Алферовой. Автор показывает героев и в повседневных заботах, и в критические моменты жизни, не пряча своего отношения, но и не разделяя на черненьких и беленьких, не скрывая присутствующих им внутренних противоречий.

В романе есть такой персонаж — Андрей Щербина. Фигура не первого плана, но заметная в ходе повествования и характерная для изобразительной манеры Жукова. Коренной владивостокский житель, призванный на военный флот, он с началом войны добровольцем уходит в бригаду морской пехоты. Демобилизовавшись после ранения, возвращается в родной город полувинвалидом, не находит себе места, пьет, мечется, случайно узнает, что девушка, с которой он «гулял» до войны, родила ему сына, колеблется, признать ли ребенка, и, промедлив с признанием, получает отворот поворот. Пьяный, по-хулигански пристает на улице к капитану «Гюго» Полетаеву, провозжающему свою знакомую, однако именно этот неприятный эпизод решает его судьбу: Полетаев берет Щербину в плавание.

У Щербины резкий характер, он легко взрывается. Видит, например, в американском порту, как дети играют в «суд Линча», и приходит в бешенство; забыв обо всех запретах, он бросается выручать привязанного к столбу мальчишку. Щербина погибает на посту во время трудной и опасной швартовки в устье реки Колумбии, погибает, спасая судно и товарищей. Трудно-совместимые поступки, но это не поступки разных людей, а разные грани сложного характера, противоречивого и незаурядного.

Не прост при своей кажущейся прямолинейности и Саша Маторин, другой представитель команды «Гюго». Бывший комсомольский работник, он совмещает в себе

искреннюю преданность делу с замашками «руководителя волевого типа», привыкшего жать и покрикивать. Безапелляционный в суждениях, а иногда и просто капризный, Маторин, будучи лишь годом старше Левашова, считает себя вправе командовать Сергеем и непрестанно его воспитывать. Кстати, о воспитании. Книга Жукова не принадлежит к тем дидактическим «романам воспитания», где герои отчетливо делятся на воспитывающих и воспитуемых. Воспитывает человека прежде всего жизнь, общественная среда; формирующаяся личность должна не только воспринимать влияния, но и уметь им противостоять. Отношения Левашова и Маторина складываются трудно. Признавая авторитет более собранного и жизненно-опытного Маторина, Сергей сопротивляется его властным повадкам, в спорах отстаивая свое достоинство и право на равные отношения. Эти столкновения не проходят бесследно и для Маторина. Кульминационные главы, где Левашов и Маторин несутся в отвалившейся от парохода неуправляемой носовой части по разбушевавшемуся океану, — лучшие в романе. Смертельная опасность заставляет Левашова не только действовать, но и напряженно размышлять, оценивать обстановку и принимать решения. Эти главы — естественная кульминация образа Левашова, первый итог суровой школы, пройденной им на борту «Виктора Гюго».

В заключительной части романа автор пытается создать еще одну кульминацию. Левашов способствует задержанию и возвращению на корабль сбежавшего матроса Федора Жогова. К моменту бегства Жогова читатель знает о нем достаточно фактов, но не успевает его как следует «разглядеть» — запоздалая и торопливая экспозиция образа не позволяет проникнуть в глубинные мотивы предательства.

Эпизоды, где Жогова обрабатывает некто в белом комбинезоне, напоминают больше популярные брошюры о происках иностранных разведок, чем психологический роман. Уж очень легко, прямо голыми руками этот «некто» загребает в сети бывшего и расчетливого парня. Для его измены не создано достаточных предпосылок. Эпизод, где Жогов принимает Левашова за своего возможного сообщника, — очевидная натяжка. Точно так же случайным и неубедительным кажется мне способ, каким Левашову и подоспевшему ему на помощь советскому консулу удается сломить сопро-

тивление американского шерифа, уже взявшего Жогова под свое покровительство. Основной козырь Левашова — Жогов украл деньги и, следовательно, подлежит выдаче как уголовник. Жогов действительно украл — сто с чем-то долларов, собранных американскими рабочими на венок героически погибшему Андрею Щербине. Но по американским масштабам сто долларов не та сумма, с которой преступники удирают за границу, и вряд ли на шерифа это могло произвести впечатление. И, как всегда, когда в повествование вкрадываются натяжки, изображение бледнеет и на смену ему приходит навязчивая информативность. Вместо того, чтоб живописать, автору приходится давать справки.

Интересно задуман в романе образ женщины-матроса Алевтины Алферовой. Перед войной скромная студентка химфака влюбляется в профессорского сына, аспиранта-филолога, блестящего яхтсмана, увлекающегося, впрочем только в теории, мореплаванием и путешествиями. Безответная любовь и стремление возвыситься до своего кумира заставляют Алю бросить химфак и поступить в мореходное училище. Там и застает ее война. Аля Алферова становится палубным матросом — занятие не для всякой женщины, требующее и физической закалки и нравственной устойчивости. Жуков создал сильный и привлекательный характер; главы, рисующие Алю на борту «Гюго», одни из лучших. Слабее написана любовная драма Алферовой, занимающая немалое место в романе.

Наибольшая неудача автора — Борис Сомборский, тот самый роковой для Али молодой человек, из-за которого так круто повернулась ее судьба. В советской литературе последних лет уже мелькали похожие фигуры — спортивные юноши из так называемой элиты, внешне блестящие, властные и холодные, с изрядным налетом интеллектуального снобизма. В разработку этого жизненного типа Жуков не внес ничего нового, точно наблюдаемого, отсюда и привкус литературщины. Этот привкус ощущается и в ходе последующей эволюции образа. Стремясь создать переломную ситуацию в биографии Бориса, автор использует сюжетный ход, искусственность которого бросается в глаза: кандидатская диссертация Бориса с треском проваливается и он бежит из Ленинграда на полярную зимовку. Оказывается, вся кафедра ополчилась на диссертанта, обвинив его —

страшно сказать! — в билии цитат и отсутствия собственных мыслей. Человеку, хотя бы приблизительно знакомому с диссертационной практикой, трудно поверить, чтобы неглупый и достаточно образованный аспирант не смог написать удовлетворительную кандидатскую работу на литературную тему, которая, даже не будучи оригинальной, обеспечила бы ему желанную степень. После зимовки на Диксоне и долгих скитаний судьба сводит Бориса с Алей на причале дальневосточного порта, и Аля, уже близкая к тому, чтобы выйти замуж за нелюбимого Реута, без единого слова бросается в объятия Бориса. Затем мы узнаем, что Борис, потерявший на Диксоне два пальца на правой руке, отправляется на фронт и Аля будет ждать его возвращения.

Яркое изображение обычно не оставляет места для вопросов. Информация в том, что касается чувства, всегда недостаточна. И при этом возникают разные «почему»? Почему гордая и строптивая Аля не возмущается сухой и бесцеремонной манерой, в которой Реут выражает свои любовные притязания? Читатель может только догадываться о том, что сблизило Алферову с Реутом, об их ночных беседах на мостике парохода он знает только со слов посторонних наблюдателей, но, присутствуя при решающем объяснении между ними в американском ресторане, где Реут не находит для Али ни одного живого слова и сразу начинает ставить условия, читатель, возможно, задаст себе вопрос: почему Аля этого не замечает?

Хорошо написана у Жукова полудетская влюбленность Левашова в Алю. И все-таки вопреки справедливому замечанию автора, что «женщины значат в жизни моряков, людей отшельнической профессии, куда больше, чем может показаться на первый взгляд», любовные коллизии в романе

написаны наиболее вяло, на его страницах мы нигде не встречаемся с подлинной страстью. Занимающие много места в экспозиции и поначалу интересно намеченные отношения Полегаева с бывшей женой Реута Верой к концу романа рассасываются почти бесследно, и наоборот: проходящее где-то совсем на заднем плане сближение матросов Нади Ротовой и Олега Зарицкого неожиданно венчает весь роман свадебным торжеством с речами и музыкой, шумным и неинтересным.

Как романист Жуков оказался сильнее всего там, где он остается верен «хронике парохода», и слабее в беллетристических отступлениях, будь то экскурс в прошлое Алферовой или эпизоды, происходящие на американской территории. Героический труд тихоокеанцев, их горячий патриотизм, гражданская зрелость, приходящая в общей борьбе против фашизма, увидены и изображены писателем свежо и увлекательно. Немалая уже библиотека советского военного романа обогатилась произведением, отмеченным и новизной материала и несомненным дарованием. Написана книга, в общем, хорошим прозрачным языком. Не хочется в небольшой рецензии останавливаться на немногочисленных стилистических огрехах и неточностях. Досаждают местами прилипчивая «сказовая» интонация с непременным глаголом в конце фразы, мелькнет иногда подражательный оборот — неосознанный след учения у писателей старшего поколения, но это частности, у Жукова есть свой голос, своя, незаемная интонация, она проявилась уже в этой книге, и хочется верить, что в дальнейшем она еще окрепнет.

Хорошо, что вышла новая интересная книга. Ее будут читать. Но еще радостнее, что появился новый писатель.

Александр КРОН.



«МАЛЫЙ ЭПОС» НИКОЛАЯ УШАКОВА

Николай Ушаков. Мой век. Стихотворения. М. «Художественная литература». 1973. 480 стр.

Сборник Николая Ушакова «Мой век», наиболее полно представляющий его творчество, появился в дни, когда поэт отмечал пятидесятилетие своей литературной работы. Через несколько месяцев после вы-

хода книги Ушаков скончался. Это последний прижизненный сборник поэта, главная книга Н. Ушакова. В ней можно различить все грани его творческих интересов.

Критики нередко называли Ушакова по-этом-летописцем. И действительно многие его книги были построены как поэтические хроники, а некоторые даже носили «летописные» заглавия: «Календарь», «Летопись», «Год за годом», «Повесть быстroteкущих лет».

«Поэт,— утверждал Ушаков,— всегда очевиден, хотя бы родился спустя сотни лет». Он писал о Пушкине и Маяковском, о Цусимском сражении и гражданской войне, о строительстве Петербурга и электровозе в хибинской гундре, писал о том, чему был свидетелем и что лишь проступало в творческом воображении, «как фотографии растений сквозь недоступность глубины».

И почти во всем, что он писал, явственно (а порою и нарочито подчеркнуто) обозначалась тяга к «летописному», глубоко органичная для творческого дарования Ушакова. Даже в лирических стихах у него встречаются подчас мимолетные зарисовки, готовые, казалось бы, вот-вот превратиться в маленькие повести о том, что произошло перед глазами, зарисовки, как бы содержащие зерно эпического сюжета. На весенней улице, «кисти завернув в обои, ждут приглашенья маляры», а неподалеку «старик над сказками Кота Мурлыки в изнеможении поник». За силуэтами людей в окнах «поездов, проходящих ночью», перед нами возникают человеческие судьбы.

Естественно, что среди стихов поэта-летописца выделяются баллады, стихотворные новеллы, рассказы. Такие произведения, как правило небольшие по объему, сам Ушаков относил к «малому эпосу». «На пространстве в 25—30 строк,— говорил он,— пытаюсь показать самые различные куски истории».

Лучшие стихи ушаковского «малого эпоса» отличает удивительно емкая «конденсация» событий. Впервые это отчетливо проявилось уже на рубеже 20—30-х годов в балладах, составивших «Сказанья старых времен» — поэтическую хронику, повествующую о событиях 1918 года на Украине.

Как быстро время протекло,—
начинается одна из этих баллад,

уже январь не за горами.
Начальник станции в стекло
глядит сквозь тощие герани.

А за окном «каких-то паровозов дым», скачущий по шпалам «неведомый кавалерист». И уже «летят теплушки кверху

дном», луна заглядывает в нетопленный вокзал, «слепец частушки говорит»... И наконец внезапно:

Начальник станции зарыт
перед крыльцом своей квартиры.
Глядят по-прежнему в стекло
сквозь кисею
его герани...

Как быстро время протекло —
уже февраль не за горами!

Вся цепь «перекликающихся» деталей в балладе Ушакова как бы доносит до нас и эхо тех событий, которые происходят за гранью балладного действия. Мы не знаем, как умер начальник станции. Но сменяющие друг друга подробности (и проскакавший кавалерист, и взорванные теплушки, и полуразрушенное здание вокзала) неопровержимо свидетельствуют: это была отнюдь не «мирная» смерть. Такая перекличка деталей позволяет поэту увеличить временную емкость баллады.

«Как быстро время протекло» — эта строка Ушакова, казалось бы, аналогична известной формуле Н. Тихонова: «Баллада — скорость голая». Но у Н. Ушакова другой временной отсчет.

Время в тихоновских балладах измеряется часами и даже минутами. Задышающийся, взволнованный рассказчик, словно бы еще не остывший после выпавших на его долю испытаний, лишь мимоходом упоминает предметные подробности:

...Четыре копыта и пара рук.
Озеро — в озеро, в карьер луга...

Главное для Тихонова — чтобы читатель-«слушатель» ощутил «вихревую» устремленность балладных героев.

Иное у Н. Ушакова. Он ведет повествование со свойственной летописцу неспешностью и лаконизмом, ищет в событиях «старых времен» наиболее впечатляющие и по-своему характерные подробности. И потому широкий мир, говоря словами самого Ушакова, присутствует и чувствуется даже за пределами поэтического экрана.

«Тощие герани» в стихах о железнодорожной станции не просто обрамляют балладное действие. Они здесь некое подобие «равнодушной природы» и оттеняют, подчеркивают драматизм происходящего.

«Мир творился в мелочах» — вот важная грань творческого кредо Ушакова. И тем значительнее такие нередко «прозаически» точные «мелочи», дающие представление об изображаемой эпохе:

...он хлещет синий кипяток
из чайников
тончайшей
жести.
Пайковый хлеб
лежит в дыму...

Немногие детали, «мелочи» в этой сценке «чаепития» (пай ко в ы й хлеб, даже «синий кипяток», заменяющий чай) — достоверные штрихи, вещественные приметы периода тяжелых испытаний, годов гражданской войны.

Поэт различает перемещение «огромных глыб» времени, измеряемого не только днями и месяцами, но и годами, даже жизнями отдельных персонажей. Уплотненность, сжатость событийного времени в «малом эпосе» Н. Ушакова делают предметной, ощутимой саму динамику движения истории.

Но стоило ему обратиться к большой поэтической форме (к поэме или значительной по объему стихотворной повести) — и вместо динамичных «кадров» возникали пространственные описания, в которых пульс времени был как бы приглушен. Подмеченные поэтом детали, становясь подчас иллюстративными, теряли многозначность, столь свойственную «малому эпосу».

Показательно, что в число избранных произведений автор «Моего века» не включил ни одной из своих поэм, а среди вошедших сюда небольших стихотворных повестей мы найдем, например, повесть «Кровник», в которой точность отдельных поэтических наблюдений становится, по существу, самоцелью. Замедленность, растянутость эпического времени ослабляет драматизм повествования в эпизодах, рассказывающих о былых законах кровной мести на Кавказе.

Но и стремление Ушакова к временной «емкости» в балладах и стихотворных новеллах не всегда оборачивалось удачей. Порой он ограничивался лишь хронологической связью включенных в «малый эпос» подробностей. Так, в «Стихах о Пушкине» за выразительной сценой у дома умирающего поэта идет перечень последующих событий:

...другой невольник чести выслан,
он пал,
и пушки в колеях,
и южные пылают горы,
и мачты из воды торчат.

Скороговоркой сообщается о судьбе Лермонтова, о Крымской войне. ● Однако этот

перечень поэтически мало убедителен и носит скорее информационный характер.

Самая возможность «конденсации» времени в «малом эпосе» во многом зависит от взаимодействия эпического и лирического. В «летописных» балладах Д. Кедрина, например, эпический сюжет явно доминирует. Повествователь у Кедрина словно сдерживает свои чувства. Но они обнаруживают себя в эмоциональной окраске стихотворного рассказа. А в «песенных» балладах М. Светлова эпический сюжет как будто бы размывается, и все-таки он не исчезает, не поглощается лирическим началом и неизменно прорисовывается хотя бы пунктирно.

В стихах Ушакова эпическое и лирическое, пожалуй, более «равноправны». «Сказанья» поэта таят в себе лирическую взрывчатость, которая может нарушить сюжетную «выстроенность», резко сместить времена, сблизив настоящее с минувшим (как в стихотворении «Снимают памятник Александру III») или с будущим:

Танцует прапорщик пехотный,
под Луцком будет он убит,—
и дева юная охотно
ему о страсти говорит.

(«Тысяча девятьсот пятнадцатый»)

Но общее чувство эпического движения истории сохраняется при этом свою силу и определенность.

Сегодня и завтра причудливо чередуются в стихах, вошедших в «Баллады с интермедиями» — цикл, который открывал одну из последних книг Ушакова. Но теперь поэт стремился не столько воспроизвести течение времени, сколько осмыслить этот процесс. Философский аспект в подходе к изображаемому замечен и в лирической «Балладе со свечами», где словно бы на глазах редет круг близких друзей балладного героя, и в «Балладе времени». И даже в завершающем цикл стихотворном рассказе о событиях одного будничного дня («Запятые и тире»), напоминающем прозаическую дневниковую запись, важнее не само сцепление фактов, а тот итог, к которому приходит поэт, его размышления об «эстафете несомненно добрых дел».

Читатель «Баллад с интермедиями» оказывается одновременно слушателем и зрителем, попадая в своего рода поэтический театр. Перед ним проходят эпизоды революционных лет, Великой Отечественной войны, дня сегодняшнего.

Вот, например, своеобразное «свидетельство очевидца» — рассказ о 1917 году:

Солдаты,
 солдаты,
 солдаты
гуляют
 в саду
 городском.

Речь повествователя внезапно прерывается голосами тех далеких лет:

А разве
 гуляли
 когда-то
солдаты
 в саду
 городском?
Да где ж,
 земляни,
 дисциплина,
к отечеству,
 к церкви
 любовь?..

Эти реплики обывателей не выделены графически, но мы безошибочно распознаем интонацию уже не авторской речи. Такой прием и ранее встречался в стихах Ушакова, вплетавшего порою в ткань стихотворного рассказа реплики очевидцев происходящего. Но это были отдельные реплики. Здесь же мы слышим своеобразное многоголосье, как бы доносящийся издалека «шум» того давнего времени, где одни голоса спорили с другими, перекрывали друг друга, внезапно обрывались...

Завершалось действие баллады цикла — и на авансцену выходил автор. Причем иной раз, как бы приглашая читателей в свою поэтическую мастерскую, он появлялся не один, а со своим «двойником» — оппонентом. Начинался диалог — «симпозиум». «Отказываюсь от вещей... — говорил первый «собеседник». — Гармонию благоговаяю, на страже мысли чистый звук». А второй возражал:

Отказаться ль от деталей,
от подробностей страны,
чем в дни мира
 мы дышали,
воевали
 в дни войны?

кова: «Мир творился в мелочах». «Эти капли, эти росы», замечал автор цикла, вмещают «всю суть пространств, весь смысл времен», и прежде всего — «отраженье сердца» современника, будь это счетовод, или сельская учительница, или старый токарь...

Поэт подчеркнуто раздвигал рамки цикла, самое заглавие которого получало у него расширительное толкование: балладами названы здесь и стихотворные рассказы, и лирические новеллы, и собственно баллады, а в «интермедии», помимо поэтических деклараций, включены и «чисто» лирические стихи — как бы предвестие «малого эпоса». Ушаков словно бы утверждал, что все лучшее в его поэтическом творчестве — это и есть «баллады с интермедиями».

Каждый из разделов «Моего века» знакомит с одной из этапных книг поэта. Не все периоды его творчества были одинаково плодотворны. В предпосланном сборнику предисловии В. Огнева справедливо говорится, что во второй половине 30-х годов начинается спад творческой активности Ушакова, подъем переживает его поэзия в годы Отечественной войны, «крутая кривая возникает вновь в середине 50-х». «Задолго до А. Вознесенского и И. Зиедониса, — пишет критик, обращаясь к стихам Ушакова 20-х годов, — будут воспеты мотоцикл и мотоциклисты, будет эта апология скорости...»

В итоговую книгу избранных стихов Ушакова, к сожалению, не вошли некоторые из лучших его произведений, такие, например, первоклассные баллады, как «Тридцать гетманцев», «Дезертир». Естественно, что сюда не могли войти стихи, созданные поэтом в самое последнее время. А среди них и «Верлибры», цикл, опубликованный в журнале «Юность» (1973, № 2), как бы раскрывавший новые перспективы в творчестве старейшего мастера, который мог бы повторить строки, написанные им в 1960 году:

Докажем молодежи,
старинные друзья,
что стих у нас надежен,
что без него
 нельзя...

В «интермедиях» развивалась, конкретизировалась давняя творческая формула Уша-

Л. ВОРОНИН.



ОБРАЗНЫЙ МИР КЛАССИЧЕСКОЙ ПЬЕСЫ

Б. Костелянец. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л. «Художественная литература». 1973. 96 стр.

Книга Бориса Костелянца «Бесприданница» А. Н. Островского» вводит читателя в мир пьесы, ставшей шедевром драматургии Островского.

Появление этой книжки в серии «Масовая историко-литературная библиотека» примечательно. До недавнего времени явно ощущался недостаток в изданиях, рассчитанных на массового читателя. Конечно, хорошо, когда выходят монументальные труды, посвященные самым различным проблемам в изучении классиков. Это, так сказать, орудия дальнего действия, но рядом с ними должны жить в литературоведении и малые формы, средства массовых коммуникаций: этим задачам и отвечают книги в серии «Масовая историко-литературная библиотека», в которой уже вышли «Евгений Онегин» А. С. Пушкина» Г. Макогоненко, «Война и мир» Л. Н. Толстого» С. Бочарова, «Что делать?» Н. Г. Чернышевского» Н. Наумовой и другие. Не каждый читатель найдет время на большой научный труд, но книжку, которую можно положить в карман или в портфель, открыть в поезде, автобусе или в метро, прочтут многие. Поэтому, бесспорно, издание этой серии — дело благородное и весьма необходимое.

Драма Островского умело включена Костелянцем в атмосферу времени, когда она создавалась. В главе «Драматург, критика, театр, публика» содержится обширный и внутренне драматичный материал, показывающий, в каких сложных отношениях находился Островский к концу 70-х годов с публикой и критикой.

Лучшая, по мнению драматурга и его друзей, пьеса писалась четыре года с упорством и вдохновением, за это время Островский успел создать пьесы «Волки и овцы», «Богатые невесты», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Последняя жертва», но с «Бесприданницей» не торопился, отделяя ее самым тщательным образом. И именно эта пьеса, поставленная 10 ноября 1878 года на сцене Малого театра, провалилась, на нее обрушилась критика. Преуспевающий тогда Боборыкин писал о закате творчества Островского, о том, что он кончился как драматург, а в журнале «Дело» появилась статья под названием «Бессилие творческой мысли».

Новаторская по своему построению, сближавшаяся с романами Достоевского по сложности образов, по их углубленной социально-психологической трактовке, близкая к чеховским драмам, эта пьеса опережала время по охвату жизни, по тонкости раскрытия общественных противоречий. Она действительно была похожа на роман или повесть по усложненной композиции, по богатству и разветвленности смысловых связей второго плана и может считаться предшественницей чеховской драматургии. Боборыкин стоял близко к истине, когда писал, что Островский в «Бесприданнице» выступает художником эпического склада, а не драматургом. Только не осмыслив до конца своей же догадки, Боборыкин обернул ее критическим острием против драматурга. Можно согласиться с ним, что в пьесе «эпик потянул лямку драматурга». Но напомним: впоследствии Чехов, завершив «Чайку», напишет, что «вышла повесть... еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург»; написав «Трех сестер», он признается, что «пьеса сложная, как роман». Потом Горький, а еще позже Тренев не раз будут задаваться тем же вопросом: что вышло из-под пера — роман или пьеса, и как соотнести эпическое с драмой?

«Бесприданница», разумеется, оставалась драмой, но в ее облике не мог не сказаться широкий «романический» охват жизненного материала. Раньше, в «Грозе», тоже слышался этот эпический мотив, но он был включен в иные сцепления, служил конфликту более обнаженному, резче передающему самой структурой своей противостояние полярных сил в дореформенной России. Теперь жизнь осложнилась, конфликты сдвинулись в сферу психологии, утратив внешнюю «отчетливость».

Все это, конечно, известно автору книги. Однако он не всегда вводит читателя в круг обстоятельств, затруднявших понимание Островского его современниками. «Эпический» аспект «Бесприданницы», например, упущен исследователем. Думается, что вряд ли целесообразно было посвящать целую главу второстепенному и достаточно изученному вопросу о семантике имен персонажей, об отличии лирики от драмы и т. д.

Свежестью мыслей и наблюдений отличаются главы, в которых Костелянец основательно, с пониманием специфики драмы анализирует драматический конфликт «Бесприданницы», выявляет внутреннюю логику действия.

В «Бесприданнице» причудливо переплелись многие мотивы прежних пьес Островского с новыми, навеянными действительностью 70-х годов. Скажем, тема денег, с такой определенностью заявленная в заглавии и обычно доминирующая в других пьесах драматурга, здесь не является решающей.

Пореформенное время заявило о себе в драме не только прямым противоречием богатство — бедность, но и его «преломленными» формами. «В основе конфликта «Бесприданницы», — отмечает автор книги, — противоречивость сознания человека пореформенной эпохи. Ею определяется и поведение дворянина Паратова, не без мучительности превращающегося в дельца новой формации, и поведение типичных для нее дельцов, каковы Кнуров и Вожеватов. Противоречия времени сказываются и в поведении Робинзона — человека, опустившегося на «дно» жизни. С особенной силой проявляются они в стремлениях, в психологии, в поведении Карандышева и Ларисы. При всем том, что эти люди несоизмеримы по природной одаренности, по эмоциональным, душевным и духовным потенциям, оба они — каждый по-своему — испытывают воздействие «веяний» своего времени.

В приведенных строках — главный смысл концепции Костелянца, трактующей конфликт «Бесприданницы» как «нетипичный» для драматургии Островского. Сложность отношений, запутанность связей, переплетение социальных и психологических мотивов — все это, как справедливо считает исследователь, в этой драме сливается в конфликтность сознания, в такую степень духовной «раздерганности» героя, когда, скажем, блестящий дворянин Паратов психологически приближается к жалкому Карандышеву, а последний — к Робинзону.

Важнейшим в построении драмы становится принцип резких переходов от одного состояния к другому — от комических несоразниц и банальностей к трагическим потрясениям. Действие этого принципа, кото-

рый, кстати, войдет в практику чеховских драм, Костелянец прослеживает на протяжении всего анализа драмы.

Костелянец пишет о том, как складывается в пьесе момент катарсиса, потрясающего зрителя своей драматической силой. Верно отметив диалектику катарсиса, автор книжки настаивает далее на том, что «Бесприданница» — «пьеса «аристотелевского» театра и разительнейшим образом отличается от чеховских пьес, где и само развитие действия и его исход во многом не соответствуют требованиям, выдвинутым Аристотелем».

Здесь автор работы вряд ли прав. Дело в том, что эпический момент в драме, о роли которого Костелянец умалчивает, решительно увел ее от аристотелевских канонов. «Бесприданница» тем и значительна, что она образец антиаристотелевской драмы, что ее композиция свободна, близка к роману, что в ней на равных развиваются мотивы комедии, трагедии и даже трагикомедии (Карандышев, например, фигура трагикомическая).

С другой стороны, считая, что чеховские драмы — антиаристотелевские, Костелянец отрицает в них присутствие моментов «очищения». Высказав мысль о «полускрытых коллизиях» в пьесах Чехова, автор пишет, что в «Дяде Ване» и «Вишневом саде» нет «катарсиса, то есть переживаемого героями «очищения». Но катарсис в чеховских пьесах налицо, только он иного рода, чем в «Бесприданнице»: в «Дяде Ване» после выстрела Войницкого как раз и наступает для Сони, Астрова, Войницкого момент «очищения», но драматургически он выражен прежде всего через поэтику «подтекста».

В работе Костелянца есть немало спорных положений, однако сделанный им анализ «Бесприданницы» поучителен. Исследователь обнаружил множество подробностей, оставшихся прежде незамеченными, выступил против тех теоретиков, которые трактовали драму упрощенно.

Книга Костелянца вооружает театр новым отношением к драме Островского, развивает схемы и трафареты, сложившиеся вокруг «Бесприданницы» в теории и в сценической практике. Этим и определяется положительное значение книги.

В. ФРОЛОВ.



Политика и наука

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

К. С. Грушевой. Тогда, в сорок первом... М. Воениздат. 1974. 220 стр.

«Тогда, в сорок первом...» — так назвал свою книгу воспоминаний К. С. Грушевой, тогда секретарь Днепропетровского обкома партии, теперь генерал-полковник, член Военного совета ордена Ленина Московского военного округа. Автор видел войну от ее первого и до последнего дня. Ему — активному участнику Великой Отечественной войны — есть о чем рассказать читателю.

О войне написано много исторических, художественных и мемуарных произведений. Есть книги о ее первом, драматическом дне 22 июня 1941 года и ее последнем, радостном дне Победы 9 мая 1945 года. Разные даты войны, но это грани одного события — военного периода истории нашей родины. И хотя с тех пор прошло уже три десятилетия, интерес читателя к нему не ослабевает. Да это и понятно. Такое не забывается. И то, что пишут и рассказывают о ней участники войны, — ценнейшие свидетельства очевидцев, без знания и учета которых доподлинную историю войны не познаешь. Никакие архивные документы не могут заменить рассказов маршала и солдата, политработника и журналиста, партизана и разведчика — живых участников минувших событий.

В рецензируемой книге речь идет о том, как началась война на юге нашей страны, в Днепропетровске, как боролись с врагом коммунисты, рабочие, крестьяне, как они защищали свою землю, свою советскую власть в том многотрудном сорок первом году. Автор пишет об общей обстановке и о таких фактах и деталях, которые нам не были известны, но которые представляют интерес, так как, сопоставляя и сравнивая, что происходило в то же время на севере и западе нашей страны, мы можем прийти к определенным выводам в оценке положения, сложившегося в стране в первые дни войны.

1941 год... Один из самых драматических в ряду военных лет, год, положивший начало всенародному подвигу. С ним связаны воспоминания о тяжелейших для родины кризисных ситуациях, когда противник подходил вплотную к Ленинграду и Москве, когда напряжение борьбы неизменно обострилось и решалась сама судьба советского государства.

В мемуарной литературе, посвященной событиям сорок первого года, нередко концентрируется внимание на неудачах и просчетах и не всегда раскрывается в полной мере героика самоотверженной борьбы того периода. Главное ведь не в том, что в силу невыгодно сложившейся стратегической обстановки Советская Армия вынуждена была отступить в глубь страны (война есть война, в истории не существует войн, которые бы начинались и заканчивались одним наступлением), а в том, что Советская Армия в тяжелейших условиях борьбы выстояла под ударами сильнейшего противника, преградила путь агрессору, сорвала его план «блицкрига», нанесла ему тяжелейшее поражение под Москвой и тем самым заложила фундамент для грядущих великих побед. Величайшая организованность, воля, сплоченность, стойкость и вера в окончательную победу остановили фашистские полчища и поставили их перед катастрофой.

1941 год богат многими событиями. Уже тогда успех нашего вооруженного столкновения с ударными силами фашизма стал определяться не только военными делами, но и трудовым подвигом советского народа. Исход войны в равной степени зависел и от усилий фронта и от усилий тыла, от состояния резервов: людских, экономических, моральных.

В 1941 году мы доказали, что сильнее противника. В истории нет другого примера, когда бы государство, оказавшись в начале войны в таком сложном и таком трудном положении, одержало столь убедительную победу над коварнейшим и сильнейшим врагом. Этому в немалой степени способствовало то, что нам удалось быстро и эффективно перестроить всю экономику, всю свою жизнь на военный лад и превратить страну в единый военный лагерь. В 1941 году Советский Союз сделал то, что не под силу было сделать другому общественному и государственному строю.

Что привлекает в книге К. Грушевой прежде всего? Достоверность и простота рассказа об увиденном и пережитом. На примере работы обкома партии одной из крупнейших и развитых в промышленном и сельскохозяйственном отношении областей страны автору удалось правдиво показать мно-

гогранную деятельность партийных, советских и других организаций города и области в первые недели и месяцы Великой Отечественной войны, показать величие духа советского народа, с небывалой готовностью принявшего на себя и вынесшего все испытания, принесенные войной.

Нередко еще дело представляется так, будто мы не были подготовлены к войне, что она застала нас врасплох. Это неверное утверждение. В стране делалось многое, чтобы подготовиться к отпору агрессору. Это и позволило нам в конечном счете, несмотря на временные неудачи, склонить чашу весов в свою пользу. Страна готовилась к войне задолго до того, как заговорили пушки. «Мы, как и старшие товарищи, понимали,— пишет К. Грушевой,— времени в обрез, нас окружают враги, надо спешить, чтобы встретить новое нашествие во всеоружии. И мы успели сделать многое, очень многое! Партия подняла и вдохновила народ на великие свершения! Именно в конце двадцатых и в тридцатые годы трудом советских людей была заложена база нашей грядущей победы над немецким фашизмом, над его отлаженной и очень сильной военной машиной».

Факты, приведенные в книге, свидетельствуют о том, что и в Днепропетровской области делалось многое для укрепления обороноспособности страны.

С волением читаешь страницы, воссоздающие саму атмосферу тех дней — морально-политическую сплоченность советских людей, их патриотическую готовность защитить свое социалистическое государство от посягательств любых врагов. Хотя война пришла внезапно, круто изменила уклад жизни людей и с первых часов принесла неслыханные лишения и жертвы, паники и растерянности в советском народе она не вызвала. «Не вызвало это никакой паники и в Днепропетровской области,— замечает автор.— Мобилизация у нас разворачивалась по плану, переход предприятий на двухсменную работу прошел успешно, а перевод некоторых заводов и фабрик на выпуск военной продукции особых осложнений не принес».

Чем больше враг захватывал наших земель, чем жарче разгорались бои на фронте, тем крепче сплачивался советский народ, тем более выпукло проявлялись лучшие черты советских людей, беспредельно веривших, что этот смертный, но праведный бой с немецко-фашистскими захватчиками они выиграют.

Приведу эпизод из книги К. Грушевого.

В одну из ночей на Днепропетровск был совершен массированный налет фашистской авиации. В это время на трубопрокатном заводе имени Ленина как раз началась разливка стали. «Трубники» демаскируют город. Ответственный дежурный по заводу подтвердил, что из мартеновской печи идет выпуск сваренной стали и приостановить процесс невозможно.

— Не могу же я распорядиться, чтобы люди бросили работу! — кричал дежурный в трубку.— Да и кто меня послушает?

Примеры такого самоотверженного героизма вызвали восхищение товарища Л. И. Брежнева, работавшего в ту пору секретарем Днепропетровского обкома партии:

«Какой высокий боевой дух у нашего рабочего класса! Ведь вот на фронте неудачи, войска отступают, людям приходится работать по двенадцать и более часов в сутки, а у них ни обид, ни жалоб. И только одна дума — разбить врага...»

Когда в результате мобилизации на фронт ушли многие из тех, на ком держалась наша промышленность и сельское хозяйство, встали к станкам на заводах и фабриках, сели за руль тракторов и машин в колхозах и совхозах жены и сестры, сыновья и младшие братья ушедших воевать солдат. «Все для фронта! Все для победы!» — вот чем жили советские люди в том многотрудном и героическом году.

В книге К. Грушевого очень точно передана эта небывалая по энтузиазму и деловитости атмосфера, дана верная оценка тем, кто своим самоотверженным трудом приближал час победы. «Это были подлинные патриоты, люди величайшей духовной красоты и цельности,— пишет автор,— истинно советские люди, готовые отдать все силы во имя торжества великих ленинских идей, во имя свободы и счастья своего народа. Партия надеялась на них, и не напрасно».

Крутой поворот от мира к войне изменил содержание жизни всех, в том числе и тех, кто обязан был руководить работой в тылу, проводить в жизнь важнейшие директивы и указания центральных партийных органов и Советского правительства. Предстояло перевести страну на военные рельсы, добиваться обеспечения фронта необходимой военной продукцией, заниматься эвакуацией важнейших промышленных предприятий, колхозов и совхозов в глубокий тыл, многими другими неотложными делами.

Деятельность Днепропетровского обкома партии занимает центральное место в воспо-

минаниях К. Грушевого. Точными штрихами, деталями рисует автор обком военных дней. «От мирной, довоенной жизни нас отделяли еще не месяцы и не годы, а только недели, но уже казалось, что эта мирная жизнь осталась далеко-далеко... Здание обкома, с солдатскими койками, с озабоченными, по горло занятыми людьми в военной одежде, напоминало полевой штаб Действующей армии. Да обком и был таким штабом, а его огромной армией была вся область с ее мощными заводами и фабриками, с ее колхозами, совхозами, учреждениями и формирующимися воинскими частями».

Члены бюро обкома и ответственные работники обкомовского аппарата, свидетельствует автор, в те дни буквально дневали и ночевали на заводах, на фабриках, в колхозах и совхозах, ведя разъяснительную работу, направляя усилия коллективов на преодоление возникающих трудностей, помогая на месте решать сложнейшие вопросы, связанные с работой предприятий в новых, трудных условиях.

Настал момент, когда нужно было срочно эвакуировать в глубь страны промышленные предприятия. Это был величайший подвиг народа и беспримерное явление войны: из одного конца страны в другой перебрасывалось по сути целое государство. В книге К. Грушевого приведена сводка об эвакуации промышленности Днепропетровской области от 19 августа 1941 года. Только за две недели и только с правобережной части области в глубокий тыл отгнали 28 тысяч вагонов с промышленным оборудованием, различными товарами и зерном. Были эвакуированы такие крупные промышленные центры Днепропетровской области, как Кривой Рог, Днепродзержинск, Никополь, Марганец и другие.

Разными вопросами приходилось заниматься в то время обкому партии. Автор рассказывает, как по железным дорогам и по Днепру в Днепропетровск непрерывным потоком шли грузы, спасаемые от оккупантов, — сахар, крупа, мануфактура, соль, масло, консервы. На Нижнеднепровском железнодорожном узле и в речном порту города скопилось огромное количество различных товаров. Горы мешков, штабеля ящиков, груды бочек лежали под открытым небом. Транспорта для вывоза этих товаров почти не было. Им грозила гибель. Тогда родилось единственно правильное решение — распродать продукты и товары

населению по сниженным ценам, а часть запасов передать воинским частям.

Одним из главных достоинств книги является то, что, рассказывая читателям о многогранной и сложной работе Днепропетровского обкома партии в начальный период Великой Отечественной войны, автор нарисовал яркие, запоминающиеся образы тех, с кем ему тогда приходилось встречаться или работать рука об руку. Он знакомит нас с партийными и советскими руководителями области: Л. И. Брежневым, С. Б. Задюченко, П. А. Найденовым, Г. Г. Дементьевым, М. М. Кучмием, Н. А. Щелоковым и многими-многими другими. Как часто, говоря о роли Коммунистической партии в Великой Отечественной войне, мы не называем тех коммунистов, которые, в конечном счете, решали успех дела. Партия ведь не безлика. Она состоит из рядовых коммунистов, партийных активистов, руководителей. Если верно утверждение, что в нашей литературе о войне еще не показан в полную силу коммунист-боец, то с еще большим основанием можно утверждать, что и образ коммуниста-руководителя должным образом не отражен.

В книге К. Грушевого мы видим тех, кто руководил одной из крупнейших областей страны. Почти в самом начале войны ушел на фронт вместе со многими другими коммунистами секретарь обкома партии Л. И. Брежнев, став первым заместителем начальника политуправления Южного фронта. В первых числах августа он приехал из штаба Южного фронта в Днепропетровск.

«Те работники обкома, кто давно знал Леонида Ильича, — вспоминает К. Грушевой, — всегда ощущали его отсутствие. Порой очень не хватало его открытой улыбки, его оптимизма, его умения веселой шуткой поддержать товарища. Мы ценили эрудицию, исключительную работоспособность, партийную принципиальность Леонида Ильича».

И вот он снова был с нами. Такой же, как всегда, только одетый в военную форму, со знаками различия полкового комиссара. Загорелый, немного похудевший, стремительный, то и дело поправляя густые черные волосы, непокорно спадавшие на высокий лоб, Леонид Ильич радостно улыбался старым товарищам, на ходу пожимал руки, обнимал друзей, и только по темным кругам под глазами, по напряженности взгляда можно было догадаться, что за внешним спокойствием таятся озабоченность и тревога».

А вот еще эпизод — встреча автора книги

с Л. И. Брежневым уже в штабе Южного фронта в тот период, когда шли наиболее ожесточенные и кровопролитные бои. «На мой вопрос о положении дел,— пишет К. Грушевой,— Леонид Ильич, озабоченный и очень спешивший, ответил кратко: «Трудно. Держимся на пределе». Выглядел он плохо,— продолжает автор,— похудел, глаза покраснели от бессонницы, лицо не то загорело, не то потемнело от усталости. Пожав мне руку, он быстро подошел к машине, сел рядом с шофером, и тот с места набрал скорость...»

В различных ситуациях мы видим работников обкома. Они, естественно, отличаются друг от друга занимаемым положением, опытом, характером. Однако чем-то и схожи. Всех их связывает единство помыслов и дел, огромное желание сделать все для победы над врагом. «Делать все от тебя зависящее, чтобы способствовать победе над врагом» — таков был девиз каждого работника обкома. И не только девиз. Это была внутренняя потребность, высший долг и главное дело каждого обкомовского работника.

В книге рассказано и о создании обкомом партии подполья, партизанских отрядов, а также о деятельности партизан и подпольщиков Днепропетровщины. Небогатая густыми, труднопроходимыми лесами или непролазными болотами, область стала все же, как и вся другая территория, захваченная врагом, ареной активной партизанской борьбы. Она велась здесь главным образом в городах и других населенных пунктах, ее основной силой были подпольщики, а основным орудием — диверсии и саботаж. Земля Днепропетровщины, как замечает автор, буквально горела под ногами у гитлеровских оккупантов. Мужественные патриоты-днепропетровцы, патриоты других городов действовали решительно и смело — они взрывали немецкие комендатуры и склады боеприпасов, пускали под откос воинские эшелоны, уничтожали фашистских солдат и офицеров, проникали в гитлеровские штабы, распространяли листовки и воззвания.

В схватках с врагом партизаны и подпольщики потеряли многих верных сынов и дочерей родины. Но это не смогло сломить воли советских патриотов. Нарастая, партизанская борьба продолжалась до часа полного освобождения области.

Трагично и сильно даны последние часы жизни секретаря Днепропетровского подпольного обкома партии Николая Ивановича

Сташкова. Гестапо напало на след подпольного обкома, организовало настоящую охоту за Сташковым, разослав своих агентов во многие города Днепропетровщины. Им удалось выследить его и схватить. Тяжело раненного Сташкова жестоко избивали. Гестаповцам пришла в голову бредовая мысль: подкупить Сташкова, попытаться привлечь его к сотрудничеству с оккупантами. Жестокие пытки не сломили волю советского патриота. Не добившись ничего, гестаповцы расстреляли Сташкова. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Думается, что наша художественная, да и документальная литература еще в долгу перед читателем, ждущим новых, ярких произведений о героях прошлой войны. Разве образ секретаря Днепропетровского обкома Николая Ивановича Сташкова не достоин быть запечатленным в книгах, кинофильмах? Разве не в этом реальном человеке отразились типические черты истинного коммуниста и советского патриота?

Важнейшим итогом деятельности партизан-подпольщиков и населения Днепропетровской области был срыв военных и экономических мероприятий гитлеровцев. Не работал Днепротгэс, стояли потухшими домны, замерла жизнь в шахтах. Было радостно сознавать, пишет К. Грушевой, что пламя всенародной борьбы, зажженное партией, разгоралось на Днепропетровщине в полную силу и ширилось, заставляя гитлеровцев дрожать от страха. В пламени этой борьбы сгорали все планы оккупантов, гибли все их усилия покорить советских людей, заставить их смириться с установленным порядком, заставить работать на «третий рейх».

Днепропетровщина, как и вся временно оккупированная советская земля, не покорилась врагу. Рассказывая о сорок первом годе как о времени самых больших испытаний для народа и партии, как о периоде самой суровой проверки их жизнеспособности, К. Грушевой сумел найти форму в небольшой по объему книжке, передать главное — как в то тревожное военное время цементировались, удесятерялись силы рабочего класса и крестьянства, как стирались грани фронта и тыла, как коммунисты — авторитет и авангард народа — организовали борьбу, находились на ее передовых позициях, боролись и побеждали.

П. ЖИЛИН,
генерал-лейтенант.

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР-ЛЕНИНЕЦ

Георгиев Димитров. Биографический очерк. Перевод с болгарского. М. Политиздат. 1973. 271 стр.

Георгиев Димитров — выдающийся революционер-ленинец. М. Политиздат. 1974. 341 стр.

Георгиев Димитров. О литературе, искусстве и культуре. Перевод с болгарского. М. «Прогресс». 1972. 271 стр.

Он навсегда останется живым и истинным примером и уроком в борьбе народов за свободу.

Долорес Ибаррури.

Тридцать лет назад в Болгарии победила социалистическая революция. Пал монархо-фашистский режим, власть перешла в руки народа. Величайшая победа явилась результатом длительной, кровопролитной и упорной борьбы трудящихся под руководством коммунистов. Возглавлял эту борьбу Георгий Михайлович Димитров.

Мне посчастливилось прожить в Болгарии несколько лет. Я проехала ее из конца в конец — и не один раз; побывала в самых глухих ее уголках. И с кем бы ни довелось беседовать — и с боевыми друзьями Георгия Димитрова и его соратниками, со старейшим коммунистом Йорданом Милевым, с народной героиней Цолой Драгойчевой, с отважным генералом Иваном Михайловым, с профессором философии Кириллом Василевым, с шахтером из Перника Митко Недевым, с замечательной поэтессой Елисаветой Багряной — все мои собеседники с чувством глубочайшей любви и с восторгом говорили о Димитрове.

Вспоминается старинное болгарское село Драговищица, славящееся вишневыми садами. На деревянной скамейке возле дома сидит молодая женщина. Ее спокойное лицо хранит черты былой красоты. Глаза следят за движениями рук, занятых вязанием. Девять сынов и дочерей было у Дуны. Шестеро из них участвовали в освободительной борьбе болгарского народа против фашизма и реакции. Мужественно помогала им старая партизанская мать. «Я хотела, — говорит она мне, — чтобы сыны и дочери мои были похожи на Димитрова. Провожая их на борьбу, сказала: будьте такими же смелыми и отважными, как наш Георгий».

...Просторная заводская площадь. Сегодня утром пущена первая очередь азотно-тукового завода близ города Стара Загора, одной из крупнейших строек социалистической Болгарии. Рабочие Атанас Семеонов, Михаил Методиев, Герман Желязков и их товарищи пришли на торжество в праздни-

но-приподнятом настроении. Наша беседа — о стройке, но имя Георгия Димитрова на устах у всех. Он поистине присутствует на празднике, радуясь вместе со всеми успехам социалистической Болгарии.

Димитров — сын болгарского народа. Но с его именем связана целая полоса в истории всего мирового революционного движения. Лейпцигский процесс, VII конгресс Коминтерна, его блестящий доклад о единстве рабочего класса в борьбе против фашизма. Он неустанно сражался с враждебными ленинизму оппортунистами разных мастей в мировом коммунистическом движении. Был депутатом Верховного Совета СССР. Плечом к плечу с нами шагал в тяжелые годы войны...

Плеханов как-то заметил, что «великий человек является именно начинателем, потому что он видит дальше других и хочет сильнее других». Одним из таких начинателей в истории нашего столетия был и Георгий Димитров. Как и многим коммунистам, ему пришлось идти новыми путями, открывать новые истины, бороться за утверждение их не на жизнь, а на смерть. Именно поэтому так неиссякаем интерес читателей к жизни и деятельности Димитрова. Только за последние годы в Советском Союзе вышло около двух десятков книг, посвященных великому сыну болгарского народа. Это и произведения самого Георгия Михайловича, и материалы Лейпцигского процесса, и теоретические труды, и рассказы для детей, и воспоминания о нем. Дополняя друг друга, материалы воссоздают правдивый и незабываемый образ выдающегося революционера-ленинца. Остановлюсь несколько подробнее на трех недавно вышедших книгах.

Увлеченно и ярко написан биографический очерк «Георгий Димитров» болгарскими авторами Веселином Хаджиниколовым, Давидом Елазаром, Добрином Мичевым, Любомиром Панайотовым и Петрой Раденковой. Книга вышла в Болгарии в

1972 году, а в переводе на русский язык в 1973 году.

На большом документальном материале, ранее не известном читателям, на фоне крупнейших социальных и политических событий нашего времени авторы показали трудный и сложный путь профессионального революционера.

Поистине героическая жизнь! Дважды фашистские власти выносили Димитрову смертный приговор. Долгие годы в одиночных камерах фашистских тюрем, руки — в цепких клещах наручников, постоянный голод и холод каменных казематов. Медленно надвигающаяся болезнь. Изгнание. Мучительная тоска по родной земле. И где бы он ни был — сверхчеловеческий труд, беспримерный труд начинателя, посвятившего всю жизнь борьбе за счастье людей.

Важнейшие вехи на этом пути: первое в мире народное антифашистское восстание в сентябре 1923 года в Болгарии (Г. Димитров руководил им вместе с В. Коларовым); мужественный поединок с фашистским зверьем на Лейпцигском процессе в 1933 году, когда имя Димитрова поистине стало легендарным и облетело весь мир; напряженная деятельность в качестве Генерального секретаря Коминтерна; возвращение на родину в 1945 году после двадцати двух лет изгнания.

В чем же была сила неутомимого борца?

Сам Георгий Димитров, отвечая на этот вопрос в беседе с рабочими Московского завода имени В. В. Куйбышева, сказал: «У меня была уверенность и сила рабочего класса, вера в учение марксизма-ленинизма, я незыбимо чувствовал в себе и около себя всю силу и авторитет Советского Союза и всего международного рабочего класса, и все это, вместе взятое, вселяло в меня эту уверенность».

Выходец из рядов рабочего класса, тесно связанный с ним на протяжении всей своей жизни, Димитров сочетал в себе лучшие его черты. Обладая глубоким интеллектом, редким трудолюбием и настойчивостью, замечательными качествами руководителя, отмечают авторы, он оказывал неотразимое воздействие на своих современников. Эта мысль убедительно раскрывается и в другой из рецензируемых книг — «Георгий Димитров — выдающийся революционер-ленинец». В ней опубликованы материалы научной конференции советских и болгарских ученых, посвященной

девяностолетию со дня рождения Димитрова. В одном из них говорится:

«Г. Димитров по своим личным качествам с исключительной полнотой отвечал требованиям коммунистического деятеля эпохи пролетарских революций и строительства социализма. Димитров был революционером ленинского стиля по призванию и политическому воспитанию, по образованности и творческому владению ленинизмом, по связи с массами и неистовой страстности в борьбе за дело социализма, по умению связывать теорию с практикой и выработанной в жесточайших классовых схватках пролетарской принципиальностью».

Верный ученик и последователь В. И. Ленина, Димитров досконально и глубоко знал ленинизм, творчески его использовал, развивал и обогащал при решении новых задач классовой борьбы. И в этом еще один, и притом важнейший, источник его силы, уверенности в правоте своего дела, его неотразимого воздействия на современников, жизненности и актуальности его взглядов сегодня. «Я,— говорил Г. Димитров,— советовался с Лениным в ходе многочисленных классовых битв с врагом в Болгарии, советовался с ним, сидя в тюрьме и сражаясь с фашизмом на Лейпцигском суде. Я советовался с ним, когда волею коммунистических партий был поставлен во главе Коминтерна. Я каждый день советуюсь с Лениным в настоящее время, когда революционное, освободительное движение становится шире и глубже, когда все новые народы активно борются за новую жизнь и перед коммунистами встали десятки и сотни новых задач».

Димитрову посчастливилось беседовать с Лениным. Встреча великого учителя и его верного ученика и последователя воспроизводится в биографическом очерке на основе сохранившихся архивных документов. Это происходило в конце января 1921 года. Димитров рассказал Владимиру Ильичу о больших успехах БКП, о подъеме народных масс Болгарии. Ленин внимательно слушал его. Но когда Димитров заявил, что БКП готова взять власть в свои руки, Ленин прервал его и посоветовал не увлекаться. Реакционные силы в Болгарии все еще были мощными, а партия еще не подготовлена к захвату власти.

В. И. Ленин хорошо знал, что верные пролетарскому делу марксисты, с восторгом принявшие победу Октябрьской революции,

горят желанием последовать примеру русских рабочих и крестьян в своих странах. Но, увлекаясь, они подчас забывали важнейшую сторону революционной тактики — необходимость трезво оценивать соотношения классовых сил и существующие объективные условия. Вот почему Ленин настаивал на том, что нельзя увлекаться целью, для достижения которой условия еще не созрели, а нужно сосредоточить внимание на укреплении своей партии в качестве революционного авангарда, заняться организацией молодого рабочего класса Болгарии. Одновременно с этим болгарские коммунисты должны были укреплять союз между рабочими и крестьянами. Димитров впоследствии неоднократно возвращался к этим мыслям Владимира Ильича. Ленин выразил удовлетворение деятельностью БКП и ее успехами в пропаганде марксизма. Он посоветовал партии расширять свое влияние в армии и тщательно готовить опытные и преданные кадры. Встреча с Лениным оказала огромное воздействие на Димитрова.

Пролетарский интернационализм неразрывно сочетается с подлинным патриотизмом. Один из выдающихся вождей международного пролетариата, Георгий Димитров страстно, горячо, до самозабвения любил свою родину — прекрасную Болгарию. Взволнованные слова истинного патриота-интернационалиста в защиту своей родины и своего народа прозвучали в его знаменитой заключительной речи на Лейпцигском процессе 16 декабря 1933 года. Перед фашистским судом он взял под защиту честь и достоинство своего народа, который на процессе называли «диким» и «варварским».

«Народ, который 500 лет жил под иномземным игом, не утратив своего языка и национальности, наш рабочий класс и крестьянство, которые боролись и борются против болгарского фашизма, за коммунизм, — такой народ не является варварским и диким. Дикари и варвары в Болгарии — это только фашисты. Но я спрашиваю вас, господин председатель: в какой стране фашисты не варвары и не дикари?» Председательствующий попытался прервать его: «Вы ведь не намекаете на политические отношения в Германии?» «Конечно, нет, господин председатель... — иронически ответил Димитров. — Я протестую против нападков на болгарский народ. У меня нет основания стыдиться того, что я болгарин.

Я горжусь тем, что я сын болгарского рабочего класса».

Горячо и преданно любил Димитров и свою вторую родину — Советский Союз. Стали поистине крылатыми его слова о том, что для болгарского народа «дружба с Советским Союзом так же жизненно необходима, как солнце и воздух для всякого живого существа». И еще: «Наш исторический путь — в любых условиях идти рука об руку, в постоянной нерушимой дружбе с великим русским братом — с Советским Союзом. В этом наше спасение. В этом наше счастливое будущее как нации». И сегодня в мировом коммунистическом движении стали уже аксиомой его слова о том, что самым верным критерием действительного интернационализма, критерием того, кто друг и кто враг освободительного дела пролетариата, кто искренний противник войны, является отношение к КПСС и Советскому Союзу. История не раз доказывала, подчеркивают авторы биографического очерка, насколько был прав Димитров, когда основным критерием действительного интернационализма называл отношение к Советскому Союзу. Эта его мысль стала важным, непоколебимым принципом международного коммунистического и рабочего движения, все, кто искренне борется против империализма, в защиту мира во всем мире.

В новых книгах о Георгии Димитрове убедительно показано, что на протяжении всей своей жизни он был непоколебим в борьбе против национализма и шовинизма, в борьбе за отстаивание принципов пролетарского интернационализма в политике и практике коммунистических партий.

О. В. Куусинен вспоминал: «...убежденность в победе социализма сочеталась у Димитрова со страстной революционной активностью. Он не ожидал, что победа социализма придет сама собой... Димитров всегда стремился к непрестанной активности, к решительной борьбе за победу, за приближение часа победы».

Возвратившись после двадцатидвухлетней разлуки на родную землю, Димитров становится руководителем строительства социализма, смело и уверенно ведет болгарский народ и партию по ленинскому пути. «Для Болгарии, — пишет первый секретарь ЦК БКП товарищ Тодор Живков в статье «Бесценный национальный капитал», — было счастьем, что в те бурные годы партию и государство возглавлял такой

испытанный и мудрый руководитель, каким был Георгий Димитров». Важнейшей вехой в этот период его деятельности является V съезд Болгарской коммунистической партии, на котором Г. Димитров выступил с Отчетным докладом ЦК партии. Он охарактеризовал сущность и особенности народно-демократического государства, остановился на путях и методах строительства социализма не только в Болгарии, но и в других странах народной демократии.

В книге «Георгий Димитров — выдающийся революционер-ленинец», где подробно анализируется доклад Димитрова на V съезде БКП, подчеркивается, что Димитров сделал значительный вклад в творческую разработку и развитие теоретических проблем, связанных с борьбой за социализм.

Исследование теоретического наследия Г. Димитрова — одна из серьезных задач историков и философов, изучающих творческое развитие марксистско-ленинской мысли.

Книга в целом представляет собой коллективное научное исследование о Димитрове и, думается, привлечет большое внимание общественности. В ней на основе богатейшего исторического фактического материала, многочисленных архивных документов (некоторые из них опубликованы впервые) раскрывается образ Георгия Димитрова как выдающегося теоретика, его вклад в разработку сложнейших проблем борьбы за мир, демократию и социализм в современную эпоху. Авторы подчеркивают жизненность и актуальность взглядов Димитрова в наши дни. Эта книга — результат большого, самоотверженного творческого труда ученых, яркий пример плодотворного научного сотрудничества между народами братских стран.

П. Тольятти вспоминал, что Димитров никогда не был педантом. Он не принадлежал к числу тех, кто начинает свою речь с цитаты, кичится книжной эрудицией, стремится воспользоваться точкой зрения десятков и сотен утверждений, уже высказанных другими при иных обстоятельствах. Его мысль была основана на глубокой культуре, глубоком непосредственном знании классиков марксизма, произведения которых он изучал и обдумывал. «Димитров знал Гёте и Данте так же, как Карла Маркса, Гейне и Вольтера, как Ленина. Эти титаны, — читаем мы, — питали его дух, и мы, его соратники и друзья, не удивлялись,

когда видели на его столе в дни напряженной работы вместе с текстом какой-либо резолюции том Ариосто или последний роман, только что изданный в Париже. Он был наглядным примером, живым образцом новой, социалистической культуры, в которой представлены все великие достижения и завоевания прошлого». Те, кто знал Димитрова, всегда отмечают, как глубоко и всесторонне он знал и любил литературу и искусство.

Читателям «Нового мира», видимо, интересно познакомиться с мыслями Г. Димитрова о литературе и искусстве. Он был связан и лично знаком со многими деятелями мировой культуры, живо интересовался повседневной их жизнью. Наши болгарские друзья проделали кропотливую работу, собрав воедино многочисленные письма, выступления, высказывания Георгия Димитрова по этим вопросам. В 1972 году сборник «Георгий Димитров. О литературе, искусстве и культуре» был издан у нас в переводе с болгарского языка. В книге можно найти письма Георгия Димитрова Ромену Роллану, Анри Барбюсу, Марселю Виллару, С. Маршаку, письма артистам, художникам, деятелям культуры и просвещения, учащимся и студентам, беседы Георгия Димитрова с писателями-коммунистами, его речь в Великом народном собрании, посвященную Болгарской Академии наук, письмо в редакцию журнала «Философска мисъл» и многие другие документы. Поражает необычайно широкий диапазон и глубина познаний Димитрова в сфере искусства и литературы. Он указывает на необходимость для писателей, художников и других деятелей искусства, культуры и просвещения глубоко изучать жизнь, следить за борьбой нового со старым, осознавать и осмысливать новые явления с позиций марксистско-ленинского учения. Димитров подчеркивал, что искусство должно служить человечеству, делу его освобождения от социального и духовного гнета, неоднократно проводил мысль о ленинском принципе партийности литературы и искусства.

В письме Союзу болгарских писателей 14 мая 1945 года он пишет: «Наш народ нуждается, как в хлебе и воздухе, в подлинно народной художественной литературе, в такой литературе, которая своей высокой правдивостью и глубокой эмоциональностью будет повышать культурный и идейный уровень, будет развивать преданность

и любовь к народу и родине, будет усиливать ненависть к фашизму и ко всем врагам народа, будет бичевать все гнилое и разлагающее здоровый организм народа (паразитизм, вульгарный карьеризм и мелкое эгоистическое политиканство), будет очищать болгарский воздух от миазмов великоболгарского шовинизма и всякого мракобесия, будет распространять любовь к подлинной науке, будет поощрять героические подвиги в области труда и культуры, в борьбе за защиту свободы и прав народа, будет воспитывать чувство славян-

ского единства, международной солидарности и вечной дружбы с нашим освободителем, великим советским народом».

Выход в свет новых книг о Георгии Димитрове — большое событие в нашей общественно-политической и культурной жизни, свидетельство крепнущей дружбы братских народов Болгарии и Советского Союза. Советские читатели получили новую возможность ближе и полнее познакомиться с жизнью и теоретическим наследием Георгия Димитрова.

Клара БРЮХАНОВА.



НАУКА УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ

Основные принципы и общие проблемы управления наукой.
М. «Наука». 1973. 320 стр.

О возрастании роли науки, об усилении ее связей с производством, образованием, культурой написано немало. Наука, не вызывавшая прежде заметных общественных эмоций, стала в последние годы объектом всеобщего внимания. Интерес к изучению закономерностей ее функционирования и развития повысился весьма заметно. Видимо, не будет преувеличением назвать наше время эпохой самопознания науки.

При всем внимании к исследовательским проблемам трудные пути познания не стали прямее и глаже. Движение по ним, как и прежде, происходит всегда в первый раз. Притом путей становится все больше, множится число разветвлений, пересечений, стыков. Ускоряются процессы дифференциации и интеграции наук, небывало усложняется структура научной деятельности. Все более трудные задачи встают перед организаторами науки.

Пока еще интуиция многоопытных рулевых позволяет избегать критических ситуаций. Но уже сегодня происходят весьма обидные случаи, когда крупные силы исследователей растрачиваются на второстепенные задачи, когда авангардные отряды ученых проходят мимо перспективных направлений, пропускают повороты, ведущие кратчайшим путем к основной цели. Нередко мобильные в прошлом контингенты исследователей становятся слишком тяжеловесными и не могут своевременно набрать нужную скорость. Все это заметно снижает эффективность деятельности ученых.

Неизбежность перехода к научно обоснованным методам организации и управления

наукой становится очевидной. Актуальность проблемы определяется еще и тем, что в развитии познания наступает качественно новый этап — переход от экстенсивных форм научной деятельности к интенсивным. Возникает генеральная задача управления наукой: необходимо обеспечить такую динамику развития, чтобы рост результативности исследований опережал довольно быстрый рост затрат на науку.

Решение этой задачи возможно лишь на государственном уровне. И не приходится удивляться, что проблемы научной политики все чаще фигурируют в правительственных документах, обсуждаются на самом высоком уровне, становятся объектом изучения социологов, ученых, экономистов. Весомый вклад в решение этого круга проблем вносит коллективная монография группы видных ученых и организаторов науки, изложивших основные принципы советской политики в области науки и общие вопросы организации научных исследований в СССР.

Книга открывается главой о разработке В. И. Лениным основ научно-технической политики Советской республики. Истоки государственного руководства развитием науки и техники — в ленинских принципах управления, в практической деятельности Владимира Ильича. Соединение и взаимодействие науки, техники и производства — в этом видел Ленин главную предпосылку экономического преобразования страны. Необходимо, считал он, «чтобы наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной фразой... чтобы наука действительно входила в

плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне и настоящим образом»¹.

Ленин выдвинул важнейший принцип государственной политики в области науки — принцип планирования, который стал также основополагающим в развитии всего народного хозяйства страны. Беспрецедентной в истории оказалась и личная роль Председателя Совнаркома в реализации многих научно-технических начинаний. Достаточно вспомнить, сколь значительную помощь оказал Ленин ученым в организации разведочных работ на Курской магнитной аномалии, в развитии радиотелефонной связи, конструировании тепловозов, механизации добычи торфа, освоении богатств Карабугаза, разведке ухтинской нефти, освоении Арктики.

Заняв видное место в народном хозяйстве, наука вызвала к жизни новые общественные взаимосвязи. Возникла система государственных органов, финансирующих и определяющих темы научных исследований, организующих осуществление наиболее крупных и важных исследовательских проектов. Государство выступает как участник и организатор науки, оно авансирует капиталовложения, берет на себя убытки, планирует прибыли. Изменилось и положение исследователей. Теперь это не узкая каста «избранных», а представители массовой профессии, вносящие свой весомый вклад в создание национального богатства.

Наука стала крупнейшим материальным и человеческим комплексом, одной из тех «больших систем», поведение которых в значительной мере определяется поведением людей, входящих в эти системы. Однако если проблемы управления технологическими процессами и техническими объектами разработаны довольно глубоко и детально, имеют солидную научную базу, то управление большими системами пока более искусство, чем наука.

Как подвести под управление ими научный фундамент? Как избавиться от субъективных оценок и действий? Как освободиться от груза устаревших традиций и методов?

Один из эффективных путей — реализация «формулы успешного управления». В книге она представлена как последовательная совокупность управляющих действий: «знают—могут—хотят—успевают».

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 391.

Кажется, все просто и естественно. По логике вещей так и должно быть. Увы, одно только формулирование цели («знают что»), а тем более путей ее достижения («знают как») — сложная и многогранная проблема. Слишком часто цель формулируется в общем виде, по принципу «нужно, чтобы все было хорошо», без глубокого изучения вопроса, без рассмотрения его в перспективе и без сопоставления с ожидаемым прогрессом в других областях науки, в других странах. Не используются известные (к примеру, эвристические) методы формулирования целей. Второе звено цепочки — «могут» — часто не срабатывает из-за недостаточной обеспеченности ресурсами (финансовыми, материальными, людскими). Тормозом становится и нечеткость в принятии решений, связанных со структурой управления, взаимной подчиненностью людей и распределением функций между ними.

Системный подход к принятию решений требует максимального взаимодействия звеньев. К сожалению, немало фактов свидетельствует об обратном. Так, по расчетам некоторых специалистов, каждый рубль вложений в исследования и разработки дает 1 рубль 45 копеек прироста национального дохода. Прирост же от обычных капиталовложений составляет около 40 копеек на рубль. Таким образом, затраты на науку почти в 3,5 раза эффективнее, чем иные капиталовложения! Целесообразность хотя бы частичного перераспределения средств очевидна. Но срабатывает психологический фактор. Иные планово-финансовые работники, определяющие роль звена «могут», традиционно привыкли относить науку к накладным расходам, забывая об ее исключительной доходности. Конечно, сразу и резко увеличить ассигнования на науку невозможно. Но вполне разумно обеспечить опережающее развитие науки с годовым темпом роста ассигнований порядка 15—20 процентов. При этом уже через пять—десять лет будет достигнуто оптимальное распределение средств.

Практика «пропорционального» планирования приводит к тому, что такие отрасли, как приборостроение, вычислительная техника, производство средств сбора и обработки информации, развиты у нас далеко недостаточно. Психологически это объяснимо: информация по существу своему нематериальна и на ее развитие привыкли выделять минимальные средства. Между тем приборы и средства автоматизации,

обеспечивая точное соблюдение технологических процессов, значительно повышают качество продукции. За счет этого можно получить необходимый потребительский эффект, затратив средств в 3—5 раз меньше, чем при ставке только на количественные показатели.

Аналогичное положение и в ряде других отраслей. Например, в строительстве. Авторы книги показывают, что, если уменьшить количество одновременно возводимых строек в 2 раза, общее число готовых объектов за пятилетку значительно возрастет — прежде всего за счет упорядочения дела, лучшего обеспечения ресурсами, снижения нагрузки на промышленность и проектные организации.

Третье звено в «формуле успешного управления» — «хотят». С ним связана проблема стимулов, которые чрезвычайно важны при управлении большими системами. Важнейшие виды стимула: поощрение, связанное с приобретением моральных или материальных благ, и противоположный ему — опасение наказания за плохую работу. Формирование эффективной системы стимулов — серьезнейшая научная проблема, которая у нас пока еще слабо решена. Биологическая природа человека такова, что ощущение от одного и того же воздействия притупляется — будь то удовольствие или неприятность. Человек, привыкая к этим ощущениям, перестает на них реагировать, поэтому система управления обязательно должна предусматривать постоянно возобновляемые стимулирующие факторы. Без этого человек начинает, как говорят специалисты, «минимизировать функции своего труда».

Планирование и управление должны безошибочно учитывать количество и качество труда. Это создает правильный управляющий стимул: работники будут «хотеть» то, что нужно и выгодно всему обществу.

Исключительную актуальность приобретает звено «успевают». Речь идет об ускорении работы, о цене времени. Всегда ли ясно, сколько стоит потерянное время? Часто ли его считают? Если обратиться только к некоторым потерям, связанным с омертвлением научно-технических идей, появятся многозначные цифры. Примеров такого рода в книге немало, они подсказывают необходимость серьезнейшего подхода к фактору времени.

Те исследования, на которые раньше было

естественно тратить десятилетия, теперь необходимо проводить за годы. Принцип «лучше позже, чем никогда» почти повсеместно заменен в науке требованием «или своевременно, или нецелесообразно». С большой степенью вероятности можно утверждать, что если исследователи не получили своевременно нужный результат или общетеоретические разработки не были вовремя подхвачены специалистами прикладной науки, то вскоре те же результаты или те же идеи будут получены и применены учеными других стран. В этом случае все необходимые сведения можно получить, уже не затрачивая деньги на исследования, из мировой научной литературы. Если же речь идет о прикладной разработке, ее можно приобрести в виде лицензии на оборудование или технологию.

С другой стороны, достаточно сократить срок реализации научно-технической идеи, равный во многих случаях восьми (и даже двенадцати) годам, на три-четыре года, и в 1975 году можно будет применять идеи не 1967, а 1971 года. Как показывают расчеты, более новые идеи оказываются гораздо прогрессивнее прежних, они способны обеспечить восьмипроцентный прирост производительности труда и увеличение национального дохода на десятки миллиардов рублей.

Проблемы научной политики тесно переплетаются со многими социальными, экономическими и организационными проблемами развития общества. К тому же они нередко требуют взаимодействия и сочетания противоречивых факторов и подходов. Скажем, централизация руководства наукой должна гармонически сочетаться с самостоятельностью научных коллективов, максимальным поощрением их творческой инициативы. В промышленности стремление к всемерной стандартизации и унификации узлов, деталей, производственных процессов является выражением прогресса. В науке жесткая унификация — хотя бы только структуры научных коллективов — уже содержит в себе отрицательные моменты: снижает их подвижность, а значит, производительность. Унификация же мнений вообще противопоказана науке и ничего, кроме вреда, ей не приносит.

Немалые трудности представляет сочетание гибкости и стабильности в организации научных учреждений, реализация проблемного принципа в их структуре, постоянное творческое омоложение научных коллективов, преодоление застойности. В числе от-

ветственных задач научной политики — определение правильных соотношений фундаментальных и прикладных исследований и разработок, обеспечение непрерывности научно-исследовательского цикла, планирование науки на базе долгосрочных прогнозов.

В книге рассматриваются разные аспекты этих проблем. Интересны главы, посвященные взаимодействию науки и производства в СССР, эволюции развития науки. Ряд материалов сопровождается схемами и диаграммами, в которых наглядно показаны преимущества тех или иных форм организации науки, систем планирования, поисков путей к решению научных проблем и тому подобное. Представлена даже схематическая «модель механизма национальной научной политики», в которой отражены функциональные связи разных частей государственной системы управления наукой, состав и направление информационных потоков, сферы деятельности законодательной и исполнительной власти.

В последние годы приобрел актуальность вопрос о территориальном разделении труда в науке. Закономерно внимание, которое уделено ему в книге: от того, насколько рационально размещены научные центры и организации на огромной территории страны, во многом зависит эффективность исследований. Конечно, изучение сейсмического режима и прогнозирование землетрясений ведутся наиболее интенсивно в Туркмении и Узбекистане, а разработка вопросов глубокого и сверхглубокого бурения нефтяных скважин — в Азербайджане. Но почему все основные исследования по физике твердого тела сосредоточились лишь в пяти республиках? Почему в Армении к числу основных относятся проблемы астрофизики, механики, биохимии, фармакологии, а в Латвии — теория вероятности и математическая статистика, проблемы кибернетики и физика полупроводников? Эти вопросы требуют глубокого изучения, ибо в современной науке ссылки на традиционную ситуацию («так было, так есть») выглядят не слишком убедительно.

Несколько глав книги посвящено принципам организации научных исследований в

промышленности, в высших учебных заведениях, в системе Академии наук. Для последней киевские науковеды и кибернетики разрабатывают систему УПРАН (Управление Академией наук). Система ориентирована на широкий диапазон: от Госкомитета по науке и технике и Президиума АН до научно-исследовательских институтов. УПРАН представляет собой часть государственной автоматизированной системы управления, она призвана содействовать решению задач, наиболее типичных для процессов управления наукой. Создатели УПРАН следуют принципу «идти от стратегии». Это значит ориентироваться на долгосрочные стратегические установки научной политики, будь то вопрос о кадрах, материальном обеспечении науки или о структуре учреждений.

Естественно, что в книге, подготовленной большим коллективом авторов, не все равнозначно. Если проблема технического обеспечения исследований рассмотрена глубоко и всесторонне, то вопрос о динамике и структуре научных кадров дан больше в информационном, статистическом плане, притом анализ задач в области кадровой политики представляется весьма поверхностным. Главы, посвященные организации научных работ в отраслях народного хозяйства, перегружены множеством констатирующих сведений, которые более уместны в ведомственных циркулярах, положениях о том или ином учреждении. Описательность здесь доминирует над анализом.

Однако это частные огрехи. В целом монография успешно выполняет те задачи, которые ставили перед собой авторы. Литература о науке управления пополнилась интересной работой, которая впервые раскрывает принципы управления современной наукой — всеми ее звеньями, обобщает многолетний опыт, накопленный в этой области, формулирует актуальные проблемы научной политики. Обычно такие монографии служат своего рода стартовой площадкой и хорошим побудительным импульсом для новых научных исследований.

А. ПАРХОМЕНКО,

доцент, кандидат технических наук.



ДРЕВНЕЙШЕЕ ПРОШЛОЕ ЕВРОПЫ

А. Л. Монгайт. Археология Западной Европы. В двух книгах. М. «Наука». 1973—1974.

В конце прошлого года вышла в свет монография А. Л. Монгайта «Археология Западной Европы. Каменный век». Не-

давно на прилавках книжных магазинов появилась вторая часть монографии — «Бронзовый и железный века».

Хорошо известно, что археологические исследования, развернувшиеся во всем мире за последние сто лет, позволили с большей достоверностью, по-новому представить ранние этапы истории человечества. Благодаря раскопкам восстановлена история древнего Египта, Шумера, Ассирии, Хеттского царства и других ранних цивилизаций в Азии и Африке. О некоторых из них ученые начала XIX века вообще ничего не знали, о других довольствовались отрывочными полуполюгендарными сведениями. Был открыт и огромный дописьменный период истории — каменный век, эпоха, когда человечество почти в буквальном смысле заложило первые камни в фундамент цивилизации.

Об этих выдающихся открытиях в наши дни возникла обширная литература. Однако большинство вышедших у нас изданий касается Древнего Востока, Африки, Америки и лишь очень немногие — территории Европы. Древнему Египту, например, посвящены переводные книги А. Лукаса, Ж.-Ф. Лауэра, М. Гонейма и оригинальные исследования М. Матье, Ю. Перепелкина, Х. Кинк, Р. Рубинштейн; открытиям в Центральной и Южной Африке — переводные книги А. Алиман и А. Лота и оригинальные — В. Б. Мириманова. По археологии же Западной Европы переведены только две обзорные монографии — Г. Чайлда «Заря европейской цивилизации» и Г. Кларка «Доисторическая Европа». Со времени выхода в свет этих книг прошло уже более двадцати лет, и отражают они в какой-то мере предшествующий этап в развитии зарубежной археологии. Древнейшее же прошлое Европы не освещается ни в школьных учебниках истории, ни — сколько-нибудь подробно — в учебниках для исторических факультетов наших вузов.

Между тем археология Европы чрезвычайно важна для понимания всемирной истории. Наши палеолитические предки освоили территорию Европы очень рано, и развитие культуры шло здесь интенсивно и своеобразно. Во Франции и Испании обнаружены изумительные памятники палеолитического искусства — пещерные росписи и гравировки, каменные и костяные статуэтки, равных которым нет за пределами Европы. Проблему происхождения искусства нельзя решать без материалов исследований по Европе. Поразительные мегалитические сооружения из многотонных глыб камня — кромлехи, дольмены, менги-

ры — имеют столь же большое значение и для истории архитектуры, и для характеристики духовной жизни наших предков, как и египетские пирамиды.

В Европе сравнительно поздно появилась письменность, и в те дни, когда в Шумере записывались ранние версии сказания о Гильгамеше, а в Египте — «Беседа разочарованного со своим духом», европейские племена лишь из уст передавали свои легенды и предания. Но прочтение М. Вентрисом и Д. Чедвиком в 1953 году критского линейного письма — не менее значительное событие, чем расшифровка египетских иероглифов Ж. Шамполионом. А тот факт, что этим письмом пользовались во II тысячелетии до н. э. предки древних греков, открывает совершенно новые страницы в истории Средиземноморья. Наконец, вспомним о том, что археологические памятники Европы, относящиеся к бронзовому веку, а иногда и к более раннему времени, дают нам представление о формировании народов, населяющих Европу.

Итак, книга по археологии Западной Европы давно нужна нашим читателям. Если же учесть, что не существует сводок, охватывающих археологию всей Западной Европы от палеолита до начала нашей эры, ни на английском, ни на французском, ни на немецком, ни на каком-либо другом языке, станет ясно, сколь сложна задача создания такого обзорного труда.

Колоссален объем источников по этой теме. Раскопки в Западной Европе начались раньше, чем на других материках. В каждой европейской стране ежегодно работают многочисленные экспедиции и печатаются десятки, а то и сотни археологических книг — журналы, труды музеев и университетов, монографии об исследовании отдельных древних поселений и могильников, обзоры древностей той или иной эпохи или территории. Нелегко освоить это безбрежное море фактов, отобрать те из них, что кажутся наиболее важными и бесспорными, нелегко решить, кто из зарубежных ученых более прав в трактовке дискуссионных вопросов, а их так много у археологов!

За решение этой сложной задачи и взялся советский археолог А. Монгайт. Ученик профессора А. В. Арциховского, участник его раскопок в Новгороде Великом, а затем руководитель самостоятельной экспедиции в Старой Рязани, А. Монгайт занимался вначале русскими древностями. Первые его

книги — «Муром», «Старая Рязань», «Рязанская земля». Затем вышло несколько его популярных книг по археологии, затрагивавших историю этой науки, ее методике («Археология в СССР», «Археология и современность» и др.).

Рецензируемый труд — наиболее фундаментальный из написанных А. Монгайтом. Перед автором стояла проблема, в какой форме лучше излагать собранный материал. Возможны были три варианта изложения: справочник типа хандбуха, рассказ и критический обзор. От первого пути автор заранее отказался. Хандбук, предназначенный не для чтения, а для справок, обращен главным образом к узким специалистам. Колебания в выборе между двумя другими вариантами явственно ощутимы в содержании вышедшей книги. В одних случаях автор принимает какие-то положения зарубежных ученых за доказанные и просто излагает их выводы, в других — разбирает разные точки зрения, приводит факты, свидетельствующие в пользу каждой из них. Мне лично этот путь кажется более интересным, но превращение всех разделов книги в критические разборы, вероятно, слишком утяжелило бы текст.

Книга открывается вводным разделом об истории археологии, принципах и методах археологических исследований. Далее последовательно рассматриваются эпохи палеолита, мезолита, неолита и энеолита (книга «Каменный век»), бронзовый и начало железного века (гальштат, так называемый второй железный век).

Сложная и обширная сводка потребовала от автора консультаций со своими коллегами. Имена двадцати из них — археологов из Москвы, Ленинграда, Ужгорода и Будапешта — названы во введении к первой книге. Но и консультации не уберегли работу от некоторых неточностей и ошибок. Например, рассказав в книге «Каменный век» об открытии палеолитической живописи в пещере Альтамира и дискуссии вокруг этого открытия, А. Монгайт пишет, что «Мортилье еще в 1877 году признал подлинность пещерного искусства». Увы,

это не так. Крупный археолог, создатель периодизации палеолита, стоявший на строго эволюционистских позициях, не верил в то, что примитивный человек мог быть творцом выдающихся произведений искусства. Известно письмо Габриэля Мортилье к Эмилю Карталяку с предупреждением против «происков иезуитов», нарочно намалевавших картинки в пещерах, чтобы скомпрометировать антиклерикалов-археологов. Этот факт показывает, какими сложными путями шло исследование первобытной эпохи.

Еще неточность: на двух таблицах в книге «Каменный век» помещен рисунок одного и того же сосуда из Аргиссы-магулы, но в подписях этот сосуд в одном случае отнесен к раннему неолиту, а в другом к энеолиту. Таблицы взяты из разных книг: первая из немецкой (Г. Мюллер-Карпе), вторая из французской (А. Леруа-Гурана).

Специалистам в книгах А. Монгайта, вероятно, не понравятся некоторые описания кремневых изделий («толстые резцы», «грубоватые отщепы» и т. д.), глиняных сосудов, металлических украшений и т. п. Ученые привыкли к определенной терминологии, и описания, составленные в ином стиле, кажутся им дилетантскими. Но, может быть, для широкого читателя такие описания будут понятнее. Принципиальной ошибки тут нет.

Книга написана в первую очередь не для специалистов, а для широкого круга читателей, интересующихся историей. Но, безусловно, она будет полезным пособием и для студентов — археологов и историков, и для тех археологов, кто занимается не каменным веком, а другими эпохами.

А. Монгайт сделал полезное дело, подготовив фундаментальный обзор по одной из наиболее сложных и разработанных областей археологии. Будем надеяться, что он не останется одиноким, и в недалеком будущем мы получим серьезные обзорные работы по археологии средневековой Европы, по археологии Азии, Африки и Америки.

А. ФОРМОЗОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



ОЛЬГА ФОРШ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ. Л. «Советский писатель». 1974. 391 стр.

«Есть память ума. И есть память сердца. Самая совершенная память ума у кибернетической машины... Она бесстрастна и надежна. Память сердца хранит ценности иного порядка», — пишет Б. Дижур в своих воспоминаниях об Ольге Форш. Применительно к этой книге такая «ценность иного порядка» — это прежде всего живой облик О. Форш и та творческая атмосфера, которая на протяжении многих десятилетий окружала писательницу. Книга охватывает долгий путь О. Форш от поры ее молодости, увлечения живописью, первых шагов в литературе до самых последних лет жизни писательницы и ее работы.

Более чем полувеком разделены сохранившиеся с детства впечатления А. В. Орлова об учительнице рисования в царско-сельской школе, воспоминания обитателей знаменитого Дома искусств в Петрограде и тех, для кого самый дом этот давно уже стал преданием, благоговейно почитаемым «историческим памятником». В книгу вошли воспоминания Н. Тихонова и В. Шкловского, В. Кетлинской и К. Федина, Л. Рахманова и М. Слонимского, М. Довлатовой, многолетнего друга и секретаря О. Форш, внука писательницы В. Меншуткина и многих других — людей разных возрастов и профессий. Книга эта — дань любви и уважения современников, «нерукотворный памятник», в котором следы глубоко личного отношения к фактам столь же ощутимы, сколь и стремление к объективности.

Лишь очень немногие из воспоминаний, вошедших в книгу, были записаны сразу, по горячим следам. Как правило, прошлое воссоздавалось много времени спустя; тогда же приходило его осмысление. И может быть, именно тогда же впервые по-настоящему осмысливался образ самой О. Форш — разрозненные впечатления собирались в единое целое, ретроспективно создавалась концепция личности человека.

О. Форш встает перед нами со страниц книги во всем обаянии своего ума и таланта, мужества и доброты, человечности и душевной щедрости. Надо отдать должное мемуаристам: этот образ убедителен и почти физически ощущим. Авторы воспоминаний, как правило, не склонны обращаться к годам тяжелых испытаний, пережитых

писательницей вместе со всей страной. Их прельщают дни удач и торжеств. Оттого на передний план выдвигаются одни и те же события: выступление О. Форш на Втором всесоюзном съезде писателей, ее восьмидесятилетний юбилей и т. д. Это имеет и свой положительный смысл: мы видим один и тот же факт с разных точек зрения и можем проверить точность мемуаристов. Но при этом ощущается некая односторонность изображения. Так, о войне, эвакуации, болезнях упоминают многие, но все это, рассказанное беглой скороговоркой, остается словно «за кадром».

Книга адресована широкой читательской аудитории и, несомненно, вызовет у нее самый живой отклик. Но, очевидно, такая книга нуждается в комментариях и хотя бы самом элементарном справочном аппарате, ибо читателю далеко не всегда известны имена авторов воспоминаний, не всегда понятны отношения, связывающие их с О. Форш. Завершающая книгу статья А. Тамарченко дает серьезный и объективный анализ личности О. Форш, объясняет характер ее отношений с некоторыми писателями. Это очень интересно, но не может заменить собою комментарий, ибо статья преследует иные цели. В этом смысле составителям следовало бы учесть опыт «Серии литературных мемуаров», выпускаемой издательством «Художественная литература».

Отдельные недочеты книги не портят, однако, в целом хорошего впечатления от нее. Книга выполнила свое назначение, документально закрепив живую память современников об Ольге Форш.

И. Подольская.



ВЛАДИМИР КОЗИН. Привязанный к седлу. М. «Советский писатель». 1974. 230 стр.

В короткой издательской аннотации к сборнику сказано, что в книгу вошли произведения, при жизни автора не публиковавшиеся. Читатель при этом может подумать, что либо в нее включены вещи, написанные в разное время и по каким-либо соображениям не предлагавшиеся к печати самим автором, либо те, которые он не успел завершить. Но нет. Составленная из новелл и маленьких повестей, книга вы-

глядит цельной и совершенно законченной. Более того, рассказы воспринимаются главами одной книги, написанной словно бы на одном дыхании.

За совсем небольшим исключением это книга одной темы, одной идеи, а точнее — одного времени, рыцарем которого остался Владимир Козин до последних своих дней. Он был совсем молод, когда пришла Октябрьская революция. Она принесла ему радостную наполненность жизни, чувство дружеского единения с людьми, возможность учиться, писать, реальные мечты «о новом человеке, о новом, небывалом обществе» единомышленников.

Герой новелл часто одно лицо, хотя он и носит разные имена (в рассказе «Головой о бревна» он назван прямо Владимиром Козинным). В новеллах нет ни замысловатых сюжетов, ни увлекательной интриги. Герой живет «простой молодой жизнью». Вот он в Баку вместе с эскадронам патрулирует город («Забастовка»), вот в степи ухаживает за «кровными» лошадьми («Самарская степь, девятнадцатый год, чалый Вор и Вильям Шекспир»), вот, едва не умирая с голоду, едет в Москву, где «Новый мир» напечатал его первый большой рассказ («Зембель»).

Герой рассказов еще очень юн. Его переполняет желание учиться, работать, быть полезным, жить для общества, любить — страстно, восторженно и чисто. Он горд своей нужностью, причастностью к настоящему. Но у него еще нет конкретной жизненной программы, эмоций в нем больше, чем знаний, он еще накапливает, но не отдает, он еще не познал, что такое страдание, потери, трагедии.

Эволюция героя завершится в повестях, когда он потеряет свою откровенную биографическую связь с автором. Новый герой станет воплощением зрелых представлений писателя о настоящем человеке, настоящем коммунисте.

С лихой одержимостью, свойственной времени, строят коммунисты советскую власть в повести «Военморы». 1921 год. Разруха и голод. Чтобы справиться с ними, помочь стране, создается первое советское садово-огородное хозяйство на Каспии. Специалистов нет, и на работу направляют коммунистов. Из ничего упрямо сколачивают хозяйство военные моряки Павел Резников, Петр Козорезов, Александр Стрельцов.

С новеллами эту повесть роднит общая мажорная тональность прозы, но здесь есть уже и конкретно индивидуализированные характеры: «Военморы» — словно бы шаг на пути к следующей повести — «Привязанный к седлу».

В эссе «Как я учился писать» (кстати, полном интересных, зрелых, выстраданных мыслей и наблюдений о писательском мастерстве) автор рассказывает историю повести «Привязанный к седлу», важной и знаменательной в его творчестве.

Вскоре после войны в горах Кабарды писатель встретил человека, который стал прообразом «Привязанного к седлу». Он

«вселился в меня и стал тихо тревожить, — писал В. Козин. — Я чуял его живое величие, его историческую глубину и весомость, небывалую, убедительную выразительность — и опасался прикоснуться к нему».

Маленькая повесть вынашивалась и писалась более десяти лет. Автор сам точно определял причину своих первоначальных неудач: «Я умел живописать, а мне надо было уметь лепить образ».

Писатель сумел создать многогранный и живой характер героя нового времени — человека яркого, талантливого, мужественного и благородного. Хошгельды Айкуматов — коммунист, газетчик. Избитого и полумертвого, бросили басмачи Хошгельды в колодезь. Он выжил, хотя ноги не служили ему больше; он оказался обреченным на неподвижность и одиночество. Много раз силы были на пределе. Но превозмог себя Хошгельды, не сдался, и жизнь опять стала осмысленной и полезной.

Характер Хошгельды удивительно достоверен и обаятелен, и в этом секрет его особой привлекательности. Ясность ума сочетается в Хошгельды с мужской решительностью и твердостью, доброта — с почти детской застенчивостью и простотой, мужественность — с чистотой и искренностью.

Рисую самые разные картины жизни 20-х годов в Баку, Москве, Астрахани, Нальчике, Каракумах, писатель создает яркую мозаическую картину того времени, «жизния» новой, социалистической жизни. А ведь, казалось бы, что еще можно добавить к нашим знаниям об этом времени, столь подробно и ярко уже описанном в литературе?

Г. Петрова.



ВАЛЕНТИНА КАРПОВА. Анатолий Калинин. Очерк творчества. М. «Советская Россия». 1973. 200 стр.

Имя Анатолия Калинина широко известно советским читателям. Многие из его романов, особенно в последние годы, печатались в журнале «Огонек» и сразу же расходились по всей стране миллионными тиражами. По некоторым из них созданы театральные пьесы и художественные фильмы. Но до сих пор, насколько мне известно, не было предпринято серьезной попытки исследовать и рассказать о самобытном творческом опыте писателя; критика ограничивалась лишь статьями и рецензиями на отдельные его книги.

Монография В. Карповой, написанная легко и раскованно, дает представление о личности писателя, об идейно-нравственном содержании его книг, об эстетических особенностях его писательской манеры и, что особенно ценно, о том вкладе, который вносит писатель в русскую советскую литературу.

Свое исследование В. Карпова начинает с откровенно пристрастного лирического «запева»: «С какой радостью вспоминается

та осень, когда мне пришлось пожить на Дону, в хуторе Пухляковском...»

Критик увлечена творчеством писателя, настроена с ним «на одну волну», намерена заразить и читателя своим увлечением. И это ей удается. Удастся потому, что В. Карпова внимательно прослеживает живую связь замыслов, воплощенных в очерках, повестях и романах, с той реальной нашей жизнью, которая сформировала писателя как личность, как гражданина и вместе с тем дала богатый, многообразный материал для активной творческой работы.

В книге интересно показаны особенности очеркового творчества Калинина. «Сочетание дара исследователя с непосредственностью чувства — вот что привлекает в очерках Калинина», — пишет критик. В самом деле, очерковая работа писателя, в частности его послевоенные очерки — «На среднем уровне», «Лунные ночи» и другие, наряду с очерками В. Овечкина оставили заметный след в нашей документальной прозе. В них, как и в первых романах «Курганы» и «Красное знамя», уже отчетливо вывилась самобытность художнической манеры Калинина, определилась его приверженность к определенным жизненным проблемам и к типично «калининским» людским характерам и конфликтам.

В. Карпова подробно анализирует романы писателя, не упуская, однако, той единой линии, которая наметилась и затем от книги к книге крепла в его творчестве. Не минуя слабостей и просчетов, присущих первым литературным опытам писателя, а иные из них сказались и в дальнейшем (прежде всего однолинейность и схематизм в обрисовке некоторых персонажей), критик увлеченно рассказывает о том сильном, самобытном, что содержится в широко известных повестях и романах Калинина — «Суровое поле», «Запретная зона», «Цыган», «Гремите, колокола!», «Возврата нет». Характерными чертами творчества писателя являются, по ее мнению, «определенность социально-исторических характеристик, стремление углубиться в душевную жизнь героев, любовь к живописанию природы, склонность к психологическому письму, к передаче движений души человеческой».

С таким выводом нельзя не согласиться. Справедлива, как нам кажется, хотя и несколько схематична, та классификация персонажей, наиболее типичных для Калинина, которую в итоге исследования предлагает В. Карпова. Но, разумеется, этой краткой схемой не исчерпывается реальное содержание сложной системы образов в творчестве А. Калинина. В. Карпова с полным основанием подчеркивает в своей монографии не только особенности идейно-нравственного содержания произведений Калинина, отчетливость его идейных позиций, то, как они выразились в характерах персонажей, но и жизнеутверждающий пафос творчества писателя, живую выразительность речи.

Монография Валентины Карповой, как мне кажется, дает очень верное представ-

ление о характерных особенностях творчества А. Калинина, ясно определяет то существенное, главное, что он вносит своим творчеством в многоголосый, могучий поток современной советской литературы.

Д. М. Еремин.



К. ЩЕРБАКОВ. Обретение мужества. Критика и публицистика. М. Всероссийское театральное общество. 1973. 216 стр.

Книга К. Щербакова заинтересовывает сразу. В ней идет речь об искусстве 60-х годов: театральные постановки, пьесах, фильмах, произведениях литературы. Разговор этот тесно связан с сегодняшней жизнью, с проблемами, которые стоят перед нами, и особенно перед молодежью. Видимо, не случайно книга начинается с разбора пьес драматургов Ю. Эдлisa и Э. Радзинского, прошедших в драматургию в начале 60-х годов. Молодые герои этих пьес заставили присмотреться к себе, вызвали желание понять, в чем же их новизна и обаяние.

Автору книги дороги бескомпромиссность, нравственная цельность и вместе с тем внутренняя раскованность этих людей, их взыскательность к себе и окружающим. Но при всей симпатии к молодым героям автор замечает в них и настораживающие черты. Их требовательность к окружающим порой оборачивается моральным изживенчеством, а максимализм — душевной черствостью. Автор книги ищет в герое то главное, что делает его человеком и гражданином, его интересует, как через нравственное начало проявляется гражданская позиция героя, его отношение к обществу.

Вот К. Щербаков рассказывает о Юре Деточкине, герое фильма «Берегись автомобиля». Ему импонирует доверчивость, правдолюбие Деточкина, но, увы, нельзя принести пользу обществу в одиночку. Без веры в людей, без их помощи многого не достигнешь, и благие намерения Деточкина не приносят добра людям.

Нравственная сила художника, обаяние таланта неизменно привлекают К. Щербакова, и он заставляет и читателя почувствовать неповторимость, глубину творческого облика М. Светлова, о котором в книге написаны проникновенные и влюбленные строки.

Особенно волнует К. Щербакова тема Великой Отечественной войны в театре и кино, — по его справедливому убеждению, героика прошлого жизненно необходима в деле нравственного воспитания зрителя и читателя, особенно — молодого. Обращаясь к этой теме, автор не забывает оглянуться и на сравнительно отдаленное прошлое наше искусство, посвящая вдумчивые страницы, например, фильмам военных лет — «Жди меня», «Два бойца». Для него, конечно, не секрет известное несовершенство этих лент, но к их оценке он подходит бережно, стремясь прежде всего в самом тоне критического разбора сохранить высокий нравственный пафос, отличающий эти фильмы.

В книге К. Щербакова прослеживаются разные аспекты нашей художественной жизни. Автора интересует и живая современность и сегодняшняя (сценическая либо экранная) интерпретация классики. И не случайно К. Щербаков обращается к спектаклю «Обыкновенная история» в театре «Современник» (инсценировка В. Розова по роману И. Гончарова). Критик не стремится выставить «балл» создателям спектакля, его прежде всего интересует, как театром понята судьба Адуева-младшего, нравственная биография человека, чей хрупкий юношеский романтизм не выдержал проверки житейской прозой.

В подходе к явлениям искусства К. Щербаков — лицо заинтересованное. Заинтересованное в неуклонном росте и обогащении нашей художественной практики.

Г. Товстоногов,
народный артист СССР.



Е. И. ПОЛЯКОВА. Николай Рерих. Серия «Жизнь в искусстве». М. «Искусство». 1973. 323 стр.

Главная тема этой книги — эпоха, одна из сложнейших в истории русского искусства, и художник как ее непосредственный выразитель. Дабы с возможной полнотой выявить органические связи художника с эпохой, автор обращается к литературе, театру, музыке, художественной критике, подчеркивая в них и через них определяющие черты творчества Рериха.

В момент самостоятельного выступления Рериха как художника развитие русского пейзажа определялось тремя тенденциями, представленными именами Шишкина, Левитана и Куинджи. В шишкинских пейзажах натура встает тщательно изученной, но мало пережитой живописцем. О стремлениях Левитана трудно сказать точнее, чем это сделал сам художник: «Мы наделяем природу своими переживаниями». Куинджи и его школа, к которой принадлежит Рерих, представляют, условно говоря, героический пейзаж, отмеченный обобщенностью чувства и обобщенностью видения. В нем как бы оживает восприятие природы целым народом, национальное чувство. И именно это понимание пейзажа роднит картины Рериха с историческими полотнами Репина и Сурикова, на что справедливо обращает внимание автор.

Официальной установке правительства Александра III, а затем и Николая II, поощрявших «православный» стиль в искусстве, противостояла тенденция, в полный голос заявившая о себе в творчестве участников Абрамцевского кружка, которым во многом наследовал Рерих. Сюжеты из национальной истории, сказок, былин, эпоса трактуются ими как выражение духа и характера народа. Не фантастика во что бы то ни стало, не выдумка ради выдумки, а те истоки, которые породили ее в народ-

ном творчестве, составили подлинный смысл полотен художника.

Сказочные, былинные или обращенные к далекому «археологическому» прошлому сюжеты открывали перед художником возможность свободно пользоваться цветом, брать нарочито повышенные — «необычные» его отношения, чтобы добиться наиболее яркого эмоционального звучания. В определенной связи с этими поисками находится и увлечение Рериха театром, которое он разделяет с Левитаном, Серовым, Врубелем. В отношении собственно живописи театр открывал широкий простор творческому эксперименту, путь для свободных исканий, не связанных с традиционным подходом к станковой картине и принципами ее организации.

Стремление осмыслить и сознательно использовать все скрытые возможности искусства определяет для Рериха, как и для его старших товарищей из Абрамцевского кружка, исключительную широту творческих интересов. В сферу их активного внимания входит, помимо живописи, архитектура, декоративное и прикладное искусство, оформление интерьеров, книг, история искусства, и музыка, и археология. Рерих представляет в этом отношении один из очень типичных примеров, как то указывает на богатейшем материале автор.

На фоне возрастающего политического и художественного кризиса, разгорающейся первой мировой войны русское искусство переживает один из сложнейших этапов своей эволюции. Автор стремится показать, как исполненная острой полемики, борьбы и противоречий художественная жизнь формировала новое восприятие художником мира, стимулировала в нем смелость, бескомпромиссность в подходе к творчеству. При всей кажущейся стихийности, этот процесс шел очень целенаправленно. Рерих вполне «планово» мобилизовал себя на создание большого искусства, в котором все выразительные средства, вся сумма художественных идей открывали бы человеку новые горизонты, воздействовали бы на него, формируя и укрепляя его стремление к новому и более справедливому миру. «Образ» внутренней жизни художника-гуманиста и составляет настоящую удачу автора книги.

Н. Молева.



**ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ США. М.
«Наука». 1973. 395 стр.**

Рассказать о главном в американской литературе 60-х — начала 70-х годов — задача очень трудоемкая. Это значит прежде всего проследить традиции и определить специфику настоящего момента. Это значит — из огромного многообразия тем выделить ведущие, в которых основные тенденции времени нашли наиболее полное выражение, при этом, конечно, помня, что связь

социального бытия с событиями в литературе отнюдь не была прямолинейной.

60-е годы в жизни США отмечены явлениями, оказавшими исключительное влияние на духовный климат страны. Это рост социальных движений — антивоенного, антирацистского, молодежного, движения за освобождение и равноправие женщин. Поэтому, говоря о духовном кризисе современного буржуазного общества, нельзя, разумеется, не задать вопрос: а как он отразился в реалистической прозе США? Заговорив же о художественных достоинствах произведений реализма, невозможно не упомянуть о злободневном, явно не только литературном, но и социологическом феномене массовой беллетристики.

Вполне логично далее, констатируя кризис моральный, кризис идей, кризис идеалов общества — то, что известно под определением «кризис сознания», — обратить особое внимание на проблему молодежи в литературе США, так как именно молодое поколение Америки, при всей его разнохарактерности, явилось питательной почвой «сознания нового», отвергшего радости потребления. Заслугой советской американистики, в частности авторов данного сборника, является вдумчивый, принципиально марксистский подход к молодежной проблеме, который отвергает перенесение социального конфликта в плоскость биологической вражды поколений.

Заметную роль в литературе США 60-х и первой половины 70-х играет модернистский роман. Буржуазный критик Р.-М. Олдермен в своей недавней книге «За пределами бесплодной земли» утверждает, например, что модернистский роман США «не связан с социальным реализмом, протестом и реформизмом». Большим достоинством сборника является анализ модернистского американского романа, подтверждающий, что вопрос о «протесте» — вопрос гораздо более сложный. И модернистское произведение зачастую не лишено критического пафоса, особенно когда оно выбирает объектом критики буржуазное сознание. Но нередко эта жесткая и уязвляющая критика ведется в духе развенчания демократической и просветительской литературной и общественной традиций. В статье «Модернистская литература» дается яркая, нешаблонная характеристика произведений

У. Берроуза, Дж. Хоукса, Дж. Барта, обобщается вывод, что разрешение конфликтов, которые отмечает и модернистский роман США, тем не менее «лежит на путях реалистического искусства». И совершенно правомерно, что исследованию реалистической американской прозы отводится самая масштабная и «фундаментальная» статья сборника. Она поднимает огромный литературный пласт рассматриваемого периода. Рассказ о произведениях Н. Мейлера, Д. Стейнбека, С. Беллоу, Д. Апдайка, Д. Чивера, Б. Маламуда, Ф. О'Коннор и других наиболее видных писателей истекшего десятилетия органически слит с анализом основных проблем современного реалистического романа США — достойного преемника великого критического реализма 20—30-х годов.

Справедливо также отмечается, что сегодняшнюю литературную реальность США невозможно представить и без негритянской проблемы, одного из самых важных вопросов внутренней жизни Америки. Это проблема поистине всего дальнейшего общественного, гражданского, нравственного развития страны, разрешимая, как подчеркивают авторы сборника, лишь с интернациональных, демократических позиций.

Внимание читателя несомненно привлекут статьи о драматургии и поэзии США, научно-фантастическом романе, о литературе социалистического реализма в США. Последняя представлена именами Ларса Лоренса (псевдоним Филипа Стивенсона), Джорджа Склара, Уильяма Бэйли (его повесть «Ветер рождает бурю» была напечатана в журнале «Иностранная литература»). Эта литературная традиция убедительно доказала свою жизнеспособность в сложной идеологической борьбе нашего времени, и перспективы у нее самые широкие. Знакомство с интересным сборником, подготовленным коллективом авторов — ученых Института мировой литературы АН СССР, вызывает уверенность, что сопричастность большой американской литературы общественной и духовной жизни человека, выступление на стороне мира и гуманизма — залог ее дальнейших художественных свершений.

М. Тугушева,
кандидат филологических наук.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин, КПСС о пролетарском интернационализме. Сборник документов и материалов. 1894—1974. В 2-х томах. Т. 1. 1894—1924. 352 стр. Цена 67 к. Т. 2. 1925—1974. 512 стр. Цена 89 к.

Л. И. Брежнев. Все для блага народа, во имя советского человека. Речь на встрече с избирателями Бауманского избирательного округа г. Москвы 14 июня 1974 года. 32 стр. Цена 3 к.

Ю. Палецнис. В двух мирах. («О жизни и о себе») 527 стр. Цена 1 р. 57 к.

Б. Полевой. Полководец. Биографическая повесть (о Маршале Советского Союза И. С. Конева). 127 стр. Цена 23 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ф. Искандер. Дерево детства. Рассказы и повесть. 368 стр. Цена 70 к.

И. Меттер. Пути житейские. Повести и рассказы. 303 стр. Цена 68 к.

Ю. Мориц. Суровой нитью. Книга стихов. 160 стр. Цена 39 к.

А. Розен. Осколок в груди. Повести и рассказы. 623 стр. Цена 1 р. 13 к.

Д. Холендро. Голубое чудо. Повести и рассказы. 512 стр. Цена 96 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Вышеславский. Стихотворения. 286 стр. Цена 61 к.

Д. Дефо. Робинзон Крузо. — История полковника Джена. Переводы с английского. («Библиотека всемирной литературы») 527 стр. Цена 2 р. 12 к.

Ф. Ларошфуно. Максимы. — **Б. Пасналь.** Мысли. — **Ж. Лабрюйер.** Характеры. Переводы с французского. Вступительная статья В. Бахмутского. («Библиотека всемирной литературы») 543 стр. Цена 1 р. 75 к.

А. С. Пушкин. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Т. 1. Стихотворения 1813—1824 гг. Примечания Д. Благого и Т. Цявловской. 742 стр. Цена 1 р. 15 к. — К 175-летию со дня рождения великого поэта.

Н. Хикмет. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Автобиография. Переводы с турецкого. 495 стр. Цена 2 р. 86 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Ибрагимбенов. Незнакомая песня. Повесть. 271 стр. Цена 40 к.

Н. Островский. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. Как закалялась сталь. Роман. Предисловие В. Озерова. 399 стр. Цена 89 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Анчишин. Аргитический роман. Роман. 541 стр. Цена 1 р. 7 к.

А. Блинов. Счастья не ищут в одиночку. — Полярный. Романы. 590 стр. Цена 1 р. 26 к.

Г. Горбовский. Возвращение в дом. Стихи. 90 стр. Цена 30 к.

Н. Евдокимов. Житейские истории. Повести. 237 стр. Цена 56 к.

Ю. Нагибин. Ты будешь жить. Повести и рассказы. 367 стр. Цена 78 к.

З. Нури. Короче говоря. Стихи. Переводы с татарского. 159 стр. Цена 1 р. 8 к.

Н. Рерих. Письмена. Стихи. Составление и предисловие В. Сидорова. 151 стр. Цена 91 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Внуков. Слушайте песню перьев. Повесть. 175 стр. Цена 66 к.

З. Воскресенская. Собрание сочинений. В 3-х томах. Т. 1. Сквозь ледяную мглу. Рассказы. — Встреча. Утро. Повести. Вступительная статья С. Михалкова. 479 стр. Цена 97 к.

И. Ермаков. Стоит меж лесов деревенька. Повесть и сказка-быль. Предисловие В. Важаева. 96 стр. Цена 29 к.

Е. Ильина. Неутомимый спутник. Детство, юность и молодые годы Карла Маркса. Документальная повесть. Предисловие И. С. Маршала. 367 стр. Цена 1 р. 2 к.

Н. Кончаловская. Дар бесценный. Романическая быль. 335 стр. Цена 1 р. 48 к.

Л. Почивалов. На край света за тайной. Рассказ о путешествии на «Витязе» к далеким тропическим островам Тихого океана. 256 стр. Цена 64 к.

К. Яковлев. Лесные дива. Грибной календарь. Рассказы. 127 стр. Цена 80 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Коллонтай. Из моей жизни и работы. Воспоминания и дневники. Предисловие И. Дажинной. 413 стр. Цена 1 р. 6 к.

С. Наровчатов. Живая река. Литературоведение и критика. 156 стр. Цена 60 к.

К. Симонов. Незадолго до тишины. Записки 1945 года. Март—апрель—май. 229 стр. Цена 50 к.

ВОЕНИЗДАТ

История второй мировой войны. 1939—1945. В 12-ти томах. Т. 2. Накануне войны. 479 стр. Цена 2 р. 80 к.

Д. Мулдагалиев. Высокие полдни. Стихотворения и поэмы. Перевод с казахского. 134 стр. Цена 60 к.

Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР. 1918—1973 гг. Исторический очерк. Под редакцией А. А. Епишева. 366 стр. Цена 1 р. 82 к.

Сто военных парадов. Под редакцией К. Грушевого. 262 стр. Цена 2 р. 41 к.

«ИСКУССТВО»

М. Немировская. Портреты И. Е. Репина. Графика. 148 стр. Цена 2 р.

«ПРОГРЕСС»

А. Зегерс. Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре. Повесть. — Гранзит. Роман. — Через океан. Повесть. Перевод с немецкого. Предисловие Т. Мотылевой. («Мастера современной прозы». ГДР) 430 стр. Цена 1 р. 50 к.

Б. Райнов. Что может быть лучше плохой погоды.—Большая скука. Романы. Перевод с болгарского А. Собковича. 480 стр. Цена 1 р. 52 к.

«МЫСЛЬ»

В. Добреннов. Неофрейдизм в поисках «истины». Иллюзии и заблуждения Эриха Фромма. 144 стр. Цена 23 к.

Реакционная сущность идеологии и политики маоизма. Под общей редакцией Г. Гиргинова. Перевод с болгарского. Научная редакция В. Кривцов, Л. Трапезников. 334 стр. Цена 1 р. 29 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Г. Анопов. Западный Берлин. Проблемы и решения. 263 стр. Цена 1 р. 4 к.

Внешняя торговля СССР за 1973 год. Статистический обзор. 316 стр. Цена 2 р. 17 к.

Б. Королев. Антисоветизм в глобальной стратегии империализма. 256 стр. Цена 1 р.

«НАУКА»

Е. Варга. Избранные произведения. Экономические кризисы. 432 стр. Цена 1 р. 69 к.

Л. Гатовский. Научно-технический прогресс и экономика развитого социализма. Очерки политической экономии. 431 стр. Цена 1 р. 66 к.

С. Ильинская. Поэзия сопротивления в послевоенной Греции. Судьба одного поколения. 197 стр. Цена 64 к.

Интернациональное и национальное в искусстве. Сборник статей. 276 стр. Цена 1 р. 43 к.

Е. Карцева. «Массовая культура» в США и проблема личности. 192 стр. Цена 72 к.

Н. Ксенофонтowa. Народ Зимбабве. Очерки

социально-экономической истории. 200 стр. Цена 90 к.

Д. Малышева. Религия и политика в странах Восточной Африки. 167 стр. Цена 58 к.

В. Нерсисянц. Гегелевская философия права: история и современность. 287 стр. Цена 95 к.

М. Нечкина. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. 638 стр. Цена 3 р. 34 к.

Освобождение Белоруссии. 1944. Под редакцией и с предисловием А. Самсонова. Издание 2-е, исправленное и дополненное. 799 стр. Цена 3 р. 83 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Алламаш. Узбекский народный эпос. Перевод А. Пеньковского. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 358 стр. Цена 84 к.

В. Астафьев. Перевал. Последний поклон. Кража. Пастух и пастушка. Повести. Красноярск. Книжное издательство. 758 стр. Цена 1 р. 31 к.

За тебя, Беларусь. Сборник. Составитель Н. Круговых. Переводы с белорусского. Минск. «Мастацкая литература». 415 стр. Цена 1 р. 3 к.

В. Кораблинов. Жизнь Никитина. Роман. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 336 стр. Цена 71 к.

В. Леднев. Цветет шиповник. Стихотворения и поэмы. 1959—1970. Предисловие М. Луконина. Волгоград. Нижне-Волжское книжное издательство. 318 стр. Цена 2 р. 3 к.

Б. Момыш-улы. Наша семья. Повести и рассказы. Алма-Ата. «Жазушы» 488 стр. Цена 95 к.

В. Потанин. До будущей осени. Повести и рассказы Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 288 стр. Цена 58 к.

В. Снобелев. Артем Веселый. Очерк жизни и творчества. Куйбышев. Книжное издательство. 192 стр. Цена 60 к.

Г. Федосеев. Смерть меня подождет. Роман и повесть. 704 стр. Цена 1 р. 50 к.



Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Пугинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103006. Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 27/VI 1974 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/IX 1974 г.
А 02347. Формат бумаги 70×108^{1/16}, 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.) Тираж 175 000 экз. Зак. 2262.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва Пушкинская пл., 5. в комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 05/50

Цена 70 коп.

70636